Wiki Loves FOLKLORE

Photograph your local culture, help Wikipedia and win!

В сторону Свана (Пруст)

В сторону Свана
автор Марсель Пруст, пер. Марсель Пруст

Оригинал: французский, опубл.: 1913. — Источник: az.lib.ru • Книга I романа «В поисках утраченного времени».
Перевод А. А. Франковского (1927).

Марсель Пруст
В поисках утраченного времени.
Книга I. В сторону Свана

Marcel Proust. A la recherche du temps perdu

I. Du cote de chez Swann

Перевод А. А. Франковского

Пруст Марсель. В поисках утраченного времени: В сторону Свана: Роман. — СПб.: Сов. писатель, 1992.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КОМБРЕ

I

Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе: «я засыпаю». И полчаса спустя мысль, что пора уже заснуть, пробуждала меня: я хотел положить книгу, которую, казалось мне, я все еще держу в руках, и задуть огонь; я не переставал во время сна размышлять о только что мною прочитанном, но эти размышления принимали несколько своеобразный оборот, — мне казалось, что я сам являюсь тем, о чем говорила книга; церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V. Это представление сохранялось у меня в течение нескольких секунд по пробуждении; оно не оскорбляло моего рассудка, но покрывало, словно чешуя, мои глаза и мешало им отдать отчет в том, что свеча больше не горит. Затем оно начинало становиться мне непонятным, как, после метемпсихозы, сознание прежнего существования; сюжет книги отрывался от меня, я был свободен приобщать себя к нему или нет; тотчас зрение возвращалось ко мне, и я бывал очень изумлен тем, что находил вокруг себя темноту, мягкую и успокоительную для моих глаз, но, может быть, еще больше для моего ума, которому она казалась чем-то беспричинным, непонятным, чем-то поистине темным. Я спрашивал себя, который может быть час; до меня доносились свистки поездов, более или менее отдаленные, и, отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции; и глухая дорога, по которой он едет, запечатлеется в его памяти благодаря возбуждению, которым он обязан незнакомым местам, непривычным действиям, недавнему разговору и прощанию под чуждым фонарем, все еще сопровождающим его в молчании ночи, и близкой радости возвращения.

Я нежно прижимался щеками к мягким щекам подушки, полным и свежим, словно щеки нашего детства. Я чиркал спичкой, чтобы посмотреть на часы. Скоро полночь. Это пора, когда больной, который должен был отправиться в путешествие и которому пришлось слечь в незнакомой гостинице, разбуженный кризисом, радуется замеченной им под дверью полоске света. Какое счастье, уже утро! Через несколько мгновений встанут слуги, он может позвонить, к нему придут и подадут ему помощь. Надежда получить облегчение дает ему мужество переносить страдание. Как раз в эту минуту ему показалось, что он слышит шаги; шаги приближаются, затем удаляются. И полоска света, видневшаяся под дверью, исчезла. Это полночь; приходили гасить газ; последний слуга ушел, и придется всю ночь мучиться, не получая помощи.

Я снова засыпал, и иногда после этого у меня бывали лишь краткие пробуждения, во время которых я успевал только услышать потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и запечатлеть калейдоскоп темноты, почувствовать, благодаря мгновенному проблеску сознания, сон, в который бывали погружены мебель, комната, все окружающее, которого я являлся лишь незначительной частью и с бесчувственностью которого я вскоре снова сливался. Или же, засыпая, я без усилия переносился в навсегда ушедшую эпоху моей ранней юности, снова переживал какой-нибудь из моих детских страхов, например то, что мой двоюродный дедушка оттаскает меня за вихры, страх, исчезнувший в день — дата для меня новой эры, — когда меня остригли. Я забывал об этом событии во время моего сна и снова вспоминал о нем вскоре после того, как мне удавалось проснуться, чтобы ускользнуть из рук двоюродного дедушки; все же из предосторожности я совсем зарывался головой в подушку перед тем, как возвратиться в мир сновидений.

Иногда, подобно Еве, родившейся из ребра Адама, во время моего сна рождалась женщина из неудобного положения, в котором я лежал. Ее создавало наслаждение, которое я готов был вкусить, а мне казалось, что это она мне доставляла его. Тело мое, чувствовавшее в ее теле мою собственную теплоту, хотело соединиться с ней, и я просыпался. Остальные люди казались мне чем-то очень далеким рядом с этой женщиной, покинутой мною всего несколько мгновений тому назад; щека моя еще пылала от ее поцелуя, тело было утомлено тяжестью ее тела. Если, как это случалось иногда, у нее бывали черты какой-нибудь женщины, с которой я был знаком наяву, я готов был всего себя отдать для достижения единственной цели: вновь найти ее, подобно тем людям, что отправляются в путешествие, чтобы увидеть собственными глазами какой-нибудь желанный город, и воображают, будто можно насладиться в действительности прелестью грезы. Мало-помалу воспоминание о ней рассеивалось, я забывал деву моего сновидения.

Во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок лет и миров. Он инстинктивно справляется с ними, просыпаясь, в одну секунду угадывает пункт земного шара, который он занимает, и время, протекшее до его пробуждения; но они могут перепутаться в нем, порядок их может быть нарушен. Пусть перед утром, после часов бессонницы, сон овладеет им во время чтения, в позе очень отличной от той, в которой он спит обыкновенно, тогда достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять, и в первую минуту по пробуждении он не узнает часа, ему будет казаться, что он сию минуту только прилег. Если же он заснет в еще более необычной и несвойственной ему позе, например после обеда, сидя в кресле, тогда в мирах, вышедших из орбит, все перепутается, волшебное кресло со страшной скоростью помчит его через время и пространство, и в момент, когда он поднимет веки, ему покажется, что он лег несколько месяцев тому назад в другом месте.
Но достаточно бывало, чтобы, в моей собственной постели, сон мой был глубоким и давал полный отдых моему уму; тогда этот последний терял план места, в котором я заснул, и когда я просыпался среди ночи, то, не соображая, где я, я не сознавал также в первое мгновение, кто я такой; у меня бывало только, в его первоначальной простоте, чувство существования, как оно может брезжить в глубине животного; я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек; но тогда воспоминание — еще не воспоминание места, где я находился, но нескольких мест, где я живал и где мог бы находиться, — приходило ко мне как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия, из которого я бы не мог выбраться собственными усилиями: в одну секунду я пробегал века культуры, и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек с отложными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего «я».

Быть может, неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей мысли по отношению к ним. Ибо всегда случалось, что, когда я просыпался таким образом, деятельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, все вращалось вокруг меня во тьме: предметы, местности, годы. Тело мое, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось, по форме своей усталости, определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, о месте предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось. Память его, память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых оно спало, между тем как вокруг него, меняя место соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отожествить помещение, сопоставляя обстоятельства, оно — мое тело — припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление коридора, вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении. Мой онемевший бок, пытаясь угадать свое положение в пространстве, воображал себя, например, вытянувшимся у стены в большой кровати с балдахином, и тотчас я говорил себе: «Вот как, я не выдержал и уснул, хотя мама не пришла пожелать мне покойной ночи» — я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад; и мое тело, бок, на котором я лежал, верные хранители прошлого, которое уму моему никогда не следовало бы забывать, приводили мне на память пламя ночника из богемского стекла в форме урны, подвешенного к потолку на цепочках, камин из сиенского мрамора в моей спальне в Комбре, у моих дедушки и бабушки, в далекие дни, которые в этот момент я воображал себе настоящими, не представляя их себе точно, и которые я увижу яснее сейчас, когда совсем проснусь.

Затем воскресало воспоминание нового положения; стена тянулась в другом направлении — я был в своей комнате у г-жи де Сен-Лу, в деревне: Боже мой! Уже по крайней мере десять часов, вероятно обед уже окончен! Я слишком затянул мой послеполуденный сон, которому предаюсь каждый вечер по возвращении с прогулки в обществе г-жи де Сен-Лу, перед тем как переодеться во фрак. Ибо много лет прошло после Комбре, где, в самые поздние наши возвращения, красные отблески заката видел я на стеклах моего окна. Другой род жизни ведут в Тансонвиле, у г-жи де Сен-Лу, другой род удовольствия получаю я, выходя только ночью и бродя при лунном свете по тем дорогам, где я играл когда-то на солнце; и комната, в которой я усну вместо того, чтобы одеваться к обеду, видна мне издали, когда мы возвращаемся; освещенное лампой окно ее служит единственным маяком в ночи.

Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд; часто моя кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные предположения, из которых она состояла, не лучше, чем мы обособляем, видя бегущую лошадь, последовательные положения, которые нам показывает кинетоскоп. Но я мысленно видел то одну, то другую комнаты, в которых мне доводилось жить, и в заключение вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавших за моим пробуждением: зимние комнаты, где, улегшись в постель, зарываешь голову в гнездышко, которое устраиваешь себе из самых различных предметов: уголка подушки, ближайшей части одеял, конца шали, края кровати и номера вечерней газеты, и в заключение прочно скрепляет все это вместе, согласно птичьим приемам, кое-как там примостившись; где, в морозную погоду, особенное удовольствие доставляет то, что чувствуешь себя отгороженным от внешнего мира (как морская ласточка, которая строит себе гнездо глубоко в земле, в земной теплоте), и где огонь поддерживается в камине всю ночь, так что спишь как бы окутанный широким плащом теплого и дымного воздуха, рассекаемого блеском вспыхивающих головешек, в каком-то неосязаемом алькове, теплой пещере, вырытой в пространстве самой комнаты, горячей и подвижной в своих термических очертаниях зоне, проветриваемой дуновениями, которые освежают нам лицо и исходят от углов, от частей, соседних с окном или удаленных от камина и потому охлажденных; — комнаты летние, где так приятно слиться с теплой ночью, где лунный свет, проникнув через полуоткрытые ставни, бросает свою волшебную лестницу до самого подножия кровати, где спишь почти на открытом воздухе, как синица, раскачиваемая ветерком на кончике солнечного луча; — иногда комната в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер я не был в ней слишком несчастен, и где колонки, легко поддерживавшие потолок, с такой грацией расступались, чтобы указать и приберечь место для кровати; — иногда же, напротив, маленькая и такая высокая, пробуравленная в форме пирамиды в пространстве двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с самой первой секунды я бывал внутренно отравлен незнакомым запахом ветиверии, убежденный во враждебности фиолетовых занавесок и наглом равнодушии стенных часов, которые стрекотали во весь голос, словно меня там не было; где странное и безжалостное зеркало на четырехугольных ножках, наискось перегораживая один из углов комнаты, болезненно врезывалось в мягкую полноту привычного для меня зрительного поля пустым местом, которое являлось там неожиданностью; где мое сознание, часами силясь раздаться, растянуться в высоту, чтобы приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху ее гигантскую воронку, страдало в течение многих тяжелых ночей, между тем как я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно напряженным слухом, задыхаясь от тяжелого запаха, с бьющимся сердцем, пока наконец привычка не изменяла цвета занавесок, не заставляла замолчать часы, не научала жалости косое и жестокое зеркало, не заглушала, а то и вовсе прогоняла запах ветиверии и заметно не уменьшала кажущуюся высоту потолка. Привычка! Искусная целительница, врачующая, правда, медленно и сначала равнодушно глядящая на наши страдания по целым неделям в помещениях, где мы временно пребываем, но которую, несмотря на все, так радостно бывает приобрести, ибо без привычки, при помощи одних только усилий разума, мы не могли бы сделать пригодным для жизни ни одно помещение.

Конечно, теперь я уже совсем проснулся, тело мое описало последний круг, и добрый ангел уверенности остановил все кругом меня, уложил меня под мои одеяла, в моей комнате, и поставил приблизительно на свои места в темноте мой комод, мой письменный стол, мой камин, окно на улицу и две двери. Но напрасно знал я теперь, что не нахожусь в жилищах, чей образ, представленный мне на мгновение неведением пробуждения, пусть не был отчетливым, все же заставил поверить в их возможное присутствие; памяти моей дан был толчок; обыкновенно я не пытался заснуть сразу же после этого; я проводил большую часть ночи в воспоминаниях о нашей прежней жизни, в Комбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции и в других городах, припоминая места и людей, которых я знал там, то, что я сам видел из их жизни, и то, что мне рассказывали другие.

В Комбре, задолго до момента, когда мне нужно было ложиться в постель и оставаться без сна, вдали от матери и бабушки, моя спальня каждый вечер становилась пунктом, на котором сосредоточивались самые мучительные мои заботы. Так как вид у меня бывал очень уж несчастный, то кому-то из моих родных пришла в голову мысль развлекать меня волшебным фонарем, который, в ожидании обеденного часа, приспособляли к моей лампе: наподобие первых архитекторов и живописцев по стеклу готической эпохи, он заменял непрозрачные стены неосязаемыми радужными отражениями, сверхъестественными многокрасочными видениями, похожими на расписные церковные витражи, качавшиеся и появлявшиеся на миг. Но печаль моя лишь возрастала от этого, ибо простое изменение освещения разрушало привычку, приобретенную мною к моей комнате, благодаря которой, если не считать мучительных часов отхода ко сну, она стала для меня выносимой. Теперь я больше ее не узнавал и чувствовал себя в ней неспокойно, как в номере гостиницы или «шале», куда я приехал бы в первый раз, прямо с поезда.

Припрыгивающим шагом своей лошади Голо, исполненный злодейских замыслов, выезжал из маленького треугольного леса, бархатившего темной зеленью склон холма, и приближался, сотрясаясь, к замку бедной Женевьевы Брабантской. Этот замок был рассечен по кривой линии, являвшейся не чем иным, как границей одного из стеклянных овалов, вставленных в рамку, которую задвигали в щель фонаря. Это был только кусок замка, и пред ним расстилался луг, на котором с задумчивым видом стояла Женевьева, одетая в платье с голубым поясом. Замок и луг были желтые, и я знал заранее их цвет, потому что, еще до появления картины на стене, отливающие старым золотом звуки слова *Брабант* с очевидностью показывали мне его. Голо на мгновение останавливался, чтобы с грустным видом выслушать объяснение, которое громко прочитывала моя двоюродная бабушка и которое он, казалось, понимал в совершенстве, послушно согласуя с указаниями текста свою позу, не лишенную некоторой величественности; затем он удалялся тем же припрыгивающим шагом. И ничто не в силах было остановить его медленное движение верхом на лошади. Если фонарь шевелили, я видел, как лошадь Голо продолжает двигаться по оконным занавескам, выпячиваясь на их складках и прячась в углублениях. Тело самого Голо, из вещества столь же сверхъестественного, как и вещество его лошади, приспособлялось к каждому препятствию, к каждому встречавшемуся на его пути предмету, делая из него свой остов и наполняя своим содержанием, будь то даже ручка двери, к которой тотчас прилаживались и на которую неодолимо наплывали его красное платье или его бледное лицо, все такое же благородное и такое же меланхоличное и, по-видимому, нисколько не смущаемое подобными перевоплощениями.

Правда, я находил очаровательными эти световые образы, излучавшиеся, казалось, из меровингского прошлого и окружавшие меня отблесками такой седой старины. Но мне причиняло какое-то невыразимое беспокойство это вторжение тайны и красоты в комнату, которую я с течением времени наполнил своим «я» до такой степени, что обращал на нее так же мало внимания, как на самого себя. Когда прекращалось анестезирующее влияние привычки, я начинал размышлять, начинал испытывать невеселые чувства. Эта дверная ручка моей комнаты, отличавшаяся для меня от всех других дверных ручек мира тем, что, казалось, открывала сама, и мне не приходилось поворачивать ее, до такой степени манипуляции с нею сделались для меня бессознательными, — вот она служила теперь астральным телом Голо. И как только раздавался звонок к обеду, я торопливо бежал в столовую, где большая висячая лампа, ничего не ведавшая о Голо и Синей Бороде, но знавшая моих родных и тушеное мясо, давала свой свет каждый вечер; я спешил упасть в объятия мамы, которую несчастья Женевьевы Брабантской делали мне еще более дорогой, тогда как преступления Голо побуждали тщательнее исследовать мою собственную совесть.

После обеда, увы, я должен был сейчас же покидать маму, которая оставалась разговаривать с другими, в саду, если бывала хорошая погода, или в маленькой гостиной, куда все удалялись, если небо хмурилось. Все, кроме моей бабушки, которая находила, что «сидеть в деревне в комнатах — преступление», и постоянно вступала в спор с моим отцом в дни, когда шел сильный дождь, так как отец запрещал мне оставаться на дворе и отсылал в мою комнату почитать. «Таким способом вы не сделаете его крепким и энергичным, — говорила она печально, — особенно этого малыша, которому так необходимо закалить свои силы и волю». Отец пожимал плечами и бросал взгляд на барометр, так как интересовался метеорологией, мать же, избегая поднимать шум, чтобы не сердить его, смотрела на него с нежной почтительностью, но не слишком пристально, чтобы не казалось, будто она хочет проникнуть в тайну его превосходства. Но что касается бабушки, то во всякую погоду, даже когда дождь лил как из ведра и Франсуаза поспешно вносила в комнаты драгоценные ивовые кресла из страха, как бы они не намокли, ее можно было видеть в пустом саду, под проливным дождем, откидывающей назад растрепанные пряди седых волос, чтобы лучше напитать лоб целительной силой ветра и дождя. Она говорила: «Наконец-то можно дышать!» — и обегала намокшие дорожки, — проведенные слишком симметрично, по собственному вкусу, лишенным чувства природы новым садовником, которого отец мой спрашивал с утра, установится ли погода, — своими мелкими шажками, восторженными и неровными, которые размерялись скорее разнообразными чувствами, возбуждавшимися в душе ее опьянением грозою, могуществом гигиены, уродливостью моего воспитания и симметрией сада, нежели неведомым ей желанием предохранить свою юбку цвета сливы от брызг грязи, испещрявших ее до такой степени, что горничная при виде ее всегда бывала озадачена и приходила в отчаяние.

Если эти рейсы бабушки по саду происходили после обеда, то одна вещь способна была заставить ее вернуться, именно: голос моей двоюродной бабушки, кричавшей ей: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» — в один из моментов, когда круговое движение ее прогулки периодически приводило ее, словно насекомое, к освещенным окнам маленькой гостиной, где были сервированы на ломберном столе ликеры. Действительно, чтобы подразнить ее (она вносила в семью моего отца дух настолько своеобразный, что все подшучивали над ней и дразнили ее), моя двоюродная бабушка побуждала дедушку, которому спиртные напитки были запрещены, выпить несколько капель коньяку. Бедная бабушка входила и горячо упрашивала своего мужа не пробовать коньяку: он сердился, выпивал, несмотря на уговоры, свой глоток, и бабушка уходила, печальная, обескураженная, но с улыбкой на лице, ибо она была настолько смиренна сердцем и добра, что ее нежность к другим и пренебрежение к себе самой и своим страданиям выливались в ее взгляде в улыбку, которая, в противоположность тому, что видишь на лице большинства людей, содержала иронию лишь по отношению к себе самой, для нас же всех глаза ее посылали словно поцелуй: она не могла смотреть на тех, кого очень любила, не лаская их нежно взглядом. Эта пытка, которой подвергала ее моя двоюродная бабушка, это зрелище тщетных уговоров и слабости бабушки, наперед побежденной и напрасно пытающейся отнять у дедушки рюмку с коньяком, принадлежали к числу явлений, к которым впоследствии привыкаешь до такой степени, что смотришь на них со смехом и сам довольно решительно и весело становишься на сторону преследователя, убеждая себя, что тут нет речи о настоящем преследовании; однако в те времена все это наполняло меня таким отвращением, что я бы с удовольствием отколотил мою двоюродную бабушку. Но как только я слышал: «Батильда! Иди скорее, запрети твоему мужу пить коньяк!» — меня охватывало малодушие, и я делал то, что все мы делаем ставши взрослыми, когда перед нами открывается зрелище страданий и несправедливости: я предпочитал не видеть его; я поднимался поплакать на самый верх дома, под самую крышу, в комнатку, расположенную рядом с классной и наполненную запахом ириса, а также дикой черной смородины, выросшей среди камней наружной стены и просунувшей ветку с цветами в полуоткрытое окно. Имевшая назначение более специальное и более прозаическое, комната эта, откуда днем открывался вид до замковой башни Руссенвиль-ле-Пен, долгое время служила мне убежищем, — несомненно потому, что она была единственной, которую мне было позволено запирать на ключ, — для тех моих занятий, которые требовали ненарушимого одиночества: чтения, мечтаний, слез и наслаждения. Увы, я не знал, что гораздо больше, чем маленькие нарушения режима мужем, бабушку мою озабочивали мое слабоволие, мое слабое здоровье и обусловленная ими неверность моего будущего, о котором она размышляла во время этих бесконечных послеполуденных или вечерних прогулок, когда можно было видеть, как то появляется, то исчезает склоненное набок и несколько откинутое назад прекрасное ее лицо с коричневыми изборожденными морщинами щеками, ставшими с наступлением старости почти лиловыми, словно пашня осенью, прикрытыми, когда она выходила на улицу, наполовину приподнятой вуалью, причем на них, вызванная холодом или печальной мыслью, всегда высыхала невольная слеза.

Моим единственным утешением, когда я поднимался наверх ложиться спать, было ожидание мамы, приходившей поцеловать меня в постели. Но это пожелание спокойной ночи длилось так недолго, она так скоро спускалась обратно, что момент, когда я слышал, как она поднимается по лестнице, затем как по коридору, за двойной дверью, раздается легкий шелест ее летнего домашнего платья из голубого муслина, украшенного шнурочками плетеной соломы, был для меня моментом мучительным. Он возвещал мне о моменте, который наступит вслед за ним, когда она покинет меня, когда она будет спускаться обратно. В результате я стал желать, чтобы это прощание, которое я так любил, произошло как можно позже и время, пока мама еще не пришла, затянулось. Иногда, в то мгновение, когда, поцеловав меня, она открывала дверь, чтобы уйти, мне хотелось снова позвать ее, сказать ей: «поцелуй меня еще раз», но я знал, что после этого лицо ее станет сердитым, ибо уступка, которую она делала моей печали и моему возбуждению, поднимаясь поцеловать меня, принося мне этот поцелуй мира, раздражала моего отца, находившего этот ритуал нелепым, и она хотела как-нибудь отучить меня от этой потребности, от этой привычки, и вовсе не была склонна поощрять во мне другую дурную привычку: просить ее, когда она ступала уже на порог, еще раз поцеловать меня. А ее рассерженное лицо разрушало весь покой, который за мгновение перед этим она приносила мне, когда наклоняла к моей постели свое любящее лицо и подавала мне его, как гостию, для причастия мира, в котором мои губы вкушали реальность ее присутствия, дававшего мне силу уснуть. Но эти вечера, когда мама оставалась в моей комнате, в общем, так мало времени, были еще сладкими по сравнению с вечерами, когда к обеду ожидали гостей и когда, по этой причине, она не поднималась прощаться со мной. Гостем бывал обыкновенно г-н Сван, который, помимо нескольких случайных посетителей, был почти единственным лицом, приходившим к нам в Комбре, иногда к обеду по-соседски (что бывало сравнительно редко после этой странной его женитьбы, так как мои родители не хотели принимать его жену), иногда после обеда, без приглашения. Когда вечером, в то время как мы сидели перед домом под большим каштаном вокруг железного стола, к нам доносился с конца сада не громкий и заливчатый звон бубенчика, окроплявший и оглушавший своим металлическим, неиссякаемым и ледяным дребезжанием всех домашних, входивших и отворявших калитку «не позвонившись», но двукратное робкое, овальное и золотистое, звяканье колокольчика для чужих, то все вдруг спрашивали себя: «Гости! Кто б это мог быть?» — хотя все отлично знали, что это мог быть только г-н Сван; моя двоюродная бабушка, во весь голос, чтобы подать нам пример, тоном, который она силилась сделать естественным, говорила нам, чтобы мы перестали шушукаться, так как это крайне невежливо по отношению к посетителю, могущему подумать, что мы говорим сейчас вещи, которые он не должен слышать; на разведки посылалась бабушка, радовавшаяся всякому предлогу пройтись лишний раз по саду и пользовавшаяся им для того, чтобы украдкой вырвать по пути из-под розовых кустов несколько подпорок и придать им таким образом немножко естественности, словно мать, проводящая рукой по голове сына, чтобы взбить ему волосы, которые парикмахер слишком пригладил.

Мы все сидели в ожидании известий о неприятеле, которые должна была доставить нам бабушка, словно был открыт выбор из большого числа возможных врагов, и вскоре дедушка говорил: «Узнаю голос Свана». В самом деле, его узнавали только по голосу; лицо его, с горбатым носом, зелеными глазами, высоким лбом и светлыми, почти рыжими волосами, причесанными в пробор а la Bressant, было трудно разглядеть, так как мы зажигали по возможности меньше света в саду, чтобы не привлекать москитов, и я как ни в чем не бывало шел сказать, чтобы подавали сиропы; бабушка придавала большое значение тому, чтобы не казалось, будто они красуются на столе в виде исключения, только по случаю прихода гостей; она находила, что так будет любезнее. Г-н Сван, несмотря на большую разницу лет, был очень близок с моим дедушкой, являвшимся одним из лучших друзей его отца, человека превосходного, но странного, которому, казалось, достаточно было иногда самого ничтожного пустяка, чтобы охладить его сердечный порыв или изменить течение мысли. Несколько раз в год мне доводилось слышать, как дедушка рассказывал за столом все одни и те же анекдоты относительно поведения г-на Свана-отца в момент смерти жены, от постели которой он не отходил ни днем, ни ночью. Дедушка, который перед этим долго не виделся с ним, поспешил к нему в усадьбу Сванов, расположенную в окрестностях Комбре, и ему удалось выманить своего друга, заливавшегося слезами, из комнаты, где лежала покойница, на то время, когда ее клали в гроб. Они сделали несколько шагов по парку; светило солнце. Вдруг г-н Сван, схватив дедушку под руку, вскричал: «Ах, мой старый друг, какое счастье прогуляться вместе в такую прекрасную погоду! Разве вы не находите красивыми все эти деревья, этот боярышник и новый пруд, с устройством которого вы никогда меня не поздравляли? Экий вы ночной колпак. Чувствуете вы этот ветерок? Ах, что там ни говори, в жизни все же много хорошего, дорогой мой Амедей!» Тут старик внезапно вспомнил о только что скончавшейся жене и, находя, вероятно, очень сложным доискиваться, как он мог в подобную минуту дать увлечь себя радостному порыву, удовольствовался тем, что жестом, который он обыкновенно делал каждый раз, когда перед умом его вставал трудный вопрос, провел рукою по лбу и стал протирать глаза и стекла своих очков. Он не мог утешиться в смерти своей жены, но в течение двух лет, на которые он пережил ее, постоянно говорил дедушке: «Как это странно: я очень часто думаю о моей бедной жене, но не могу много думать о ней сразу». «Часто, но каждый раз понемногу, как бедный папаша Сван» — стало одной из излюбленных фраз дедушки, произносившего ее по самым различным поводам. Мне могло бы показаться, что отец Свана был чудовищем, если бы дедушка, которого я считал безупречным судьей и приговор которого, являясь для меня законом, часто служил мне впоследствии основанием прощать проступки, подлежащие, с моей точки зрения, осуждению, не восклицал: «Да что ты! У него было золотое сердце!»

В течение многих лет, — хотя г-н Сван-сын часто навещал в Комбре мою двоюродную бабушку и родителей моей матери, особенно перед своей женитьбой, — мои родные не подозревали, что он вовсе перестал бывать в обществе лиц, с которыми поддерживала близкие отношения его семья, и что под видом инкогнито, каковым служила для нас фамилия Сван, они принимали у себя, — с простодушием честных содержателей гостиницы, дающих приют у себя, не подозревая об этом, знаменитому разбойнику, — одного из самых элегантных членов Жокей-клуба, ближайшего друга графа Парижского и принца Уэльского, одного из самых обласканных завсегдатаев великосветских салонов Сен-Жерменского предместья.

Неведение, в котором мы пребывали насчет этой блестящей светской жизни Свана, конечно, отчасти было обусловлено его сдержанностью и скрытным характером, но в значительной степени оно объяснялось также и тем, что тогдашние буржуа имели несколько индийское представление об обществе и считали его состоящим из замкнутых каст, где каждый, с самого рождения, находил себя в положении, которое занимали его родители и откуда ничто, за исключением редких случаев блестящей карьеры или неожиданного брака, не способно было вытащить человека и открыть ему доступ в высшую касту. Г-н Сван-отец был биржевым маклером; Сван-сын на всю жизнь обречен был составлять часть касты, в которой состояния, как в категориях лиц, подлежащих обложению, варьируются между таким-то и таким-то доходом. Известен был круг знакомых его отца, известен был, следовательно, круг -его собственных знакомств, круг лиц, с которыми «ему полагалось» водить знакомство. Если у него бывали и другие знакомства, то они принадлежали к числу тех знакомств молодого человека, на которые старые друзья его семьи, каковыми были мои родители, закрывали глаза тем более благожелательно, что он продолжал, с тех пор как стал сиротой, неизменно нас посещать; но можно было смело держать пари, что эти незнакомые нам люди, с которыми он виделся, принадлежали к числу лиц, которым он не посмел бы поклониться, если бы, находясь в нашем обществе, повстречался с ними. Если бы уж нужно было во что бы то ни стало характеризовать Свана каким-нибудь социальным коэффициентом, присущим ему лично, в отличие от других сыновей биржевых маклеров того же ранга, что и его родители, то этот коэффициент оказался бы для него несколько меньшим, потому что, будучи очень простым по внешности и всегда питая «слабость» к старинным предметам и картинам, он жил теперь в старом особняке, куда свез свои коллекции; моя бабушка все мечтала посетить этот особуяк, но он был расположен на Орлеанской набережной, в квартале, который, по мнению моей двоюродной бабушки, было неприлично выбирать себе для жительства. «Действительно ли вы знаток? Я задаю вам этот вопрос в ваших интересах, потому что торговцы наверное водят вас за нос и сбывают вам всякую мазню», — говорила ему моя двоюродная бабушка; она действительно считала его совсем некомпетентным и была невысокого мнения также и об умственном уровне человека, который в разговоре избегал серьезных тем и выказывал большую осведомленность в самых прозаических вещах не только в тех случаях, когда входил в мельчайшие подробности даваемых им нам кулинарных рецептов, но даже когда сестры моей бабушки заговаривали с ним на художественные темы. Когда они просили его высказать свое мнение, выразить свое восхищение какой-нибудь картиной, он хранил почти неприличное молчание и отыгрывался на том, что мог сообщить точные данные о музее, где эта картина находится, и о времени, когда она была написана. Но обыкновенно, желая развлечь нас, он ограничивался тем, что рассказывал каждый раз какую-нибудь новую историю, только что приключившуюся у него с людьми, выбранными из наших знакомых: с аптекарем в Комбре, с нашей кухаркой, с нашим кучером. Конечно, анекдоты эти смешили мою двоюродную бабушку, но она не могла разобрать хорошенько, чем это объяснялось: смешной ли ролью, которую Сван неизменно принимал на себя в них, или остроумием, с каким он их рассказывал: «Ну и тип же вы, можно сказать, господин Сван!» Так как она была единственным членом нашей семьи, отличавшимся некоторой вульгарностью, то старалась показать чужим, когда заходил разговор о Сване, что он мог бы, если бы захотел, жить на бульваре Осман или на авеню де л'Опера, что он был сыном г-на Свана, оставившего ему, вероятно, четыре или пять миллионов, и что, если он живет на Орлеанской набережной, то это просто его причуда. Причуда, которую она, впрочем, считала до такой степени забавной в глазах посторонних, что когда г-н Сван приносил ей в Париже в Новый год традиционную коробку засахаренных каштанов, то она непременно говорила ему, если у нее были в то время гости: «Что же, господин Сван, вы по-прежнему живете подле винных складов, чтобы не опоздать на поезд, когда соберетесь ехать по Лионской железной дороге?» И она искоса посматривала поверх очков, какое впечатление произвели ее слова на других посетителей.

Но если бы моей двоюродной бабушке сказали, что этот Сван, который, в качестве Свана-сына, был вполне «квалифицирован» для того, чтобы быть принятым в любом «хорошем буржуазном доме», у самых почтенных парижских нотариусов или адвокатов (привилегия, которою он, по-видимому, несколько пренебрегал), вел, как бы тайком, жизнь совсем иного рода; что, выйдя от нас в Париже с заявлением, что он отправляется домой спать, он менял дорогу едва только скрывшись за углом и шел в такую гостиную, которую никогда не видели глаза ни одного маклера или биржевого дельца, — то это показалось бы моей двоюродной бабушке столь же неправдоподобным, как могла бы показаться какой-нибудь более начитанной даме мысль быть лично знакомой с Аристеем, относительно которого она знала бы, что после бесед с нею он погружается в лоно царства Фетиды, царства, недоступного взорам смертных, где, по рассказу Вергилия, его принимают с распростертыми объятиями; или, — если взять для сравнения образ, имевший больше шансов прийти ей на ум, ибо она видела его нарисованным на наших десертных тарелочках в Комбре, — как мысль обедать за одним столом с Али-Бабой, который, удостоверившись, что он один, проникнет в пещеру, сверкающую сказочными сокровищами.

Однажды, придя к нам в Париже в гости откуда-то с обеда, Сван извинился, что был во фраке; когда Франсуаза сообщила после его ухода, со слов его кучера, что он обедал «у одной принцессы», — «Да, у принцессы полусвета?» — с веселой иронией ответила моя двоюродная бабушка, пожимая плечами и не поднимая глаз со своего рукоделия.

Словом, моя двоюродная бабушка обращалась с ним высокомерно. Так как она полагала, что Сван должен быть польщен нашими приглашениями, то находила вполне естественным, что летом он никогда не приходил к нам в гости без корзинки персиков или малины из своего сада и после каждого своего путешествия в Италию привозил мне фотографии шедевров искусства.

У нас в доме нисколько не стеснялись посылать за ним, когда нужно было узнать рецепт какого-нибудь изысканного соуса или ананасного салата для больших обедов, на которые его не приглашали, так как не находили в нем достаточного веса, чтобы им можно была блеснуть перед чужими людьми, приходившими в дом впервые. Если разговор касался принцев французского королевского дома: «людей, с которыми мы никогда не будем водить знакомства, ни вы, ни я, и мы обойдемся без этого, не правда ли», — говорила моя двоюродная бабушка Свану, у которого лежало, может быть, в кармане письмо из Твикенгема; она заставляла его аккомпанировать и переворачивать страницы нотной тетради, когда сестра моей бабушки пела, пользуясь для мелких услуг этим человеком, в других местах столь ценимым, — наивное варварство ребенка, играющего музейной вещью с такой беспечностью, словно дешевой рыночной безделушкой. Несомненно, тот Сван, которого знали в то время столько клубменов, был очень отличен от Свана, создаваемого воображением моей двоюродной бабушки, когда вечером, в маленьком садике в Комбре, после того как замолкали два негромких звяканья колокольчика, она напитывала и оживляла всем, что ей было известно о семье Сванов, темную и неясную фигуру, которая обрисовывалась, вслед за бабушкой, на фоне мрака и которую мы узнавали по голосу. Но ведь даже в отношении самых незначительных мелочей повседневной жизни мы не являемся материальной вещью, тожественной для всех, с которой каждый может познакомиться, как с подрядными условиями или с завещанием; наша социальная личность создается мышлением других людей. Даже такой простой акт, как «видеть человека, с которым мы знакомы», является в значительной части актом интеллектуальным. Мы наполняем физическую внешность существа, которое мы видим, всеми ранее составившимися у нас понятиями о нем, и в целостной картине его, мысленно рисуемой нами, эти понятия несомненно играют преобладающую роль. В заключение они с таким совершенством надувают щеки, так точно следуют за линией носа, так хорошо примешиваются к нюансам звучности голоса, — как если бы наш знакомый был только прозрачной оболочкой, — что каждый раз, как мы видим его лицо и слышим его голос, эти наши понятия суть то, что мы вновь находим, то, что мы слышим. Вероятно, в того Свана, которого, создали себе мои родные, они не вкладывали, по неведению, множества особенностей, касающихся его светской жизни, в то время как другие лица, знавшие его с этой стороны, находясь в его присутствии, видели в лице его воплощение изящества, завершенного линией его носа с горбинкой, как своей естественной границей; но мои родные могли зато наполнять это лишенное своего обаяния, порожнее и просторное лицо, глубину этих обесцененных глаз, бесформенным и сладким осадком, — смутное воспоминание, полузабвение, — праздных послеобеденных часов, проведенных вместе за ломберным столом или в саду, во время нашей добрососедской деревенской жизни. Телесная оболочка нашего друга была так плотно напитана всем этим, а также кое-какими воспоминаниями, касавшимися его родителей, что их Сван стал законченным и живым существом, и у меня такое впечатление, будто я покидаю одного человека и обращаюсь к другому, отличному от него, когда в своих воспоминаниях я перехожу от того Свана, с которым впоследствии познакомился очень близко, к этому первому Свану, — к этому первому Свану, в котором я вновь нахожу очаровательные заблуждения моей юности и который к тому же похож не столько на другого Свана, сколько на лиц, с которыми я был знаком в то далекое время, как если бы с нашей жизнью дело обстояло так, как с музеем, где все портреты одной и той же эпохи имеют какое-то фамильное сходство, одну и ту же тональность, — к этому первому Свану, исполненному праздности и пахнувшему большим каштановым деревом, малиной в корзинках и чуточку эстрагоном.

Впрочем, однажды бабушка, обратившись с какой-то просьбой к даме, с которой она познакомилась в Сакре-Кер (и с которой, благодаря нашему представлению о кастах, она не захотела поддерживать отношений, несмотря на взаимную симпатию), — маркизе де Вильпаризи, из знаменитого рода Буйон, — услышала от нее следующие слова: «Мне кажется, вы хорошо знакомы с господином Сваном, большим другом моих племянников де Лом». Бабушка вернулась с визита в восторге от дома, выходившего окнами в сад, в котором г-жа де Вильпаризи советовала ей нанять квартиру, а также от штопальщика и его дочери, державших на дворе лавочку, куда она зашла зашить юбку, которую разорвала на лестнице. Бабушка нашла этих людей совершенством, она заявила, что малютка очаровательна, а штопальщик изысканнейший из людей, каких она когда-либо встречала. Ибо для нее изысканность была вещью совершенно независимой от социального положения. Она была в восторге от одного ответа, данного ей штопальщиком, и говорила маме: «Севинье не сказала бы лучше!» — но зато о племяннике г-жи де Вильпаризи, которого она встретила у нее, она отзывалась: «Ах, дочка, как он вульгарен!»

Однако это замечание, касавшееся Свана, имело следствием не возвышение его в глазах моей двоюродной бабушки, но принижение г-жи де Вильпаризи. Казалось, что уважение, с которым мы, полагаясь на бабушку, относились к г-же де Вильпаризи, возлагало на нее обязанность не совершать ничего такого, что роняло бы ее достоинство в наших глазах, обязанность, которой она не выполняла, зная о существовании Свана и позволяя своим родственникам водить с ним знакомство. «Каким образом она знает Свана? Это особа-то, которую ты выдаешь за родственницу маршала де Мак-Магона!» Это представление моих родных о знакомствах Свана еще более укрепилось у них впоследствии благодаря его женитьбе на женщине самого сомнительного общественного положения, почти кокотке, которую, впрочем, он никогда не пытался представить нам, продолжая приходить один, правда, все реже и реже; моим родным казалось, что по этой женщине они могут судить — предположивши, что именно оттуда он взял ее, — о незнакомой для них среде, в которой он обыкновенно бывал.

Но однажды дедушка прочел в газете, что г-н Сван был одним из самых верных завсегдатаев на воскресных завтраках герцога де X…, отец и дядя которого были чрезвычайно видными государственными людьми в царствование Луи-Филиппа. Между тем дедушка был любопытен по части разных мелких фактов, могущих помочь ему мысленно проникнуть в частную жизнь таких людей, как Моле, как герцог Пакье, как герцог де Брой. Он пришел в восторг, когда узнал, что Сван бывает у людей, которые были знакомы с ними. Моя двоюродная бабушка, напротив, истолковала эту заметку в неблагоприятном для Свана смысле: субъект, выбирающий свои знакомства вне касты, к которой он принадлежит по рождению, вне своего общественного «класса», был в ее глазах каким-то презренным деклассированным существом. Ей казалось, что, таким образом, человек разом отказывался от плода всех дружественных связей с солидными людьми, связей, которые с таким почетом поддерживали и заводили для своих детей предусмотрительные семьи (двоюродная бабушка перестала даже бывать у сына одного нашего друга-нотариуса на том основании, что тот женился на принцессе и спустился, таким образом, в ее глазах из почтенного положения сына нотариуса до положения авантюриста, чего-то вроде лакея или конюха, которых, говорят, королевы дарили иногда своей благосклонностью). Она подвергла осуждению план дедушки расспросить Свана в ближайший вечер, когда он должен был прийти к нам обедать, об этих открытых нами его друзьях. С другой стороны, обе сестры моей бабушки, старые девы, отличавшиеся благородством, но не блиставшие умом, заявили, что не понимают, какое удовольствие может находить их зять в разговоре на такие вздорные темы. Это были особы возвышенного образа мыслей, которые по этой причине не способны были интересоваться тем, что называется сплетнями, хотя бы даже они имели интерес исторический, то есть, говоря вообще, не способны были интересоваться ничем, что не имело прямого отношения к темам эстетическим или моральным. Отсутствие интереса ко всему, имевшему хотя бы подобие близкого или отдалённого отношения к светской жизни, было у них таково, что их слух, — как бы понимая свою бесполезность на то время, когда разговор за столом принимал суетный или даже просто прозаический характер и эти две старые девы не в состоянии были направить его на дорогие для них темы, — оставлял тогда свои воспринимающие органы в состоянии бездействия, так что они подвергались настоящей атрофии. Если в таких случаях дедушке нужно было привлечь внимание двух сестер, то ему приходилось прибегать к физическим способам воздействия, применяемым врачами-психиатрами по отношению к некоторым маниакально-рассеянным пациентам: продолжительному постукиванию ножом по стакану или рюмке, сопровождаемому резким окриком и повелительным взглядом, способам жестоким, которыми эти психиатры часто пользуются и при общении с вполне здоровыми людьми, вследствие ли профессиональной привычки, или же потому, что всех людей они считают немного сумасшедшими.

Они проявили больший интерес, когда, накануне дня, в который Сван должен был прийти к нам обедать и прислал им лично ящик вина Асти, моя двоюродная бабушка, держа номер «Фигаро», где рядом с названием картины, которая была на выставке Коро, стояли слова: «из собрания г-на Шарля Свана», сказала нам: «Вы слышали: Сван удостоился „внимания“ Фигаро?» — «Но ведь я всегда говорила вам, что у него много вкуса», — заметила бабушка. «Ну, разумеется, ты всегда другого мнения, чем *мы*», — ответила двоюродная бабушка, которая, зная, что бабушка никогда не бывала одного мнения с нею, и не будучи очень уверена, что всегда встретит у нас поддержку, хотела вырвать у нас огульное осуждение мнений бабушки, против которых пыталась насильно солидаризировать нас с собою. Но мы остались безмолвными. Сестры бабушки выразили намерение поговорить со Сваном по поводу этой заметки «Фигаро», но двоюродная бабушка отсоветовала им это. Каждый раз, как она замечала в других людях хотя бы самое незначительное превосходство над собой, она убеждала себя, что это не положительное качество, а недостаток, и жалела их, чтобы не пришлось им завидовать. «Мне кажется, что вы не доставите ему удовольствия; по крайней мере, что касается меня, то я отлично знаю; что мне было бы очень неприятно видеть мою фамилию полностью напечатанной, в газете, и я совсем не была бы польщена, если бы мне сказали об этом». Впрочем, она не особенно усердно убеждала сестер бабушки; ибо из отвращения к вульгарности они доводили до такой тонкости искусство маскировать личный намек под замысловатыми иносказаниями, что часто он проходил не замеченным даже тем, к кому был обращен. Что же касается моей матери, то она думала лишь о том, как бы ей добиться от моего отца согласия поговорить со Сваном не о жене его, но о дочери, которую Сван обожал и ради которой, как говорили, в конце концов решился на эту женитьбу. «Тебе стоит сказать ему одно только слово, спросить его, как она поживает. Ведь это очень жестоко по отношению к нему». Но отец сердился: «Ну, нет! У тебя нелепые мысли. Это было бы смешно».

Единственным из всех нас, для кого приход Свана стал предметом мучительной тревоги, был я. Дело в том, что в те вечера, когда у нас бывали чужие или только г-н Сван, мама не поднималась наверх в мою комнату. Я не обедал за общим столом, после обеда шел в сад, затем в девять часов желал всем покойной ночи и отправлялся спать. Я обедал раньше других и приходил потом посидеть за столом до восьми часов, когда мне было приказано подниматься к себе; драгоценный и хрупкий поцелуй, который мама дарила мне обыкновенно в моей постели в момент, когда я засыпал, мне приходилось в таких случаях переносить из столовой в мою комнату и хранить его все время, пока я раздевался, так, чтобы не растаяла его сладость, так, чтобы не рассеялась и не испарилась его летучая сущность; и как раз в те вечера, когда я испытывал потребность в особенно бережном его получении, приходилось брать его, наспех его похищать публично, не имея даже времени и свободы духа, необходимых для того, чтобы внести в свои действия внимательность маньяков, которые стараются не думать ни о чем постороннем в то время, как закрывают дверь, чтобы можно было, когда болезненные сомнения вновь возвратятся к ним, победоносно противопоставить им воспоминание о моменте, когда дверь была ими закрыта. Мы все были в саду, когда раздались два робких звяканья колокольчика. Мы знали, что это был Сван; тем не менее все переглянулись с вопросительным видом и дослали на разведку бабушку. «Обдумайте, как бы поделикатнее поблагодарить его за вино, вы ведь знаете, оно превосходно, и ящик огромный», — посоветовал дедушка свояченицам. «Не вздумайте шушукаться, — сказала двоюродная бабушка. — Как это приятно приходить в дом, где все говорят тихо». — «Ах, это господин Сван. Мы сейчас его спросим, будет ли, по его мнению, завтра хорошая погода», — проговорил отец. Матушка думала, что одно ее слово загладит все несправедливости, которые были причинены Свану в нашей семье после его женитьбы. Она нашла способ отвести его на некоторое время в сторону. Но я последовал за ней; я не мог решиться покинуть ее ни на шаг, будучи полон мыслью, что сейчас мне придется покинуть ее в столовой и что я поднимусь в мою комнату без утешительной надежды на прощальный ее поцелуй в постели. «Расскажите мне, пожалуйста, господин Сван, о вашей дочери, — сказала она ему, — я уверена, что она уже приобрела вкус к красивым вещам, как и ее папа». Но тут подошел дедушка со словами: «Да идите же посидеть вместе с нами на веранде». Матушке пришлось прервать разговор, но этот вынужденный перерыв был для нее только лишним поводом утвердиться в своих благожелательных намерениях, подобно тому как тирания рифмы является для хороших поэтов поводом нахождения наивысших красот. «Мы еще поговорим о ней, когда останемся наедине, — вполголоса сказала она Свану. — Только мать способна понять вас. Я уверена, что и ее мать разделяет мое мнение». Мы все уселись вокруг железного стола. Мне хотелось не думать о тоскливых часах, которые я проведу в одиночестве сегодня вечером в своей комнате, не способный уснуть; я старался убедить себя, что они не имеют никакого значения, потому что завтра же утром я позабуду о них, старался сосредоточиться на мыслях о будущем, которые, словно по мосту, должны перевести меня на другую сторону страшной пропасти, разверзавшейся у моих ног. Но ум мой, напряженный моей заботой и сосредоточенный подобно взгляду, который я бросал на мою мать, не давал доступа никакому постороннему впечатлению. Мысли, правда, проникали в него, но так, что оставляли где-то снаружи всякий элемент красоты или даже просто занятности, способный тронуть или развлечь меня. Как больной, благодаря анестезирующему средству, переносит в полном сознании операцию, которую производят над ним, ничего при этом не чувствуя, так и я мог декламировать любимые стихи или наблюдать усилия дедушки заговорить со Сваном о герцоге д'Одифре-Пакье, и первые не заставили бы меня испытывать никакого волнения, а вторые не вызвали бы у меня улыбки. Эти усилия были бесплодны. Едва только дедушка задал Свану вопрос относительно этого оратора, как одна из сестер бабушки, в ушах которой дедушкин вопрос звучал как глубокое, но неуместное молчание, которое вежливость требовала прервать, обратилась к другой сестре: «Представь себе, Флора, я познакомилась с одной молодой учительницей-шведкой, которая сообщила мне необычайно интересные подробности относительно кооперативов в скандинавских государствах. Нужно будет. как-нибудь пригласить ее к обеду». — «Я вполне разделяю твое мнение, — ответила сестра ее Флора, — но я тоже не потеряла даром времени. Я встретила у господина Вентейля очень осведомленного старика, который хорошо знаком с Мобаном и которому Мобан самым подробным образом объяснил, к каким приемам он прибегает, создавая роль. Это ужасно интересно. Это сосед господина Вентейля; я ничего о нем не знала; он очень любезен». — «Не у одного только господина Вентейля есть любезные соседи», — воскликнула при этом заявлении сестры моя двоюродная бабушка Селина голосом, которому робость придала силу, а нарочитость сделала неестественным, бросая при этом на Свана то, что она называла «многозначительным взглядом». В это самое время бабушка Флора, понявшая, что эта фраза была благодарностью Селины за вино Асти, также посмотрела на Свана с видом, выражавшим признательность, смешанную с иронией, просто ли для того, чтобы подчеркнуть остроумный прием своей сестры, потому ли, что она завидовала Свану за то, что тот вдохновил ее, или же, наконец, потому, что не могла удержаться от насмешки над ним, считая, что он подвергается неприятному для него допросу. «Мне кажется, что нам удастся пригласить этого господина к обеду, — продолжала Флора, — когда наводишь его на разговор о Мобане или о г-же Матерна, он часами говорит без умолку». — «Это, должно быть, страшно увлекательно», — вздохнул дедушка, ум которого природа, к несчастью, совершенно позабыла наделить способностью проявлять страстный интерес к шведским кооперативам или к приемам создания Мобаном своих ролей, подобно тому как она позабыла снабдить ум сестер моей бабушки крупинкою соли, без которой трудно найти вкус в рассказах об интимной жизни Моле или графа Парижского. «Вы знаете, — обратился Сван к дедушке, — то, что я собираюсь сказать вам, имеет гораздо больше отношения к заданному вами вопросу, чем кажется на первый взгляд, ибо многие стороны жизни с тех пор не так уж изменились. Перечитывая сегодня утром Сен-Симона, я нашел одно место, которое покажется вам занятным. Оно находится в томе, где герцог рассказывает о своем пребывании в Испании в качестве посла; этот том не из лучших, он содержит в себе просто дневник, но, во всяком случае, дневник чудесно написанный, что выгодно отличает его от скучнейших газет, которые мы считаем себя обязанными читать ежедневно утром и вечером». — «Я не согласна с вами, бывают дни, когда чтение газет доставляет мне большое удовольствие…» — перебила его бабушка Флора, желая показать, что она прочла заметку Свана о Коро в «Фигаро». «Когда они сообщают об интересующих нас вещах или людях!» — поддала бабушка Селина. «Я этого не отрицаю, — отвечал удивленный Сван. — Я лишь ставлю в упрек газетам то, что изо дня в день они привлекают наше внимание к вещам незначительным, тогда как мы читаем всего каких-нибудь три или четыре раза в жизни книги, в которых содержатся вещи существенные. Раз уж мы лихорадочно разрываем каждое утро бандероль газеты, то следовало бы изменить положение вещей и печатать в газете, ну, не знаю, скажем… „Мысли“ Паскаля! — (Он произнес это слово тоном иронически-торжественным, чтобы не произвести впечатления педанта.) — И, напротив, в томе с золотым обрезом, который мы раскрываем один раз в десять лет, — прибавил он, свидетельствуя то пренебрежительное отношение к светской жизни, которое напускают на себя некоторые светские люди, — нам следует читать о том, что королева эллинов отправилась в Канн или что принцесса Леонская дала костюмированный бал. Только при этих условиях будет соблюдено правильное соотношение». Но, досадуя на себя за то, что позволил себе, хоть и вскользь, затронуть серьезные темы: «Ну и разговорец мы затеяли, — сказал он иронически, — не знаю, с чего это мы забрались на эти вершины, — и, обернувшись к дедушке: — Итак, Сен-Симон рассказывает, как Молеврье имел смелость подать руку его сыновьям. Вы знаете, тот самый Молеврье, о котором герцог говорит: „Никогда я не видел в этой неуклюжей бутылке ничего, кроме дурного настроения, грубости и глупости“». — «Неуклюжие они так или нет, но мне известны бутылки, наполненные совсем другим содержимым», — с живостью сказала Флора, считавшая своей обязанностью в свою очередь поблагодарить Свана, ибо вино Асти было преподнесено обеим сестрам. Селина расхохоталась. Опешивший Сван продолжал: «Не знаю, было ли это невежество или подвох, пишет Сен-Симон, но только он вздумал подать руку моим детям. Я вовремя заметил и успел помешать». Дедушка уже приходил в восторг по поводу «невежества или подвоха», но м-ль Селина, у которой фамилия Сен-Симон — писатель! — предотвратила полную анестезию слуховых способностей, уже негодовала: «Как? Вы восхищаетесь этим? Хорошенькое дело, нечего сказать!

Что же это, однако, может означать? Чем один человек хуже другого? Не все ли равно, герцог он или конюх, раз он обладает умом и сердцем? Прекрасная система воспитания детей была у вашего Сен-Симона, если он возбранял им пожимать руку честного человека. Но ведь это попросту гнусно. И вы решаетесь это цитировать?» Тут дедушка, чувствуя, при такой обструкции, бесплодность дальнейших попыток побудить Свана рассказать истории, которые его бы позабавили, с раздражением обращался вполголоса к маме: «Напомни-ка мне стих, которому ты меня научила и который дает мне такое облегчение в подобные минуты. Ах да: „Бог ненависть внушил нам к доблестям иным!“ Ах, как это хорошо!»

Я не спускал глаз с мамы, зная, что мне не разрешат оставаться за столом до конца обеда и что, не желая причинять неудовольствие отцу, мама не позволит мне поцеловать ее несколько раз подряд на глазах у всех, как я делал это в своей комнате. По этой причине я решил заранее приготовиться к этому поцелую, который будет таким кратким и мимолетным, когда буду сидеть в столовой за обеденным столом и почувствую приближение часа прощанья; решил сделать из него все, что мог сделать собственными силами: выбрать глазами местечко на щеке, которое я поцелую, и настроиться на соответственный лад с целью иметь возможность, благодаря этому мысленному началу поцелуя, посвятить всю ту минуту, которую согласится уделить мне мама, на ощущение ее щеки у моих губ, подобно художнику, который, будучи ограничен кратковременными сеансами, заранее приготовляет свою палитру и делает по памяти, на основании прежних эскизов, все то, для чего ему не нужно, строго говоря, присутствие модели. Но вот, еще до звонка к обеду, дедушка совершил бессознательную жестокость, сказав: «У малыша утомленный вид, ему нужно идти спать. К тому же сегодня обед будет поздно». Отец, который не соблюдал так пунктуально, как бабушка и мама, молчаливо заключенного между нами соглашения, поддержал его: «Да, да, ступай-ка спать». Я хотел поцеловать маму, но в этот момент раздался звонок, приглашавший к обеду. «Нет, нет, оставь мать в покое, довольно будет тебе пожелать ей покойной ночи, эти нежности смешны. Ну, ступай же!» И мне пришлось уйти без напутственного поцелуя; пришлось всходить по ступенькам лестницы, как говорит народное выражение, «скрепя сердце», поднимаясь вопреки сердцу, хотевшему вернуться к маме, потому что она не дала ему своим поцелуем позволения следовать со мной. Эта проклятая лестница, по которой мне всегда было так мучительно подниматься, пахла лаком, и ее запах как бы пропитывал и закреплял особенный вид печали, испытываемой мною каждый вечер, тем самым делая её, может быть, еще более жестокой для моей чувствительности, потому что в этой обонятельной форме разум мой был бессилен сопротивляться ей. Когда мы спим и жестокая зубная боль воспринимается нами еще в виде молодой девушки, которую мы несколько сот раз подряд пытаемся вытащить из воды, или в виде стиха Мольера, который мы безостановочно повторяем, — какое тогда великое облегчение проснуться и дать возможность нашему разуму освободить мысль о зубной боли от всякого героического или ритмического наряда! Нечто обратное этому облегчению испытывал я, когда тоска подниматься к себе в комнату проникала в меня бесконечно быстрее, почти мгновенно, коварно и внезапно, благодаря вдыханию — гораздо более ядовитому, чем проникновение рассудочного представления, — запаха лака, свойственного этой лестнице. По приходе к себе в комнату мне надо было заткнуть все отверстия, закрыть ставни, собственноручно вырыть для себя могилу, откинув одеяла на своей кровати, облечься в саван в виде ночной рубашки. Но, прежде чем похоронить себя в железной кровати — поставленной в моей комнате, потому что летом мне было очень жарко под репсовым пологом большой кровати, — я совершил бунтарское движение, я вздумал прибегнуть к уловке приговоренного. Я написал матери, умоляя ее подняться ко мне по одному важному делу, которое не мог сообщить ей в письме. Но я очень боялся, как бы Франсуаза, кухарка моей тети, которой поручалось смотреть за мной во время моего пребывания в Комбре, не отказалась снести вниз мою записку. Я сильно подозревал, что передача моего поручения матери при гостях покажется ей столь же невозможной, как вручение театральным капельдинером письма актеру, находящемуся на сцене. По отношению к вещам, какие можно делать и каких делать нельзя, у нее был кодекс строгий, обширный, тонкий и нетерпимый, со множеством неуловимых или пустых различений (что сообщало ему характер тех древних законов, которые, наряду с жестокими предписаниями, вроде предписания убивать грудных младенцев, запрещают, с преувеличенной щепетильностью, варить козленка в молоке его матери или употреблять в пищу седалищный нерв животного). Кодекс этот, если судить о нем по внезапному упрямству, с каким она отказывалась исполнять некоторые наши поручения, казалось, предусматривал такую сложность общественных отношений и такие светские тонкости, которых ничто в окружавшем Франсуазу и в ее жизни деревенской служанки не могло ей внушить; приходилось предположить, что в ней было заключено весьма древнее французское прошлое, благородное и плохо понятое, как в тех промышленных городах, где старые здания свидетельствуют о существовании в них некогда придворной жизни и где рабочие химического завода окружены во время производства тончайшими скульптурами, изображающими чудо о Святом Теофиле или четырех сыновей Эмона. В настоящем случае статья ее кодекса, в силу которой было маловероятно, чтобы, исключая разве пожара, Франсуаза пошла беспокоить маму в присутствии г-на Свана из-за такой незначительной личности, как я, выражала просто почтение, питаемое ею не только к своим господам — подобно почтению к мертвым, духовенству и королям, — но также и к чужому человеку, которому оказывают гостеприимство; почтение, может быть, и тронувшее бы меня, если бы я прочел о нем в книге, но всегда раздражавшее меня на ее устах благодаря серьезному и умильному тону, каким она выражала его; оно было мне особенно ненавистно в тот вечер, так как священный характер, придаваемый ею обеду, мог иметь своим следствием ее отказ нарушить его церемониал. Но чтобы повысить свои шансы на успех, я не поколебался солгать и сказал, что я вовсе не по своему желанию написал маме, но мама, расставаясь со мной, наказала мне не забыть прислать ей ответ относительно одной вещи, которую она просила меня поискать; и она наверное очень рассердится, если ей не будет передана эта записка. Мне кажется, что Франсуаза не поверила мне, ибо, подобно первобытным людям, чувства которых обладали гораздо большей остротой, чем наши, она немедленно различала, по признакам, неуловимым для вас, всю правду, которую мы хотели от нее скрыть; в продолжение пяти минут она разглядывала конверт, жак если бы исследование бумаги и вид почерка способны были пролить ей свет на природу содержимого или научить, какую статью своего кодекса она должна применить. Затем она вышла с покорным видом, который, казалось, обозначал: «Что за несчастье для родителей иметь такое дитя!» Через минуту она возвратилась сказать мне, что еще только кушают мороженое и что буфетчику невозможно в настоящий момент передать письмо на глазах у всех, но что когда будут полоскать рот, то она найдет способ вручить его маме. Тоска моя сразу пропала; теперешнее мгновение было уже не тем, что мгновение предшествующее, когда мне приходилось расстаться с мамой до завтра, потому что моя записочка вскоре, рассердив ее без сомнения (рассердив вдвойне, ибо моя выходка сделает меня смешным в глазах Свана), позволит мне все же незримо и с восхищением проникнуть в ту же комнату, в которой находится она, и шепнет ей обо мне на ухо; потому что эта столовая, запретная и враждебная, где, еще только мгновение тому назад, само мороженое — «гранитное» — и стаканы для полосканья рта, казалось мне, таят в себе наслаждения губительные и смертельно унылые, так как мама вкушала их вдали от меня, — эта столовая открывала для меня свои двери и, подобно налившемуся плоду, разрывающему свою кожуру, собиралась брызнуть, излить в самую глубину моего истомленного сердца внимание мамы, когда она будет читать мои строки. Теперь я не был больше отделен от нее; преграды рушились, сладостная нить соединяла нас. И это было еще не все: мама, без сомнения, придет ко мне!

Мне казалось тогда, что если бы Сван прочел мое письмо и угадал его цель, то очень посмеялся бы над только что испытанными мною мучениями; между тем, напротив, как я узнал об этом позже, тоска, подобная моей, была мукой долгих лет его жизни, и никто, может быть, не способен был бы понять меня так хорошо, как он; тоску эту, которую испытываешь, думая, что любимое существо веселится где-то, где тебя нет, куда ты не можешь пойти, — эту тоску дала ему познать любовь, любовь, для которой она как бы предназначена, которая внесет в нее определенность, придаст ей настоящее ее лицо; в тех же случаях, как это было, например, со мною, когда тоска эта проникает в нас прежде, чем совершила свое появление в нашей жизни любовь, она носится в ожидании любви, неясная и свободная, без определенного устремления, служа сегодня одному чувству, а завтра другому, то сыновней любви, то дружбе с товарищем. И радость, которую я почувствовал, совершая свой первый опыт, когда Франсуаза вернулась сказать мне, что письмо мое будет передано, — Сван тоже изведал ее, эту обманчивую радость, доставляемую нам каким-нибудь другом, каким-нибудь родственником любимой нами женщины, когда, подходя к гостинице или театру, где она находится, направляясь на какой-нибудь бал, вечеринку или премьеру, где он встретится с ней, друг этот замечает, как мы блуждаем у подъезда в тщетном ожидании какого-нибудь случая снестись с нею. Он узнаёт нас, запросто подходит к нам, спрашивает нас, что мы здесь делаем. И когда мы выдумываем, будто нам нужно сказать его родственнице или знакомой нечто крайне нужное, он уверяет нас, что нет ничего проще, приглашает нас войти в вестибюль и обещает прислать ее к нам через пять минут. Как мы любим его, — как в эту минуту я любил Франсуазу, — благожелательного посредника, который, благодаря одному своему словечку, сделал вдруг для нас выносимым, человечным и почти милым непонятный инфернальный праздник, в недрах которого, нам кажется, враждебные вихри, порочные и сладостные, увлекают далеко от нас, заставляют насмехаться над нами ту, кого мы любим. Если судить по нему, по родственнику, подошедшему к нам и тоже являющемуся одним из посвященных в жестокие таинства, другие приглашенные на праздник не содержат в себе ничего демонического. Эти недоступные и терзающие нас часы, когда она вкушает неведомые нам наслаждения, — вдруг чрез нежданную брешь мы проникаем в них; вдруг одно из мгновений, последовательность которых составляет их, мгновение такое же реальное, как и прочие, даже, может быть, более важное для нас, потому что наша любовница в большей степени участвует в нем, мы представляем себе, мы им обладаем, мы принимаем в нем участие, мы почти что создали его: мгновение, когда ей скажут, что мы здесь, рядом, в вестибюле. И, без сомнения, другие мгновения праздника не должны обладать сущностью очень отличной от сущности этого мгновения, не должны содержать в себе ничего более сладостного, что давало бы нам основание так мучиться, ибо благожелательный друг сказал нам: «Но ведь она с восторгом спустится к вам! Ей доставит гораздо больше удовольствия поговорить с вами, чем скучать там наверху». Увы! Сван по опыту знал, что добрые намерения третьего лица не властны над женщиной, раздраженной тем, что ее преследует и не дает ей покоя даже на празднике человек, которого она не любит. Часто друг спускается обратно один.

Мама не пришла и, пренебрегая моим самолюбием (весьма чувствительным к тому, чтобы басня о поисках, результат которых она будто бы просила меня сообщить ей, не была разоблачена), велела Франсуазе передать мне: «Ответа нет». Впоследствии мне часто приходилось слышать, как швейцары шикарных гостиниц или лакеи увеселительных заведений передавали эти слова какой-нибудь бедной девушке, которая изумлялась: «Как, он ничего не сказал, но ведь это невозможно! Вы же передали мое письмо. Ну хорошо, я подожду еще». И — подобно тому, как она неизменно уверяет, что ей вовсе не нужен добавочный газовый рожок, который швейцар хочет зажечь для нее, и остается ждать, слыша только, как изредка обмениваются между собой замечаниями о погоде швейцар и лакей И как швейцар, видя приближение назначенного часа, вдруг посылает лакея освежить во льду напиток одного из постояльцев, — отклонив предложение Франсуазы приготовить мне настойку или остаться подле меня, я позволил ей возвратиться в буфетную, лег в постель и закрыл глаза, стараясь не слышать голосов моих родных, пивших кофе в саду. Но через несколько секунд я почувствовал, что, послав маме мою записку и настолько приблизившись к ней — под страхом рассердить ее, — что, казалось, меня уже касается дуновение момента, когда она вновь появится передо мной, я этим отрезал себе возможность заснуть, не увидев ее, и биения моего сердца с каждой минутой становились все более мучительными, так как я только увеличивал свое возбуждение тем, что стал убеждать себя успокоиться и подчиниться своей жестокой судьбе. Вдруг тоска моя пропала, блаженство наполнило меня, как это бывает, когда начинается действие сильного лекарства, унимающего бодь; я принял решение оставить все попытки заснуть, не повидавшись с мамой, решил поцеловать ее во что бы то ни стало в тот момент, когда она будет подниматься в свою спальню, хотя бы этот поцелуй стоил мне продолжительной ссоры с нею впоследствии. Покой, наступивший по окончании моих мучений, а также мое ожидание, моя жажда опасности и страх перед нею привели меня в состояние необыкновенно радостного возбуждения. Я бесшумно открыл окно и сел на кровати, почти не двигаясь, из боязни, как бы меня не услышали внизу. На дворе предметы, казалось, тоже застыли в немом внимании, чтобы не тревожить лунного света, который, удваивая и отодвигая каждый из них протянутой перед ним тенью, более плотной и вещественной, чем сам предмет, сделал пейзаж тоньше и в то же время вытянул его подобно развернутому чертежу, сложенному раньше в виде гармоники. То, что ощущало потребность в движении, например листва каштана, шевелилось. Но мелкий ее трепет, охватывавший ее всю целиком и выполненный, вплоть до нежнейших нюансов, с безупречным изяществом, не распространялся на окружающее, не смешивался с ним, оставался ограниченным в пространстве. На фоне этой тишины, которая ничего не поглощала в себя, самые отдаленные шумы, те, вероятно, что исходили из садов, расположенных на другом конце города, воспринимались во всех своих деталях с такой законченностью, что, казалось, этим эффектом дальности они обязаны только своему pianissimo, подобно тем мотивам под сурдинку, так хорошо исполняемым оркестром консерватории, которые, несмотря на то что для слушателей не пропадает ни одна их нота, кажутся, однако, доносящимися откуда-то издалека и при восприятии которых все старые абоненты, — а также сестры моей бабушки, когда Сван уступал им свои места, — напрягали слух, как если бы они слышали отдаленное движение марширующей колонны, еще не повернувшей на уяицу Тревиз.

Я знал, что поступок, на который я решался, мог извлечь для меня, со стороны моих родителей, самые тяжелые последствия, гораздо более тяжелые, чем мог бы предположить человек посторонний, — последствия, которые, с его точки зрения, могла повлечь за собою только какая-нибудь действительно позорная провинность. Но в системе моего воспитания лестница провинностей была не такова, как в системе воспитания других детей, и меня приучили помещать наверху ее (вероятно потому, что от них меня необходимо было наиболее заботливо оберегать) проступки, которые, как это в настоящее время ясно для меня, мы совершаем, уступая какому-нибудь нервному импульсу. Но в те времена слово это не произносилось передо мной, этот источник не назывался, так как у меня могло бы сложиться мнение, что мне простительно поддаваться такого рода нервным побуждениям или даже, может быть, невозможно им противостоять. Я, однако, легко узнавал эти проступки по предварявшему их тоскливому состоянию и по суровости следовавшего за ними наказания; и я знал, что совершаемая мной провинность была того же рода, что и те, за которые я получал суровую кару, хотя и бесконечно более серьезная. Если я выйду навстречу моей матери в момент, когда она будет подниматься в свою спальню, и она увидит, что я встал с постели, чтобы еще раз пожелать ей спокойной ночи в коридоре, меня не оставят больше в доме, меня завтра же отправят в коллеж, в этом я не сомневался. Ну, что ж! Если бы даже я должен был выброситься из окна пять минут спустя, это меня бы не остановило. Теперь у меня было одно лишь желание: увидеть маму, сказать ей «спокойной ночи»; я зашел слишком далеко по пути, ведущему к осуществлению этого желания, и не мог бы уже повернуть назад.

Я услышал шаги моих родных, ходивших провожать Свана; и когда колокольчик у калитки известил меня, что он ушел, я прокрался к окну. Мама спрашивала отца, понравилась ли ему лангуста и просил ли Сван положить ему еще раз кофейного и фисташкового мороженого. «Я нашла его неважным, — сказала мать, — я думаю, что в следующий раз нужно будет попробовать другой запах». — «Удивительно, как Сван меняется, — заметила двоюродная бабушка, — он уже старик!» Моя двоюродная бабушка до такой степени привыкла всегда видеть в Сване все одного и того же юношу, что была изумлена, найдя его вдруг старше того возраста, который она продолжала ему давать. Впрочем, все мои родные начинали находить в нем ненормальную, преждевременную, постыдную и заслуженную старость, наблюдающуюся только у холостяков, людей, день которых, не имеющий «завтра», кажется более длинным, чем у других, потому что для них он пуст и с самого утра мгновения прибавляются в нем одно к другому, без последующего разделения их между его детьми. «Я думаю, что у него много хлопот со своей женушкой, живущей на глазах всего Комбре с неким господином де Шарлюс. Это притча во языцех». Мать заметила, что у него, однако, вид не столь грустный в последнее время. «И он не так часто делает теперь жест, унаследованный им от своего отца: не протирает глаза и не проводит рукой по лбу. По-моему, он, в сущности, не любит больше эту женщину». — «Понятно, он ее больше не любит, — ответил дедушка. — Я давно уже получил от него письмо на эту тему, с которым постарался не считаться и которое не оставляет никаких сомнений насчет его чувств — по крайней мере, любви — к своей жене. Но Бог с ним! Почему же вы, однако, не поблагодарили его за Асти?» — прибавил дедушка, обращаясь к свояченицам. «Как не поблагодарили? Простите, мне кажется, я сделала это достаточно тонко и деликатно», — ответила бабушка Флора. «Да, ты прекрасно это устроила: я была от тебя в восторге», — сказала бабушка Селина. «Но ведь и ты тоже нашлась очень ловко». — «Да, я очень довольна своей фразой о любезных соседях». — «Как, вы называете это поблагодарить? — воскликнул дедушка. — Я прекрасно слышал ваши замечания, но, убейте меня, мне не пришло в голову, что они относятся к Свану. Можете быть уверены, что он ничего не понял». — «Ну, это неизвестно. Сван не дурак; я уверена, что он оценил их. Не могла же я, в самом деле, назвать ему число бутылок и цену вина!» Отец и мать остались одни и сидели некоторое время молча; затем отец сказал: «Ну, если хочешь, пойдем спать». — «Если тебе угодно, мой друг, хотя мне ни капельки спать не хочется; не может быть, однако, чтобы причиной этого было невинное кофейное мороженое; но я вижу свет в буфетной, и так как бедная Франсуаза ожидала меня, то я попрошу ее расстегнуть мне платье, пока ты будешь раздеваться». И мама открыла решетчатую дверь из передней на лестницу. Вскоре я услышал, как она поднимается закрыть в своей комнате окно. Я бесшумно проскользнул в коридор; сердце мое билось так сильно, что я с трудом подвигался вперед, но оно, по крайней мере, билось теперь не от тоски, а от страха и радости. Я увидел внизу на лестнице свет, бросаемый маминой свечой. Потом я увидел ее самое; я устремился к ней. В первое мгновение она посмотрела на меня с удивлением, не понимая, что случилось. Потом лицо ее приняло гневное выражение; она не говорила мне ни слова; и действительно, за гораздо меньшие проступки со мной не разговаривали по нескольку дней. Если бы мама промолвила мне хотя бы одно только слово, то это значило бы, что со мной можно говорить, и это, может быть, показалось бы мне еще более ужасным, как знак того, что, по сравнению с серьезностью наказания, которому мне предстоит подвергнуться, молчание и даже ссора сущие пустяки. Слово было бы равносильно спокойствию, с которым отвечают слуге после того, как принято решение его рассчитать; поцелуем, который дают сыну, отправляющемуся под знамена, и в котором ему было бы отказано, если бы речь шла о какой-нибудь двухдневной размолвке с ним. Но тут мама услышала шаги отца, поднимавшегося из туалетной, куда он ходил раздеваться, и, во избежание сцены, которую он устроил бы мне, сказала, задыхаясь от гнева: «Беги прочь скорее, беги, пусть, по крайней мере, отец не увидит, что ты здесь торчишь как сумасшедший!» Но я твердил ей: «Приходи попрощаться со мной», — устрашенный видом поднимавшегося по стене отблеска свечи отца, но также пользуясь его приближением как средством пошантажировать, в надежде, что мама, испугавшись, как бы отец не застал меня здесь, если она будет упорствовать в своем отказе, согласится сказать мне: «Ступай в свою комнату, я сейчас приду». Но было слишком поздно: отец стоял перед нами. Невольно я пробормотал слова, которых, впрочем, никто не услышал: «Я пропал!»

Этого, однако, не случилось. Отец сплошь и рядом отказывал мне в вещах, на которые мне было дано согласие хартиями более общего характера, октроированными матерью и бабушкой, так как он не считался с «принципами» и пренебрегал «правами человека». По совершенно случайной причине, или даже вовсе без причины, он отменял в последний момент какую-нибудь прогулку, настолько привычную, настолько освященную обычаем, что лишение ее являлось клятвопреступлением, или же, как он сделал это сегодня вечером, задолго до ритуального часа объявлял мне: «Ступай спать, никаких объяснений!» Но именно потому, что отец мой был лишен принципов (в смысле моей бабушки), его, строго говоря, нельзя было назвать человеком нетерпимым. Он бросил на меня изумленный и сердитый взгляд, затем, когда мама взволнованным голосом объяснила ему в нескольких словах, что случилось, сказал ей: «Ну, что же, пойди с ним; раз ты говорила, что тебе не хочется спать, останься с ним немного в его комнате, мне ничего не нужно». — «Но, друг мой, — робко ответила мать, — хочу я спать или нет, это нисколько не меняет дела, нельзя приучать этого ребенка…» — «Но речь идет не о том, чтобы приучать, — сказал отец, пожимая плечами, — ты же видишь, что он огорчен, у него совсем несчастный вид, у этого малыша; не палачи же мы, в самом деле! Вот так славно будет, если ты окажешься причиной его болезни! Так как у него в комнате две кровати, то вели Франсуазе приготовить тебе большую кровать и проведи эту ночь с ним. Ну, покойной ночи; я не такой нервный, как вы, усну и один».

Отца нельзя было благодарить; он был бы раздражен тем, что он называл сантиментами. Я не решался сделать ни одного движения; он стоял еще перед нами, высокий, в белом ночном халате и с повязкой из фиолетового и розового индийского кашемира (он устраивал себе эту повязку с тех пор, как стал страдать невралгиями) в позе Авраама — на гравюре с фрески Беноццо Гоццоли, подаренной мне г-ном Сваном, — приказывающего Сарре оторваться от Исаака. Много воды утекло с тех пор. Лестницы и стены, на которой я увидел медленное приближение отблеска свечи, давно уже не существует. Во мне тоже многое погибло из того, что, мне казалось, будет существовать всегда, и возникло много нового, родившего новые горести и новые радости, которых я не мог бы предвидеть тогда, подобно тому как тогдашние горести и радости с трудом поддаются моему пониманию в настоящее время. Давно прошло то время, когда отец мог сказать маме: «Ступай с мальчиком». Возможность таких часов навсегда исключена для меня. Но с недавних пор я стал очень хорошо различать, если настораживаю слух, рыдания, которые я имел силу сдержать в присутствии отца и которые разразились лишь после того, как я остался наедине с мамой. В действительности они никогда не прекращались; и лишь потому, что жизнь теперь все больше и больше замолкает кругом меня, я снова их слышу, как те монастырские колокола, которые до такой степени бывают заглушены днем уличным шумом, что их совсем не замечаешь, но которые вновь начинают звучать в молчании ночи.

Мама провела эту ночь в моей комнате; после того, как мною совершен был проступок такого сорта, что я примирился уже с необходимостью покинуть семью, родители мои соглашались дать мне больше, чем я когда-нибудь добивался от них в награду за самое примерное поведение. Даже сейчас, когда отец удостаивал меня этой милости, она заключала в себе нечто произвольное и незаслуженное, как и все вообще действия отца, определявшиеся скорее случайными соображениями, чем заранее обдуманным планом. Может быть, даже то, что я называл его суровостью, когда он посылал меня спать, меньше заслуживало этого названия, чем суровость моей матери или бабушки, ибо натура его, более отличная в некоторых отношениях от моей, чем натура матери и бабушки, вероятно, мешала ему до сих пор почувствовать, насколько я бывал несчастен каждый вечер, — обстоятельство, отлично известное моей матери и бабушке; но они слишком любили меня, чтобы согласиться избавить меня от страдания; они хотели научить меня властвовать над ним, чтобы уменьшить мою нервную чувствительность и укрепить мою волю. Что же касается моего отца, любовь которого ко мне носила другой характер, то я не знаю, хватило ли бы у него для этого мужества: единственный раз, когда он понял, что я чувствую себя нехорошо, он сказал матери: «Ступай, утешь его». Мама осталась на всю ночь в моей комнате и, как бы не желая испортить ни одним упреком этих часов, столь отличавшихся от того, на что я был вправе надеяться, ответила Франсуазе, когда та, поняв, что происходит нечто необыкновенное: мама сидит подле меня, держит меня за руку и дает мне плакать, не журя меня, — спросила ее: «Барыня, что это случилось с барчуком, почему он так плачет?» — «Он сам не знает почему, Франсуаза, у него нервы расходились; приготовьте мне поскорее постель и отправляйтесь спать». Таким образом, в первый раз печаль моя рассматривалась не как достойный наказания проступок, но как непроизвольная болезнь, получавшая официальное признание; как расстройство нервов, за которое я не был ответствен; я чувствовал облегчение оттого, что не должен был больше примешивать сомнений к горечи моих слез; я мог плакать безгрешно. Кроме того, я не в малой степени гордился перед Франсуазой крутым поворотом событий, который, через какой-нибудь час после того, как мама отказалась подняться в мою комнату и пренебрежительно велела мне ложиться спать, возвышал меня до достоинства взрослого, сразу сообщал моему горю своего рода зрелость, позволял мне плакать законно. Я должен был, следовательно, чувствовать себя счастливым, — я не был счастлив. Мне казалось, что мама впервые сделала мне уступку, которая должна быть для нее мучительной; что это было ее первое отречение от идеала, созданного ею для меня, и что в первый раз она, столь мужественная, признавала себя побежденной. Мне казалось, что если я только что одержал победу, то это была победа над ней, что моя победа была подобна победе болезни, забот, возраста, что она расслабляла ее волю, насиловала ее разум и что этот вечер, начинавший новую эру, останется в ее жизни как печальная дата. Если бы у меня хватило теперь смелости, я сказал бы маме: «Нет, я не хочу; не ложись здесь». Но мне была известна ее практическая мудрость, ее реализм, как сказали бы в настоящее время, умерявший в ней пылко-идеалистическую натуру моей бабушки, и я знал, что теперь, когда зло совершено, она предпочтет дать мне насладиться целительным покоем и не станет тревожить отца. Несомненно, прекрасное лицо моей матери сияло еще молодостью в тот вечер, когда она так мягко держала меня за руки и пыталась унять мои слезы; но мне казалось, что как раз этого-то и не должно было быть, что ее гнев был бы для меня менее тягостен, чем эта новая нежность, которой не знало мое детство; мне казалось, что нечестивой и воровской рукой я только что провел в душе ее первую морщину и был причиной появления у нее первого седого волоса. От этой мысли рыдания мои удвоились, и я увидел тогда, что мама, никогда не позволявшая себе расстраиваться со мной, готова вдруг заразиться моими рыданиями и делает усилие, чтобы самой не расплакаться Почувствовав, что я заметил это, она сказала мне со смехом: «Вот видишь, мое золотце, мой чижик, еще немного, и ты сделаешь твою мамочку такой же глупенькой, как ты сам. Вот что: так как ни тебе, ни твоей маме спать не хочется, то не будем расстраивать друг друга, а лучше займемся чем-нибудь, возьмем какую-нибудь книгу». Но у меня не было в моей комнате книг. «Скажи, твое удовольствие очень будет омрачено, если я уже сейчас покажу тебе книги, которые бабушка хочет подарить тебе в день твоего рождения? Подумай хорошенько: ты не будешь разочарован тем, что у тебя не будет в этот день никакого сюрприза?» Я пришел от этого предложения в восторг, тогда мама отправилась за пакетом книг; сквозь бумагу, в которую они были завернуты, я мог различить только их небольшой формат, но уже и при этом первом беглом и поверхностном осмотре бабушкин подарок затмевал коробку с красками и шелковичных червей, полученных мною в Новый год и прошлый день моего рождения. Пакет содержал следующие книги: «Чертово болото», «Франсуа ле Шампи», «Маленькая Фадетта», «Волыночники». Как я узнал потом, бабушка выбрала для меня сначала стихи Мюссе, томик Руссо и «Индиану»; ибо, считая легкое чтение таким же нездоровым, как конфеты и пирожное, она думала в то же время, что мощное дыхание гения является даже для ума ребенка не более опасным, чем свежий воздух и морской ветер для его тела. Но когда отец мой, узнав, какие книги она собирается подарить мне, заявил, что она совсем сошла с ума, бабушка лично отправилась в Жуи-ле-Виконт к своему книгопродавцу, боясь, как бы я не остался без подарка (был очень жаркий день, и она возвратилась такая измученная, что доктор велел матери не позволять ей больше так утомляться), и заменила упомянутые выше книги четырьмя сельскими романами Жорж Санд. «Милая дочка, — сказала она маме, — я не могла бы решиться подарить нашему мальчику что-нибудь дурно написанное».

В самом деле, она никогда не соглашалась покупать такие вещи, из которых нельзя было бы извлечь пользы для ума, особенно той пользы, которую приносят нам прекрасные вещи, научающие нас находить удовольствие не в материальном благополучии и тщеславии, а в чем-то более высоком. Даже когда ей предстояло сделать кому-нибудь так называемый практический подарок, вроде, например, кресла, сервиза, трости, она выбирала «старинные» вещи, как если бы, оставаясь долго без употребления, они теряли свой утилитарный характер и делались пригодными скорее для повествования о жизни людей минувших эпох, чем для удовлетворения наших житейских потребностей. Ей очень хотелось, чтобы в моей комнате висели фотографии старинных зданий и красивых пейзажей. Но, хотя бы изображаемое на них имело эстетическую ценность, она, совершая покупку, находила, что механический способ репродукции, фотография, в очень сильной степени придает вещам пошловатую, утилитарную окраску. Она пускалась на хитрости и пыталась если не вовсе изгнать коммерческую банальность, то, по крайней мере, свести ее к минимуму, заменить ее в большей своей части художественным элементом, ввести в приобретаемую ею репродукцию как бы несколько «слоев» искусства: она осведомлялась у Свана, ие писал ли какой-нибудь крупный художник Шартрский собор, Большие фонтаны Сен-Клу, Везувий, и, вместо фотографий этих мест, предпочитала дарить мне фотографии картин: «Шартрский собор» Коро, «Большие фонтаны Сен-Клу» Гюбера Робера, «Везувий» Тернера, отчего художественная ценность репродукции повышалась. Но хотя фотограф не участвовал здесь в интерпретации шедевра искусства или красот природы и его заменил крупный художник, однако без него дело все же не обходилось при воспроизведении самой этой интерпретации. В своем стремлении по возможности изгнать всякий элемент вульгарности бабушка старалась добиться еще более ощутительных результатов. Она спрашивала у Свана, нет ли гравюр с интересующего ее произведения искусства, предпочитая, когда это было возможно, гравюры старинные и представляющие интерес не только сами по себе, например гравюры, изображающие какой-нибудь шедевр в таком состоянии, в котором мы больше не можем его видеть в настоящее время (подобно гравюре Моргена с «Тайной вечери» Леонардо, сделанной до разрушения картины). Нужно сказать, что результаты этой точки зрения на искусство делать подарки не всегда были очень блестящими. Представление, полученное мною от Венеции на основании рисунка Тициана, фоном которого, по мнению исследователей, является лагуна, было, конечно, гораздо менее соответствующим действительности, чем представление, которое мне дали бы о ней простые фотографии. У нас дома потеряли счет (моя двоюродная бабушка по временам делала попытки составить целый обвинительный акт против бабушки) креслам, преподнесенным ею молодоженам или старым супругам, которые, при первой попытке воспользоваться ими, ломались под тяжестью лиц, делавших эту попытку. Но бабушка сочла бы мелочностью слишком внимательно исследовать прочность деревянной мебели, на которой еще можно было различить цветочек, улыбку, какую-нибудь красивую фантазию прошлого. Даже то, что в этой мебели отвечало какой-нибудь практической потребности, пленяло ее, ибо потребность эта удовлетворялась уже непривычным теперь для нас способом, подобно старинным оборотам речи, в которых мы можем различить метафору, изгладившуюся в нашем современном языке вследствие притупляющего влияния привычки. Но как раз сельские романы Жорж Санд, которые она дарила мне ко дню рождения, были, подобно старинной мебели, полны выражений, вышедших из употребления и снова ставших образными, — выражений, какие можно услышать сейчас только в деревне. И бабушка купила их предпочтительно перед другими книгами, подобно тому как она охотнее наняла бы дом, в котором сохранилась готическая голубятня или вообще что-нибудь из тех старинных вещей, которые оказывают на ум благодетельное влияние, наполняя его тоской по несбыточным путешествиям в прошлое.

Мама села подле моей кровати; она взяла роман «Франсуа ле Шампи», которому красноватый переплет и непонятное заглавие придавали в моих глазах отчетливую физиономию и таинственную притягательность Я никогда еще не читал настоящих романов. Мне при ходилось слышать, что Жорж Санд является типичной романисткой. Уже это одно располагало меня думать что в «Франсуа ле Шампи» содержится нечто невыразимо пленительное. Приемы повествования, имеющие целью возбудить любопытство у читателя или растрогать его, некоторые обороты речи, вызывающие душевное смятение или навевающие грусть (мало-мальски сведущий читатель узнает в них шаблон, повторяющийся во многих романах), казались мне чем-то непроизвольным и естественным, — ибо я смотрел на новую книгу не как на вещь, имеющую много себе подобных, но как на единственную личность, в себе самой носящую основание своего бытия, — какой-то волнующей эманацией индивидуальной сущности «Франсуа ле Шампи». Под этими столь повседневными событиями, этими столь шаблонными мыслями, этими столь употребительными словами я чувствовал какую-то своеобразную интонацию и фразировку. Действие началось; оно показалось мне тем более темным, что в те времена, читая книгу, я часто на протяжении целых страниц предавался мечтаниям о совсем посторонних вещах. К этим пробелам в рассказе, обусловленным рассеянностью, прибавлялось еще то, что, читая мне вслух, мама пропускала все любовные сцены. Поэтому странные изменения, происходящие в отношениях между мельничихой и мальчиком и объясняющиеся лишь возникновением и ростом любви между ними, казались мне проникнутыми глубокой тайной, ключом которой, с моей точки зрения, было это незнакомое и такое сладостное имя Шампи, не знаю почему окрашивавшее носившего его мальчика в принадлежащие ему яркие, багряные и прелестные тона. Если на маму нельзя было-положиться в отношении полной передачи текста, зато она была превосходным чтецом, когда находила в книге выражение неподдельного чувства: столько у нее было внимания к тексту, такая простота его толкования, столько красоты и мягкости в произношении. Даже в жизни, когда жалость или восхищение вызывали у нее живые люди, а не произведения искусства, трогательно было видеть, с какой деликатностью она устраняла из своего голоса, из своих жестов, из своих слов всякую примесь веселости, если она могла причинить боль вот этой матери, когда-то потерявшей ребенка, — всякий намек на какой-нибудь праздник или годовщину, если они способны были внушить этому старику мысли о его преклонном возрасте, — всякое упоминание о хозяйственных мелочах, если они показались бы скучными этому молодому ученому. Точно так же, читая прозу Жорж Санд, всегда дышащую той добротой и той моральной щепетильностью, которые она научилась от бабушки считать самым высшим, что есть в жизни, и которые я только значительно позже научил ее не считать также самым высшим, что есть в книгах, и тщательно изгоняя во время чтения из своего голоса всякую мелкость и всякую неестественность, поскольку они могли бы помешать течению мощной волны художественной речи, мама насыщала фразы писательницы всей своей природной нежностью и всей требуемой ими сердечной теплотой, — эти фразы, казалось написанные для ее голоса и, так сказать, полностью содержавшиеся в регистре ее чувствительности. Произнося их, она находила потребный тон, сердечную нотку, которая предваряет их появление и продиктовала их, но на которую слова, составляющие эти фразы, не дают указания; этой ноткой она попутно притупляла присущую глагольным временам грубость, придавала прошедшему несовершенному и прошедшему совершенному мягкость, содержащуюся в доброте, грусть, содержащуюся в нежности; связывала заканчивающуюся фразу с фразой начинающейся, то ускоряя, то замедляя движение слогов, чтобы подчинить его, хотя бы длина этих слогов была различна, некоторому однообразному ритму; насыщала эту столь посредственную прозу своеобразной ровно текущей эмоциональной жизнью.

Мои терзания утихли, я отдался ласке этой ночи, в течение которой подле меня находилась мама. Я знал, что такая ночь не может повториться; что самое заветнейшее из всех моих желаний — чувствовать присутствие подле меня мамы в течение этих печальных ночных часов — находилось в слишком большом противоречии с неумолимыми требованиями жизни и намерениями моих родителей, так что удовлетворение, которое они согласились дать мне в этот вечер, нельзя было рассматривать иначе, как нечто исключительное и необычайное. Завтра мои страдания возобновятся, но мама не останется подле меня. Но когда эти страдания прекращались, я не понимал их больше; к тому же завтрашний вечер был еще далеко; я говорил себе, что у меня будет время подумать, несмотря на то, что это время не могло принести мне никаких новых сил, что дело шло о вещах, не зависевших от моей воли, и что только промежуток времени, отделявший их от меня, делал их для меня менее вероятными.

* * *

И вот давно уже, просыпаясь ночью и вспоминая Комбре, я никогда не видел ничего, кроме этого ярко освещенного куска, выделявшегося посредине непроглядной тьмы, подобно тем отрезкам, что яркая вспышка бенгальского огня или электрический прожектор освещают и выделяют на какой-нибудь постройке, все остальные части которой остаются погруженными во мрак: на довольно широком оснований маленькая гостиная, столовая, начало темной аллеи, из которой появится г-н Сван, невольный виновник моих страданий, передняя, где я направлялся к первой ступеньке лестницы, по которой мне было так мучительно подниматься и которая одна составляла очень узкое тело этой неправильной пирамиды; а на вершине ее моя спальня с маленьким коридором и стеклянной дверью, через которую приходила мама; словом, всегда видимая в один и тот же час, обособленная от всего, что могло окружать ее, одиноко выделявшаяся в темноте, строго необходимая декорация (вроде тех, которые можно видеть на первой странице старых пьес для представления их в провинции) драмы моего раздевания; как если бы весь Комбре состоял только из двух этажей, соединенных узенькой лестницей, и в нем всегда было семь часов вечера. Конечно, если бы кто спросил меня, я мог бы заверить спрашивающего, что Комбре содержал еще и другие вещи и существовал в другие часы. Но так как то, что я припомнил бы о нем, было бы доставлено мне только памятью, руководимой волею, памятью рассудочной, и так как сведения, которые она дает о прошлом, ничего не сохраняют из реального прошлого, то я никогда не возымел бы желания размышлять об этом остатке Комбре. Все это было в действительности умершим для меня.

Умершим навсегда? Возможно.

Есть много случайного во всем этом, и другая случайность — наша смерть — часто не позволяет нам дождаться случайного благоволения памяти.

Я нахожу очень разумным кельтское верование, согласно которому души тех, кого мы утратили, пребывают пленницами в каком-нибудь бытии низшего порядка, в животном, в растении; в неодушевленном виде, действительно утраченными для нас до того момента — для многих вовсе не наступающего, — когда мы вдруг оказываемся подле дерева или вступаем во владение предметом, являющимся их темницей. Тогда они трепещут, призывают нас, и, как только мы их узнали, колдовство разрушено. Освобожденные нами, они победили смерть и возвращаются жить с нами.

Так же точно дело обстоит с нашим. прошлым. Потерянный труд пытаться вызвать его, все усилия нашего рассудка оказываются бесплодными. Оно схоронено за пределами его ведения, в области, недостижимой для него, в каком-нибудь материальном предмете (в ощущении, которое вызвал бы у нас этот материальный предмет), где мы никак не предполагали его найти. От случая зависит, встретим ли мы этот предмет перед смертью или же его не встретим.

Много лет уже, как от Комбре для меня не существовало ничего больше, кроме театра драмы моего отхода ко сну, и вот, в один зимний день, когда я пришел домой, мать моя, увидя, что я озяб, предложила мне выпить, против моего обыкновения, чашку чаю. Сначала я отказался, но, не знаю почему, передумал. Мама велела подать мне одно из тех кругленьких и пузатеньких пирожных, называемых Petites Madeleines, формочками для которых как будто служат желобчатые раковины моллюсков из вида морских гребешков. И тотчас же, удрученный унылым днем и перспективой печального завтра, я машинально поднес к своим губам ложечку чаю, в котором намочил кусочек мадлены. Но в то самое мгновение, когда: глоток чаю с крошками пирожного коснулся моегь неба, я взррогнул, пораженный необыкновенностью происходящего во мне. Сладостное ощущение широкой волной разлилось по мне, казалось, без всякой причины. Оно тотчас же наполнило меня равнодушием к превратностям жизни, сделало безобидными ее невзгоды, призрачной ее скоротечность, вроде того, как это делает любовь, наполняя меня некоей драгоценной сущностью: или, вернее, сущность эта была не во мне, она была мною. Я перестал чувствовать себя посредственным, случайным, смертным. Откуда могла прийти ко мне эта могучая радость? Я чувствовал, что она была связана со вкусом чая и пирожного, но она безмерно превосходила его, она должна была быть иной природы. Откуда же приходила она? Что она означала? Где схватить ее? Я пью второй глоток, в котором не нахожу ничего больше того, что содержалось в первом, пью третий, приносящий мне немножко меньше, чем второй. Пора остановиться, сила напитка как будто слабеет. Ясно, что истина, которую я ищу, не в нем, но во мне. Он пробудил ее во мне, но ее не знает и может только бесконечно повторять, со все меньшей и меньшей силой, это самое свидетельство, которое я не умею истолковать и которое хочу, по крайней мере, быть в состоянии вновь спросить у него сейчас, вновь найти нетронутым и иметь в своем распоряжении для окончательного его уяснения. Я оставляю чашку и обращаюсь к своему разуму. Он должен найти истину. Но как? Тяжелая неуверенность всякий раз, как разум чувствует себя превзойденным самим собою; когда, совершая поиски, он представляет собой всю совокупность темной области, в которой он должен искать и в которой его багаж не сослужит ему никакой пользы. Искать? Не только: творить. Он находится перед лицом чего-то такого, чего нет еще и что он один может осуществить, а затем ввести в поле своего зрения.

И я снова начинаю спрашивать себя, какой могла быть природа этого неведомого состояния, приносившего не логическую доказательность, но очевидность блаженства, реальности, перед которой меркла всякая другая очевидность. Я хочу попытаться вновь вызвать его. Я мысленно возвращаюсь к моменту, когда я пил первую ложечку чаю. Я вновь испытываю то же состояние, но оно не приобретает большей ясности. Я требую, чтобы мой разум совершил еще усилие, еще раз вызвал ускользающее ощущение. И чтобы ничто не разрушило порыва, в котором он будет стараться вновь схватить его, я устраняю всякое препятствие, всякую постороннюю мысль, я защищаю мои уши и мое внимание от шумов из соседней комнаты. Но, чувствуя, что разум мой утомляется в бесплодных усилиях, я принуждаю его, напротив, делать как раз то, в чем я ему отказывал, то есть отвлечься, думать о чем-нибудь другом, оправиться перед совершением последней попытки. Затем второй раз я устраиваю пустоту около него и снова ставлю перед ним еще не исчезнувший вкус этого первого глотка, и я чувствую, как во мне что-то трепещет и перемещается, хочет подняться, снимается с якоря на большой глубине; не знаю, что это такое, но оно медленно плывет кверху; я ощущаю сопротивление, и до меня доносится рокот пройденных расстояний.

Несомненно, то, что трепещет так в глубине меня, должно быть образом, зрительным воспоминанием, которое, будучи связано с этим вкусом, пытается следовать за ним до поверхности моего сознания. Но оно бьется слишком далеко, слишком глухо; я едва воспринимаю бледный отблеск, в котором смешивается неуловимый водоворот быстро мелькающих цветов; но я не в силах различить форму, попросить ее, как единственного возможного истолкователя, объяснить мне показание ее неразлучного спутника, вкуса, попросить ее научить меня, о каком частном обстоятельстве, о какой эпохе прошлого идет речь.

Достигнет ли до поверхности моего ясного сознания это воспоминание, это канувшее в прошлое мгновение, которое только что было разбужено, приведено в движение, возмущено в самой глубине моего существа притяжением тожественного мгновения? Не знаю. Теперь я больше ничего не чувствую, оно остановилось, может быть вновь опустилось в глубину; кто знает, вынырнет ли оно когда-нибудь из тьмы, в которую оно погружено? Десять раз мне приходится возобновлять свою попытку, наклоняться над ним. И каждый раз малодушие, отвращающее нас от всякой трудной работы, от всякого значительного начинания, советовало мне оставить попытку, пить свой чай, думая только о своих сегодняшних неприятностях и завтрашних планах, на которых так легко сосредоточить внимание.

И вдруг воспоминание всплыло передо мной. Вкус этот был вкусом кусочка мадлены, которым по воскресным утрам в Комбре (так как по воскресеньям я не выходил из дому до начала мессы) угощала меня тетя Леония, предварительно намочив его в чае или в настойке из липового цвета, когда я приходил в ее комнату поздороваться с нею. Вид маленькой мадлены не вызвал во мне никаких воспоминаний, прежде чем я не отведал ее; может быть, оттого, что с тех пор я часто видел эти пирожные на полках кондитерских, не пробуя их, так что их образ перестал вызывать у меня далекие дни Комбре и ассоциировался с другими, более свежими впечатлениями; или, может быть, оттого, что из этих так давно уже заброшенных воспоминаний ничто больше не оживало у меня, все они распались; формы — в том числе раковинки пирожных, такие ярко чувственные, в строгих и богомольных складочках, — уничтожились или же, усыпленные, утратили действенную силу, которая позволила бы им проникнуть в сознание. Но, когда от давнего прошлого ничего уже не осталось, после смерти живых существ, после разрушения вещей, одни только, более хрупкие, но более живучие, более невещественные, более стойкие, более верные, запахи и вкусы долго еще продолжают, словно души, напоминать о себе, ожидать, надеяться, продолжают, среди развалин всего прочего, нести, не изнемогая под его тяжестью, на своей едва ощутимой капельке, огромное здание воспоминания.

И как только узнал я вкус кусочка размоченной в липовой настойке мадлены, которою угощала меня тетя (хотя я не знал еще, почему это воспоминание делало меня таким счастливым, и принужден был отложить решение этого вопроса на значительно более поздний срок), так тотчас старый серый дом с фасадом на улицу, куда выходили окна ее комнаты, прибавился, подобно театральной декорации, к маленькому флигелю; выходившему окнами в сад и построенному для моих родителей на задах (этот обломок я только и представлял себе до сих пор); а вслед за домом — город с утра до вечера и во всякую погоду, площадь, куда посылали меня перед завтраком, улицы, по которым я ходил, дальние прогулки, которые предпринимались, если погода была хорошая. И как в японской игре, состоящей в том, что в фарфоровую чашку, наполненную водой, опускают маленькие скомканные клочки бумаги, которые, едва только погрузившись в воду, расправляются, приобретают очертания, окрашиваются, обособляются, становятся цветами, домами, плотными и распознаваемыми персонажами, так и теперь все цветы нашего сада и парка г-на Свана, кувшинки Вивоны, обыватели городка и их маленькие домики, церковь и весь Комбре со своими окрестностями, все то, что обладает формой и плотностью, — все это, город и сады, всплыло из моей чашки чаю.

II

Издали, с расстояния десяти лье, когда мы смотрели на него из окна вагона, приезжая туда на страстной неделе, Комбре был одной только церковью, сосредоточивавшей в себе весь город, представлявшей его, говорившей о нем и от его лица окрестным далям и, при приближении к нему, собиравшей в кучу вокруг своей высоко вздымающейся темной мантии, среди поля, на ветру, как пастушка своих овец, шерстистые серые спины теснившихся друг подле друга домов, которые остатки средневекового вала опоясывали там и сям безукоризненной окружностью, словно какой-нибудь городок на примитиве. Для жизни в нем Комбре был несколько печален, как и его улицы, дома которых, построенные из черноватого местного камня, с наружными ступеньками и остроконечными кровлями, бросавшими длинные тени перед собой, были достаточно темными, так что едва только начинало вечереть, как уже приходилось поднимать занавески в «залах»; улицы с торжественными именами святых (немалое число которых связывалось с историей первых сеньоров Комбре): улица Сент-Илер, улица Сен-Жак, на которой стоял дом моей тети, улица Сент-Гильдегард, вдоль которой тянулась его ограда, и улица Сент-Эспри, на которую выходила маленькая боковая калитка его сада; эти улицы Комбре существуют в таком отдаленном уголке моей памяти, окрашенном в цвета столь отличные от цветов, одевающих теперь для меня мир, что поистине все они кажутся мне, вместе с церковью, которая господствовала над ними на площади, еще более нереальными, чем картины волшебного фонаря; и по временам у меня бывает такое чувство, что переход улицы Сент-Илер, наем комнаты на улице Птицы — в старой гостинице Подстреленной Птицы, из подвальных окон которой шел кухонный чад, и до сих пор еще временами поднимающийся во мне такой же горячей и неровной волной, — были бы для меня соприкосновением с потусторонностью более чудесно-сверхъестественным, чем знакомство с Голо или беседа с Женевьевой Брабантской.

Кузина моего дедушки — моя двоюродная бабушка, у которой мы гостили, была матерью тети Леонии, после смерти своего мужа, дяди Октава, не пожелавшей покидать сначала Комбре, затем свой дом в Комбре, затем свою комнату и, наконец, свою постель; она больше не «спускалась» к нам и вечно лежала в неопределенном состоянии грусти, физической слабости, болезни, во власти навязчивых идей и религиозного, ханжества. Занимаемые ею комнаты выходили окнами на улицу Сен-Жак, которая заканчивалась далеко на Большом лугу (называвшемся так в отличие от Маленького луга, зеленевшего посреди города на перекрестке трех улиц) и, однообразная, сероватая, с тремя высокими каменными ступеньками перед каждыми почти дверями, казалась похожей на ущелье, высеченное резчиком готических изображений прямо в каменной глыбе, из которой он пожелал изваять ясли или Голгофу. Фактически тетя занимала только две смежные комнаты, переходя после завтрака в гостиную, в то время как проветривали ее спальню. Это были те провинциальные комнаты, которые (вроде того как в некоторых местностях целые участки воздуха или моря бывают озарены или напоены благоуханием мириадов микроскопических животных, для нас невидимых) пленяют нас тысячью запахов, выделяемых добродетелями, рассудительностью, привычками, всей сокровенной, невидимой, избыточной и глубоко нравственной жизнью, которою насыщен в них воздух; запахов еще в достаточной степени природных, подернутых сероватой дымкой, как запахи соседней деревни, но уже жилых, человеческих и свойственных закрытым помещениям, — изысканное и искусно приготовленное прозрачное желе из всевозможных фруктов, перекочевавших из сада, в шкаф; запахов, меняющихся вместе со сменой времен года, но комнатных и домашних, в которых острый аромат белого желе смягчен духом горячего хлеба; запахов праздных и пунктуальных, как деревенские часы, бесцельно блуждающих и строго упорядоченных, беспечных и предусмотрительных, запахов бельевых, утренних, богомольных, дышащих покоем, приносящим лишь умножение тоскливости, и прозаичностью, являющейся неисчерпаемым кладезем поэзии для того, кто на время погружается в нее, но никогда в ней не жил. Воздух в этих комнатах был насыщен тонким ароматом такой вкусной, такой сочной тишины, что, когда я попадал в них, у меня текли слюнки, особенно в первые, еще холодные утра пасхальной недели, когда я острее ощущал его вследствие еще недолгого пребывания в Комбре: прежде чем я входил к тете пожелать ей доброго утра меня заставляли минуточку подождать в первой комнате, куда еще зимнее солнце забиралось нагреваться перед уже разведенным между двумя кирпичными стенками огнем, пропитывавшим всю комнату запахом сажи и вызывавшим представление о большом деревенском очаге или крытом камине в старом замке, подле которых так хочется, чтобы на дворе хлестал дождь, бушевала метель и даже разразился целый потоп, прибавляя к комнатному уюту поэзию зимы; я прохаживался между скамеечкой для коленопреклонений и креслами, обитыми тисненым бархатом, на спинки которых были накинуты вязаные салфеточки, чтобы не пачкалась обивка; при этом огонь камина испекал, словно паштет, аппетитные запахи, которыми весь был насыщен воздух комнаты и которые уже подверглись брожению и «поднялись» под действием свежести сырого и солнечного утра; огонь слоил их, румянил, морщил, вздувал, изготовляя из них невидимый, но осязаемый необъятный деревенский слоеный пирог, в котором, едва отведав более хрустящих, более тонких, более прославленных, но и более сухих также ароматов буфетного шкафа, комода, обоев с разводами, я всегда с какой-то затаенной жадностью припадал к неописуемому смолистому, приторному, неотчетливому, фруктовому запаху вытканного цветами стеганого одеяла.

Из соседней комнаты до меня доносился голос тети, которая тихонько разговаривала сама с собой. Она всегда говорила тихо, потому что ей казалось, будто в голове у нее что-то разбилось, болтается там и может сместиться, если она будет говорить слишком громко. Но в то же время она никогда долго не оставалась молча, даже будучи одна, так как считала, что разговор оказывает благотворное действие на грудь и что, препятствуя крови застаиваться там, он предотвращает припадки удушья и подавленности, которыми она страдала; кроме того, живя в совершенном бездействии, она придавала необыкновенное значение малейшим своим ощущениям; наделяя их подвижностью, делавшей затруднительным для нее таить их в себе, и за отсутствием собеседника, которому она могла бы их поверять, тетя докладывала о них самой себе в непрерывном монологе, являвшемся единственной формой ее активности. К несчастью, усвоив привычку мыслить вслух, она не всегда обращала внимание на то, нет ли кого в соседней комнате, и я часто слышал, как она говорила себе: «Мне нужно хорошенько запомнить, что я не спала» (ибо она всех уверяла, что совсем лишилась сна, и все мы, в ее присутствии, относились с уважением к этой ее мании, подбирая соответствующие выражения при разговоре с нею; утром Франсуаза приходила не «будить» ее, но «входила» к ней; когда тетя хотела вздремнуть днем, в доме говорили, что она хочет «поразмышлять» идя «отдожиуть»; когда же ей случалось забыться в разговоре с кем-нибудь и сказать: «меня разбудило» или: «мне снилось, что», она краснела и поспешно поправлялась).

Через несколько мгновений я входил поцеловать ее; Франсуаза заваривала ей чай; или же, если тетя чувствовала себя возбужденной, она просила сделать ей вместо чая липовую настойку, и тогда мне поручалось отсыпать из аптекарского кулечка в тарелку необходимое количество липового цвета, который нужно было затем заварить в кипятке. Засохшие стебельки переплетались в прихотливом узоре, в просветы которого глядели бледные цветочки, как если бы их разместил, расположил в самом живописном порядке искусный художник. Листочки, потеряв или изменив свою форму, имели вид самых несообразных вещей: прозрачного крыла мухи, белой оборотной стороны ярлычка, лепестка розы — и были перемешаны, перепутаны и поломаны, как те крошечные предметы, из которых птицы вьют гнезда. Тысяча мелких бесполезных подробностей, — милая расточительность аптекаря, — которые были бы устранены при искусственном приготовлении, доставляли мне, — подобно книге, в которой так приятно бывает встретить фамилию знакомого лица, — удовольствие воображать, будто это были цветочки настоящих лип, вроде тех, что я видел на Вокзальном бульваре, измененные, правда, но измененные именно потому, что они не были искусственной имитацией, но теми же самыми липовыми цветочками, только состарившимися. И так как каждый новый признак в них был лишь претерпевшим метаморфозу прежним признаком, то в маленьких серых шариках я узнавал нераспустившиеся бутоны; но в особенности розовый, лунный и мягкий отблеск, выделявший цветочки в хрупкой чаще стебельков, где они были подвешены словно маленькие золотистые розы, — знак, который, подобно блеску, до сих пор указывающему на стене место стершейся фрески, отмечает различие между частями дерева, находившимися «в цвету», и остальными его частями, — свидетельствовал мне, что эти самые лепестки, наверное, напояли благоуханием весенние вечера, перед тем как зацвести в аптекарском кулечке. Розовое пламя церковной свечи — это к была их окраска, но полуугасшая и уснувшая, свойственная их теперешней притушенной жизни, являвшейся как бы сумерками цветов. Вскоре тетя могла намочить в кипящем настое, вкус которого, отдававший палым листом и увядшим цветком, так ей нравился, маленькую мадлену и угощала меня кусочком ее, когда пирожное достаточно размокало.

По одну сторону ее кровати стояли большой желтый комод лимонного дерева и стол, служивший одновременно домашней аптечкой и алтарем, где подле статуэтки Богоматери — и бутылки Vichy-Celestins лежали молитвенники и рецепты лекарств — все необходимое для того, чтобы, не вставая с постели, следить за церковными службами и соблюдать предписанный врачами режим, для того чтобы не пропускать часа приема пепсина и часа вечерни. По другую сторону кровати было окно, так что ей постоянно видна была улица, и она читала на ней с утра до вечера, чтобы не было скучно, на манер персидских принцев, каждодневную, но незапамятную хронику Комбре, которую обсуждала потом с Франсуазой.

Не успевал я пробыть с тетей пяти минут, как она отсылала меня, боясь, что я ее утомлю. Ова подставляла под мои губы свой унылый лоб, бледный и увядший, на который, в этот утренний час, еще не были начесаны ее накладные волосы и сквозь который, словно шипы тернового венца или зернышки четок, просвечивали кости; тетя при этом говорила мне: «Ну, бедный мой мальчик, ступай приготовься к мессе; и если внизу ты встретишь Франсуазу, скажи ей, чтобы она не очень долго развлекалась с вами и поскорее поднималась ко мне посмотреть, не нужно ли мне чего-нибудь».

Франсуаза, уже много лет служившая у нее и не подозревавшая тогда, что скоро совсем перейдет на службу к нам, действительно немножко пренебрегала тетей в те месяцы, когда мы гостили у наших родственников. В детстве, еще до того как мы стали ездить в Комбре и тетя Леония проводила зиму в Париже у своей матери, я помню время, когда я так мало знал Франсуазу, что в Новый год, перед тем как войти к моей двоюродной бабушке, мама совала мне в руки пятифранковую монету и говорила мне: «Следи внимательно, чтобы не ошибиться. Прежде чем давать, подожди, пока я скажу: „Здравствуй, Франсуаза“; при этом я легонько прикоснусь к твоему плечу». Едва только мы вступали в темную переднюю тетиной квартиры, как тотчас замечали в полумраке, под оборочкой ослепительного, туго накрахмаленного и хрупкого, как если бы он был сделан из леденца, чепчика, концентрические струйки улыбки, уже заранее выражавшей благодарность. Это была Франсуаза, неподвижно стоявшая в рамке маленькой двери в коридор, словно статуя святой в нише. Когда мы немного свыкались с этим полумраком часовни, то различали на лице ее бескорыстную любовь к человечеству и проникнутую умилением почтительность к высшим классам, которую возбуждала в лучших областях ее сердца надежда на получение новогоднего подарка. Мама больно щипала меня за руку и громко говорила: «Здравствуй, Франсуаза». При этом знаке пальцы мои разжимались, и я выпускал монету, которую принимала робко протянутая рука. Но с тех пор как мы стали ездить в Комбре, я никого не знал лучше, чем Франсуазу; мы были ее любимцами; она чувствовала к нам, по крайней мере в течение первых лет, наряду с таким же уважением, как и к тете, какую-то особенно живую склонность, потому что с честью принадлежать к числу членов семьи (к невидимым узам, которые завязывает между членами семьи обращение в них одной и той же крови, она относилась с таким же почтением, как греческие трагические поэты) у нас соединялось еще то обаяние, что мы не были ее постоянными господами. Поэтому в день нашего приезда, накануне Пасхи, когда часто дул ледяной ветер, она встречала нас с самой неподдельной радостью, выражая сожаление, что еще не наступила хорошая погода, между тем как мама расспрашивала ее об ее дочери и племянниках, о том, хорошо ли ведет себя ее внук, что собираются с ним делать и будет ли он похож на свою бабушку.

А когда они оставались вдвоем в комнате, мама, знавшая, что Франсуаза все еще оплакивает своих давно уже умерших родителей, заговаривала с ней о них, с теплым участием осведомляясь о разных мелких подробностях их жизни.

Она догадывалась, что Франсуаза не любит своего зятя и что он портит ей удовольствие, получаемое ею от посещения своей дочери, так как в его присутствии обе женщины не могли разговаривать так свободно, как им хотелось бы. Поэтому, когда Франсуаза отправлялась в гости к дочери в деревню, за несколько лье от Комбре, мама с улыбкой говорила ей: «Не правда ли, Франсуаза, если Жюльену придется отлучиться и вы останетесь с Маргаритой одни весь день, вы будете огорчены, но покоритесь печальной необходимости?» И Франсуаза со смехом отвечала: «Барыня все знает; барыня видит насквозь, как икс-лучи (она произносила *икс* с деланным затруднением и улыбкой, словно подтрунивая над тем, что такая невежественная женщина решается употреблять в разговоре ученые термины), которые приносили сюда для г-жи Октав и которые видят все, что делается в вашем сердце» — и исчезала, смущенная тем, что к ее личной жизни был проявлен такой интерес, а может быть, боясь, чтобы ее не увидели плачущей: мама была первым человеком, доставлявшим ей сладкое волнение чувствовать, что ее скромная жизнь, с ее крестьянскими радостями и горестями, может представлять какой-нибудь интерес, может доставлять удовольствие или огорчение кому-нибудь другому, помимо нее самой. Тетя примирялась с необходимостью до некоторой степени обходиться без Франсуазы во время нашего пребывания в Комбре, зная, как высоко ценила мама услуги этой смышленой и расторопной женщины, которая была одинаково хороша и в пять часов утра у себя в кухне в своем чепчике, чьи ослепительно белые и туго накрахмаленные складки казались фарфоровыми, и в то время, когда наряжалась, чтобы идти в церковь; которая все делала мастерски, работая как лошадь и не обращая внимания на состояние своего здоровья, но делала без шума, производя такое впечатление, точно она ничего не делает; единственная из тетиных служанок, которая, когда мама просила горячей воды или черный кофе, приносила их действительно горячими как кипяток; она принадлежала к числу тех слуг, которые с первого взгляда производят весьма неприятное впечатление на пришедшего в дом постороннего человека, может быть оттого, что они нисколько не стараются понравиться ему и не проявляют по отношению к нему никакой предупредительности, отлично зная, что они в нем вовсе не нуждаются и что скорее наступит то время, когда его перестанут принимать в доме, чем согласятся отпустить их, — но которыми зато больше всего дорожат хозяева, когда познакомятся с их действительными дарованиями, так что они нисколько не заботятся о внешней приятности и об угодливой речи, обо всем том, что производит такое благоприятное впечатление на посетителя, но часто прикрывает собою полнейшее ничтожество.

Когда Франсуаза, присмотрев за тем, чтобы у моих родителей было все необходимое, в первый раз поднималась наверх дать тете пепсин и спросить у нее, что она будет кушать за завтраком, то редко бывало, чтобы тетя не предложила ей высказать свое мнение или дать объяснения по поводу какого-нибудь важного события.

— Можете себе представить, Франсуаза: г-жа Тупиль больше чем на четверть часа запоздала, отправляясь за своей сестрой; стоит ей немного задержаться в пути, и меня не удивит, если она не поспеет к возношению даров.

— Да, в этом не будет ничего удивительного, — отвечала Франсуаза.

— Франсуаза, если бы вы пришли пятью минутами раньше, то увидели бы, как проходила мимо г-жа Эмбер со спаржей в два раза более крупной, чем спаржа тетушки Калло: постарайтесь узнать от ее кухарки, где она достает такую. Ведь в этом году вы подаете нам спаржу под всевозможными соусами, так что могли бы позаботиться достать что-нибудь в этом роде для наших гостей.

— Я бы ничуть не удивилась, если бы узнала, что это спаржа с огорода господина кюре, — говорила Франсуаза.

— Ах, что вы говорите, бедная моя Франсуаза, — отвечала тетя, пожимая плечами, — с огорода кюре! Вы ведь отлично знаете, что ему удается выращивать только ничего не стоящую жиденькую спаржу. А спаржа, которую несла г-жа Эмбер, была толщиной в руку. Ну, понятно, не в вашу руку, но в мою бедную руку, которая стала еще тоньше за этот год.

— Франсуаза, вы не слышали этого трезвона, от которого у, меня голова трещит?

— Нет, госпожа Октав.

— Ах, бедная девушка, крепкий же у вас череп; вы должны благодарить Бога, что он вам дал такой. Только что Маглон заходила за доктором Пипро. Он вышел вместе с нею, и они отправились по улице Птицы. Наверное, там заболел кто-нибудь из детей.

— Ах, бедняжка, — вздыхала Франсуаза, которая не могла слышать ни о каком несчастье, приключившемся с незнакомыми ей лицами, даже в самой отдаленной части света, без того чтобы не поохать.

— Франсуаза, по ком это звонил только что заупокойный колокол? Ах, Боже мой, да конечно же по г-же Руссо. Подумать только: я чуть было не забыла, что она умерла прошлой ночью. Да, пора уже, чтобы и меня Господь призвал к себе, — не знаю, что приключилось с моей головой после смерти моего бедного Октава. Но я заставляю вас терять понапрасну время, голубка.

— Да нет же, госпожа Октав, мое время вовсе не так драгоценно; за время мы не платим денег Создателю. Пойду только посмотрю, не погасла ли моя плита.

Так Франсуаза и тетя оценивали совместно во время этой утренней беседы первые события дня. Но иногда эти события приобретали такой таинственный и тревожный характер, что тетя не в силах была дожидаться момента, когда Франсуаза поднимется к ней, и в таких случаях оглушительный четырехкратный звон ее колокольчика раздавался по всему дому.

— Но ведь, госпожа Октав, еще не пришло время принимать пепсин, — говорила Франсуаза, — Или вы почувствовали слабость?

— Нет, благодарю вас, Франсуаза, — отвечала ей тетя, — то есть, конечно, да; вы ведь знаете, что теперь редко бывают минуты, когда я не чувствую слабости; когда-нибудь я отправлюсь на тот свет подобно г-же Руссо, прежде чем успею опомниться; но не по этому поводу я звонила. Поверите ли, я только что видела, как вижу сейчас вас, г-жу Гупиль с девочкой, которой я совсем не знаю. Ступайте поскорее, купите на пятачок соли у Камю. Не может быть, чтобы Теодор не знал, кто это такая.

— Но ведь это, наверное, дочка г-на Пюпена, — говорила Франсуаза, предпочитая дать объяснение непосредственно, так как сегодня она уже два раза ходила в лавочку Камю.

— Дочка г-на Пюпена! Что вы говорите, моя бедная Франсуаза! Неужели вы думаете, что я бы не узнала ее?

— Но я думаю совсем не о взрослой дочери, госпожа Октав, я думаю о девочке, которая учится в пансионе в Жуи. Мне кажется, что я уже видела ее сегодня утром.

— Ну, разве что так, — говорила тетя. — Значит, она приехала домой на праздники. Да, конечно! Не стоит и расспрашивать, нужно было ожидать, что она приедет домой на праздники. Но в таком случае мы должны скоро увидеть, как г-жа Сазра будет звониться у двери своей сестры, направляясь к ней завтракать. Непременно! Я видела, как проходил мимо мальчик от Галопена с тортом! Вот увидите: торт предназначался для г-жи Гупиль.

— Ну, если у г-жи Гупиль есть гости, госпожа Октав, то, скоро вы увидите, все ее знакомые пойдут к ней завтракать, потому что сейчас совсем не так рано, — следовал ответ Франсуазы, которая, торопясь спуститься в кухню и в свою очередь заняться приготовлением завтрака, была довольна, что тете предстоит такое развлечение.

— О, не раньше полудня! — отвечала тетя покорным тоном, с беспокойством, но украдкой поглядывая на часы, чтобы не выдать, какое живое удовольствие она, отказавшаяся от всех земных радостей, все же находит в том, чтобы узнать, кого пригласила г-жа Гупиль к завтраку, хотя, к несчастью, ей придется ожидать занятного зрелища еще больше часу. — И, вдобавок, оно будет происходить как раз во время моего завтрака, — прибавила она вполголоса, обращаясь к себе самой. Ее собственный завтрак был для нее достаточным развлечением, так что она вовсе не хотела, чтобы с ним совпало еще и другое развлечение. — Вы, по крайней мере, не забудете подать мне мою яичницу на молоке в одной из мелких тарелок? — Эти тарелки были расписаны картинками, и тетя очень любила за каждой едой читать надпись на поданной ей тарелке. Она надевала очки и разбирала; «Али-Баба и сорок воров», «Аладдин, или Чудесная лампа» — и с улыбкой приговаривала: «Прекрасно, прекрасно!»

— Так я могу сходить к Камю…-- отваживалась заметить Франсуаза, видя, что тетя не собирается больше посылать ее туда.

— Нет, нет; не стоит; это наверное м-ль Пюпен. Бедная Франсуаза, мне очень жаль, что я заставила вас подняться из-за пустяков.

Но тетя отлично знала, что вовсе не из-за пустяков она вызвала к себе Франсуазу, потому что в Комбре лицо, «которого никто не знал», было таким же невероятным существом, как какое-нибудь мифологическое божество; и в самом деле, жители Комбре не помнили случая, чтобы тщательная и исчерпывающая разведка после каждого такого ошеломляющего появления неизвестного лица на улице Сент-Эспри или городской площади не кончалась неизменно сведением баснословного чудища к размерам лица, «которое знали», либо конкретно, либо отвлеченно, — знали, что оно занимает такое-то общественное положение, знали, что оно находится в такой-то степени родства с какой-нибудь семьей, живущей, в городе Комбре. Оно оказывалось сыном г-жи Сотон, отбывшим воинскую повинность, племянницей аббата Пердро, вышедшей из монастыря, братом кюре, сборщиком податей в Шатодене, только что ушедшим в отставку или приехавшим в Комбре на праздники. Когда местные жители впервые видели их, они бывали взволнованы мыслью, что в Комбре есть люди, «которых они совсем не знали», но это объяснялось просто тем, что они их сразу не узнали. А между тем, еще задолго до их появления, г-жа Сотон и кюре предупреждали, что ожидают «гостей». Вечером, по возвращении с прогулки, я поднимался обыкновенно к тете рассказать ей, кого мы видели; если я имел при этом неосторожность сообщить ей, что около Старого моста мы встретили человека, которого мой дедушка не знал, то она восклицала: «Человек, которого дедушка совсем не знал? Так я тебе и поверила!» Все же она бывала несколько взволнована этим известием и для успокоения приглашала к себе дедушку. «С кем это вы встретились подле Старого моста, дядя? Что это за человек, которого вы совсем не знаете?» — «Ну да, — отвечал дедушка, — это был Проспер, брат садовника г-жи Буйбеф». — «Ах, вот оно что, — говорила тетя, успокоившись, но еще немного раскрасневшаяся; пожимая плечами, она прибавляла с иронической улыбкой: — А он сказал мне, будто вы встретили человека, которого вы совсем не знаете!» И мне приказывали быть в другой раз осторожнее и не волновать больше тетю подобными необдуманными словами. Все живые существа в Комбре, животные и люди, были так хорошо известны всем, что, если моей тете случалось увидеть на улице собаку, «которой она не знала», то она непрестанно думала о ней и посвящала уяснению этого непонятного факта все свое свободное время и все свои логические таланты.

— Это, должно быть, собака г-жи Сазра, — высказывала предположение Франсуаза, без большого убеждения в правильности своих слов, но в целях успокоения тети, чтобы та перестала «ломать себе голову».

— Как будто бы я не знаю собаки г-жи Сазра! — отвечала тетя; критический ум не позволял ей так легко допустить существование какого-нибудь факта.

— Ну, в таком случае, это новая собака, которую г-н Галопен привез из Лизье.

— Разве что так!

— Она, по-видимому, очень ласковая, — добавляла Франсуаза, получившая эти сведения от Теодора, — сообразительная, как человек, всегда добродушная, всегда приветливая, всегда вежливая. Редко можно видеть животное, которое уже в таком возрасте было бы так благовоспитанно. Госпожа Октав, я должна покинуть вас; мне некогда развлекаться; уже скоро десять часов, а моя плита еще не затоплена; и мне нужно еще почистить спаржу.

— Как, Франсуаза, опять спаржа! Но вы прямо-таки больны пристрастием к спарже в этом году: вы вызовете отвращение к ней у наших парижан!

— Нет, госложа Октав, они очень любят спаржу. Когда они возвратятся из церкви, у них будет волчий аппетит, и вы увидите, они скушают ее за мое почтение.

— Да, они уже, должно быть, в церкви; вам нельзя терять понапрасну время. Ступайте готовить ваш завтрак.

В то время как тетя болтала таким образом с Франсуазой, я бывал со своими родными в церкви. Как я любил ее, как ясно я вижу ее и до сих пор, нашу церковь! Ее ветхая паперть, через которую мы входили, черная, изрытая как решето, была деформирована и сильно углублена по сторонам (так же, как и чаша со святой водой, к которой она нас приводила), как если бы легкое прикосновение одежды крестьянок, входящих в церковь, и их робких пальцев, погружаемых в святую воду, могло, благодаря многовековому повторению, приобрести разрушительную силу, могло продавить камень, высечь в нем борозды, вроде тех, что высекаются в каменных столбах у ворот колесами телег, ежедневно задевающими за них. Ее надгробные плиты, под которыми благородный прах похороненных здесь комбрейских аббатов образовывал как бы духовный помост для хора, сами не были больше косной и грубой материей, ибо время размягчило и растопило их, словно мед, так что они потекли за пределы своих чеырехугольных очертаний, в одних местах светлой водною переливаясь через края, увлекая, с собой какую-нибудь разукрашенную цветами заглавную готическую букву и затопляя белые фиалки мраморного пола; в других же, напротив, втягиваясь внутрь и еще более сокращая эллиптическую латинскую надпись, делая еще более капризным расположение этих укороченных литер, сближая две буквы какого-нибудь слова и в то же время чрезмерно раздвигая остальные. Ее расписные окна никогда так хорошо не играли, как в те дни, когда солнце мало показывалось, так что, если на дворе было пасмурно, вы могли быть уверены, что в церкви хорошая погода. Одно из этих окон сверху донизу было заполнено единственной фигурой, похожей на карточного короля, который жил там, наверху, под каменным балдахином, между небом и землей (и в голубоватом свете падавшего из него косого луча иногда в будни, в полдень, когда в церкви не бывало службы, — в одну из тех редких минут, когда проветренная пустая церковь, ставшая как-то более земной и более пышной, пронизанная солнечными лучами, игравшими на ее богатом убранстве, имела вид почти обитаемой, подобно залу с каменной скульптурой и расписными окнами какого-нибудь особняка в средневековом стиле, — можно было видеть г-жу Сазра, на мгновение преклонявшую колени и клавшую на соседнюю скамейку изящно перевязанную коробку с пирожными, которую она только что купила в кондитерской напротив и несла домой к завтраку); в другом окне гора из розового снега, у подошвы которой разыгрывалось сражение, казалось, заморозила самые оконные стекла, покоробленные бесформенными бугорками, словно лед на замерзших окнах, но лед, освещенный лучами какой-то нездешней зари (той самой, несомненно, что обагряла запрестольный алтарный образ такими свежими тонами, что они, казалось, скорее были на мгновение положены на него проникшим извне световым лучом, готовым вскоре погаснуть, чем красками, навсегда прикрепленными к камню); и все они были такие древние, что там и сям можно было видеть их серебряную ветхость, сверкавшую сквозь пыль веков и показывавшую блестящую и вконец изношенную основу их нежного стеклянного узора. В числе этих расписных окон было одно, вся площадь которого была разделена на сотню маленьких прямоугольных окошечек, с преобладанием в них голубого цвета, словно колода карт, разложенная в замысловатом пасьянсе, вроде тех, которыми, как предполагают, развлекался король Карл VI; но оттого ли, что на нем играл солнечный луч, оттого ли, что, вслед за движением моего взгляда по витражу, на нем перемещался, то вспыхивая, то вновь погасая, причудливый пржар, — спустя мгновение окно это горело переливчатым блеском распущенного павлиньего хвоста, затем трепетало и волновалось огненным фантастическим ливнем, низвергавшимся с высоты мрачных каменных сводов по влажным стенам, как если бы я сопровождал моих родных, шедших передо мною с молитвенником в руках, в глубину отливавшего радужными цветами сталактитового грота; еще через мгновение маленькие прямоугольные витражи приобретали глубокую прозрачность, несокрушимую прочность сапфиров, уложенных друг подле друга на каком-то огромном наперсном кресте; но за ними, однако, чувствовалась еще более драгоценная, чем все эти сокровища, мимолетная улыбка солнца; ее так же хорошо можно было различить в голубоватой мягкой волне, которою оно омывало каменные стены, как и на уличной мостовой или на соломе рыночной площади; и даже в первые воскресенья после нашего приезда на пасхальные каникулы, когда земля была еще голой и черной, оно утешало меня, расцвечивая, как в стародавние весны времен преемников Людовика Святого, ослепительный золотистый ковер церковных окон стеклянными, незабудками. Два гобелена представляли коронование Эсфири (предание пожелало придать Артаксерксу черты одного французского короля и Эсфири — черты одной принцессы Германта, в которую король был влюблен); от времени краски их расплылись, что придало фигурам большую выразительность, большую рельефность, большую яркость: розовая краска на губах Эсфири выступила за их контур, желтая краска ее платья была положена так густо и так обильно, что платье приобрело как бы вещественность и резко выделялось на потускневшем воздушном фоне; а зелень с деревьев, оставшаяся еще яркой в нижних частях вытканного шелком и шерстью панно, но выцветшая сверху, обрисовывала в более бледных тонах, над темными стволами, верхние желтоватые ветви, как бы тронутые загаром и наполовину стершиеся под действием палящих, хотя и косых лучей невидимого солнца. Все это, и в еще большей степени драгоценные предметы, перешедшие в церковь от лиц, которые были для меня почти легендарными (золотой крест работы, как говорили, Св. Элуа, принесенный в дар Дагобером, гробница сыновей Людовика Немецкого из порфира с финифтяными украшениями), вследствие чего я вступал в церковь, когда мы направлялись к нашим скамьям, словно в долину, посещаемую феями, где крестьянин с изумлением замечает на скале, на дереве, на болоте осязаемый след их сверхъестественного пребывания, — все это делало для меня церковь чем-то совершенно отличным от остального города: зданием, помещавшимся, если можно так сказать, в пространстве четырех измерений — четвертым измерением являлось для него Время, — зданием, продвигавшим в течение столетий свой корабль, который, от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, побеждал и преодолевал не просто несколько метров площади, но ряд последовательных эпох, и победоносно выходил из них; зданием, прятавшим грубый и суровый XI век в толще церковных стен, из которых он проступал, со своими тяжелыми сводами, закрытыми и замурованными массивными глыбами бутового камня, только подле паперти, где в одной из стен лестница на колокольню пробуравила глубокую выемку; но даже и там он был замаскирован грациозными готическими аркадами, кокетливо жавшимися перед ним, как старшие сестры с приветливыми улыбками становятся перед неотесанным, неуклюжим и плохо одетым младшим братом, чтобы скрыть его от взоров посторонних; зданием, вздымавшим в небо, над площадью, свою башню, смотревшую на Людовика Святого и, казалось, еще и до сих пор видевшую его; зданием, погружавшимся со своим склепом в тьму меровингской ночи, в которой, ощупью ведя нас под мрачным сводом в мощных нервюрах, словно гигантское крыло каменной летучей мыши, Теодор или сестра его освещали нам свечкой гробницу внучки Зигебера, на крышке которой видна была глубокая ямка, — словно след ископаемого, — прорытая, по преданию, хрустальной лампадой, которая в ночь убийства франкской принцессы сама собой отделилась от золотых цепочек, на которых была подвешена в том месте, где сейчас находится абсида, и погрузилась в камень, мягко подавшийся под нею, причем ни хрусталь не разбился, ни огонь не погас".

Что же сказать об абсиде комбрейской церкви? Она была крайне неуклюжа и лишена художественной красоты и даже религиозного порыва. Так как перекресток, на который она выходила, был расположен на относительно более низком уровне, то снаружи ее громоздкая стена опиралась на фундамент из неотесанного камня с торчащими концами, не заключая в себе ничего специфически церковного; казалось, что окна в ней пробиты чересчур высоко, так что в целом она производила впечатление скорее тюремной стены, чем стены церковной. И действительно, впоследствии, когда я припоминал все славные абсиды, виденные мною, мне никогда бы не пришло в голову сопоставить с ними абсиду комбрейской церкви. Но однажды, с поворота улицы одного провинциального городка, я заметил выходившую на три скрещивавшихся переулка высокую ветхую стену с пробитыми в ней наверху окнами, такую же асимметричную с виду, как и комбрейская абсида. И в тот момент я не спросил себя, как делал это в Шартре или Реймсе, насколько ярко было в ней выражено религиозное чувство, а только невольно воскликнул: «Церковь!»

Церковь! Такая родная и близкая; на улице Сент-Илер, куда выходила ее северная дверь, непосредственно примыкавшая к двум своим соседям: аптеке г-на Рапена и дому г-жи Луазо, так что между ними не оставалось вовсе свободного пространства; простая обывательница Комбре, которая могла бы иметь свой номер на улице, если бы вообще дома на улицах Комбре имели номера, и перед дверью которой, казалось, должен был останавливаться почтальон во время своего утреннего разноса писем, выйдя от г-на Рапена и направляясь к г-же Луазо, — и все же между нею и остальным Комбре проходила грань, которую уму моему никогда не удавалось преодолеть. Напрасно окно г-жи Луазо было уставлено фуксиями, усвоившими дурную привычку всегда раскидывать по всем направлениям свои склоненные книзу ветви, цветы которых, когда они делались достаточно взрослыми, первым долгом торопливо стремились освежить свои фиолетовые полнокровные щеки о темный фасад церкви, — фуксии от этого не становились для меня священными; пусть глаза мои не воспринимали промежутка между цветами и почерневшим камнем, к которому они прислонялись: ум мой сохранял между ними пропасть.

Колокольню Сент-Илер можно было различить и узнать совсем издали: ее незабываемый силуэт обрисовывался на горизонте в то время, когда Комбре еще не был виден; заметив из поезда, мчавшего нас на пасхальной неделе из Парижа в Комбре, как она скользит по складочкам горизонта, поворачивая во всех направлениях увенчивавшего ее железного петушка, отец говорил нам: «Складывайте скорее вещи, приехали». И на пути одной из самых дальних прогулок, совершавшихся нами в Комбре, было место, где стесненная холмами дорога вдруг выходила на широкую равнину, замкнутую на горизонте изрезанным просеками лесом, над которым возвышался один только острый шпиль колокольни Сент-Илер, такой тоненький, такой розовый, что казался лишь легким штрихом, едва оттиснутым в небе ногтем безвестного художника, пожелавшего придать этому пейзажу, этому чистому куску природы, маленькую черточку искусства, единственный намек на присутствие человека. По мере того как мы приближались и могли различить остатки четырехугольной полуразрушенной башни, которая еще стояла рядом с колокольней, но была значительно ниже ее, я больше всего бывал поражен красноватым и мрачным тоном камня; и туманным осенним утром руина, возвышавшаяся над сизо-лиловыми, цвета грозовой тучи, виноградниками, казалась пурпурной, совсем почти как лоза дикого винограда.

Часто на площади, когда мы возвращались домой, бабушка останавливала меня и предлагала посмотреть на колокольню. Из окон своей башни, проделанных по два, одна пара над другою, с соблюдением той правильной и своеобразной пропорции в расстояниях, которая сообщает красоту и достоинство не только человеческим лицам, она выпускала, выбрасывала, через одинаковые промежутки времени, стаи воронов, которые в течение нескольких мгновений с карканьем кружились над нею, как если бы старые камни, позволявшие им резвиться и словно не замечавшие их, стали вдруг необитаемыми, стали излучать из себя что-то бесконечно тревожное, поразившее птиц и их спугнувшее. Затем, избороздив во всех направлениях фиолетовый бархат вечернего воздуха, внезапно успокоившиеся птицы возвращались и поглощались башней, из зловещей вновь превратившейся в благожелательную, причем некоторые из них садились там и сям (с виду неподвижные, но хватая, вероятно, пролетающих мимо насекомых) на верхушках остроконечных зубцов, словно чайки, с неподвижностью рыбаков замирающие на гребнях волн. Сама не зная хорошенько почему, бабушка находила в колокольне Сент-Илер то отсутствие вульгарности, претенциозности и мелкости, которое побуждало ее любить и верить в огромную благодетельность их влияния — и природу, когда рука человеческая не умаляла ее, как делал это садовник моей двоюродной бабушки, — и произведения великих художников. И точно, каждая часть церкви, доступная взору наблюдателя, отличала ее от любого другого здания своего рода мыслью, которой она была проникнута; но если мысль эта была разлита по всем ее частям, то в колокольне она как бы достигала самосознания, утверждала некоторое индивидуальное и ответственное за себя бытие. Именно колокольня говорила от лица церкви. Я очень склонен думать, что бабушка смутно находила в комбрейской колокольне то, что было для нее наиболее ценно в мире: естественность и благородство. Будучи несведущей в архитектуре, она говорила: «Дорогие мои, вы можете смеяться надо мной, если вам угодно: она, может быть, не отличается безупречной красотой, но ее причудливое старое лицо мне нравится. Если бы она играла на рояле, то, я уверена, игра ее не была бы *сухая»*. И, смотря на нее, следуя глазами за мягкой напряженностью ее очертаний, за пламенной склоненностью ее каменных скатов, которые, поднимаясь кверху, сближались, словно руки, сложенные для молитвы, бабушка до такой степени сливалась с устремленностью шпиля, что взгляд ее, казалось, возносился вместе с ним; и в то же время она дружелюбно улыбалась старым изношенным камням, у которых закатное солнце освещало теперь только остроконечные зубцы подле крыши и которые, с момента вступления в эту залитую солнцем зону, смягченные светом, казалось, вздымались вдруг еще выше, улетали куда-то вдаль, словно ноты, взятые фальцетом, на октаву выше.

Колокольня Сент-Илер давала лицо, увенчание и освящение каждому занятию, каждому часу дня, каждому городскому виду. Из моей комнаты я мог различить только ее основание, недавно перекрытое шифером; но когда в жаркое летнее воскресное утро я видел, как эти шиферные плиты пылают словно черное солнце, я говорил себе: «Боже мой! Девять часов! Я должен собираться к поздней мессе, если хочу успеть поздороваться с тетей Леонией» — и я с точностью знал, какова была окраска солнечного света на площади, отчетливо ощущал жару и пыль рынка, ясно представлял полумрак от спущенной шторы в магазине, пахнувшем небеленым холстом, куда мама зайдет, может быть, перед мессой купить какой-нибудь платочек, который с низким поклоном велит показать ей сам хозяин, уже совсем приготовившийся к закрытию и направлявшийся в заднюю комнату надеть свой воскресный сюртук и вымыть пахучим мылом руки, которые он имел обыкновение каждые пять минут, даже при самых мрачных обстоятельствах, потирать одна о другую с предприимчивым видом человека удачливого и себе на уме.

Когда после мессы мы заходили на минутку к Теодору сказать ему, чтобы он принес кулич больших размеров, чем обыкновенно, так как мы ожидали к завтраку наших родственников, приезжавших из Тиберзи по случаю хорошей погоды, то колокольня, сама испеченная и подрумяненная словно большой кулич, с искрящейся коркой и клейкими капельками солнечного света, вонзала свой острый шпиль в голубое небо. А вечером, когда я возвращался с прогулки и думал о приближавшемся моменте прощания с мамой перед сном, после чего мне уже нельзя будет видеть ее, очертания колокольни были, напротив, такими мягкими на фоне меркнувшего дня, что она казалась подушкой из коричневого бархата, положенной на бледное небо, погруженной в небо, которое подалось под ее давлением, слегка углубилось, чтобы дать ей место, и выступало по ее краям; и крики птиц, кружившихся над нею, казалось, делали еще более ощутимым ее спокойствие, еще выше возносили ее шпиль и сообщали ей нечто такое, чего словами не выразишь.

Даже во время наших прогулок по местам, лежавшим за церковью, откуда ее не было видно, городской пейзаж всегда казался построенным в соотношении с колокольней, которая проглядывала то здесь, то там и была, может быть, еще более волнующей, когда показывалась таким образом без церкви. Конечно, существует множество других колоколен, с виду более красивых, когда смотришь на них с подобных пунктов, и я храню в своей памяти виньетки колоколен, возвышающихся над крышами, которым присущ совсем другой художественный характер, чем перспектива печальных улиц Комбре. Я никогда не забуду двух прелестных домов XVIII века в любопытном нормандском городке невдалеке от Бальбека, домов, во многих отношениях дорогих и памятных мне, между которыми, если смотреть на них с красивого сада, уступами спускающегося к реке, взлетает ввысь готический шпиль спрятанной за ними церкви, как бы увенчивающий и завершающий их фасады, но состоящий из вещества столь отличного, столь драгоценного, столь хрупкого, столь розового, столь блестящего, что сразу видна его такая же непричастность к ним, как непричастна пурпурная и зазубренная стрелка веретенообразной и покрытой блестящей эмалью раковины к двум лежащим рядом красивым галькам, между которыми она была найдена на морском берегу. Даже в Париже, в одном из самых невзрачных кварталов, я знаю окно, откуда виден где-то на третьем или даже на четвертом плане, за беспорядочно нагроможденными крышами нескольких улиц, фиолетовый колокол, иногда красноватый, а иногда также в самых тонких «оттисках», какие дает от него атмосфера, черновато-пепельный, являющийся не чем иным, как куполом церкви Сент-Огюстен, и придающий этому парижскому виду характер некоторых римских видов Пиранези. Но так как ни в одну из этих маленьких гравюр, с какой бы любовью я мысленно ни воспроизводил их, память моя не могла вложить чувства, способность к которому давно уже мной утрачена и которое заставляет нас смотреть на предмет не как на зрелище, но верить в него, как в существо, не имеющее себе равных, то ни одна из них не держит в зависимости от себя целого периода моей интимной жизни, как это делает воспоминание о разных видах колокольни в Комбре с улиц, расположенных позади церкви. Видели ли мы ее в пять часов, когда ходили за письмами на почту, на расстоянии нескольких домов от нас, налево, неожиданно вздымавшуюся одинокой вершиной над гребнем крыш, или же, напротив, желая пойти узнать о здоровье г-жи Сазра, следили глазами за этим гребнем, понижавшимся по ту сторону удаленного от нас ее ската, зная, что нужно будет повернуть во вторую улицу за колокольней; либо, отправляясь еще дальше, на вокзал, замечали ее в косом направлении, и она показывала нам в профиль новые грани и поверхности, точно какое-нибудь твердое тело, внезапно застигнутое в одном из неизвестных нам ранее аспектов во время обращения его вокруг своей оси; либо, наконец, с берегов Вивоны, когда абсида, мощно напрягшая свои мышцы и приподнятая перспективой, казалось, искрилась усилием, которое производила колокольня, чтобы швырнуть свой шпиль в самое сердце неба:

каждый раз неизменно приходилось возвращаться к колокольне, каждый раз она господствовала над всем, объединяя дома неожиданным остроконечным зубцом, поднятым передо мною словно палец Бога, тело которого могло быть скрыто в массе человеческих тел, и я все же благодаря этому пальцу не смешал бы его с ними. И сейчас еще, если в каком-нибудь большом провинциальном городе или в плохо знакомом мне парижском квартале прохожий, сообщая, как попасть в желательное для меня место, показывает мне вдали, в качестве опорного пункта, какую-нибудь каланчу или монастырскую колокольню, поднимающую на углу улицы, на которую я должен повернуть, остроконечную верхушку своей священнослужительской шапки, то достаточно моей памяти найти у нее самой смутное сходство с дорогими исчезнувшими очертаниями, — и прохожий, если он вздумает обернуться, чтобы удостовериться, не сбился ли я с пути, может, к удивлению своему, заметить, что я, позабыв о предпринятой прогулке или о поручении, которое мне необходимо было выполнить, целыми часами остаюсь на том же месте, перед колокольней, неподвижный, пытаясь припомнить, чувствуя, как в самой глубине моего существа площади, залитые водами Леты, постепенно высыхают и на них вновь появляются постройки; и, несомненно, в тот момент, еще более исступленно, чем несколько времени тому назад, когда я просил его показать мне дорогу, я продолжаю искать ее, я поворачиваю за угол… но… все это путешествие я совершаю в моем сердце…

Возвращаясь от мессы, мы часто встречали г-на Леграндена, которого удерживали обыкновенно в Париже его профессиональные занятия (он был инженер), так что, исключая святок, он мог приезжать к себе домой в Комбре только на время от вечера субботы до утра понедельника. Он был одним из тех людей, которые помимо ученой карьеры, делаемой ими, впрочем, с блестящим успехом, обладают еще совсем иного рода культурой, литературной или художественной; этой культуре не дает никакого применения профессиональная работа по их специальности, но они обнаруживают ее в своем разговоре. Более начитанные, чем многие литераторы (мы не знали в то время, что г-н Легранден имел уже некоторое литературное имя, и были бы крайне изумлены, если бы до нас дошло, что какой-нибудь известный композитор написал музыку на его стихи), одаренные большей «легкостью руки», чем многие художники, они воображают, что жизнь, которую им приходится вести, не является жизнью, соответствующей их способностям, и вносят в свою профессиональную работу либо беззаботность, смешанную с прихотливостью, либо чрезмерно подчеркнутую старательность, презрительную, горькую и добросовестную. Высокий, прекрасно сложенный, с тонким задумчивым лицом и длинными светлыми усами, с разочарованными голубыми глазами, утонченно вежливый собеседник, какого мы никогда не слыхали, он был в глазах моей семьи, всегда ставившей его в пример, образцом настоящего джентльмена, относящегося к жизни как нельзя более благородно и деликатно. Бабушка упрекала его только в том, что он слишком уж хорошо говорил, почти как книга, и его речь была лишена той естественности, с какой он повязывал широким и небрежным бантом галстухи «лавальер» и носил прямой и короткий, почти как у школьника, пиджак. Она удивлялась также пламенным тирадам, которыми он часто разражался против аристократии, светской жизни и снобизма, «несомненно являющегося тем грехом, что имеет в виду апостол Павел, когда он говорит о грехе, который не получит прощения».

Светское честолюбие было чувством, которое бабушка до такой степени была не способна испытать и даже понять, что ей казалось совершенно нестоящим делом вкладывать столько горячности в его осуждение. Кроме того, она не считала признаком очень хорошего вкуса то, что г-н Ленгранден, сестра которого была замужем за одним нижненормандским дворянином, жившим невдалеке от Бальбека, так яростно набрасывался на знать и даже ставил в упрек Великой революции, что она не гильотинировала всех ее представителей.

— Здравствуйте, друзья, — говорил он, идя нам навстречу. — Как вы счастливы, что можете жить здесь подолгу; а мне завтра нужно возвращаться в Париж, чтобы снова зарыться в свою конуру

— О! — продолжал он, с особенной ему свойственной мягко-иронической, разочарованной и рассеянной улыбкой. — Конечно, в моем доме есть куча бесполезных вещей. В нем недостает только необходимого большого куска неба, как здесь. Старайтесь всегда сохранить кусок неба над вашей жизнью, мальчик, прибавлял он, обращаясь ко мне. — У вас красивая душа, редкого качества, артистическая натура, не лишайте же ее того, что ей необходимо.

Когда, по нашем возвращении, тетя посылала спросить нас, действительно ли г жа Гупиль опоздала к мессе, никто из нас не мог ей ответить. Зато мы увеличили ее тревогу, сообщив ей, что в церкви работает художник: снимает копию с витража Жильбера Дурного. Франсуаза, тотчас же посланная к бакалейщику, вернулась, ничего не узнав, благодаря отсутствию Теодора, которому его двойная профессия певчего, принимавшего участие в поддержании церковного благолепия, и приказчика в бакалейной лавке не только позволяла вступать в сношения с представителями всех общественных классов, но и давала энциклопедическую осведомленность.

— Ах! — вздыхала тетя. — Поскорей бы наступил час, когда должна прийти Евлалия. Она единственный человек, который в состоянии сказать мне это.

Евлалия была деятельная и глухая хромоножка, «удалившаяся на покой» после смерти г-жи де ла Бретонери, у которой она служила с самого детства; она сняла комнату рядом с церковью, но дома почти не сидела и вечно находилась в церкви, то на службах, то молясь в одиночестве или помогая Теодору, когда службы не было; остальное время она проводила в посещении больных, вроде тети Леонии, которой она докладывала все происходившее в церкви во время мессы или вечерни. Она не упускала случая увеличить случайными доходами скромную ренту, обеспеченную ей семьей прежних хозяев, и время от времени приводила в порядок белье кюре или другой значительной особы из числа комбрейского духовенства. Сверх черного суконного плаща она носила маленький белый чепчик, почти как монахиня, и какая-то накожная болезнь окрашивала часть ее щек и ее крючковатый нос в ярко-розовые тона бальзамина. Ее посещения были большим развлечением в жизни тети Леонии, не принимавшей больше почти никого, за исключением г-на кюре. Тетя понемногу исключила из списка приглашаемых всех других лиц, так как все они были в ее глазах повинны в том, что принадлежали к одной из двух категорий людей, которых она не могла выносить. Люди первой категории, самые ужасные, от которых она отделалась в первую очередь, представляли собой субъектов, советовавших ей не обращать столько внимания на свое здоровье и исповедовавших — пусть даже чисто отрицательно, выражая ее только в форме неодобрительного молчания или улыбок сомнения, — пагубную доктрину, будто маленькая прогулка в солнечный день и хороший бифштекс с кровью принесут ей больше пользы (это ей-то, которая в течение четырнадцати часов хранила в своем желудке два злосчастных глотка Виши!), чем все ее лекарства и ее постель. Другая категория состояла из лиц, делавших вид, будто считают, что тетя больна серьезнее, чем она думает, что она больна так серьезно, как она говорит. В результате лица, которым она после некоторого колебания и настойчивых уговоров Франсуазы позволяла подняться к себе и которые во время своего визита показывали, насколько они были недостойны оказанной им милости, рискнув робко заметить: «Не кажется ли вам, что если бы вы размялись немного в хорошую погоду…» — или же, напротив, в ответ на ее жалобу: «Мне так худо, так худо, это конец, дорогие друзья» — говоря: «Да, это ужасно лишиться здоровья! Но вы еще можете протянуть в таком состоянии», — такие лица, и первой и второй категории, могли быть уверены, что дверь тетиных комнат никогда больше для них не откроется. И если Франсуазу очень забавлял испуганный вид тети, когда со своей кровати она замечала на улице Сент-Эспри кого-нибудь из этих лиц, как будто намеревавшихся зайти к ней, или слышала звонок у своей двери, то еще больше ее смешили, как ловкая выдумка, всегда победоносные хитрости тети, изобретаемые с целью спровадить нежелательного гостя, и вытянутая физиономия такого гостя, вынужденного удалиться, не повидавши тетю: и Франсуаза втайне восхищалась своей барыней, так как считала, что она стоит неизмеримо выше этих людей, поскольку может не принимать их, если не желает их видеть. В общем, тетя требовала от своих посетителей, чтобы они в одно и то же время и одобряли ее образ жизни, и выражали ей соболезнование по поводу ее страданий, и уверяли ее, что она в конце концов поправится.

Во всех этих отношениях Евлалия была бесподобна. Тетя могла повторять ей двадцать раз в течение минуты: «Пришел конец мне, бедная моя Евлалия», — двадцать раз Евлалия неизменно отвечала ей: «Если знать свою болезнь так, как вы ее знаете, то можно прожить до ста лет, как говорила мне вчера еще г-жа Сазрен». (Одним из самых твердых убеждений Евлалии, которое не в состоянии было поколебать никакое число изобличающих его неправильность показаний, заключалось в том, что настоящей фамилией г-жи Сазра была фамилия Сазрен.)

— Я не прошу у Бога прожить до ста лет, — отвечала тетя, предпочитавшая не назначать точно определенной границы дням своей жизни.

А так как Евлалия умела, кроме того, как никто другой, развлекать тетю, не утомляя ее, то ее посещения, имевшие место регулярно каждое воскресенье — разве только случалось что-нибудь непредвиденное, — были для тети удовольствием, перспектива которого держала ее в состоянии радостного возбуждения, очень скоро, впрочем, сменявшегося состоянием мучительным, как слишком долго не удовлетворяемый голод, стоило только Евлалии немного опоздать. Слишком затягиваясь, это наслаждение ожидать Евлалию обращалось в пытку; тетя то и дело поглядывала на часы, зевала, жаловалась на недомогание. Если звонок Евлалии раздавался перед самым вечером, когда тетя теряла уже всякую надежду, то он почти что делал ее больной. Действительно, по воскресеньям она только и думала, что об этом посещении, и по окончании завтрака Франсуаза с нетерпением ожидала момента, когда мы покинем столовую, чтобы ей можно было подняться наверх и «заняться» тетей. Но (особенно когда в Комбре устанавливалась хорошая погода) проходило много времени с тех пор, как горделивый полуденный час, нисходивший с колокольни Сент-Илер, которую он украшал на мгновение двенадцатью геральдическими зубцами своей звучащей короны, успевал пробить над нашим столом, возле освященного хлеба, который также запросто приходил к нам из церкви, — а мы все еще сидели перед тарелками со сценами из «Тысячи и одной ночи», отяжелевшие от жары, а еще больше от еды. В самом деле, к неизменной основе из яиц, котлет, картофеля, варенья, бисквитов, о появлении которых на столе Франсуаза даже не объявляла нам больше, она присоединяла — соответственно урожаю на огородах и в фруктовых садах, результатам морского улова, случайностям рынка, любезности соседей и своим собственным талантам, так что наше меню, подобно тем четырехлистникам, которые высекались в XIII веке на порталах соборов, в известной степени отражало чередование времен года и событий человеческой жизни: камбалу, так как торговка поручилась ей за ее свежесть; индейку, так как ей попалась отличная на рынке в Руссенвиль-ле-Пен; испанские артишоки с мозгом, так как она еще не готовила их нам этим способом; жареного барашка, так как прогулка на свежем воздухе возбуждает аппетит и до обеда придется ждать еще целых семь часов — время достаточное, чтобы переварить этого барашка; шпинат — для разнообразия; абрикосы, так как они были еще редкостью; смородину, так как через две недели ее нельзя уже будет достать; малину, так как г-н Сван собственноручно принес ее; вишни, которые в первый раз уродились на вишневом дереве нашего сада после того, как в течение двух лет оно не давало плода; творог со сливками, который я так любил в те времена; миндальное пирожное, так как она заказала его накануне; кулич, так как пришла наша очередь приносить его в церковь. Когда же все это бывало съедено, на стол подавался нарочно для нас приготовленный, но посвященный главным образом моему отцу, большому любителю таких вещей, шоколадный крем, плод творческого вдохновения Франсуазы, воздушный и легкий, как произведение, исполненное для чрезвычайного случая, в которое она вложила весь свой талант. Тот, кто вздумал бы отказаться от него, сказав: «Спасибо, я уже кончил; больше не могу» — сразу был бы низведен до уровня тех варваров, которые, получая от художника в подарок какое-нибудь его произведение, исследуют его вес и материал, тогда как в нем ценны только замысел и подпись автора. Даже оставить хотя бы самый маленький кусочек на тарелке было бы такой же невежливостью, как встать и уйти из концертного зала до окончания музыкального номера под носом у композитора.

Но вот наконец мама обращалась ко мне: «Милый, не оставайся здесь без конца; поднимись в свою комнату, если ты находишь, что на дворе очень жарко, но пойди сначала подыши воздухом, нельзя садиться за книгу сразу после еды». Я направлялся к насосу с каменным желобом, украшенным там и сям, подобно готической купели, саламандрами, оживлявшими истершийся камень подвижным рельефом своих гибких аллегорических тел, и усаживался подле него на скамейку без спинки, под тенью сиреневого куста, в том уголке сада, откуда был выход через маленькую калитку на улицу Сент-Эспри; на довольно заброшенной его территории возвышалась двумя уступами задняя кухня, соединенная с домом, но казавшаяся с места, где я сидел, самостоятельной постройкой. Ее красные каменные плиты блестели, словно порфирные. Она была похожа не столько на убежище Франсуазы, сколько на маленький храм Венеры, и вся была наполнена приношениями молочника, фруктовщика, торговки овощами, приходившими подчас из довольно отдаленных деревень, чтобы посвятить ей первые плоды своих полей. И конек ее крыши всегда был увенчан воркующим голубем.

В прежние времена я не задерживался в священной роще, окружавшей этот храм, так как, прежде чем подняться к себе наверх и приняться за чтение, забирался в маленькую гостиную, которую занимал в нижнем этаже дядя Адольф — дедушкин брат, старый военный, вышедший в отставку в чине майора, — и которая, даже когда открытые окна давали доступ если не солнечным лучам, редко заглядывавшим туда, то стоявшей на дворе жаре, неиссякаемо источала тот неопределенный, но свежий запах, отдающий одновременно лесом и старомодным образом жизни, что так приятно щекочет ноздри и погружает нас в мечтательность, когда мы входим в какой-нибудь заброшенный охотничий домик. Но уже несколько лет я не заходил больше в комнату дяди Адольфа, так как он перестал приезжать в Комбре вследствие ссоры, происшедшей между ним и моей семьей, по моей вине, при следующих обстоятельствах.

В Париже один или два раза в месяц меня посылали навестить дядю, и я входил к нему обыкновенно, когда он кончал завтракать, одетый в скромную тужурку; за столом ему прислуживал лакей в рабочей блузе из грубого холста в лиловую и белую полоску. Дядя тотчас же начинал с ворчаньем жаловаться, что я редко прихожу к нему, что его совсем забыли; он угощал меня марципанами или мандаринами, затем мы покидали столовую и проходили через комнату, где никто никогда не задерживался, где никогда не зажигали огня, комнату со стенами, украшенными золоченой резьбой, с потолком, расписанным в голубой цвет в подражание цвету неба, и с мебелью, обитой атласом, как у моих бабушки и дедушки, только желтым; располагались мы в следующей комнате, которую дядя называл своим «рабочим» кабинетом; по стенам ее были развешаны гравюры, изображавшие на черном фоне какую-нибудь дебелую розовую богиню, правящую колесницей, стоящую на шаре или со звездой на лбу; гравюры эти были в большой моде при Второй империи, так как тогда считалось, что они напоминают помпейскую живопись; потом к ним стали относиться пренебрежительно, а теперь снова начинают ими увлекаться на том единственном основании (какие бы другие основания ни приводились), что они напоминают Вторую империю. И я оставался у дяди до тех пор, пока не приходил к нему камердинер спросить от имени кучера, к какому часу дядя прикажет закладывать лошадей. Дядя погружался тогда в раздумье, которое восхищённый камердинер боялся потревожить малейшим движением, с любопытством ожидая, к какому результату приведет оно. Но результат был всегда один и тот же: после мучительных колебаний дядя неизменно произносил: «В четверть третьего». Камердинер с изумлением, но без возражений повторял: «В четверть третьего? Хорошо… передам ему…»

В те времена я очень любил театр, любил платонически, так как мои родители ни разу еще не позволяли мне пойти туда, и я настолько неверно представлял себе удовольствия, которые там получают, что недалек был от предположения, будто каждый зритель смотрит на сцену как бы в стереоскоп и видимая им картина существует только для него одного, хотя она и похожа на тысячу других картин, предстоящих глазам каждого из остальных зрителей.

Каждое утро я бегал к столбу с афишами посмотреть, какие спектакли объявлял он. Ничто не могло быть бескорыстнее и счастливее грез, навеваемых моему воображению каждой объявленной пьесой и обусловленных, с одной стороны, ассоциациями, неразрывно связанными со словами, составлявшими название пьесы, а с другой — цветом афиш, еще влажных и сморщенных от клея, на которых это название было напечатано. Если не считать таких странных произведений, как «Завещание Цезаря» Жиродо или «Эдип-царь», напечатанных не на зеленых афишах Комической Оперы, но на афишах винного цвета Французской Комедии, то ничто не казалось мне более отличным от пера сверкающей белизны «Бриллиантов короны», чем гладкий таинственный атлас «Черного домино»; так как мои родители сказали мне, что для своего первого посещения театра я должен буду сделать выбор между этими двумя пьесами, то я стремился последовательно углубить их заглавия, (ибо заглавия эти были все, что я о них знал), пытаясь таким образом угадать в каждом удовольствие, которое оно сулило мне, и сравнить его с удовольствием, таившимся в другом заглавии; в заключение я с такой яркостью представлял себе, с одной стороны, ослепительно сверкающую и горделивую пьесу, а с другой — пьесу спокойную и бархатистую, что бывал так же не способен решить, какой из них следует отдать предпочтение, как не способен был бы сделать выбор между предложенными мне на сладкое рисом a l’Imperatrice и знаменитым шоколадным кремом.

Все мои разговоры с товарищами вращались вокруг актеров, игра которых, хотя она оставалась для меня еще неизвестной, была первой из многочисленных форм Искусства, в которой оно дало мне почувствовать свое очарование. Самые незначительные различия в их манере декламировать какую-нибудь тираду казались мне исполненными неизмеримого значения. И на основании чужих отзывов об актерах я размещал их в порядке их талантливости в списки, которые твердил наизусть с утра до вечера, так что в заключение они как бы окаменели в моем мозгу и стали досаждать мне своей неподвижностью.

Впоследствии, во время пребывания моего в коллеже, заводя на уроках разговор с каким-нибудь новым другом, когда преподаватель не смотрел на меня, я всегда начинал с вопроса, бывал ли уже в театре мой сосед и согласен ли он, что нашим величайшим актером является Го, что за ним следует Делоне и т. д. И если, по его мнению, Февр был ниже Тирона или Делоне ниже Коклена, то внезапная подвижность, которую приобретало в моем мозгу имя Коклена, утратившее каменную твердость, чтобы перекочевать там на второе место, а также чудесная живость и необычное одушевление, которым бывало наделено имя Делоне, чтобы отодвинуться на четвертое место, сообщали моему освеженному и оплодотворенному мозгу ощущение зацветания и жизни.

Но если мысль об актерах до такой степени занимала меня, если вид Мобана, выходящего после полудня из Французской Комедии, причинял мне тревогу и терзания безнадежной любви, то насколько же большее смятение вызывали во мне имя какой-нибудь этуали, сверкавшее на дверях театра, или вид женского лица, принадлежавшего, может быть, актрисе, которое я замечал сквозь стеклянную дверцу проезжавшей по улице двухместной кареты, запряженной лошадьми с вплетенными в челки розами! Как бесплодны и мучительны бывали мои усилия представить себе ее частную жизнь! Я размещал в Порядке талантливости самых знаменитых: Сару Бернар, Берма, Барте, Мадлену Броан, Жанну Самари, но все они интересовали меня. Между тем дядя был знаком со многими из них, а также с кокотками, которых я недостаточно ясно отличал от актрис. Он принимал их у себя. И если мы посещали дядю только в определенные дни, то это объяснялось тем, что в другие дни к нему приходили женщины, с которыми дядины родственники не могли встречаться — по их мнению, по крайней мере, — так как что касается самого дяди, то он, напротив, проявлял необычайную готовность любезно представлять моей бабушке красивых вдов, которые никогда, может быть, не были замужем, и графинь с громкой фамилией, являвшейся, вероятно, только благозвучным псевдонимом, или даже дарить им фамильные драгоценности, — готовность, которая уже не раз бывала причиной его размолвок с дедушкой. Мне часто приходилось слышать, как отец мой, при упоминании в разговоре фамилии какой-нибудь актрисы, с улыбкой говорил матери: «Приятельница твоего дяди» — и я думал: солидные мужчины, может быть, годами тщетно добиваются чести быть принятыми такой-то женщиной, которая не отвечает на их письма и велит консьержу гнать их вон, — а вот мой дядя мог бы избавить от всех этих мытарств такого мальчишку, как я, представив его у себя в доме актрисе, недоступной для стольких других, но являвшейся его интимным другом.

И вот однажды — под тем предлогом, что один из моих уроков был переставлен очень неудачно и уже несколько раз мешал мне и будет мешать впредь навещать дядю, — выбрав день, не принадлежавший к числу дней, в которые мы делали дяде визиты, я воспользовался тем, что мы позавтракали очень рано, и вышел из дому; но вместо того, чтобы отправиться взглянуть на столб с афишами (на эту прогулку меня отпускали одного), я побежал к дяде. Я заметил перед его дверью экипаж, запряженный парой лошадей с наглазниками, украшенными красной гвоздикой, которая красовалась также в петличке кучера. Еще на лестнице я услышал смех и женский голос, но как только я позвонил, воцарилось молчание, потом раздался шум закрываемых дверей. Открывший мне камердинер, увидя меня, пришел в замешательство и сказал мне, что дядя очень занят и вряд ли примет меня; однако он все же отправился доложить обо мне, и в эту минуту тот же голос, который я слышал с лестницы, проговорил: «Милый, позволь ему войти, на одну только минутку, мне страшно хочется его увидеть. Ведь это его фотография стоит на твоем письменном столе? Рядом с фотографией твоей племянницы, его матери? Он так похож на нее, не правда ли? Я хочу только взглянуть на этого малыша».

Я услышал, как дядя заворчал и что-то сердито ответил; через некоторое время камердинер попросил меня войти.

На столе стояла та же тарелка с марципанами, что и обыкновенно; дядя был в своей неизменной тужурке, но напротив него сидела молодая женщина в розовом шелковом платье с большим жемчужным ожерельем на шее и доедала мандарин. Не зная, как обратиться к ней: «мадам» или «мадемуазель», я покраснел и, не осмеливаясь поднять глаза в ее сторону из боязни, что мне придется заговорить с ней, подошел поздороваться с дядей. Она с улыбкой смотрела на меня, и дядя сказал ей: «Мой племянник» — не называя ни ей моей фамилии, ни мне ее, наверное потому, что после неприятностей, которые вышли у него с дедушкой, он всячески избегал устраивать встречи между своими родственниками и знакомыми этого рода.

— Как он похож на свою мать, — сказала дама.

— Но ведь вы никогда не видели моей племянницы; по карточке судить недостаточно, — поспешно прервал ее дядя довольно грубым тоном.

— Извините, пожалуйста, дорогой мой, я как-то встретилась с ней на лестнице в прошлом году, когда вы были серьезно больны. Правда, я видела ее одно только мгновение, и ваша лестница довольно темная; но этого мгновения для меня было достаточно, чтобы найти ее очаровательной. У этого молодого человека ее прекрасные глаза, а также вот это, — продолжала она, проводя пальцем линию над бровями. — Скажите, ваша уважаемая племянница носит ту же фамилию, что и вы, мой друг? — обратилась она к дяде.

— Он похож больше на отца, — проворчал дядя, которому было так же нежелательно знакомить эту даму заочно с моей матерью, называя ее фамилию, как и сводить их лицом к лицу. — Он вылитый отец и похож еще, пожалуй, на мою бедную матушку.

— Я не знакома с его отцом, — сказала дама в розовом, слегка наклонив голову, — и никогда не была знакома с вашей бедной матушкой. Вы ведь помните, мы познакомились вскоре после постигшего вас горя.

Я испытывал некоторое разочарование: эта молодая дама не отличалась от других красивых женщин, которых я иногда видел в нашем доме; в ней было особенно много сходства с дочерью одного из наших кузенов, к которому я постоянно ходил с новогодним поздравлением. У приятельницы моего дяди были такие же живые и добрые глаза, такой же открытый и доброжелательный взгляд, и только одета она была лучше. Я не находил у нее никаких признаков театральной внешности, так восхищавшей меня на фотографиях актрис, не находил также демонического выражения, соответствовавшего жизни, которую, по моим предположениям, она должна была вести. Я с трудом верил, что это была кокотка, и никак не мог бы подумать, что это была кокотка шикарная, если бы не видел экипажа, запряженного парой, розового платья, жемчужного ожерелья, если бы не знал, что дядя водил знакомство только с птицами самого высокого полета. Я недоумевал, каким образом миллионер, даривший ей экипаж, особняк и драгоценности, мог находить удовольствие в проматывании денег на особу с такой скромной и приличной внешностью. И все же, когда я думал о том, чем должна быть ее жизнь, ее безнравственность волновала меня, может быть, больше, чем если бы она предстала мне в конкретной и наглядной форме, — волновала своей невидимостью, как тайна какого-то романа, какого-то скандала, заставившего уйти из тихого родительского дома и сделавшего публичным достоянием, украсившего прелестями, обратившего в героиню полусвета и так прославившего женщину, которую выражение лица, интонации голоса делали похожей на стольких других знакомых мне женщин и, вопреки моей воле, побуждали меня рассматривать как молодую девушку из хорошей семьи, в то время как она не принадлежала больше ни к какой семье.

Тем временем мы перешли в «рабочий кабинет», и дядя, в некотором замешательстве от моего присутствия, предложил ей папиросу.

— Нет, благодарю вас, дорогой, — сказала она, — вы знаете, я ведь привыкла к папиросам, которые присылает мне великий князь. Я ему сказала, что они возбуждают в вас ревность. — И она вынула из портсигара несколько папирос с надписями золотыми буквами на иностранном языке. — Ну конечно же, — воскликнула она вдруг, — я встречалась у вас с отцом этого молодого человека. Ведь он ваш племянник? Как могла я забыть? Он был так мил, так изысканно вежлив со мной, — продолжала она скромно и трогательно.

Но, представив себе, насколько грубым мог быть изысканно-вежливый, по ее словам, прием, оказанный ей моим отцом, — ибо мне хорошо были известны его холодность и сдержанность, — я ощутил неловкость от этого несоответствия между чрезмерной признательностью, выраженной ему, и его недостаточной любезностью. Впоследствии я пришел к убеждению, что одна из трогательных сторон роли этих праздных и прилежных женщин заключается в том, что они посвящают свои щедроты, свой талант, свои неосуществленные сентиментальные мечты о красоте, — ибо, подобно всем художникам, они их не воплощают, не вводят в рамки повседневного существования, — и легко достающееся им золото на украшение драгоценной и изящной оправой грубой и плохо отшлифованной жизни мужчин. Подобно тому, как она наполняла курительную комнату, где дядя принимал ее в заношенной тужурке, очарованием своего прелестного тела, своего розового шелкового платья, своего жемчуга, элегантностью, сообщаемой дружескими отношениями с великим князем, так же точно эта женщина поступила с каким-нибудь незначительным замечанием моего отца: она деликатно отшлифовала его, смягчила, дала ему утонченное название, вставила в него драгоценный взгляд своих глаз, этих бриллиантов чистейшей воды, светившихся уничижением и благодарностью; она обратила таким образом само это замечание в драгоценность, в художественное произведение, в нечто «во всех отношениях безукоризненное».

— Послушай, мой милый, тебе пора уходить, — сказал мне дядя.

Я встал; мной овладело непреодолимое желание поцеловать руку дамы в розовом, но мне казалось, что совершение этого поступка потребует такой же смелости, как насильственное ее похищение. Сердце мое сильно билось, и я обращался к себе с вопросом: «Нужно ли мне делать это, или не нужно?» — затем я перестал спрашивать себя, что нужно делать, чтобы быть в состоянии сделать вообще что-нибудь. Слепым и безрассудным движением, отбросив прочь все доводы, которые я только что приводил в его пользу, я поднес к губам протянутую мне руку.

— Как он мил! Он уже умеет быть галантным, умеет ухаживать за женщинами: пошел в дядю. Из него выйдет безукоризненный джентльмен, — прибавила она, сжимая зубы, чтобы заставить фразу звучать чуть-чуть по-английски. — Разве не мог бы он прийти как-нибудь ко мне на a cup of tea, как говорят наши соседи-англичане. Ему стоит только послать мне утром un bleu.

Я не имел никакого представления о том, что такое un bleu. Я не понимал половины того, что говорила эта дама, но боязнь, не заключают ли ее слова какого-нибудь вопроса, на который было бы невежливо не ответить, препятствовала мне перестать внимательно их слушать, и я чувствовал от этого большое утомление.

— Ну нет, это невозможно, — сказал дядя, пожимая плечами, — он очень занят, много работает. Он примерный ученик и постоянно приносит, награды из своего коллежа, — прибавил он вполголоса, чтобы я не услышал этой лжи и не стал возражать ему. — Кто знает, из него выйдет, может быть, маленький Виктор Гюго, что-нибудь вроде Волабеля, да, да!

— Я обожаю писателей и художников, — отвечала дама в розовом, — никто так не понимает женщин, как они… Они и такие утонченные люди, как вы. Простите мне мое невежество, друг. Кто такой Волабель? Это из тех томиков с золотым обрезом, что стоят в маленьком библиотечном шкафу под стеклом в вашей спальне? Помните, вы обещали дать мне их почитать; я буду обращаться с ними очень бережно.

Дядя, который терпеть не мог давать свои книги, ничего не ответил и проводил меня в переднюю. Воспылав страстной любовью к даме в розовом, я покрыл горячими поцелуями пропахнувшие табаком щеки старика-дяди, и, в то время как он в изрядном замешательстве давал мне понять, не решаясь сказать этого открыто, что он предпочитал бы, чтобы я не рассказывал об этом визите моим родителям, я со слезами на глазах уверял его, что его доброта страшно тронула меня и я непременно найду какой-нибудь способ засвидетельствовать ему свою признательность. Доброта эта действительно настолько тронула меня, что два часа спустя, после нескольких загадочных фраз, показавшихся мне, однако, недостаточно красноречивыми для того, чтобы сообщить моим родителям отчетливое представление о новом значении, приобретенном мною, я решил, что проще будет рассказать им в самых мельчайших подробностях о только что сделанном мною визите. Поступая так, я не думал, что причиню какую-нибудь неприятность дяде. Как это могло прийти мне в голову, если я не желал причинять ему неприятностей? И я не мог предположить, что мои родители найдут что-нибудь дурное в поступке, в котором сам я ничего дурного не находил. Разве не случается сплошь и рядом, что какой-нибудь наш друг просит нас не забыть извиниться перед женщиной, которой ему что-то помешало написать, и мы не исполняем его просьбы, считая, что эта особа не может придать большого значения молчанию, не имеющему никакого значения в наших глазах? Я воображал себе, как всякий из нас, что мозг других людей является косным и послушным приемником, не способным отвечать специфическими реакциями на то, что мы вводим в него; и я не сомневался, что, вкладывая в мозг моих родителей сообщение о моей встрече с дамой у дяди, я одновременно передаю им, как я этого желал, благожелательное суждение, составившееся у меня самого по поводу нового знакомства. К несчастью, родные мои, пожелавши подвергнуть оценке поведение дяди, обратились к принципам, совсем отличным от тех, что я им внушал принять. Отец и дедушка имели очень бурное объяснение с дядей, как я об этом узнал косвенным образом. Спустя несколько дней, встретившись на улице с дядей, проезжавшим в открытом экипаже, я почувствовал боль, признательность, угрызения совести, которые мне очень хотелось ему выразить. Чувства эти были так огромны, что простой шапочный поклон показался мне неуместным и слишком незначительным, способным внушить дяде предположение, будто я считаю возможным расквитаться с ним самой банальной формой вежливости. Я решил удержаться от такого недостаточного жеста и отвернулся в сторону. Дядя подумал, что я это сделал по приказанию родных, — он не простил им этого; и, хотя он умер лишь через несколько лет, никто из нас никогда больше с ним не виделся.

Вот почему я не входил больше в запертую теперь комнату дяди Адольфа; вместо этого, постояв немного около задней кухни, в то время как Франсуаза, появившись на пороге, говорила мне: «Я прикажу судомойке сервировать кофе и подать горячую воду, а мне самой пора проведать г-жу Октав», — я решал возвратиться домой, поднимался прямо наверх к себе в комнату и принимался за чтение. Судомойка была лицом отвлеченным, своего рода постоянным учреждением, которому неизменность функций сообщала как бы непрерывность и тожество, несмотря на вечную смену преходящих форм, в которых этот персонаж воплощался: в самом деле; мы никогда не находили на этой должности одну и ту же девушку в течение двух лет подряд. В год, когда мы поедали такое количество спаржи, судомойка, которой обыкновенно поручалось чистить ее, была бедным болезненным созданием. Когда мы приехали на Пасхе, она находилась уже в довольно поздней стадии беременности; и было даже удивительно, что Франсуаза заставляет ее столько бегать и взваливает на нее столько работы: ведь она начинала с трудом носить перед собою таинственную корзину, с каждым днем все более наполнявшуюся и обозначавшую великолепные свои формы под складками ее широких передников. Передники эти напоминали плащи, облекающие некоторые аллегорические фигуры Джотто. Я знал их по фотографиям, подаренным мне г-ном Сваном. Он сам обратил наше внимание на это сходство и, спрашивая нас о судомойке, говорил: «Как поживает „Милосердие“ Джотто?» Впрочем, бедная девушка, раздутая беременностью, вплоть до угловатого, квадратного лица, вплоть до прямых щек, действительно была очень похожа на сильных и мужеподобных дев, скорее матрон, в которых олицетворены добродетели в капелле Арена. В настоящее время для меня ясно также, что эти падуанские Добродетели и Пороки имели сходство с нею еще и в другом отношении. Подобно тому, как фигура этой девушки была усложнена добавочным символом, который она носила перед своим животом, как бы вовсе не понимая его смысла, ибо ни одна черта ее лица ни в малейшей степени не выражала его красоты и его идеи, носила как обыкновенный тяжелый груз, — так и дородная хозяйка, изображенная в Арене под надписью Caritas, репродукция которой висела на стене моей классной комнаты в Комбре, казалось, нисколько не подозревала о том, что она является воплощением этой добродетели, ибо ни малейший намек на милосердие, казалось, никогда не мог быть выражен ее энергичным и грубоватым лицом. Тонкая изобретательность художника заставила ее попирать ногами земные сокровища, но совершенно так же, как если бы она топтала виноград, чтобы выдавить из него сок, или, еще лучше, как она взобралась бы на мешки, чтобы стать выше; и она протягивает Богу свое пылающее сердце, скажем лучше, «передает» его ему, как кухарка передает какой-нибудь пробочник через окошечко своего подвала лицу, которое спрашивает его у нее из окна нижнего этажа. Казалось бы также, что Зависть должна иметь на своем лице некоторое выражение зависти. Но и в этой фреске символ занимает столько места и изображен так реально, змея, шипящая в губах Зависти, так велика, она до такой степени заполняет ее широко раскрытый рот, что для удержания ее напряжены все мускулы лица Зависти, как мы наблюдаем это у ребенка, надувающего своим дыханием резиновый шар; вследствие этого внимания Зависти, — а также и наше, — всецело сосредоточено на работе ее губ, которая не дает времени для завистливых мыслей.

Несмотря на все восхищение г-на Свана фигурами Джотто, я долгое время не испытывал никакого удовольствия при рассматривании в нашей классной комнате (где были развешаны привезенные им копии) этого «Милосердия» без милосердия, этой «Зависти», производившей впечатление гравюры из медицинской книги, иллюстрирующей сжатие гортани или нёбного язычка вследствие опухоли языка или введения в рот инструмента оператора, этой «Справедливости», серенькое лицо которой с мелкими и правильными чертами было так типично для многих красивых горожанок Комбре, набожных и суховатых, которых я видел в церкви во время мессы и многие из которых давно уже были завербованы во вспомогательные отряды Несправедливости. Но впоследствии я понял, что поражающая странность и своеобразная красота этих фресок обусловлена значительным местом, занимаемым в них символом; и то обстоятельство, что он был изображен не как символ, ибо символизированная идея нигде не была выражена, но как нечто реальное, нечто действительно испытываемое и материально осязаемое, придавало значению произведения как бы большую буквальность и большую точность, придавало его назидательности большую наглядность и большую действенность. То же самое можно сказать и о нашей бедной судомойке: разве наше внимание не привлекалось беспрестанно к ее животу благодаря отягчавшему его бремени? И разве мысль умирающих не бывает чаще всего обращена к реально ощутимой, болезненной, темной, утробной стороне смерти, к ее изнанке, являющейся как раз той стороной, которую она им открывает, дает грубо почувствовать и которая гораздо больше похожа на сокрушительную тяжесть, на трудность дыхания, на мучительную жажду, чем на отвлеченное понятие, называемое нами смертью?

Эти падуанские Добродетели и Пороки, наверное, были написаны с огромным реализмом, если они казались мне такими же живыми, как беременная служанка, и если сама она казалась едва ли в меньшей степени аллегорической, чем они. И, может быть, это неучастие (по крайней мере, кажущееся) души человека в добродетели, действующей через него, имеет, помимо своей эстетической ценности, если не психологическую, то, во всяком случае, как говорится, физиономическую реальность. Когда в последующей своей жизни мне доводилось встречать, в монастырях например, подлинно святые воплощения деятельного милосердия, то у них бывал обыкновенно живой, решительный, невозмутимый и грубоватый вид очень занятого хирурга, лицо, на котором невозможно прочесть никакого соболезнования, никакой растроганности зрелищем человеческого страдания, никакого страха прикоснуться к нему, лицо, лишенное всякой мягкости, непривлекательное и величественное лицо подлинной доброты.

В то время как судомойка, — невольно сообщая блеск превосходству Франсуазы, как Заблуждение, по контрасту, делает более блистательным торжество Истины, — подавала кофе, который, по мнению мамы, был не более чем горячей водичкой, и приносила затем в наши комнаты горячую воду, которая была только чуть теплой, я растягивался на кровати, с книгой в руке, в своей комнате, трепетно охранявшей свою зыбкую прозрачную свежесть от послеполуденного солнца, луч которого все же ухитрялся просунуть сквозь щелку в прикрытой ставне золотистые свои крылья и замирал неподвижно в уголку оконной рамы, словно застывший на цветке мотылек. В комнате царил полумрак, едва позволявший читать, и ощущение яркого дневного света давал мне только доносившийся с улицы Кюр стук (это Камю, извещенный Франсуазой, что тетя не «отдыхает» и что можно, значит, шуметь, заколачивал какие-то пропыленные ящики), который, отдаваясь в гулком воздухе, характерном для жаркой погоды, казалось, каскадом рассыпал далеко кругом кроваво-красные звезды; а также мухи, исполнявшие передо мной, в негромком концерте, своеобразную летнюю камерную музыку; музыка эта не вызывает представления о лете таким способом, как мелодия человеческой музыки, услышанная случайно в погожий летний день, напоминает нам его впоследствии, — она соединена с летом более тесной и более необходимой связью: рожденная солнечными днями и возрождающаяся лишь вместе с ними, заключающая в себе какую-то частицу их сущности, она не только пробуждает их образ в нашей памяти, но служит гарантией их возврата, их действительного присутствия, обступающего нас со всех сторон и как бы непосредственно осязаемого.

Этот прохладный полумрак моей комнаты был по отношению к яркому свету, заливавшему улицу, тем, чем тень является по отношению к солнечному лучу, то есть таким же лучезарным, как и солнечный свет, — он рисовал моему воображению целостную картину лета, лишь частями которой могли бы наслаждаться мои чувства, если бы я отправился на прогулку; таким образом, он отлично гармонировал с моим покоем, испытывавшим (благодаря приключениям, рассказанным в моих книгах и как раз в это время волновавшим его), подобно руке, неподвижно покоящейся в текучей воде, толчки и движение мятущегося потока жизни.

Но бабушка, даже если слишком жаркая погода портилась и разражалась гроза или налетал шквал, поднималась ко мне и упрашивала меня выйти на свежий воздух. И, не желая расставаться со своей книгой, я шел с нею в сад, под старый каштан, забирался в обтянутую полотном плетеную будочку, усаживался там и чувствовал себя скрытым от взоров лиц, которые могли бы прийти к нам в гости.

И мысли мои не были разве тоже своего рода убежищем, в глубине которого я чувствовал себя укрытым, даже когда смотрел на происходившее вне меня? Когда я видел какой-нибудь внешний предмет, сознание, что я вижу его, оставалось между мною и им, окружало его тонкой невещественной оболочкой, делавшей для меня навсегда недоступным прямое соприкосновение с его материей: она как бы обращалась в газообразное состояние, прежде чем я успевал прикоснуться к ней, вроде того как накаленное тело, приближаемое к смоченному предмету, не способно прикоснуться к его влажности, потому что такой предмет всегда оказывается отделенным от него слоем паров. На своего рода экране, пестревшем различными чувствами и впечатлениями, которые, во время моего чтения, развертывало передо мной мое сознание и источником которых являлись как самые затаеннейшие мои чаяния, так и чисто внешнее восприятие полоски горизонта, тянувшейся перед моими глазами в конце сада, — самым интимным из моих переживаний, рисовавшимся прежде всего на этом экране, рулем, беспрестанно находившимся в движении и управлявшим всем прочим, была уверенность в философском богатстве и красоте читаемой мною книги и мое желание усвоить их себе, какова бы ни была эта книга. Ибо если даже я покупал ее в Комбре, заметив ее в лавочке Боранжа, находившейся слишком далеко от нашего дома для того, чтобы Франсуаза могла делать там свои закупки, как у Камю, но имевшей более богатый выбор канцелярских принадлежностей и книг, — если даже, повторяю, я замечал ее привязанной веревочками к мозаике брошюр и номеров ежемесячных журналов, покрывавших обе створки дверей лавочки, более таинственных и более изобилующих мыслями, чем двери какого-нибудь средневекового собора, то ее приобретение объяснялось тем, что я слышал о ней отзыв как о замечательном произведении из уст преподавателя или школьного товарища, владевшего в то время, как мне казалось, тайной истины и красоты, сущностей смутно угадываемых мною и наполовину мне непонятных, познание которых было неясной, но неизменной целью моего мышления.

Вслед за этой срединной уверенностью, находившейся во время моего чтения в непрерывном движении изнутри вовне, к открытию истины, шли эмоции, вызываемые во мне действием, в котором я принимал участие, ибо в эти летние послеполуденные часы случалось больше драматических событий, чем их случается часто в течение целой жизни. Это были события, наполнявшие читаемую мною книгу. Правда, персонажи, которые принимали в них участие, не были «реальными», как говорила Франсуаза. Но все чувства, пробуждаемые в нас радостями и горестями какого-нибудь реального лица, возникают в нас не иначе как через посредство образов этих радостей и этих горестей; изобретательность первого романиста состояла в уяснении того, что единственным существенным элементом в структуре наших эмоций является образ и что поэтому упрощение, заключающееся в вытеснении, сполна и начисто, реальных персонажей, окажется решающим усовершенствованием. Какую бы глубокую симпатию мы ни испытывали к реальному существу, оно в большей своей части воспринимается нашими чувствами, иными словами, остается непрозрачным для нас, ложится мертвым грузом, который наше чувственное восприятие не способно поднять. Допустим, что такое существо постигает несчастье: мы можем почувствовать волнение по этому поводу лишь в связи с маленькой частью сложного понятия, которое мы имеем о нем; больше того: само это существо может быть взволновано лишь в небольшой части сложного понятия, которое оно о себе имеет. Счастливое открытие первого романиста заключалось в том, что его осенила мысль заменить эти непроницаемые для души части равным количеством нематериальных частей, то есть частей, могущих быть усвоенными нашей душой. При таких условиях неважно, что действия и чувства этого нового вида существ только кажутся нам истинными: ведь мы сделали их своими, ведь в нас самих происходят они, ведь они держат в подчинении у себя, когда мы лихорадочно перелистываем страницы книги, ускоренный темп нашего дыхания и напряженность нашего взгляда. И раз только романист привел нас в это состояние, в котором, как и во всех чисто внутренних состояниях, всякое чувство приобретает удесятеренную силу, в котором его книга волнует нас подобно сновидению, но сновидению более ясному, чем те, что мы видим, когда спим, и воспоминание о котором сохранится у нас дольше, — стоит только романисту привести нас в это состояние, как, глядишь, в течение часа он дал нам возможность испытать все радости и все горести, тогда как для познания лишь немногих из них в действительной жизни нам понадобились бы долгие годы, причем самые яркие навсегда остались бы недоступны для нас, ибо медленность, с которой они протекают, препятствует нам воспринять их (так и сердце наше изменяется в жизни, и это горчайшая наша мука; но мы знаем об этом только из чтения, только путем воображения; в действительности оно изменяется подобно тому, как протекают некоторые явления природы, слишком медленно, так что хотя нам доступно последовательное констатирование каждого из его различных состояний, зато мы пощажены от непосредственного ощущения самого изменения).

Уже далеко не столь интимно связанный с моим существом, как жизнь героев повести, следовал затем, наполовину вынесенный мною за пределы моего сознания, пейзаж, в котором развертывалось действие и который оказывал на мою мысль гораздо большее влияние, чем другой пейзаж, тот, что расстилался перед моими глазами, когда я поднимал их от книги. Таким-то образом в течение двух летних каникул, сидя на жаре в нашем саду в Комбре, я страстно тосковал, благодаря книге, которую читал тогда, по гористой стране с быстрыми реками, где, я видел множество лесопилен и где, на дне потоков с прозрачной водой, гнили стволы деревьев в зарослях жерухи; невдалеке тянулись невысокие стены, увитые гирляндами фиолетовых и красноватых цветов. И так как мечта о женщине, которая любила бы меня, никогда не покидала моих мыслей, то в те два лета мечта эта была напоена прохладой горных речек; и кто бы ни была эта женщина; образ которой я вызывал в своем сознании, тотчас *же* по обеим ее сторонам вырастали гирлянды фиолетовых и красноватых цветов, как дополнительные краски.

Происходило это не только потому, что образ, о котором мы мечтаем, всегда остается отмеченным, всегда украшается и обогащается отблеском странных красок, случайно окружающих его в наших мечтах; пейзажи, описываемые в книгах, которые я читал, были для меня не просто пейзажами, вроде тех, что расстилал перед моими глазами Комбре, и лишь живее рисовавшимися моему воображению. Благодаря сделанному автором выбору, благодаря доверию, с которым мысль моя предвосхищала его слова точно откровение, пейзажи эти казались мне — впечатление, едва ли полученное мною когда-нибудь от местности, где мне действительно случалось бывать, и особенно от нашего сада, неказистого произведения весьма небогатой фантазии садовника, которого так презирала бабушка, — подлинным куском самой Природы, достойным изучения и углубленного проникновения.

Если бы мои родные позволили мне, в то время как я читал какую-нибудь книгу, посетить страну, которую она описывала, то, казалось мне, я сделал бы огромный успех в овладении истиной. В самом деле, хотя нам всегда присуще ощущение, что мы со всех сторон окружены своей душой, однако она не представляется нам в виде неподвижной темницы; скорее нам кажется, что мы уносимся вместе с ней в беспрестанном стремлении вырваться из нее, достичь внешнего мира, но с отчаянием неизменно слышим вокруг себя все те же звуки, являющиеся не эхом, доносящимся извне, но отголоском какой-то внутренней вибрации. Мы пытаемся найти в вещах, ставших от этого драгоценными, отблеск, который душа наша бросила на них, и бываем разочарованы, когда констатируем, что в действительности они оказываются лишенными обаяния, которым были обязаны в наших умах соседству с известными мыслями; иногда мы мобилизуем все силы нашей души и выстраиваем их в блестящем порядке, чтобы воздействовать на существа, которые, как мы хорошо чувствуем, находятся и навсегда останутся вне пределов нашего достижения. Вот почему, если я всегда воображал вокруг любимой женщины места, в те времена наиболее для меня желанные, если мне хотелось, чтобы именно она побудила меня посетить их, открыла мне доступ в неведомый мир, то это объяснялось вовсе не случайностью простой ассоциации представлений; нет, причина этого та, что мечты мои о путешествии и о любви были только двумя моментами, которые я искусственно разделяю сегодня, вроде того, как я производил бы сечения на различных высотах переливающейся радужными цветами и с виду неподвижной водяной струи, — двумя брызгами в едином неудержимом всплеске всех моих жизненных сил.

В заключение, продолжая следовать от самых интимных своих состояний к впечатлениям поверхностным, одновременно данным и тесно соприкасающимся с ними в моем сознании, я нахожу, перед тем как достигнуть окружающего их реального горизонта, удовольствия иного порядка: удовольствие вдыхать напоенный ароматом воздух, сознавать, что мне здесь не помешает зашедший к нам в это время гость; наконец, когда били часы на колокольне Сент-Илер, — удовольствие наблюдать, как опадает, капля за каплей, истраченная уже часть послеполуденного времени, пока до меня не доносился последний удар, позволявший мне определить их число; и воцарявшееся затем долгое молчание, казалось, возвещало о том, что в голубом небе надо мною начинается длинная часть дня, еще остававшаяся в моем распоряжении для чтения до вкусного обеда, приготовляемого сейчас Франсуазой, который подкрепит меня после утомления, причиненного напряженным следованием во время чтения книги за перипетиями ее героя. И при каждом бое часов мне казалось, что прошло всего только несколько мгновений с тех пор, как отзвучали удары предшествующего часа; самый последний из этих ударов только что запечатлелся в непосредственном соседстве с предшественником на поверхности неба, и я не мог поверить, что шестьдесят минут могли уместиться на этом маленьком отрезке голубой дуги, заключенном между их двумя золотыми отметками. Случалось даже, что этот преждевременный бой заключал в себе на два удара больше предыдущего, — промежуточного боя я, следовательно, не слышал, — нечто, имевшее место в действительности, не имело места для меня; интерес к чтению, магический, словно глубокий сон, ввел в заблуждение мои галлюцинирующие уши и стер звук золотого колокола с лазурной поверхности тишины. Прекрасные воскресные послеполуденные часы под каштаном нашего сада в Комбре, тщательно очищенные мною от всех мелких событий моей повседневной жизни и заполненные жизнью, богатой фантастическими приключениями и причудливыми замыслами, в лоне местности, орошенной быстро бегущими речками, — вы все еще вызываете в моей памяти эту жизнь, когда я о вас думаю, и вы действительно содержите ее в себе, ибо мало-помалу вы ограждали и замыкали ее — в то время как я все дальше углублялся в мою книгу и постепенно спадал полуденный жар — в непрерывно нараставший, медленно менявший форму и испещренный листвою каштана кристалл вашей безмолвной, звонкой, благоуханной и прозрачно-ясной череды!

Иногда в самый разгар моего чтения я бывал отвлечен от книги дочерью садовника, вбегавшей во двор, как угорелая, опрокидывая на пути кадку с апельсинным деревом, обрезывая палец, выбивая зуб, с криком: «Идут! Идут!» Этими возгласами она приглашала Франсуазу и меня бежать скорее на улицу, чтобы ничего не потерять из зрелища. Это случалось в дни, когда гарнизон, расквартированный в Комбре, выходил из казарм на какое-нибудь учение, направляясь обыкновенно по улице Сент-Гильдегард. В то время как наши слуги, усевшись рядышком на стульях за садовой оградой, смотрели на горожан, совершавших воскресную прогулку, и себя им показывали, дочь садовника замечала сверкание касок в просвет между двумя отдаленными домами на Вокзальном бульваре. Слуги стремительно бросались со своими стульями обратно в сад, ибо когда кирасиры дефилировали по улице Сент-Гильдегард, они заполняли ее во всю ширину, и галопирующие их лошади касались стен домов, затопляя тротуары, как разлившаяся река затопляет берега слишком узкого русла.

— Бедные дети, — со слезами на глазах говорила Франсуаза, едва только подойдя к решетке, — бедные юноши: они будут скошены, как трава на лугу; одна мысль об этом потрясает меня ужасом, — прибавляла она, прикладывая руку к сердцу — месту, в котором она ощущала потрясение.

— Разве не красивое зрелище, мадам Франсуаза, представляют все эти парни, не дорожащие жизнью? — спрашивал садовник, чтобы подзадорить ее.

Слова его оказывали действие:

— Не дорожащие жизнью? Но чем же тогда дорожить, если не жизнью, единственным подарком, который Бог никогда не делает дважды. Увы! Вы правы! Они действительно не дорожат ею. Я видела их в семидесятом году; да, в этих злосчастных войнах они совсем забывают о страхе смерти; ни дать ни взять, полоумные; и потом, они не стоят даже веревки, чтобы повесить их; это не люди, это львы. — (Для Франсуазы сравнение человека со львом — она произносила это слово с тем выражением, с каким мы произносим: дикий зверь, — не содержало в себе ничего лестного для человека.)

Улица Сент-Гильдегард заворачивала слишком круто, чтобы мы могли видеть приближение солдат издали, и лишь в упомянутый выше просвет между двумя домами Вокзального бульвара мы замечали движение все новых касок, сверкавших на солнце. Садовнику очень хотелось знать, долго ли они еще будут идти, так как солнце жарило и он чувствовал жажду. Тогда дочь его выбегала вдруг за ограду, делала вылазку, словно из осажденного города, достигала поворота улицы и, сотню раз рискуя жизнью, возвращалась, принося нам, вместе с графином прохладительного напитка, известие, что, по крайней мере, целая тысяча солдат безостановочно движется в сторону Тиберзи и Мезеглиза. Примирившиеся Франсуаза и садовник рассуждали о том, какого поведения следует держаться во время войны.

— Поверьте, Франсуаза, — говорил садовник, — революция лучше войны, потому что когда объявляют ее, то сражаться идут только желающие,

— Ах да! Это, по крайней мере, понятно для меня, это более честно.

Садовник был уверен, что по объявлении войны останавливается движение на всех железных дорогах.

— Ну да, конечно: чтобы никто не мог убежать, — говорила Франсуаза.

Садовник поддерживал ее замечанием: «О, это хитрецы!» — так как, по его мнению, война была не чем иным, как только ловкой штукой государства, пытающегося одурачить народ, и что не нашлось бы ни одного человека на свете, который не увильнул бы от нее, если бы представилась возможность.

Но Франсуаза торопилась обратно к тете, я возвращался к своей книге, а слуги снова усаживались у ворот смотреть, как пыль садится на мостовую и как затихает возбуждение, вызванное солдатами. Еще долго спустя после восстановления спокойствия необычная толпа гуляющих продолжала усеивать улицы Комбре и перед каждым домом, включая и те, из которых обыкновенно никто не показывался, слуги и даже хозяева, усевшись на лавочке и глазея на улицу, обрамляли пороги прихотливой темной каймой, вроде каймы водорослей и раковин, которую высокий прилив оставляет на берегу, покрывая его как бы узорчатым флером, после того как море ушло прочь.

За исключением таких дней, я мог обыкновенно спокойно отдаваться чтению. Но однажды визит

Свана, прервавший мое чтение, и сделанное им замечание о совсем новом для меня авторе, Берготе, книгу которого я как раз в то время читал, привели к тому, что, долгое время спустя, образ одной из женщин, составлявших предмет моих мечтаний, стал рисоваться перед моими глазами уже не на фоне стены, увитой гирляндами фиолетовых цветов, а на совсем другом фоне, на фоне портала готического собора.

В первый раз услышал я о Берготе от одного из своих школьных товарищей по фамилии Блок, который был несколько старше меня и от которого я был в самом неподдельном восхищении. Услышав от меня однажды выражение восторга по поводу «Октябрьской ночи», он шумно, как труба, расхохотался и сказал мне: «Отнесись критически к твоему в достаточной степени низменному пристрастию к почтенному Мюссе. Это субъект весьма зловредный и влияние оказывает самое пагубное. Должен, впрочем, признать, что он, и даже совсем почтенный Расин, оба сочинили в своей жизни по одному стиху, не только достаточно ритмичному, но и лишенному решительно всякого смысла, что в моих глазах является высшей заслугой поэта. Вот эти стихи: „La blanche Oloossone et la blanche Camire“ и „La fille de Minos et de Pasiphae“. Они были мне указаны как обстоятельство, смягчающее вину этих двух мошенников, в статье моего дорогого учителя, папаши Леконта, лицезрение которого приятно бессмертным богам. Кстати, вот книга, которую мне сейчас некогда прочесть и которую как будто рекомендует этот простофиля. Как мне передавали, он считает автора ее, некоего почтенного Бергота, одной из самых субтильнейших бестий; и хотя он обнаруживает подчас в своей критике совершенно необъяснимую снисходительность, все же слова его являются для меня дельфийским оракулом. Почитай поэтому лирическую прозу Бергота, и если титанический собиратель ритмов, написавший „Багхавата“ и „Борзую Магнуса“, сказал правду, то, клянусь Аполлоном, ты насладишься, дорогой мэтр, нектаром олимпийских богов». Саркастическим тоном он как-то попросил меня называть его «дорогим мэтром» и сам называл меня так же. Но мы испытывали некоторое подлинное удовольствие от этой игры, ибо еще недалеко ушли от возраста, когда, давая название вещи, мы считаем, будто творим ее.

К несчастью, разговоры мои с Блоком на эту тему и спрошенные у него объяснения не могли успокоить тревоги, в которую он поверг меня, сказав, что хорошие стихи (от которых я ожидал не более и не менее, как откровения истины) бывают тем лучше, чем меньше в них смысла. Вышло так, что Блок не получил нового приглашения в наш дом. Сначала ему был оказан очень хороший прием. Правда, дедушка утверждал, что каждый раз, как я схожусь с каким-нибудь товарищем ближе, чем с прочими, и привожу его к нам в дом, этот товарищ всегда оказывается евреем, — обстоятельство, против которого он не возражал бы принципиально — ведь даже его приятель Сван был еврейского происхождения, — если бы не находил, что я выбираю своих друзей далеко не из лучших представителей этого племени. Вот почему, когда я приводил к себе нового друга, то редко случалось, чтобы дедушка не стал напевать арий из «Жидовки»: «Бог наших отцов» или же «Израиль, порви свои цепи», ограничиваясь при этом, разумеется, одним только мотивом (ти-ла-лам-та-лам, талим); но я боялся, что мой приятель узнает мотив и вспомнит соответствующие слова.

Еще перед тем как увидеть их, по одним только звукам их фамилии, часто не содержавшим в себе ничего семитического, дедушка угадывал не только еврейское происхождение тех из моих приятелей, которые действительно были евреями, но еще и некоторые досадные особенности, свойственные иногда их фамилиям.

— А как фамилия твоего приятеля, который приходит к тебе сегодня вечером?

— Дюмон, дедушка.

— Дюмон! Ох, не верю я Дюмону.

И он начинал петь:

Стрелки, смотрите в оба!

Бесшумно, зорко вы должны стеречь.

После чего, задав ряд коварных вопросов по поводу некоторых подробностей, он восклицал: «Будем на страже! Будем на страже!» — или же, если уже пришла сама жертва, которую он вынуждал, при помощи искусно замаскированного допроса, невольно выдать свое происхождение, довольствовался тем, что внимательно смотрел на нее и еле слышно мурлыкал, желая показать нам таким образом, что у него больше не остается сомнений:

Как? Этого несчастного еврея

Сюда вы направляете шаги? —

или:

Луга отцов, Хеврон, долина неги…--

или еще:

Да, я народа избранного сын.

Эти маленькие странности дедушки не заключали в себе никакого зложелательного чувства по отношению к моим товарищам. Но Блок не понравился моей семье по другим причинам. Началось с того, что он рассердил моего отца, который, увидя, что костюм на нем мокрый, с интересом спросил его:

— Скажите, мосье Блок, неужели погода переменилась и шел дождь? Ничего не понимаю, барометр все время стоял высоко.

Ему удалось добиться лишь следующего ответа:

— Сударь, я совершенно не способен сказать вам, шел ли дождь. Я живу до такой степени в стороне от всяких атмосферических случайностей, что чувства мои не утруждают себя доведением их до моего сознания.,

— Бедный мальчик, твой друг какой-то полоумный, — сказал мне отец, когда Блок ушел. — Как! Он не мог даже сказать, какая на дворе погода. Но ведь это так интересно! Болван какой-то.

Далее Блок не понравился моей бабушке, потому что после завтрака, когда она сказала, что чувствует себя немного нездоровой, он заглушил рыдание и вытер слезы.

— Неужели, по-твоему, это может быть искренно, — сказала мне она, — ведь он совсем меня не знает. Разве что это сумасшедший.

И, наконец, он вызвал всеобщее недовольство тем, что, опоздав к завтраку на полтора часа и явившись в столовую весь забрызганный грязью, он, вместо того чтобы извиниться, сказал:

— Я никогда не поддаюсь влиянию атмосферных пертурбаций, а также совершенно условных делений времени. Я охотно ввел бы в употребление курение опиума или ношение малайского кинжала, но мне совершенно неизвестно употребление часов и зонтика, этих бесконечно более пагубных и к тому же плоско мещанских инструментов.

Несмотря на все это, его приняли бы в Комбре. Он не был, однако, другом, которого избрали бы для меня мои родные; в конце концов они согласились допустить, что слезы, вызванные у него недомоганием бабушки, не были притворными; но они инстинктивно или по опыту знали, что порывы нашей чувствительности имеют мало власти над последующими нашими поступками и над всем вообще нашим поведением и что уважение к моральным обязательствам, верность дружбе, терпеливое доведение до конца начатого дела, соблюдение определенного режима гораздо вернее обеспечиваются слепо действующими привычками, чем этими минутными порывами, горячими, но бесплодными. В роли моих приятелей они предпочли бы Блоку мальчиков, которые не давали бы мне больше того, что принято давать друзьям согласно предписаниям буржуазной морали; которые не присылали бы мне неожиданно корзинку фруктов на том основании, что в тот день они подумали обо мне с нежностью, но которые, не будучи способны наклонить в мою пользу точные весы обязанностей и требований дружбы по простому капризу своего ума или своего сердца, в то же время не могли бы искривить коромысло этих весов во вред мне. Даже наши несправедливости к ним с трудом заставляют сойти с пути долга эти натуры, образцом которых была моя двоюродная бабушка: находясь уже много лет в ссоре с одной своей племянницей и перестав разговаривать с нею, она не изменила вследствие этого своего завещания, в котором отказывала этой племяннице все свое состояние, так как та была самой близкой ее родственницей и так как это «полагалось».

Но я любил Блока, родные хотели доставить мне удовольствие, и неразрешимые задачи, которые я ставил себе по поводу лишенной всякого смысла красоты дочери Миноса и Пасифаи, больше утомляли меня и причиняли мне бо́льшие страдания, чем это сделали бы дальнейшие мои беседы с ним, хотя моя мать считала их вредными. И его все же принимали бы в нашем доме в Комбре, если бы однажды после обеда, сообщив мне (сообщение это оказало впоследствии огромное влияние на мою жизнь, сделав ее более счастливой и в то же время более несчастной), что все женщины только и помышляют что о любви и что нет ни одной среди них, сопротивление которой нельзя было бы преодолеть, Блок не поклялся, будто он слышал как-то от лица, в осведомленности которого не может быть сомнений, что моя двоюродная бабушка провела бурную молодость и открыто жила на содержании. Я не мог удержаться от передачи столь важной новости моим родным; когда Блок пришел после этого к нам, его выставили за дверь, и впоследствии, при встречах на улице, он раскланивался со мною крайне холодно.

Но относительно Бергота он сказал правду.

В первые дни, подобно музыкальной мелодии, которая впоследствии будет сводить нас с ума, но которую мы еще не улавливаем, мною вовсе не были восприняты те особенности стиля этого писателя, которые мне суждено было так страстно полюбить. Я не мог оторваться от романа, за чтение которого принялся, но мне казалось, что я увлечен только сюжетом, подобно тому как в первом периоде любви мы ежедневно ходим встречаться с женщиной на какое-нибудь собрание, на какой-нибудь вечер, будучи убеждены, что нас привлекают развлечения, получаемые нами на этих собраниях. Затем я обратил внимание на редкие, почти архаические выражения, которые Бергот любил употреблять в известные моменты, когда скрытая гармоническая волна, затаенная прелюдия оживляли его стиль и сообщали ему подъем, и в эти как раз моменты он принимался говорить «о несбыточной мечте жизни», о «неиссякаемом потоке прекрасных видимостей», о «бесплодных и сладостных муках познания и любви», о «волнующих ликах, навсегда облагородивших величавые и пленительные фасады наших соборов», выражал целую философию, для меня новую, при помощи чудесных образов, и мне казалось, что это именно они вызвали то пение арф, которое звучало тогда в моих ушах, тот аккомпанемент, которому они сообщали что-то небесно возвышенное. Один из этих пассажей Бергота, третий или четвертый по счету, который мне удалось выделить из остального текста, наполнил меня радостью, несравнимой с удовольствием, испытанным при чтении первого пассажа, радостью, которую я ощутил в какой-то более глубокой области своего существа, более однородной, более обширной, откуда, казалось, были устранены всякого рода помехи и перегородки. Произошло это потому, что, узнав в этом пассаже тот же самый вкус к редким оборотам речи, ту же самую музыкальную волну, ту же самую идеалистическую философию, которые содержались и в предыдущих пассажах, хотя я и не отдал себе тогда отчет в том, что именно они являются причиной моего наслаждения, — я не испытал на этот раз впечатления, что передо мною лежит определенный кусок из определенной книги Бергота, чертивший на поверхности моего сознания чисто линейную двухмерную фигуру; мне показалось скорее, что я нахожусь в присутствии «идеального куска» прозы Бергота, общего всем его книгам, куска, которому все аналогичные отрывки, теперь смешавшиеся с ним, сообщили своего рода плотность и объем, как будто расширявшие пределы моего собственного разума.

Я был далеко не единственным поклонником Бергота; он был также любимым писателем одной очень начитанной подруги моей матери; наконец, доктор дю Бульбон до такой степени увлекался только что вышедшей тогда его книгой, что заставлял своих пациентов подолгу ожидать его приема; как раз из его врачебного кабинета и из парка, расположенного в окрестностях Комбре, были брошены первые семена того увлечения Берготом, растения тогда еще очень редкого, но в настоящее время распространенного по всему миру, так что изысканные и пошловатые цветы его можно встретить повсюду в Европе и Америке, вплоть до самой ничтожной деревушки. Подруга моей матери и, по-видимому, доктор дю Бульбон подобно мне любили в произведениях Бергота главным образом мелодическое течение фраз, старинные выражения и наряду с ними выражения очень простые и очень известные, но поставленные им на так выгодно освещенное место, что самое это помещение их, казалось, выдавало какое-то особенное его пристрастие к ним; наконец, в грустных частях его книг, — какую-то грубость, какой-то глухой и почти суровый тон. И он сам, должно быть, чувствовал, что в этом одна из главных прелестей его прозы. Ибо в своих позднейших книгах, когда ему случалось выражать какую-нибудь великую истину или упоминать о каком-нибудь знаменитом соборе, он прерывал свое повествование и в своего рода призыве, риторическом обращении, длинной молитве давал волю тем токам, которые в ранних его произведениях оставались спрятанными внутри его прозы, давали знать о себе только легким волнением на поверхности, токам, может быть еще более сладостным, еще более гармоничным, когда они были таким образом прикрыты, так что невозможно было указать с точностью, где рождается, где замирает их рокот. Эти куски, которые он писал с таким удовольствием, были также и нашими самыми излюбленными кусками. Что касается меня, то всех их я знал наизусть. Я испытывал разочарование, когда он продолжал нить своего рассказа. Каждый раз, когда он говорил о предмете, красота которого оставалась до тех пор от меня скрытой, — о сосновых лесах, о грозе, о Соборе Парижской Богоматери, о Гофолии, о Федре, — какой-нибудь его образ вдруг озарял эту красоту и позволял мне ее воспринять. Поэтому, смутно чувствуя, что вселенная содержит множество частей, которые слабые мои чувства были бы бессильны различить, если бы он не приблизил их ко мне, я желал бы обладать его мнением, какой-нибудь его метафорой обо всем существующем, особенно о тех вещах, которые когда-нибудь я буду иметь случай увидеть сам, в частности о старинных памятниках французского искусства и некоторых морских пейзажах, ибо настойчивость, с которой он возвращался к ним в своих книгах, доказывала, что он считает их богатыми содержанием и таящими в себе неисчерпаемые красоты. К несчастью, его мнения оставались почти вовсе неизвестными мне. Я не сомневался, что они были в корне отличными от моих собственных мнений, ибо проистекали из неведомого мне мира, до которого я пытался возвыситься; убежденный, что мои мысли показались бы жалкой нелепостью этому совершенному уму, я так основательно вымарал их все, что, когда случайно мне попадалось в какой-нибудь из его книг суждение, которое я сам уже составил себе, сердце мое наполнялось гордостью, как если бы некое божество, по благости своей, открыло мне его, объявило правильным и прекрасным. Иногда случалось, что какая-нибудь страница Бергота выражала те же мысли, которые я часто по ночам, когда не мог уснуть, писал бабушке и маме, — выражала так хорошо, что производила впечатление собрания эпиграфов, которые я мог бы поместить в заголовках своих писем. Даже много лет спустя, когда я приступил к писанию своей собственной книги и некоторые мои фразы настолько не удовлетворяли меня, что пропадала охота продолжать, я нашел адекватное выражение своих мыслей у Бергота. Но я способен был наслаждаться такими фразами лишь когда читал их в его произведениях; когда же я сам сочинял их, озабоченный тем, чтобы они в точности отражали все оттенки моей мысли, и опасаясь в то же время, как бы не вышло слишком похоже на Бергота, я не имел времени спрашивать себя, приятно ли будет читать то, что я написал. Но в действительности лишь этого рода фразы, лишь этого рода мысли я подлинно любил. Мои лихорадочные и не достигшие цели усилия сами являлись свидетельством любви, любви, не приносившей мне наслаждения, но глубокой. Вот почему, когда я вдруг находил подобные фразы в произведениях другого, то есть когда они не сопровождались у меня сомнениями, строгой критикой и душевными терзаниями, я вволю ублажал в таких случаях свой вкус к ним, как освобожденный почему-либо от обязанности стряпать повар находит наконец время полакомиться сам. И вот, найдя однажды в какой-то книге Бергота шутку по адресу старой служанки, шутку, которой великолепный и роскошный язык писателя придавал еще большую ироничность, но которая по существу была тою же, что и я часто отпускал по адресу Франсуазы в разговорах с бабушкой, и обнаружив в другой раз, что Бергот не считал недостойным отразить в одном из тех зеркал истины, каковыми являлись его произведения, одно замечание, подобное замечанию, сделанному как-то мною относительно нашего друга г-на Леграндена (причем эти замечания относительно Франсуазы и г-на Леграндена заведомо принадлежали к числу тех, которыми я без колебания пожертвовал бы ради Бергота, будучи убежден, что он не найдет в них ничего интересного), я вдруг испытал ощущение, что моя убогая жизнь и царство истины вовсе не так уж удалены друг от друга, как мне казалось, и что в некоторых пунктах они даже соприкасаются; от вновь полученного доверия к своим силам и от радости я заплакал над страницами писателя, словно в объятиях отца после долгой разлуки.

На основании произведений Бергота я представлял его себе в виде слабого, разочарованного в жизни старика, потерявшего детей и навсегда оставшегося безутешным. Поэтому я читал или, вернее, пел его прозу в большей степени d_o_l_c_e и l_e_n_t_o, чем это было в его намерениях, когда он писал, и самая простая его фраза звучала в моих ушах мягко и нежно. Больше всего я любил его философию, я отдался ей навсегда. Она заставляла меня с нетерпением ожидать возраста, когда я перейду в коллеже в класс, называемый «философией». Но я хотел, чтобы все в нем сводилось к жизни, руководимой мыслью Бергота, и, если бы мне сказали, что метафизики, которыми я буду увлечен тогда, ни в чем не будут походить на него, я почувствовал бы отчаяние влюбленного, поклявшегося в верности на всю жизнь, когда ему говорят, что у него будут впоследствии другие любовницы.

Однажды в воскресенье я был потревожен во время своего чтения в саду Сваном, пришедшим в гости к моим родным.

— Что вы читаете, можно посмотреть? Как, неужели Бергота? Кто же вам указал на его произведения?

Я ответил ему, что Блок.

— Ах да, тот мальчик, которого я видел здесь однажды и который так похож на портрет Магомета II Беллини. Поразительное сходство: те же брови дугою, тот же крючковатый нос, те же выдающиеся скулы. Когда он заведет бородку, это будет вылитый Магомет. Во всяком случае, у него есть вкус, ибо Бергот прелестный писатель. — И, увидя на лице моем восхищение перед Берготом, Сван, никогда не говоривший о людях, с которыми он был знаком, сделал из любезности для меня исключение и сказал: — Я хорошо знаком с ним, и, если вам будет приятно иметь его собственноручную надпись на вашем экземпляре, я могу попросить его об этом.

Я не посмел принять это предложение, но засыпал Свана вопросами о Берготе.

— Не могли ли бы вы сказать мне, кто его любимый актер?

— Актер? Нет, не знаю. Но мне известно, что никого из актрис он не считает равным Берма, которую ставит выше всех. Вы видели ее?

— Нет, мосье, родители не позволяют мне ходить в театр.

— Как жаль. Вы должны упросить их. Берма в «Федре», в «Сиде»: это только актриса, если вам угодно, но вы знаете, я не очень верю в «иерархию» искусств. — (И я заметил, как это часто поражало меня в его разговорах с сестрами моей двоюродной бабушки, что, заводя речь на серьезные темы, употребляя выражение, казалось, заключающее в себе определенное суждение относительно какой-нибудь важной темы, Сван заботливо выделял его при помощи особой машинальной и иронической интонации, как бы ставя его в кавычки и делая таким образом вид, что не хочет брать на себя ответственность за него; он как бы говорил: «И_е_р_а_р_х_и_я, разве вы не знаете, так называют это смешные люди». Но если это было смешно, почему же в таком случае сам он говорил «иерархия»?) Через мгновение он прибавил: — Игра ее даст вам зрелище столь же благородное, как самое высокое произведение искусства, ну, я не знаю… как, — и он рассмеялся, — как, скажем, королевы Шартрского собора!

До этого разговора мне казалось, что его отвращение высказывать серьезно свое мнение является чертой элегантного парижанина в противоположность провинциальному догматизму сестер моей двоюродной бабушки; и я воображал также, что это было своеобразной манерой того круга, где вращался Сван и где, благодаря естественной реакции против «лирического» энтузиазма предшествовавших поколений, придавалось чрезмерно подчеркнутое значение определенным мелким фактам, некогда считавшимся вульгарными, и было вовсе изгнано из употребления то, что называется «фразой». Но теперь я находил нечто оскорбительное в этой позе Свана по отношению к вещам. Он производил впечатление человека, не решающегося иметь собственное мнение и чувствующего себя спокойно лишь когда он может *t* мелочной тщательностью сообщить точные, но несущественные подробности. Но, поступая таким образом, он не отдавал себе отчета в том, что большое значение, придаваемое им точной передаче этих подробностей, было не чем иным, как выражением определенного мнения. Я вспомнил тогда о том вечере, когда я был так опечален тем, что мама не поднимется в мою комнату, и когда он сказал, что балы у принцессы Леонской не представляют никакого интереса. А между тем этого рода удовольствиям он посвящал свою жизнь. Я находил здесь противоречие. Для какой же другой жизни приберегал он серьезные мысли о вещах, суждения, которые ему не приходилось бы ставить в кавычки? При каких условиях собирался он оставить занятия, которые, по его собственному заявлению, были смешными? Я заметил также в манере Свана говорить со мною о Берготе одну особенность, которая, нужно отдать ему справедливость, не являлась его личной особенностью, но была присуща в то время всем почитателям этого писателя, в частности подруге моей матери и доктору дю Бульбон. Подобно Свану, они говорили о Берготе: «Это прелестный ум, такой своеобразный, у него своя собственная манера рассказывать, немного деланная, но такая приятная. Не нужно смотреть на обложку, сразу узнаёшь, что это он». Но никто из них не решался сказать: «Это великий писатель, у него огромный талант». Они не говорили даже, что у Бергота вообще был талант. Они не говорили этого, потому что не сознавали его таланта. Нам нужно очень много времени, чтобы признать в своеобразной физиономии какого-нибудь нового писателя совокупность признаков, к которым мы приклеиваем этикетку «большой талант» в нашем музее общих понятий. Именно потому, что эта физиономия новая, мы не находим ее вполне схожей с тем, что мы называем:

талант. Мы говорим скорее: оригинальность, обаяние, изящество, сила; и затем однажды мы отдаем отчет себе, что совокупность всего этого как раз и есть талант.

— Есть ли у Бергота произведения, в которых он говорит о Берм*а*? — спросил я Свана.

— Мне помнится, что он упоминает о ней в своей книжечке о Расине, но эта книжечка, вероятно, распродана. Впрочем, как будто было второе издание. Я соберу справки!, Но я могу спросить у Бергота все, что вам угодно, — круглый год он каждую неделю обедает у нас. Это большой друг моей дочери. Они вместе осматривают старые города, соборы, замки.

Так как я не имел никакого понятия об общественной иерархии, то давно уже то обстоятельство, что отец мой находил невозможнцм для нас бывать у мадам и мадемуазель Сван, не только не роняло их в моих глазах, но, напротив, внушало мне представление об огромном расстоянии, отделявшем их от нас, и окружало их обаянием. Я жалел, что мама не красила волос и не мазала губ, как делала это, слышал я от нашей соседки г-жи Сазра, г-жа Сван, чтобы нравиться — не мужу своему, а г-ну де Шарлюсу; я думал, что она относится к нам с презрением, и был очень опечален этим, главным образом, оттого, что лишался возможности видеть ее дочь, которая, как мне говорили, была прехорошенькой девочкой и о которой я часто мечтал, постоянно наделяя ее в своем воображении одним и тем же выдуманным прелестным лицом. Но когда я узнал из разговора с г-ном Сваном, что дочь его жила в таких исключительно счастливых условиях, купалась как в родной стихии в море стольких преимуществ и, спрашивая своих родителей, будет ли у них кто-нибудь за обедом, слышала в ответ эти два ослепительно сверкавшие слога, это имя золотого гостя, являвшегося для нее лишь старым другом семьи Б_е_р_г_о_т; когда я узнал, что интимным разговором за столом, соответствовавшим тому, чем были для меня рассуждения моей двоюродной бабушки, являлись для нее речи Бергота на все те темы, которых он не мог коснуться в своих книгах и относительно которых я хотел бы послушать его вещания, и что, наконец, во время ее поездок в другие города он сопровождает ее, неузнанный и славный, как боги, нисходившие в среду смертных, — то я почувствовал всю драгоценность существа, подобного м-ль Сван, и в то же время, каким я покажусь ей неотесанным и невежественным я так живо испытал всю сладость и всю невозможность для меня быть ее другом, что наполнился одновременно желанием и отчаянием. Чаще всего теперь, когда я. думал о ней, я ее видел перед порталом готического собора объяснявшей мне значение статуй и с благожелательной улыбкой представлявшей меня как своего друга Берготу. И неизменно обаяние всех фантастических представлений, навевавшихся мне средневековыми соборами, обаяние холмов Иль-де-Франса и равнин Нормандии сообщалось мысленно составленному мною образу м-ль Сван: мне оставалось только узнать ее и полюбить. Если мы верим, что известное существо причастно неведомой нам жизни, в которую его любовь к нам способна нас ввести, то из всех условий, необходимых для возникновения любви, это условие является для нас самым важным и позволяет ей в большей или меньшей степени обходиться без остальных. Даже женщины, будто бы составляющие суждение о мужчине только по его внешности, видят в этой внешности эманацию особенной жизни. Вот почему они любят военных, пожарных; форма, позволяет им быть менее требовательными в отношении наружности; целуя их, женщины думают, что под кирасою бьется особенное сердце, более предприимчивое и более нежное; и молодой государь или наследный принц для одержания самых лестных побед в чужих странах, по которым он путешествует, не нуждается в правильном профиле, являющемся, пожалуй, необходимым для биржевого маклера.

В то время как я читал в саду, — моя двоюродная бабушка была не в силах понять, как я могу предаваться чтению в другие дни, кроме воскресенья, дня, когда запрещено заниматься чем-либо серьезным и когда она сама прекращала свое шитье (в будни она сказала бы мне: «Как! Ты все еще з_а_б_а_в_л_я_е_ш_ь_с_я чтением; ведь сегодня не воскресенье», — вкладывая в слово «забавляешься» смысл ребячества и пустого времяпрепровождения), — тетя Леония болтала с Франсуазой в ожидании прихода Евлалии. Она сообщала Франсуазе, что сейчас только видела, как прошла мимо г-жа Гупиль «без зонтика, в шелковом платье, которое она сшила недавно в Шатодене. Если ей нужно сходить куда-нибудь далеко до вечерни, она может порядком промочить его».

— Может быть, может быть, — (что означало: может быть, нет), — отвечала Франсуаза, не желая окончательно исключать более благоприятную альтернативу.

— Ба! — говорила тетя, хлопая себя по лбу. — Это напомнило мне, что я так и не узнала, поспела ли она сегодня в церковь к возношению даров; Нужно не забыть спросить об этом Евлалию… Франсуаза, взгляните, пожалуйста, на эту черную тучу за колокольней и на шиферные крыши, как скудно они освещены солнцем: наверное, сегодня не обойдется без дождя. Так не может продолжаться, уж слишком большая жара стояла. И чем скорее, тем лучше, потому что пока не разразится гроза, мой Виши не окажет действия, — прибавляла тетя, в уме которой желание возможно скорого действия Виши было бесконечно более сильно, чем; страх, что дождь испортит платье г-жи Гупиль.

— Может быть, может быть.

— А ведь, когда дождь захватит на площади, спрятаться почти некуда. Как, уже три часа! — восклицала вдруг тетя, бледнея. — Но, в таком случае, вечерня уже началась, а я позабыла принять мой пепсин! Теперь я понимаю, почему Виши застрял у меня в желудке.

И, поспешно схватив молитвенник в переплете из лилового бархата с золотыми застежками, из которого, благодаря ее торопливому движению, дождем посыпались окаймленные узорным бордюрчиком из пожелтевшей бумаги картинки, служившие закладками на страницах, посвященных праздничным службам, тетя глотала капли и начинала быстро-быстро читать священные тексты, смысл которых слегка затемнялся для нее неуверенностью, способен ли будет пепсин, принятый через такой большой промежуток времени после Виши, догнать воду и заставить ее оказать свое действие на желудок.

— Три часа. Ужасно как быстро идет время!

Слабый удар в оконное стекло, как если бы в него было что-то брошено, затем обильное падение чего-то легкого, словно песка, который кто-то сыпал из верхнего этажа, затем падение ширилось, упорядочивалось, приобретало ритм, становилось текучим, звучным, музыкальным, несметным, всеобъемлющим это был дождь.

— Ну вот видите, Франсуаза, что я вам говорила? Говорила, что пойдет дождь! Но я как будто слышу колокольчик у садовой калитки; ступайте-ка посмотрите, кто это может прийти в такую погоду.

Возвратившись, Франсуаза сообщала:

— Это г-жа Амедей, — (моя бабушка). — Она сказала, что ходила немного прогуляться. А дождь, однако, здоровый.

— Это ничуть не удивляет меня, — говорила тетя, поднимая глаза к небу. — Я всегда была того мнения, что у нее все не так, как у людей. Как я рада, что это она, а не я в такую погоду на дворе.

— Г-жа Амедей всегда поступает как раз наоборот по сравнению с другими, — мягко замечала Франсуаза, откладывая заявление, что она считает мою бабушку немножко «тронувшейся», до той минуты, когда она останется наедине с другими слугами.

— Вот уж и служба кончилась! Теперь нечего больше ожидать Евлалию, — вздыхала тетя, — в такую погоду она побоится высунуть нос на улицу.

— Но ведь еще нет пяти часов, г-жа Октав, сейчас только половина пятого.

— Только половина пятого? А мне пришлось поднять уже занавески, чтобы сюда попало хоть немножко света. Это в половине пятого! Когда всего какая-нибудь неделя осталась до Рогаций! Ах, бедная моя Франсуаза, должно быть, Господь Бог очень разгневался на нас. Впрочем, мы и заслужили этого. Как говаривал мой бедный Октав, мы слишком позабыли Бога, и вот он мстит нам.

Яркая краска, заливала тетины щеки, — это была Евлалия. К несчастью, едва только она входила к тете, как Франсуаза возвращалась и говорила с улыбкой, предназначавшейся для выражения ее полного участия в удовольствии; которое, она не сомневалась, доставят тете ее слова, отчеканивая каждый слог с целью показатъ, что, несмотря на косвенную речь, она передает, как подобает хорошему слуге, подлинные слова, которыми удостоил ее только что прибывший гость:

— Его преподобие господин кюре будет обрадован, восхищен, если госпожа Октав не отдыхает сейчас и может принять его. Его преподобие не хочет беспокоить госпожу Октав. Его преподобие внизу; я попросила его пройти в залу.

В действительности посещения кюре не доставляли тете такого огромного удовольствия, как предполагала Франсуаза, и ликующий вид, который она считала долгом напускать на свое лицо каждый раз, как ей приходилось докладывать о его приходе, не вполне соответствовал чувствам больной. Кюре (превосходный человек, и я сожалею, что не разговаривал с ним чаще, ибо, несмотря на свое невежество в искусствах, он был отличным знатоком этимологии), привыкший давать почетным посетителям сведения о церкви (у него было даже намерение написать историю прихода Комбре), утомлял тетю бесконечными объяснениями, которые к тому же были всегда одинаковы. Когда же его визит совпадал с визитом Евлалии, он становился положительно неприятным тете. Она предпочитала до конца использовать Евлалию и не принимать всех своих знакомых сразу. Но она не смела отказать кюре и ограничивалась только тем, что делала знак Евлалии не уходить вместе с кюре, чтобы немного поговорить с ней наедине, когда кюре откланяется.

— Что это мне говорили, господин кюре, — будто какой-то художник поставил в вашей церкви мольберт и копирует один из витражей? Я уже долго живу на свете, но могу сказать, некогда еще не приходилось слышать о чем-либо подобном! Чем только не увлекаются теперь люди, удивляюсь. Ведь эти витражи самое мерзкое, что есть в церкви!

— Не решусь утверждать, что они самое безобразное в церкви, ибо, если есть в Сент-Илер части, стоящие того, чтобы на них поглядеть, то другие части моей бедной базилики уже порядком обветшали: ведь во всей епархии она единственная никогда не была реставрирована! Боже мой, портал грязен и ветх, но он все же величествен; гобелены с историей Эсфири еще туда-сюда; правда, я лично не дал бы за них медного гроша, но знатоки помещают их почти рядом с гобеленами Санса. Впрочем, я согласен признать, что, наряду с некоторыми чересчур реалистическими деталями, в них есть другие черточки, свидетельствующие о подлинной наблюдательности художника. Но не говорите мне ни слова в защиту витражей. Ну, разве есть какой-нибудь здравый смысл в оставлении окон, которые не пропускают света и даже обманывают зрение бликами какого-то неопределенного цвета, и это в церкви, где нет двух плит, которые лежали бы на одном уровне и которые мне отказывают перемостить под тем предлогом, что это могильные плиты комбрейских аббатов и сеньоров Германтских, некогда графов Брабантеких, прямых предков теперешнего герцога Германтского, а также герцогини, его супруги, так как она тоже из рода Германтов и вышла замуж за своего родственника? — (Моя бабушка, которая, благодаря отсутствию всякого интереса к «личностям», дошла до того, что стала путать все имена, каждый раз, когда в ее присутствии упоминали о герцогине Германтской, утверждала, что она должна быть родственницей г-жи де Вильпаризи. Все мы покатывались со смеху; она же пыталась оправдаться, ссылаясь на какое-то пригласительное письмо на свадьбу или крестины: «Мне помнится, там было упоминание о Германте». И единственный раз я бывал в таких случаях на стороне прочих членов семьи, против нее, отказываясь допустить, чтобы существовала какая-нибудь связь между ее пансионской подругой и потомком Женевьевы Брабантской.) — Взгляните на Руссенвиль, — продолжал кюре, — в настоящее время это не более, чем приходская община фермеров, а между тем в прежние времена местность эта, вероятно, процветала, благодаря торговле фетровыми шляпами и стенными часами. — (Я не очень уверен в этимологии Руссенвиля. Я охотно готов допустить, что первоначальное название было Рувиль — R_a_d_u_i_f_i_v_i_l_l_a — по аналогии с Шатору — C_a_s_t_r_u_m R_a_d_u_l_f_i, — но мы поговорим с вами об этом в другой раз.) — Так вот, в тамошней церкви отменные витражи, все почти современные, и в их числе «Въезд Луи-Филиппа в Комбре», который был бы более на месте в самом Комбре и, говорят, может соперничать с знаменитыми витражами Шартра. Не далее как вчера я встретил брата доктора Перспье, который понимает толк в этих вещах, и он сказал мне, что считает этот витраж одним из удачнейших достижений в этой области… Но когда я спросил у этого художника, который, впрочем, производит впечатление человека очень воспитанного и является, кажется, настоящим виртуозом кисти, — когда я спросил у него: что вы находите необыкновенного в этом витраже, к тому же еще более тусклом, чем остальные?..

— Я уверена, что, если бы вы попросили его преосвященство, — мягко замечала тетя, уже начинавшая чувствовать утомление, — он не отказал бы вам в новых витражах.

— Надейтесь на это, госпожа Октав, — отвечал кюре. — Но ведь как раз его преосвященство и поднял шум вокруг этого злосчастного витража, доказывая, что он изображает Жильбера Дурного, сеньора Германтского, прямого потомка Женевьевы Брабантской, которая была родом из Германта, получающего отпущение от Святого Илера.

— Но где же там Святой Илер?

— Представьте, он там есть. Разве вы никогда не обращали внимания на даму в желтом платье в углу витража? Вот это и есть Святой Илер, которого, вы ведь знаете, в некоторых провинциях называют также Святой Илье, Святой Элье и даже, в Юре, Святой Или. Впрочем, эти разнообразные искажения латинского Sanctus H_i_l_a_r_i_u_s являются далеко не самыми любопытными из числа искажений, которым подверглись имена святых. Возьмем, например, вашу покровительницу, добрейшая Евлалия, S_a_n_c_t_a E_u_l_a_l_i_a; знаете, кем она стала в Бургундии? С_в_я_т_ы_м Э_л_у_а, ни больше ни меньше: она стала *святым*. Представьте себе, Евлалия: после вашей смерти вас превратят в мужчину!

— Его преподобие всегда подшучивает над бедной девушкой.

— Брат Жильбера, Карл Косноязычный, был благочестивый принц, но, рано лишившись отца, Пипина Безумного, умершего от последствий душевной болезни, он осуществлял верховную власть со всем высокомерием молодости, не получившей надлежащего воспитания, так что стоило только физиономии какого-нибудь горожанина ему не понравиться, и он истреблял все население города до последнего человека. Жильбер, желая отомстить Карлу, велел сжечь церковь в Комбре, древнейшую церковь, ту, что Теодебер, покидая со своим двором сельскую резиденцию, которая была у него неподалеку, в Тиберзи (T_h_e_o_d_e_b_e_r_c_i_a_c_u_s), и отправляясь в поход на Бургундов, дал обет построить над гробницей Святого Илера, если блаженный поможет ему одержать победу. От этой церкви осталась теперь только крипта, куда Теодор, вероятно, водил вас; все остальное сожжено Жильбером. В конце концов он разбил несчастного Карла с помощью Вильгельма Завоевателя (кюре произносил *Вилельма)*, что является причиной частого посещения англичанами, этого места. Но ему, по-видимому, не удалось снискать к себе любовь жителей Комбре, ибо они накинулись на него, когда он выходил от мессы, и отсекли ему голову. Впрочем, у Теодора есть книжечка — он дает ее всем желающим — в которой вы можете найти все подробности этой истории… Но самой любопытной достопримечательностью нашей церкви бесспорно является широкий вид, открывающийся с колокольни. Он поистине грандиозен. Понятное дело, при вашем состоянии я не посоветовал бы вам подниматься на наши девяносто семь ступенек — как раз половина числа ступенек лестницы знаменитого миланского собора. Есть чему утомить самого здорового человека, тем более что, поднимаясь, вы должны согнуться в три погибели, если не хотите разбить себе лоб, и своим платьем вы сметаете всю паутину с лестницы. В довершение всего, вам нужно будет тепло одеться, — продолжал кюре, не замечая негодования тети от одной мысли, что она способна вскарабкаться таким образом на колокольню, — потому что, когда вы взберетесь наверх, вас обдаст сильным ветром! Некоторые лица утверждают даже, что они чувствовали там ледяной холод. Но на это не обращают внимания: по воскресеньям всегда набираются группы, подчас приходящие даже издалека, чтобы полюбоваться красивой панорамой, и все уходят очарованные. Да, в следующее воскресенье, если удержится погода, вы, наверное, найдете там множество народа, потому что на это воскресенье приходятся Рогации. Нужно признать, впрочем, что вид оттуда действительно сказочный: на равнине открываются уголки, каждый из которых обладает своей особенной прелестью. Когда погода ясная, бывает виден даже Вернейль. В довершение всего, оттуда можно сразу обнять взором места, которые обыкновенно вы видите раздельно, например течение Вивоны и рвы Сент-Ассиз-ле-Комбре, от которых река отделена завесой высоких деревьев, или же всю совокупность каналов Жуи-ле-Виконт (G_a_u_d_i_a_c_u_s v_i_c_e c_o_m_i_t_i_s, как вам, конечно, известно). Каждый раз, как я бывал в Жуи, я видел только один какой-нибудь кусок канала, затем, когда поворачивал за угол, видел другой кусок, но тогда у меня пропадал из виду первый. Напрасны бывали мои усилия мысленно связать их вместе: получить общую картину мне не удавалось. С колокольни Сент-Илер дело другое: оттуда вы видите все сразу, как на географической карте. Только воды нельзя различить: вам кажется, будто весь город покрыт большими щелями, рассекающими его такими правильными линиями, что он похож на краюху хлеба, куски которой еще держатся вместе, но уже отрезаны друг от друга. Чтобы получить вполне ясную картину, нужно было бы находиться сразу в двух местах: на колокольне Сент-Илер и в Жуи-ле-Виконт. Кюре до такой степени утомлял тетю, что, когда он наконец откланивался, ей приходилось отпускать также и Евлалию:

— Возьмите, бедная моя Евлалия, — говорила тетя слабым голосом, вынимая монету из маленького кошелька, лежавшего у нее под рукою, — вот вам: не забывайте меня в своих молитвах.

— Что вы, госпожа Октав, не знаю, право, брать ли мне; вы хорошо знаете, не ради этого я прихожу сюда! — говорила Евлалия каждый раз все с тем же колебанием и тем же замешательством, как если бы ей впервые приходилось получать эту монету, и каждый раз с выражением недовольства на лице, которое забавляло тетю, но никогда не бывало ей неприятно; и если случалось, что Евлалия, беря монету, имела не столь недовольный вид, как обыкновенно, тетя говорила:

— Не понимаю, что это случилось с Евлалией; я ведь дала ей столько же, как и всегда, а они между тем совсем не казалась удовлетворенной.

— Я думаю, однако, что ей нельзя пожаловаться, — вздыхала Франсуаза, склонная рассматривать как мелочь все, что давала ей тетя для нее самой или для ее детей, и как бессмысленно расточаемые для неблагодарной сокровища те монетки, что совались каждое воскресенье в руку Евлалии, впрочем, так незаметно, что Франсуазе никогда не удавалось их видеть. Нельзя сказать, чтобы Франсуаза хотела сама получить деньги, которые тетя давала Евлалии. Она радовалась тетиному достатку, зная, что богатства хозяйки автоматически возвышают и красят ее служанку в глазах посторонних и что она, Франсуаза, окружена почетом и прославлена в Комбре, Жуи-ле-Виконте и других местах благодаря многочисленным фермам моей тети, частым продолжительным посещениям кюре и огромному количеству выпитых тетею бутылок Виши. Франсуаза была скупа лишь по отношению к тетиным богатствам; если бы ей было поручено управление тетиным имуществом, что было ее заветнейшей мечтой, то она охраняла бы его от посягательств посторонних с материнской свирепостью. Она, впрочем, не видела бы большой беды в том, чтобы тетя, которая, как она знала, была неизлечимо щедрой, поддавалась добрым порывам и дарила свои вещи, если бы тетя делала эти подарки только богатым. Вероятно, она чувствовала, что богатые люди, поскольку они не нуждались в тетиных подарках, не могут быть заподозрены в симуляции любви к тете из корыстных расчетов. Кроме того, подарки лицам, занимавшим высокое общественное положение и обладавшим большим состоянием, например г-же Сазра, г-ну Свану, г-ну Леграндену, г-же Гупиль, особам «того же ранга», что и тетя, которые «на равной ноге с нею», казались Франсуазе как бы составной частью обычаев странной и блестящей жизни богатых людей, которые охотятся, дают балы и обмениваются визитами, жизни, на которую она взирала с умиленной улыбкой. Но дело обстояло совсем иначе, если благодетельствуемые щедротами тети принадлежали к тому общественному разряду, который Франсуаза называла: «люди как я» — или: «люди не лучше меня», — разряду, наиболее ею презираемому, если только лица, входившие в его состав, не обращались к ней: «мадам Франсуаза», показывая этим обращением, что считают себя «ниже ее». Когда же она убедилась, что, несмотря на ее увещания, тетя продолжает поступать по-своему и швыряет деньги — так, по крайней мере, думала Франсуаза — людям недостойным, то стала находить очень ничтожными подарки, получаемые ею самой от тети, по сравнению с фантастическими суммами, расточаемыми тетей на Евлалию. Не было такой значительной фермы в окрестностях Комбре, которую, по мнению Франсуазы, Евлалия не была бы в состоянии без труда приобрести на капиталы, составившиеся у нее в результате посещений тети. Правда, Евлалия оценивала так же высоко несчетные и запрятанные богатства Франсуазы. По уходе Евлалии Франсуаза обыкновенно изрекала самые злобные пророчества на ее счет. Она ненавидела Евлалию, но боялась ее и считала себя обязанной, когда Евлалия была у тети, строить ей «приветливое лицо». Зато она отводила душу после ухода тетиной фаворитки, правда никогда не называя ее по имени, а только намекая на нее в форме сивиллиных оракулов или — суждений общего характера, вроде изречений Экклезиаста, но так выраженных, что их специальное назначение не могло ускользнуть от внимания тети. Увидев, через приподнятый уголок занавески, что Евлалия закрыла за собой выходную дверь: «Льстецы умеют расположить к себе и обобрать человека, но терпение, терпение; Господь накажет их всех, когда придет срок», — говорила она с косвенным многозначительным взглядом Иоаса, имеющего в виду одну только Гофолию, когда он произносит:

Как дождевой поток, промчится счастье злого.

Но когда вместе с Евлалией приходил также кюре и его нескончаемый визит истощал все тетины силы, Франсуаза удалялась из комнаты вслед за Евлалией, со словами:

— Госпожа Октав, я оставлю вас, вам нужно отдохнуть, у вас очень утомленный вид.

И тетя даже не отвечала ей, а только испускала вздох с таким видом, точно это был последний, закрыв глаза.совсем как покойница. Но едва только Франсуаза спускалась вниз, как по всему дому раздавались четыре оглушительных звонка, и тетя, выпрямившись на кровати, кричала:

— Ушла уже Евлалия? Можете себе представить: я забыла спросить ее, успела ли г-жа Гупиль прийти в церковь до возношения даров! Скорее догоните ее!

Но Франсуаза возвращалась одна: Евлалия была уже далеко.

— Ужасно досадно, — говорила тетя, покачивая головой. — Единственная важная вещь, которую мне нужно было узнать у нее.

Так проходила жизнь тети Леонии, всегда одинаковая, в мягком однообразии того, что с напускным пренебрежением, но с глубокой нежностью она называла своим «скучным времяпрепровождением». Окруженное всеобщим уважением не только в нашем доме, где каждый из нас, узнав на опыте всю бесполезность советов более гигиенического образа жизни, мало-помалу покорился необходимости признавать его, но даже в городе, где, на расстоянии трех улиц от нас, упаковщик, перед тем как заколачивать свои ящики, посылал спросить Франсуазу, не «отдыхает» ли тетя, — это скучное времяпрепровождение было все же потревожено однажды в тот год. Подобно незаметному для людских взоров созреванию скрытого между листьев плода и его механическому отделению от ветки, однажды ночью совершилось разрешение от бремени судомойки. Боли ее были невыносимы, и, за отсутствием в Комбре повивальной бабки, Франсуазе пришлось до зари отправиться за акушеркой в Тиберзи. Крики судомойки не дали тете «отдохнуть», и она испытывала большую нужду в услугах Франсуазы, между тем как та, несмотря на короткое расстояние, вернулась очень поздно. Вот почему мама сказала мне утром: «Пойди посмотри, не нужно ли чего тете». Я вошел в первую комнату и через открытую дверь увидел, что тетя спит, лежа на боку; я услышал ее легкое всхрапывание. Я собирался уже потихоньку уйти, но произведенный мною шум, вероятно, вторгся в ее сон и «переменил скорость», как говорят теперь об автомобилях, ибо музыка тетиного храпа на секунду прервалась и возобновилась в более низком тоне; затем тетя проснулась и слегка повернула в мою сторону лицо, так что я мог его увидеть; на нем было выражение ужаса; тете, очевидно, снился только что страшный сон. В том положении, в котором тетя лежала, она не могла видеть меня, и я замер на месте, не зная, нужно ли мне подойти или удалиться; но тетя, по-видимому, уже пришла к познанию действительности и убедилась в иллюзорности напугавшего ее сновидения; радостная улыбка, благоговейная признательность Богу, устроившему так, что наша жизнь менее жестока, чем сновидения, слабо озарила ее лицо, и, по своей привычке вполголоса разговаривать с собою, когда она считала, что в комнате никого нет, тетя стала бормотать: «Слава Богу! Кроме рожающей судомойки, у нас нет здесь никаких тревог. А только что мне снилось, будто мой бедный Октав воскрес и хочет заставить меня выходить каждый день на прогулку!» Рука ее потянулась к лежавшим на ночном столике четкам, но тут сон снова овладел ею и не дал ей силы достать четки: она заснула, успокоенная, а я вышел на цыпочках из комнаты, так что ни она сама и никто другой никогда не узнали того, что я подглядел и подслушал.

Говоря, что, за исключением таких редких событий, как эти роды, «скучное времяпрепровождение» тети никогда не подвергалось никаким изменениям, я не принимаю в расчет тех перемен, которые, повторяясь всегда в тожественной форме, через одинаковые промежутки времени, были не больше чем однообразным узором на однообразном фоне ее жизни. Так, по субботам Франсуаза отправлялась после двенадцати часов на рынок в Руссенвиль-ле-Пен, и поэтому завтрак для всех нас бывал часом раньше. И тетя настолько привыкла к этому еженедельному нарушению своих привычек, что сжилась с ним так же, как и с остальными своими привычками. Она настолько «свыклась» с ним, как говорила Франсуаза, что, если бы ей пришлось в какую-нибудь субботу дожидаться завтрака лишний час, это в такой же степени выбило бы ее из колеи, как необходимость перенести свой завтрак в какой-нибудь другой день на субботний час. Этот более ранний завтрак сообщал, впрочем, субботе, для всех нас, своеобразную физиономию, снисходительную и в достаточной степени привлекательную. В момент, когда в другие дни нужно было жить еще целый час до звонка, объявлявшего о том, что кушать подано, мы знали, что через несколько секунд мы увидим преждевременное появление салата из цикория, омлета, незаслуженного бифштекса. Периодическое возвращение этой асимметричной субботы было одним из тех маленьких внутренних, местных, почти гражданских событий, которые, при спокойном течении жизни и устойчивом, общественном строе, создают своего рода национальную связь и становятся излюбленной темой разговоров, шуток и разукрашенных по желанию рассказчика анекдотов; оно могло бы послужить совсем готовым ядром для эпического цикла, если бы кто-нибудь из нас обладал поэтическим талантом. С самого утра, еще не успев одеться, без всякого разумного повода, просто ради удовольствия испытать силу солидарности, мы говорили друг другу в хорошем настроении, сердечно, с патриотичен ским чувством: «Торопитесь; нельзя терять времени; не забывайте, что сегодня суббота!» — в то время как тетя болтала с Франсуазой и в предвидении более длинного, чем обыкновенно, дня говорила: «Вам, пожалуй, следовало бы приготовить им хороший кусок телятины, ведь сегодня суббота». Если в половине одиннадцатого кто-нибудь по рассеянности вынимал часы и говорил: «Однако! Еще целых полтора часа до завтрака», — то все другие с неподдельным восторгом кричали ему: «Что с вами, о чем вы думаете? Вы забыли, что сегодня суббота!» Мы хохотали еще целую четверть часа после этого и решали подняться наверх рассказать об этой забывчивости тете, чтобы позабавить и ее. Физиономия самого неба, казалось, менялась. После завтрака даже солнце, сознавая, что бывала суббота, лишний час прохлаждалось в зените, и если кто-нибудь, думая, что мы опаздываем на прогулку, говорил: «Как, только два часа?» — услышав два удара, раздававшиеся с колокольни Сент-Илер (которые обыкновенно никого еще не встречали на пустынных по случаю завтрака или полуденного отдыха дорогах и на берегах светлой и быстрой речки, покинутой даже удильщиками, и одиноко скользили по пустому небу, где плавало разве какое-нибудь ленивое облачко), то все хором отвечали ему: «Вас вводит в заблуждение то, что мы позавтракали часом раньше; вы забываете, что сегодня суббота!» Удивление варвара (мы называли так, каждого, кто не знал особенностей субботы), явившегося в одиннадцать часов поговорить с моим отцом и заставшего нас за столом, бывало одной из тех вещей, которые веселили Франсуазу, как ничто другое в ее жизни. Но если она находила смешным, что озадаченный посетитель не знал, что мы завтракаем по субботам часом раньше, то еще более смешило ее то, что мой отец (узкому шовинизму которого она, впрочем, симпатизировала от всего сердца), совершенно не допуская, чтобы этот варвар мог не знать такой простой вещи, отвечал гостю, не пускаясь в дальнейшие объяснения, когда тот с изумлением заставал нас уже в столовой? «Разве вы не знаете? Сегодня суббота!» Дойдя до этого места в своем рассказе, Франсуаза останавливалась, чтобы вытереть выступившие у нее от смеха слезы, после чего, желая еще больше увеличить испытываемое ею удовольствие, продолжала диалог, придумывала ответ посетителя, которому слово «суббота» не говорило ничего. И мы не только не имели ничего против этих добавлений, но еще и не довольствовались ими, говоря Франсуазе: «Но, наверное, он сказал еще что-нибудь. В первый раз, когда вы рассказывали нам об этом, у вас было длиннее». Даже двоюродная бабушка оставляла свою работу, поднимала голову и смотрела на нас поверх очков.

Особенностью субботы было еще и то, что в мае мы ходили в этот день после обеда в церковь на майские службы деве Марии.

Так как мы встречали там иногда г-на Вентейля, сурово осуждавшего «прискорбную неопрятность молодых людей, к которой относятся так снисходительно в настоящее время», то мама тщательно осматривала, все ли у меня в порядке, затем мы отправлялись в церковь. Помню, что именно в «месяце служб деве Марии» я начал любить боярышник.

Боярышник был не просто в церкви, этом хотя и святом месте, но в которое всем нам был открыт доступ; положенный на самом престоле, неотделимый от таинства, в совершении которого он принимал участие, он протягивал между свеч и священных сосудов свои горизонтально прикрепленные одна над другою ветви, создавая праздничное убранство; и еще большую прелесть ему придавали гирлянды темной листвы, в изобилии усеянной, словно фата новобрачной, букетиками бутонов ослепительной белизны. Хотя я решался смотреть на это роскошное убранство только украдкой, я чувствовал, что оно было живым и что сама природа, вырезывая этот лиственный узор и изысканно украшая его белоснежными бутонами, позаботилась о создании подобающей декорации для того, что было одновременно народным празднеством и торжественным таинством. Выше, над престолом, там и сям с беззаботной грацией раскрывались венчики цветов, поддерживая так небрежно, словно легчайший, почти воздушный наряд, пучки тонких как паутинка тычинок, окутывавших цветы туманной дымкой, что следуя за ними взором, пытаясь подражать в глубине своего существа движению их расцветания, я представлял его себе похожим на резкое и своенравное движение головки с кокетливым взглядом прищуренных глаз, принадлежавшей какой-нибудь ветреной и живой молоденькой девушке в белом платье. Г-н Вентейль приходил с дочерью и садился рядом с нами. Он был из хорошей семьи и преподавал когда-то музыку сестрам моей бабушки; после смерти своей жены и получения наследства он поселился в окрестностях Комбре, и мы часто принимали его в нашем доме. Но, будучи человеком крайне щепетильным, он перестал приходить к нам, чтобы не встречаться со Сваном, который вступил «в крайне неприличный», по словам Вентейля, «брак в духе времени». Моя мать, узнав, что он занимается музыкальной композицией, сказала ему из любезности, что, когда она придет к нему в гости, он непременно должен будет сыграть ей что-нибудь из своих произведений. Г-н Вентейль с большим удовольствием сыграл бы, но его вежливость и внимание к другим доходили до такой тонкости, что он всегда становился на место тех людей, в обществе которых ему случалось бывать, и боялся наскучить им или показаться в их глазах эгоистом, поступая согласно своему желанию или хотя бы только давая угадать это желание. Я обыкновенно сопровождал моих родителей в дни, когда они приходили к нему в гости, но мне разрешалось оставаться на дворе, и так как дом г-на Вентейля, Монжувен, стоял у подошвы покрытого кустарником пригорка, на котором я прятался, то я находился на уровне гостиной второго этажа, на расстоянии всего какого-нибудь полуметра от окна. Когда слуга докладывал ему о приходе моих родителей, г-н Вентейль поспешно подбегал к роялю и ставил на видное место нотную тетрадь. Но как только родители мои входили, он убирал ее и прятал в уголок. Вероятно, он боялся создать впечатление, будто он рад видеть их только потому, что это дает ему случай сыграть им что-нибудь из своих произведений. И каждый раз, когда моя мать во время визита пыталась заговорить с ним о только что убранной им тетради, он неизменно повторял: «Понять не могу, кто это поставил ее на рояль; ей на нем совсем не место» — и переводил разговор на другие темы, именно потому, что они меньше интересовали его. Единственной его страстной привязанностью была привязанность к дочери, но дочь эта, с наружностью мальчика, казалась с виду такой крепкой и сильной, что нельзя было удержаться от улыбки при виде заботливости, которой окружал ее отец, всегда имевший в запасе лишнюю шаль, чтобы накинуть ей на плечи. Бабушка обращала наше внимание на мягкое, нежное, почти робкое выражение, которое часто скользило по веснушчатому лицу этой грубоватой девушки. Когда ей случалось принимать участие в разговоре, она слышала свои слова ушами тех, к кому обращалась, тревожилась, что ее могут неправильно понять, и тогда под мужеподобной наружностью «доброго малого» ясно просвечивали, как через прозрачную бумагу, более тонкие черты заплаканной молодой девушки.

Когда перед уходом из церкви я преклонял колени перед алтарем, до меня долетал вдруг от боярышника горький и сладкий запах миндаля, и я замечал тогда на цветах маленькие пятнышки, слегка окрашенные в кремовый цвет, под которыми, мне казалось, и должен был скрываться этот запах, подобно тому как вкус миндального пирожного скрывается под пригорелыми его частями или как свежесть щек м-ль Вентейль под покрывавшими их веснушками. Несмотря на безмолвие и неподвижность боярышника, этот перемежающийся запах был подобен шороху буйной его жизни, трепетом которой напоен был алтарь, словно придорожная изгородь, кишащая живыми усиками, приходившими мне на память при виде некоторых почти рыжих тычинок, казалось сохранивших весеннюю вирулентность, раздражимость, насекомых, в настоящее время превращенных в цветы.

По выходе из церкви мы обменивались у паперти несколькими словами с г-ном Вентейлем. Он вмешивался в драку мальчишек на площади, брал под свою защиту маленьких, читал наставления тем, что были постарше. Если дочь его говорила своим грубым голосом, как рада она нас видеть, то тотчас же создавалось впечатление, что какая-то более чувствительная сестра, скрывавшаяся в ней, краснеет от этого заявления ветреного «доброго малого», которое могло внушить нам мысль, будто она добивается приглашения к нам. Отец ее набрасывал ей на плечи пальто, они садились в маленькую одноколку, которой она сама правила, и возвращались в Монжувен. Что же касается нас, то, так как на другой день было воскресенье и мы вставали только к поздней мессе, отец мой, если ночь была лунная и теплая, вместо того чтобы вести нас домой прямым путем, заставлял, из любви к славе, совершать длинную окружную прогулку через Кальварию, которую мама, благодаря слабой своей способности ориентироваться и узнавать дорогу, рассматривала как доказательство его стратегического гения. Иногда мы доходили таким образом до виадука, каменные устои которого начинались у вокзала и казались мне олицетворением бедствий, претерпеваемых изгнанными за пределы цивилизованного мира, ибо каждый год, когда мы приезжали из Парижа, кондуктор рекомендовал нам, подъезжая к Комбре, быть внимательными, чтобы не пропустить остановки, и заранее приготовить вещи, так как поезд стоял всего две минуты и устремлялся затем по виадуку по ту сторону христианского мира, так что Комбре обозначал в моих глазах конечный его пункт. Мы возвращались по Вокзальному бульвару, на котором находились самые красивые дома в городе. В каждом из садов, окружавших эти дома, лунный свет, подобно Гюберу Роберу, рассыпал обломки лестниц из белого мрамора, фонтаны, заманчиво полуотворенные ворота в ограде. Лучи его стерли с лица земли телеграфную контору. От нее оставалась только одна колонна, наполовину разбитая, но сохранявшая красоту бессмертной руины. Я еле волочил ноги и совсем засыпал; запах цветущих лип казался мне наградой, которую можно бывает получить лишь ценой крайней усталости и которая не стоила потраченных усилий. Разбуженные нашими шагами, одиноко раздававшимися в тишине, попеременно лаяли собаки у ворот, далеко отстоявших друг от друга; мне и до сих пор еще случается иногда по вечерам слышать этот лай, и под его защитой, должно быть, навсегда укрылся (после того как на его месте в Комбре был устроен публичный сад) Вокзальный бульвар, потому что, где бы я ни находился, как только до меня доносится собачья перекличка, я тотчас снова его вижу с его липами и освещенным луной тротуаром.

Вдруг отец мой останавливался и спрашивал маму: «Где мы?» Утомленная ходьбой, но гордая своим мужем, она кротко признавалась ему, что не имеет об этом ни малейшего представления. Отец пожимал плечами и смеялся. Затем, словно вынув ее вместе с ключом из кармана своего пиджака, он показывал нам стоявшую прямо перед нами маленькую калитку на задах нашего сада, которая, вместе с углом улицы Сент-Эспри, выходила нам навстречу, в конце наших странствований по неведомым дорогам. Мама с восхищением говорила отцу: «Ты чудодей!» И с этого мгновения мне не нужно было больше делать ни одного шага: земля шла вместо меня в нашем саду, где давно уже действия мои перестали сопровождаться произвольным вниманием. Привычка подхватывала меня в свои объятия и несла до моей кровати словно маленького ребенка.

Хотя суббота начиналась часом раньше и в этот день тетя была лишена услуг Франсуазы, так что время текло для нее медленнее, чем в другие дни, однако уже с самого начала недели она с нетерпением ожидала ее возвращения, как единственного разнообразия и развлечения, которое было еще способно выносить ее обессилевшее и развинченное тело. Отсюда не следует, впрочем, чтобы она не желала по временам какой-нибудь большой перемены, чтобы в жизни ее не было тех редких часов, когда мы жаждем чего-нибудь непохожего на то, что есть, и когда люди, по недостатку энергии или воображения не способные добыть в себе самих начало обновления, ждут от наступающего часа, от звонка почтальона какой-нибудь новости, хотя бы неприятной, какого-нибудь волнения, какого-нибудь горя; когда сердечные струны, которые благополучие привело к молчанию словно праздную арфу, хотят вновь зазвучать под чьей-нибудь рукой, пусть даже грубой, пусть даже такой, которая их порвет; когда воля, с таким трудом завоевавшая право беспрепятственно отдаваться своим желаниям и причиняемым этими желаниями страданиям, хотела бы бросить вожжи в руки каких-нибудь властных событий, пусть даже жестоких. Конечно, благодаря тому, что тетины силы, иссякавшие при малейшем напряжении, возвращались лишь капля за каплей в лоно ее покоя, резервуар наполнялся очень долго, и проходили месяцы, прежде чем она испытывала то легкое переполнение, которое другие претворяют в энергичную деятельность, но которому она не способна была дать никакого употребления. Я нисколько не сомневаюсь, что в таких случаях, — подобно тому, как ее желание заменить пюре картофелем под соусом бешамель постепенно рождалось из самого удовольствия, доставляемого ей ежедневным появлением пюре, никогда не «утомлявшего» ее, — нисколько не сомневаюсь, что из накопления монотонных дней, за которые она так цеплялась, тетя извлекала напряженное ожидание какой-нибудь домашней катастрофы, не слишком продолжительной, но способной заставить ее раз навсегда осуществить одну из тех перемен, благодетельность которых для себя она признавала, но на которые не могла решиться по собственной инициативе. Тетя искренно любила нас, и ей доставило бы удовольствие оплакивать нашу гибель; перспектива получения в минуты, когда она чувствовала себя хорошо и не была в поту, известия о вспыхнувшем вдруг в нашем доме пожаре, во время которого все мы погибли и который вскоре уничтожит дом дотла, но так, что сама она успеет спастись, не торопясь, если немедленно поднимется с постели, — эта перспектива, должно быть, не раз посещала ее воображение, ибо заключала в себе, наряду с второстепенными выгодами: возможностью досыта насладиться в течение долгих лет скорби нежными чувствами к нам и вызвать удивление всего города своим удрученным и изнеможенным, но мужественным и стойким видом на наших похоронах, — выгоду гораздо более драгоценную: она заставила бы тетю в надлежащий момент, не тратя времени на обессиливающие колебания, отправиться на лето в свою очаровательную ферму Миругрен, где был такой живописный водопад. Так как событий вроде только что упомянутого пожара не наступало, несмотря на то что тетя прилежно исчисляла их возможность, раскладывая в одиночестве свои бесконечные пасьянсы (причем она, наверное, была бы повергнута в отчаяние при первом намеке на их действительное наступление, при первом слове, извещавшем о каком-нибудь несчастном случае, слове, звуков которого мы уже никогда не можем забыть впоследствии, — при малейшем соприкосновении со всем, что носит на себе печать реальной смерти, так резко отличающейся от ее логической и отвлеченной возможности), то для придания своей жизни большей занятности она ограничивалась тем, что время от времени наполняла ее воображаемыми происшествиями, с необыкновенным увлечением следя за всеми их перипетиями. Ей приходила вдруг блажь предположить, что Франсуаза обворовывает ее, и она мысленно прибегала к хитрости, чтобы удостовериться в этом, ловила ее на месте преступления; привыкнув играть в карты в одиночестве, сразу и за себя и за партнера, она бормотала сначала неловкие извинения Франсуазы, а затем отвечала на них с таким пылким негодованием, что если кто-нибудь из нас случайно входил к ней в такие минуты, то заставал ее всю в поту, с блестящими от возбуждения глазами, со съехавшими набок накладными волосами, так что обнажался ее лысый череп. Вероятно, Франсуазе часто приходилось слышать из соседней комнаты обращенные к ней язвительные сарказмы, придумывание которых не дало бы достаточного удовлетворения тете, если бы они оставались, так сказать, в чисто невещественном состоянии и если бы, бормоча их вполголоса, она не сообщала им большей реальности. Иногда, впрочем, даже «представления в кровати» не удовлетворяли тетю; она хотела, чтобы они были разыграны в лицах. В таких случаях в одно из воскресений все двери ее комнат таинственно запирались, и она поверяла Евлалии свои сомнения насчет честности Франсуазы и свое намерение отделаться от нее, а в другой раз высказывала Франсуазе свои подозрения насчет вероломства Евлалии, перед которой скоро придется закрыть дверь; через несколько дней она наполнялась отвращением к своей недавней наперснице и возобновляла дружбу с предательницей, которые, впрочем, на ближайшем представлении снова менялись ролями. Но подозрения, внушаемые ей иногда Евлалией, были только минутной вспышкой; они быстро угасали за отсутствием пищи, так как Евлалия не жила в одном доме с тетей. Совсем иначе дело обстояло с подозрениями, касавшимися Франсуазы, присутствие которой под кровлей нашего дома тетя постоянно ощущала, хотя из боязни простуды никогда не решалась покинуть постель и спуститься в кухню, чтобы проверить основательность этих подозрений. Мало-помалу вся деятельность ее ума свелась к угадыванию того, что в каждый данный момент может делать, что скрывает от нее Франсуаза. Она подмечала самые мимолетные выражения ее лица, малейшее противоречие в ее словах, малейшее желание, которое, казалось, та хотела скрыть. Тетя показывала, что видит ее насквозь, разоблачала ее одним каким-нибудь словом, от которого Франсуаза бледнела и которое тетя с какой-то сладострастной жестокостью вонзала в сердце несчастной. И в ближайшее воскресенье какое-нибудь разоблачение Евлалии — подобно тем открытиям, что вдруг освещают никем ранее не подозревавшееся поле исследования только что возникшей науки, двигавшейся до тех пор по проторенным путям, — доказывало тете, что самые худшие ее предположения ничто по сравнению с действительностью. «Но ведь Франсуаза должна это знать теперь, после того как вы подарили ей экипаж», — заявляла Евлалия. «Я подарила ей экипаж!» — восклицала тетя. «Боже мой, я ничего не знаю. Я так думала, увидев вчера, как она ехала в коляске, гордая как Артабан, на руссенвильский рынок. Я подумала, что г-жа Октав подарила ей эту коляску». Мало-помалу Франсуаза и тетя, словно дичь и охотник, всю изобретательность своего ума стали тратить на то, чтобы не попасться на уловки друг друга. Мама боялась, как бы у Франсуазы не развилась настоящая ненависть к тете, наносившей ей жесточайшие оскорбления, какие только можно придумать. Во всяком случае, Франсуаза все больше и больше стала уделять самое пристальное внимание малейшему тетиному слову, малейшему ее движению. Если ей нужно было что-нибудь попросить у тети, она долго колебалась, избирая способ, каким следует это сделать. И когда она наконец высказывала свою просьбу, то украдкой наблюдала за тетей, стараясь по выражению ее лица угадать, что тетя думала и каково будет ее решение. Вот таким-то образом — в то время, как какой-нибудь художник или писатель, читая мемуары XVII века и желая ближе подойти к личности великого короля, думает, что он скорее всего достигнет успеха, если сочинит генеалогию, связывающую его самого с какой-нибудь исторической фамилией, или вступит в переписку с кем-нибудь из современных европейских государей, и тем самым как раз поворачивается спиной к тому, что он ошибочно ищет под тожественными и, следовательно, мертвыми формами, — стареющая провинциальная дама, благодаря одному только слепому повиновению непреодолимым своим маниям и рожденному праздностью духу злобы, видела, никогда не помышляя о Людовике XIV, как самые незначительные повседневные ее занятия: утренний туалет, завтрак, послеполуденный сон — в некоторой степени приобретают, вследствие деспотической своей причудливости, занимательность того, что Сен-Симон называл «механикой» версальской жизни, а также способна была проникнуться убеждением, что ее молчание, малейший намек на благосклонную или презрительную улыбку являются предметом таких же страстных, таких же тщательных комментариев Франсуазы, какими сопровождались молчание, благосклонная или презрительная улыбка короля, когда какой-нибудь придворный или даже первейшие вельможи вручали ему всеподданнейшее прошение где-нибудь на повороте аллеи, в Версале.

Однажды в воскресенье, когда тетя отдыхала после одновременного визита кюре и Евлалии, мы все поднялись пожелать ей спокойной ночи, и мама выразила ей соболезнование по поводу того, что гости ее всегда так неудачно приходят в одно и то же время.

— Мне говорили, что и сегодня обстоятельства сложились неудачно, Леония, — мягко сказала она, — опять вам пришлось принимать ваших друзей одновременно.

Тут моя двоюродная бабушка перебила маму: «Такое изобилие приятных вещей…» — ибо с начала болезни своей дочери она считала своей обязанностью ободрить ее, всегда изображая ей вещи в благоприятном свете. Но в этот момент взял слово отец:

— Я хочу воспользоваться, — сказал он, — тем; что вся семья в сборе, и расскажу вам один случай, иначе мне пришлось бы повторять свой рассказ каждому в отдельности. Боюсь, не сердится ли на нас Легранден: он совсем небрежно поздоровался со мной сегодня утром.

Я не остался слушать рассказ отца, потому что я был вместе с ним после мессы, когда мы встретились с г-ном Легранденом; вместо этого я спустился в кухню узнать меню обеда, которое каждый день занимало меня, как газетные новости, и наполняло возбуждением, как программа предстоящего празднества. Так как Легранден прошел мимо нас, выйдя из церкви рядом с одной соседней помещицей, с которой мы не были знакомы, то отец, не останавливаясь, поклонился ему дружески, но сдержанно; г-н Легранден едва ответил ему с удивленным видом, как если бы он не узнавал нас, и с тем особенным выражением во взгляде, которое свойственно лицам, не желающим быть любезными и смотрящим на вас сощуренными глазами так, точно вы находитесь на самом конце бесконечно длинной дороги и на таком большом расстоянии от них, что они ограничиваются по отношению к вам еле заметным кивком головы в соответствии с вашими кукольными размерами.

Дама, сопровождавшая Леграндена, была особа добродетельная и уважаемая; не могло быть и речи о том, что он занимается волокитством и недоволен, что его застали за этим делом; поэтому мой отец недоумевал, чем он мог вызвать недовольство Леграндена.

— Я с тем большим сожалением узнал бы о его обиде на нас, — сказал отец, — что среди этой разодетой по-праздничному толпы он, в своем коротком пиджачке, в своем мягком галстуке, имеет вид подлинно непринужденный, подлинно простой; своей наивно-беспечной внешностью он производит очень симпатичное впечатление.

Но семейный совет вынес единогласное решение, что отцу все это почудилось или что Легранден в тот момент был поглощен какой-нибудь мыслью. К тому же опасения моего отца были рассеяны на другой же день. Возвращаясь с дальней прогулки, мы заметили подле Старого моста Леграндена, который, по случаю праздников, остался на несколько дней в Комбре. Он подошел к нам с протянутой рукой: «Знаете ли вы, любитель чтения, — обратился он ко мне, — этот стих Поля Дежардена:

Леса уже черн_ы_, но небо голубое?

Не правда ли, как тонко это передает час, подобный настоящему? Может быть, вы никогда не читали Поля Дежардена. Читайте его, дитя мое; в настоящее время он обратился, говорят, в проповедника, но долгое время он был таким чудесным акварелистом…

Леса уже черны, но небо голубое…

Пусть, небо всегда остается голубым для вас, мой юный друг; и даже в час, который наступает теперь для меня, когда леса уже черны, когда уже сгустилась тьма, вы будете находить утешение, как нахожу его я, смотря на небо. — Он вынул из кармана папиросу, долго стоял неподвижно, устремив глаза к горизонту. — До свидания, друзья», — сказал он вдруг и покинул нас.

В час, когда я спускался в кухню узнать меню, приготовление обеда шло уже полным ходом, и Франсуаза, командуя силами природы, обратившимися в ее помощниц, как в сказках, где великаны нанимаются в кухонные мужики, дробила каменный уголь, тушила картофель в пару и дожаривала на огне кулинарные шедевры, предварительно приготовленные в одной из многочисленных посудин, длинный ряд которых начинался с больших ушатов, котлов, котелков, рыбных чашек, мисок для дичи, форм для пирожных, горшочков для сливок и кончался полным набором кастрюль всех размеров. Я останавливался подле стола, где судомойка заканчивала лущение горошка, зернышки которого тянулись длинными лентами, словно зеленые шарики, приготовленные для игры; но предметом моего восхищения была спаржа, окрашенная в ультрамариновый и розовый цвет, головки которой, чуть тронутые лиловым и лазурью, незаметно переходили в белые корешки — еще слегка выпачканные землей грядки, в которой они росли, — путем неземных каких-то радужных переливов. Мне казалось, что эти небесные оттенки служат указанием на присутствие восхитительных созданий, по какой-то своей прихоти пожелавших превратиться в овощи, и сквозь маскарадный костюм, облекающий их съедобное и плотное тело, позволявших мне различить, в этих красках занимающейся зари, в этих радужных переливах, в этих голубых вечерних тенях, свою драгоценную сущность, и я снова ее узнавал, когда, в течение всей ночи, следовавшей после обеда, за которым я их отведывал, они тешились тем, что, в поэтичных и грубоватых своих фарсах, подобных феерии шекспировской «Летней ночи», превращали мой ночной горшок в сосуд, наполненный благоуханиями.

Спаржа эта лежала в корзинке возле бедной судомойки — Милосердия Джотто, как называл ее Сван, — которой Франсуаза поручала чистку овощей; при этом занятии вид у Милосердия был скорбный, как если бы она переживала все земные горести; и легкие лазурные венчики, украшавшие головки спаржи над розовыми туниками, в которые облекалось ее тело, были тонко очерчены, звездочка за звездочкой, как цветочки на фреске Джотто в венке и корзинке падуанской Добродетели. Тем временем Франсуаза поворачивала на вертеле цыпленка, поджаривая его так, как она одна умела делать, одного из тех цыплят, которые разнесли далеко за пределы Комбре славу ее искусства и, когда она подавала их нам на стол, внушали мне убеждение, что господствующей чертой ее характера являются доброта и нежность; аромат этого жареного мяса, которое она умела делать таким маслянистым и таким нежным, казался мне запахом одной из многочисленных ее добродетелей.

Но в тот день, когда я спустился в кухню, покинув отца за семейным совещанием относительно встречи с Легранденом, Милосердие Джотто была еще очень больна после своих недавних родов и не могла встать с постели; Франсуаза, лишенная помощницы, запаздывала. Когда я сошел вниз, Франсуаза в задней кухне, выходившей на птичий двор, резала цыпленка, который, благодаря своему отчаянному и вполне понятному сопротивлению, сопровождавшемуся, однако, криками взбешенной Франсуазы, метившей ему ножом как раз под ухо: «Ах ты, паршивец! Ах ты, паршивец!» — выставлял святую доброту и мягкосердечие нашей служанки в несколько невыгодном свете, не так, как за обедом, когда его расшитая золотом кожа бывала похожа на ризу священника, а драгоценный его сок капал словно из потира. Когда он был мертв, Франсуаза собрала лившуюся из него кровь, в которой, однако, не потопила своего озлобления, еще раз с гневом взглянула на труп своего врага и промолвила: «Ах, паршивец!» Я поднялся наверх весь дрожа; мне хотелось, чтобы Франсуазу немедленно прогнали. Но кто тогда готовил бы мне горячие пышки, всегда такой ароматный кофе и даже… этих цыплят?.. В действительности, все прочие, подобно мне, тоже, должно быть, руководились этими малодушными соображениями. В самом деле, тетя Леония знала, — хотя мне самому это не было еще известно, — что Франсуаза, которая безропотно пожертвовала бы жизнью за свою дочь или за своих племянников, проявляла необыкновенное бессердечие ко всем другим людям. Несмотря на это, тетя держала ее у себя, ибо, зная ее жестокость, она ценила ее услуги. Мало-помалу я дознался, что мягкость, благодушие и вообще добродетели Франсуазы таят за собой множество кухонных трагедий, подобно тому как история обнаруживает, что царствование королей и королев, изображенных на церковных витражах молитвенно коленопреклоненными, сопровождалось жестокостями и пролитием крови. Я отдал себе отчет, что, за исключением ее родственников, люди возбуждали в ней своими страданиями тем большую жалость, чем большее расстояние отделяло ее от них. Потоки слез, которые она проливала, читая в газете о несчастьях, постигших неизвестных ей людей, быстро иссякли бы, если бы она могла немного отчетливее представить себе пострадавших. Однажды ночью, вскоре после родов, судомойка почувствовала жестокие боли; услышав ее стоны, мама встала с постели и разбудила Франсуазу, но та самым спокойным тоном заявила, что все эти крики — комедия, что судомойка хочет «разыграть барыню». Доктор, опасавшийся приступов этих болей, положил в одной нашей медицинской книге закладку на странице, где содержалось описание их симптомов, и рекомендовал нам найти там перечень мер, которые следует принять для оказания первой помощи. Мама послала Франсуазу за книгой, наказав ей не выронить закладки. Прошел час, а Франсуаза еще не возвращалась; мама подумала, что она пошла спать, и в негодовании велела мне самому сходить в библиотеку. Я застал там Франсуазу, которая, полюбопытствовав узнать, что содержится на заложенной странице, читала клиническое описание послеродовых болей и горько рыдала, ибо речь шла о типическом случае болезни у неизвестной ей женщины. При каждом болезненном симптоме, упомянутом в книге, она восклицала: «Ах, мати Божия, возможно ли, чтобы Господь посылал такие страдания бедным своим созданиям? Ах, несчастная!»

Но когда я ее позвал и она возвратилась к постели Милосердия Джотто, слезы тотчас перестали литься из ее глаз; она не могла найти достаточного повода ни для того приятного ощущений жалости и умиления, которое было ей так хорошо известно и так часто возбуждалось в ней чтением газет, ни для какого-либо другого удовольствия в том же роде; она была только раздражена и обозлена тем, что ее подняли среди ночи с постели ради судомойки, вследствие чего, при виде тех же страданий, описание которых вызвало у нее слезы, она только недовольно ворчала и даже отпускала язвительные замечания (когда подумала, что мы ушли и не можем больше слышать ее) в таком роде: «Просто ей не нужно было делать того, что привело ко всем этим страданиям! Ей это доставляло удовольствие! Так пусть же не строит теперь неженки! Должно быть, паренек был очень уж невзыскателен, если сошелся с такою. Совсем так, как говорили у меня на родине:

Кто влюбится в собачий зад,

В нем розы чует аромат».

Если при малейшем насморке своего внука она, не ложась совсем спать, отправлялась ночью, даже будучи больна, узнать, не нужно ли ему чего-нибудь, и делала четыре лье пешком, чтобы с рассветом вернуться к своей работе, то эта самая любовь к своим родным и желание утвердить будущее величие своего дома заставляли ее держаться в своей политике по отношению к другим слугам одного неизменного правила, а именно: не пускать никого из них на порог тетиной комнаты; она в некотором роде гордилась тем, что никому другому не позволяла подойти к тете, и, даже когда бывала больна, принуждала себя вставать с постели и подавать тете ее Виши, лишь бы только не уступить судомойке права лицезрения своей госпожи. И подобно изученному Фабром перепончатокрылому, земляной осе, которая для обеспечения личинок после своей смерти свежим кормом призывает на помощь своей жестокости анатомию и, наловив долгоносиков и пауков, с изумительным знанием и ловкостью поражает в них жалом нервные центры, управляющие движением лапок, но не касающиеся других функций организма, так, чтобы парализованное насекомое, возле которого она кладет свои яички, снабжало личинки, когда они вылупятся, послушной и безобидной дичью, не способной убежать или сопротивляться, но нисколько не протухшей, — Франсуаза тоже, в угоду непреклонному своему решению сделать жизнь в тетином доме невыносимой для других служанок, прибегала к самым утонченным и безжалостным уловкам; так, почти ежедневное появление на нашем столе спаржи в то лето, как мы узнали много лет спустя, объяснялось тем, что ее запах вызывал у бедной судомойки, занимавшейся чисткой этого овоща, такие жестокие припадки астмы, что она в конце концов вынуждена была покинуть службу.

Увы! нам пришлось окончательно изменить мнение о Леграндене. В одно из воскресений после нашей встречи с ним на Старом мосту, заставившей отца признать свою ошибку, — когда месса кончалась и вместе с солнечными лучами и уличным шумом в церковь вторгалось что-то до такой степени мирское, что г-жа Гупиль и г-жа Перспье (обе эти дамы несколько времени тому назад, когда я с некоторым опозданием пришел в церковь, были настолько поглощены молитвой, что я мог бы подумать, будто они совсем не заметили моего появления, если бы в этот самый момент ноги их не отодвинули немного небольшую скамеечку, мешавшую мне пройти к своему стулу) начали громко разговаривать с нами на самые мирские темы, словно мы находились уже на площади, — мы увидели на залитом солнцем пороге паперти, господствовавшей над нестройным гулом рынка, Леграндена, которого муж той дамы, в чьем обществе мы встретили его последний раз, представлял жене другого крупного соседнего помещика. Лицо Леграндена выражало необыкновенное оживление и предупредительность; он отвесил глубокий поклон, после которого так резко откинулся назад, что туловище его заняло положение, отличное от своего первоначального положения, — прием, которому его научил, вероятно, муж его сестры, г-жи де Камбремер. От этого быстрого движения по бедрам Леграндена (я не предполагал до сих пор, что они у него такие мясистые) прошла какая-то бурная мышечная волна; не знаю почему, это волнообразное движение чистой материи, этот чисто плотской ток, без малейшего намека на какую-либо одухотворенность, эта волна, энергично подстегиваемая каким-то весьма низменным рвением, вдруг пробудили в моем уме представление о возможности другого Леграндена, совсем не похожего на того, с которым мы были знакомы. Дама попросила его передать что-то своему кучеру, и в то время как он шел к экипажу выражение робкой радости, выражение преданности, появившееся на его лице после представления даме, все еще сохранялось на нем. Погруженный в какой-то сладкий сон, он улыбался, затем торопливо вернулся к даме; так как он двигался при этом быстрее, чем обыкновенно, то плечи его как-то нелепо раскачивались направо и налево, и он столь всецело отдавался своему счастью, пренебрегши всем прочим, что казался безвольной его игрушкой. Тем временем мы приблизились к выходу из церкви; мы прошли подле него; он был слишком хорошо воспитан, чтобы отвернуться в сторону; но он устремил свой взгляд, внезапно ставший мечтательным и рассеянным, на какую-то столь отдаленную точку горизонта, что не мог нас видеть и не должен был, следовательно, поклониться нам. На лице его по-прежнему было простодушное выражение, а прямой и короткий пиджак имел такой вид, точно он чувствовал себя заблудившимся и вопреки своей воле попавшим в обстановку ненавистной ему роскоши. И широкий бант галстука в горошинах, подхватываемый порывами ветра на площади, продолжал развеваться на шее Леграндена как знамя его гордого одиночества и благородной независимости. Когда мы уже подходили к дому, мама вдруг обнаружила, что мы забыли взять «сент-оноре», и попросила отца возвратиться со мною и распорядиться, чтобы его сейчас же принесли нам. Подле церкви мы встретили Леграндена с той же самой дамой, которую он провожал к экипажу. Он прошел мимо нас и, не прерывая разговора со своей соседкой, сделал нам уголком своего голубого глаза еле заметный знак, который весь был заключен, если можно так выразиться, в пределах его век и, поскольку не вызвал ни малейшего движения его лицевых мускулов, мог остаться совершенно незамеченным его собеседницей; но, стремясь вознаградить интенсивностью чувства ограниченность поля, в котором чувство это находило свое выражение, он заставил маленькую лазурную щелочку, предназначенную для нас, лучиться такой живой приветливостью, что она далеко перешла пределы простой веселости и граничила с плутовством; дружественное отношение к нам он довел до потакающих подмигиваний, полуслов, намеков, условных знаков, понятных лишь соучастникам заговора; и, наконец, уверения в дружбе возвысил до засвидетельствования нежных чувств, до объяснения в любви, зажигая для нас одних томным пламенем, невидимым для шедшей рядом с ним дамы, влюбленный зрачок на ледяном лице.

Как раз накануне он просил моих родителей отпустить меня на сегодняшний вечер к нему обедать. «Приходите составить компанию вашему старому другу, — сказал он мне. — Подобно букету, присылаемому нам путешественником из страны, в которую мы никогда больше не вернемся, доставьте мне возможность вдохнуть из далекой страны вашей юности благоухание тех весенних цветов, среди которых и я когда-то ходил, много лет тому назад. Приходите с примулой, кашкой, лютиками; приходите с очитками, из которых составлены букеты — залоги любви — в бальзаковской флоре, приходите с цветами пасхального дня, маргаритками и снежными шапками калины, начинающей благоухать на аллеях сада вашей двоюродной бабушки, когда еще не растаял последний пасхальный снег. Приходите в роскошной шелковой одежде из лилий — убранстве, достойном Соломона, — и с многокрасочной эмалью анютиных глазок, но особенно с весенним ветерком, еще прохладным от последних заморозков, но приоткроющим для двух мотыльков, которые сегодня с утра ожидают на дворе, лепестки первой розы Иерусалима».

Дома возник вопрос, следует ли все же отпускать меня обедать к Леграндену. Но бабушка отказалась допустить мысль, что он мог быть неучтивым. «Ведь сами же вы признаёте, что он приходит в церковь совсем просто одетый; он едва ли производит впечатление человека светского». Она заявляла, что, во всяком случае, даже если допустить худшее, то есть что он намеренно сделал грубость, лучше показать вид, что мы не заметили ее. По правде говоря, даже отец, наиболее, однако, раздраженный поведением Леграндена, не был, пожалуй, вполне уверен в истинной его цели. Оно было подобно всякому жесту или поступку, в которых раскрываются самые глубокие свойства человеческого характера: эти поступки и жесты нисколько не связаны с предшествовавшими им словами, и мы не можем подкрепить своих подозрений показаниями виновного, так как он ни в чем не сознается; мы принуждены основываться на показаниях одних только наших чувств, и мы спрашиваем себя, перед лицом этого единичного и ни с чем не связанного воспоминания, не сделались ли наши чувства жертвой галлюцинации; в результате жесты такого рода, единственно только и раскрывающие нам подлинный характер человека, чаще всего оставляют нас в некотором сомнении.

Я обедал с Легранденом на террасе его дома; светила луна. «Тишина таит в себе какое-то очарование, не правда ли, — сказал он мне, — один романист, которого вы прочтете со временем, уверяет, будто для раненых сердец вроде моего нет другого лекарства, кроме тишины и тени. Видите ли, дитя мое, в жизни наступает пора, от которой вы еще очень далеки сейчас, пора, когда усталые глаза выносят один только свет, тот свет, что изготовляет для нас, дистиллируя его сквозь темноту, прекрасная ночь вроде сегодняшней, когда уши не слышат другой музыки, кроме той, что исполняет лунный свет на флейте тишины». Я слушал слова г-на Леграндена; как и все, что он говорил, они казались мне очень приятными; но я был взволнован воспоминанием об одной женщине, которую я недавно увидел в первый раз; теперь, когда я знал, что Легранден был в дружеских отношениях с несколькими аристократическими семьями, жившими в окрестностях, я подумал, что он, может быть, знаком и с нею; поэтому я набрался храбрости и спросил его: «Скажите мне, пожалуйста, не знакомы ли вы с владелицей… с владелицами Германта?» Произнося это имя, я с наслаждением чувствовал, что приобретаю своего рода власть над ним в силу одного только того факта, что извлекаю его из мира своих грез и наделяю объективным звучащим бытием. Но при звуке слова «Германт» я увидел, что посередине голубых глаз нашего друга появляется маленькая коричневая ямочка, словно их проколола невидимая булавка, в то время как остальная часть их зрачков стала излучать потоки лазури. Края его век потемнели и опустились. Губы его, на которых появилась было горькая складка, оправились первыми и улыбнулись, между тем как взгляд оставался скорбным, как взгляд красивого мученика, тело которого утыкано стрелами. «Нет, я не знаком с ними», — сказал он; но вместо того, чтобы произнести такое простое сообщение, такой ничуть для меня не удивительный ответ подобающим ему естественным и непринужденным тоном, он проговорил его с ударением на каждом слове, наклонившись вперед, покачивая головой, с настойчивостью, которую мы придаем неправдоподобным утверждениям, желая, чтобы нам поверили, — как если бы его незнакомство с Германтами могло быть следствием только какого-то исключительного стечения обстоятельств, — и в то же время с чрезмерной отчетливостью человека, который, будучи не способен молчать о тягостном для него положении, предпочитает во всеуслышание объявить о нем, чтобы убедить других в том, будто сделанное им признание нисколько его не смущает, но легко для него, приятно, добровольно, будто само это положение — в данном случае незнакомство с Германтами — вовсе не вынуждено обстоятельствами, но соответствует его собственным желаниям, есть следствие какой-нибудь семейной традиции, нравственных убеждений или таинственного обета, запрещающего ему бывать именно в обществе Германтов. «Нет, — продолжал он, давая объяснение интонации собственного голоса, — нет, я не знаком с ними, я никогда не хотел этого знакомства, я постоянно дорожил сохранением полной независимости; ведь в глубине души я якобинец, вы знаете. Многие приходили мне на выручку, говорили, что я делаю ошибку, не посещая Германта, что я произвожу впечатление невежи, невоспитанного человека, медведя. Но, право же, эта репутация не способна меня устрашить: ведь она в точности соответствует истине. В сущности, я люблю в мире только несколько церквей, две или три книги, немного большее количество картин, да еще сияние луны, когда ветерок вашей юности доносит до меня благоухание цветов, которых старые мои зрачки не различают больше». Я не понимал хорошенько, почему отказ от посещения людей, с которыми вы не знакомы, связан с сохранением вашей независимости и почему это может сообщить вам вид дикаря или медведя. Но я хорошо знал, что Легранден говорит неправду, утверждая, будто он не любит ничего, кроме церквей, сияния луны и молодости; он очень любил людей, живущих в замках, и, находясь в их обществе, так боялся чем-нибудь им не понравиться, что не решался показать им, что в числе его друзей есть буржуа, сыновья нотариусов или биржевых маклеров, предпочитая, если правде суждено обнаружиться, чтобы это случилось в его отсутствие, вдали от него, чтобы приговор был вынесен «заочно»: Легранден был сноб. Разумеется, он никогда не высказывал ничего этого на языке, который так любили мои родные и я сам. И если я спрашивал его: «Вы знакомы с Германтами?» — Легранден-собеседник отвечал: «Нет, я никогда не стремился к знакомству с ними». К несчастью, его ответ звучал неубедительно, ибо другой Легранден, которого он тщательно прятал в глубине себя, которого он не показывал, потому что тот Легранден знал о нашем Леграндене, о его снобизме, вещи, способные навсегда погубить его репутацию, — другой Легранден уже ответил взглядом раненой серны, деланной улыбкой, чрезмерной серьезностью тона своего ответа, тысячею стрел, которыми наш Легранден в одно мгновение был исколот и обессилен, как Святой Себастьян снобизма: «О, как больно делаете вы мне, нет, я не знаком с Германтами; не бередите раны всей моей жизни!» И хотя этот Легранден-проказник, Легранден-шантажист не обладал красноречием нашего Леграндена, зато у него был гораздо более непосредственный язык, складывающийся из того, что принято называть «рефлексами», так что в тот момент, когда Легранден-собеседник хотел принудить его к молчанию, он успевал уже высказаться, и тщетно наш друг сокрушался относительно дурного впечатления, которое должны были произвести разоблачения его двойника: он мог рассчитывать самое большее на его смягчение.

Отсюда вовсе не следует, что г-н Легранден был неискренен, когда ополчался против снобов. Он не мог знать, по крайней мере на основании самонаблюдения, что он тоже был снобом, потому что нам бывают известны только чужие страсти, и если случается узнать наши собственные, то лишь в той мере, в какой кто-нибудь другой нам их покажет. На нас самих они действуют лишь косвенным образом, при помощи нашего воображения, заменяющего первоначальные наши мотивы мотивами побочными, более благородными. Никогда снобизм Леграндена не побуждал его сделаться постоянным посетителем какой-нибудь герцогини. Он лишь заставлял воображение Леграндена украшать эту герцогиню всеми прелестями. Легранден подходил к герцогине в полной уверенности, что он поддается притягательной силе ее ума и других ее достоинств, которых никогда не в состоянии понять презренная порода снобов. Лишь другие снобы знали, что он был из их числа, ибо, лишенные возможности проникнуть в промежуточную работу его воображения, они видели непосредственно связанными друг с другом появление Леграндена в великосветских салонах и основной мотив, приводивший его туда.

Дома у нас не строили больше никаких иллюзий насчет г-на Леграндена, и наши встречи с ним стали довольно редкими. Мама очень смеялась каждый раз, когда накрывала его на месте преступления за совершением греха, в котором он не сознавался и продолжал называть грехом непростительным, — греха, имя которому было снобизм. Что касается отца, то он все не соглашался относиться к позам Леграндена с таким пренебрежением и такой легкостью; и когда у моих родных возникла однажды мысль отправить меня с бабушкой на летние каникулы в Бальбек, он сказал: «Я непременно должен сообщить Леграндену о вашем намерении ехать в Бальбек, чтобы посмотреть, не предложит ли он познакомить вас со своей сестрой. Он, вероятно, позабыл уже, как однажды сказал нам, что она живет в двух километрах оттуда». Бабушка, находившая, что во время морских купаний нужно оставаться с утра до вечера на пляже и дышать солью и что там не следует ни с кем заводить знакомства, так как визиты и прогулки отнимают слишком много времени, по праву принадлежащего морскому воздуху, напротив, просила отца не говорить о наших проектах Леграндену, ибо мысленно видела уже, как сестра его, г-жа де Камбремер, подъезжает к отелю как раз в тот момент, когда мы собираемся идти на тоню, и принуждает нас оставаться взаперти и принимать ее. Но мама смеялась над ее страхами, ибо думала про себя, что опасность вовсе не так велика и что Легранден не выкажет чрезмерной готовности познакомить нас со своей сестрой. Однако нам и не понадобилось заводить с ним разговор о Бальбеке, так как Легранден, не подозревая, что мы намереваемся отправиться в те места, сам попался в западню, когда мы встретили его однажды вечером на берегу Вивоны.

— Не правда ли, друг мой, сегодня вечером облака окрашены в прелестные фиолетовые и голубые тона, — обратился он к отцу, — в особенности этот голубой тон кажется скорее тоном цветов, чем тоном воздуха, голубой тон зольника, так поражающий нас на небе. А взгляните вон на то розовое облачко, ведь у него тоже окраска цветка, гвоздики или гортензии. Пожалуй, только на берегах Ла-Манша, между Нормандией и Бретанью, я был в состоянии делать более богатые наблюдения над тем, что можно назвать небесным растительным царством. Там, невдалеке от Бальбека, в этих столь диких еще местах, есть восхитительная спокойная бухточка, где солнечные закаты в Ожской долине, красновато-золотистые закаты (к которым, впрочем, я отношусь без всякого презрения) не характерны, незначительны, ибо в этом мягком и влажном воздухе на вечернем небе распускаются в несколько мгновений несравненные букеты из голубых и розовых цветов и часто остаются, не увядая, в течение нескольких часов. Но иногда они сразу же осыпаются, и тогда небо, сплошь усеянное бесчисленными желтоватыми или розовыми лепестками, кажется еще прекраснее. Золотистые песчаные берега этой бухты — она называется Опаловой — кажутся еще более прелестными оттого, что они прикованы, подобно белокурой Андромеде, к страшным соседним утесам, к мрачному морскому берегу, славящемуся многочисленными кораблекрушениями, у которого каждую зиму множество судов падает жертвой ярости океана. Бальбек! Самый древний геологический костяк нашей страны, в подлинном смысле слова Армор, Море, предел земли, проклятая область, так хорошо описанная Анатолем Франсом — волшебником, которого должен прочесть наш юный друг, — с ее вечными туманами, настоящая Киммерия из «Одиссеи». Бальбек; там уже строятся сейчас отели на древней славной почве, которую они не способны изменить; какое наслаждение предпринимать оттуда экскурсии в расположенные в двух шагах столь первобытные и столь прекрасные места.

— Да? И у вас есть знакомые в Бальбеке? — задал вдруг Леграндену вопрос мой отец. — Вот этот молодой человек как раз должен провести там два месяца со своей бабушкой, а может быть, также с моей женой.

Застигнутый врасплох этим вопросом в тот момент, когда взгляд его был устремлен на отца, Легранден не мог отвести его в сторону, но, сосредоточивая его все пристальнее и пристальнее — и печально при этом улыбаясь — на лице своего собеседника, с дружелюбным и открытым видом человека, не боящегося смотреть прямо в глаза, он, казалось, заметил в этот миг сквозь голову моего отца, словно она стала прозрачной, где-то далеко на горизонте ярко окрашенное облако, создавшее ему умственное alibi, позволявшее ему утверждать, что в момент, когда его спросили, знает ли он кого-нибудь в Бальбеке, он думал о чем-то другом и не слышал вопроса. Обыкновенно такие взгляды вызывают у собеседника вопрос «О чем это вы думаете?» Но отец настойчиво, раздраженно и жестоко повторил:

— У вас есть, значит, друзья в тех местах, если вы так хорошо знаете Бальбек?

В последнем отчаянном усилии улыбающийся взгляд Леграндена достиг предела нежности, неопределенности, искренности и рассеянности, но, поняв, несомненно, что ему не осталось сейчас ничего другого, как отвечать, он сказал нам:

— У меня есть друзья повсюду, где можно найти группы раненых, но не побежденных деревьев, собравшихся для того, чтобы с патетическим упрямством возносить совместную мольбу к суровому небу, не знающему к ним жалости.

— Не это я имел в виду, — прервал его отец, упрямый, как деревья, и безжалостный, как небо. — Я спросил, нет ли у вас там знакомых, чтобы моя теща, в случае если с ней приключится что-нибудь, могла чувствовать себя не совсем одинокой в этом глухом углу.

— Там, как и повсюду, я знаю всех и не знаю никого, — отвечал Легранден; которого совсем нелегко было принудить к сдаче, — множество вещей и очень мало лиц. Но вещи там кажутся тоже личностями, личностями редкими, с деликатной душой, которых жизнь обманула. Иногда это старинный замок, замечаемый вами на скале, у дороги, где он остановился, чтобы излить свою печаль еще розовому вечернему небу, на котором всходит золотая луна, в то время как возвращающиеся домой рыбачьи лодки, бороздя переливчатый атлас морской глади, поднимают на мачты вымпел и отличительные цвета; иногда это простой уединенный дом, скорее безобразный, с печатью робости на своей внешности, но романтичный, скрывающий от всех глаз какую-то негибнущую тайну счастья и разочарования. Эта фальшивая местность, — прибавил он с какой-то макиавеллневской тонкостью, — эта местность чистейшего вымысла — плохое чтение для мальчика, и, конечно, не ее я выбрал бы и рекомендовал для моего юного друга, уже столь склонного к грусти, для его предрасположенного к восприятию мрачных впечатлений сердца. Климаты, дышащие любовными тайнами и напрасными сожалениями, могут подходить для таких давно изверившихся в жизни людей, как я; они всегда вредны для еще не сложившихся характеров. Поверьте мне, — продолжал он с горячностью, — воды этой бухты, скорее бретонской, чем нормандской, возможно, и оказывают целебное действие, что, впрочем, можно оспаривать, на сердце, которое, подобно моему, уже повреждено, на сердце, раны которого неизлечимы. В вашем же возрасте, мой мальчик, они едва ли окажутся полезными… Спокойной ночи, соседи, — оборвал он вдруг свою речь, покидая нас с обычной для него внезапностью; затем, обернувшись с поднятым по-докторски пальцем, вынес заключительное суждение: — Никаких Бальбеков до пятидесяти, да и то в зависимости от состояния сердца, — прокричал он нам.

Отец снова заводил с ним речь о Бальбеке при наших последующих встречах, мучил его вопросами, но это был напрасный труд: подобно ученому мошеннику, затрачивающему на фабрикованье поддельных палимпсестов столько труда и знания, что сотой их части было бы достаточно для обеспечения ему более прибыльного, но более почтенного занятия, г-н Легранден, если бы мы продолжали настаивать на исполнении нашей просьбы, кончил бы тем, что построил бы нам целую систему этики пейзажа и небесную географию Нижней Нормандии, скорее, чем признался бы, что в двух километрах от Бальбека живет его родная сестра, и счел своею обязанностью дать нам рекомендательное письмо к ней, которое не было бы для него таким предметом ужаса, если бы он чувствовал абсолютную уверенность, — которую ему следовало бы, однако, чувствовать при его знании характера моей бабушки, — что ни при каких обстоятельствах мы им не воспользуемся.

* * *

Прогулки наши обыкновенно не затягивались, так как мы хотели успеть навестить до обеда тетю Леонию. В первые недели нашего пребывания в Комбре сумерки начинались рано, и нам виден был еще, когда мы поворачивали на улицу Сент-Эспри, отблеск заката на оконных стеклах нашего дома и пурпурная лента на рощах Кальварии, расцвечивавшая дальше поверхность пруда, — красное пламя, часто сопровождавшееся довольно ощутительным холодом и ассоциировавшееся в моем уме с красным пламенем огня, на котором жарился в это время цыпленок, суливший мне, вслед за только что полученным эстетическим удовольствием прогулки, удовольствие вкусной еды, тепла и отдыха. Летом же, когда мы возвращались, солнце еще не садилось; и во время нашего посещения тети Леонии уже низкие лучи его, проникнув через окно, задерживались ъ пространстве между раздвинутыми и подвязанными к стене гардинами, дробились, рассыпались, просеивались; затем, инкрустировав золотыми пятнышками лимонное дерево комода, наискось освещали комнату тем мягким светом, какой мы наблюдаем в лесу под ветвями густолиственных деревьев. Но в некоторые очень редкие дни, когда мы входили в тетину комнату, на комоде давно уже не было эфемерных инкрустаций; отблеск закатного солнца не играл больше на оконных стеклах, когда мы поворачивали на улицу Сент-Эспри, и пруд у подошвы Кальварии не румянился больше, поверхность его была уже опаловой, и длинный лунный луч пересекал всю ее, дробясь и сверкая на пробегавших по ней струйках. В такие дни, подходя к дому, мы различали на пороге двери чей-то силуэт, и мама говорила мне:

— Боже мой! Ведь это Франсуаза поджидает нас, твоя тетя, должно быть, беспокоится; это значит, что мы запоздали.

И, не теряя времени на раздеванье, мы торопливо поднимались к тете Леонии, чтобы успокоить ее и засвидетельствовать, что, вопреки всем ее страхам, с нами ничего не случилось: просто мы ходили «в сторону Германта», а когда предпринимаешь прогулку в этом направлении, то, как это отлично известно тете, никогда нельзя рассчитать время так, чтобы вернуться к назначенному часу.

— Ну, вот видите, Франсуаза, — говорила тетя, — ведь я же говорила вам, что они пошли в сторону Германта! Боже мой, они, должно быть, проголодались, как волки! А ваше жиго, наверное, все высохло, простоявши столько времени в духовке. Ну разве можно приходить так-поздно!.. Так, значит, вы ходили в сторону Германта!

— Право же, я думала, что вы знаете об этом, Леония, — отвечала мама. — Мне казалось, что Франсуаза видела, как мы выходили через садовую калитку.

В самом деле, в окрестностях Комбре было две «стороны» для прогулок; они были настолько противоположны, что мы выходили из дому через разные двери, смотря по тому, в какую сторону мы хотели идти: в сторону Мезеглиз-ла-Винез, которую мы называли также стороной Свана, так как, гуляя в этом направлении, мы проходили мимо усадьбы г-на Свана, или же в сторону Германта. Что касается Мезеглиз-ла-Винез, то, по правде говоря, я знал только дорогу, ведущую туда, и чужих людей, приходивших по воскресеньям прогуляться по Комбре, — людей, которых на этот раз никто из нас, даже сама тетя, «совсем не знал» и которые по этому признаку считались «людьми, пришедшими, должно быть, из Мезеглиза». Что касается Германта, то однажды я познакомился с ним поближе, но это случилось значительно позже; и если Мезеглиз в течение всей моей юности был для меня чем-то столь же недоступным, как горизонт, если он оставался скрытым от наших взоров, как бы далеко мы ни шли, складками местности, не похожей больше на местность, окружавшую Комбре, то Германт рисовался мне скорее идеальным, чем реальным пределом стороны, носившей его название, своего рода абстрактным географическим термином, подобно терминам «экватор», «полюс», «восток». В те времена попасть в Мезеглиз, взявши путь «в сторону Германта» или наоборот, мне показалось бы чем-то столь же неосуществимым, как попасть на запад, взявши путь на восток. Так как отец всегда говорил о местности в направлении к Мезеглизу как о самой красивой равнине, которую он когда-либо видел, и о местности в направлении к Германту как о типичном речном пейзаже, то я наделял их, представляя их таким образом в качестве двух сущностей, той связностью и тем единством, какие принадлежат только созданиям нашей мысли; малейшая частица каждой из них казалась мне драгоценной, блиставшей присущим им великолепием, между тем как пролегавшие рядом с ними, перед тем как мы вступали на священную почву той или другой, чисто материальные дороги, на определенном расстоянии которых они были расположены в виде идеальной равнинной перспективы и идеального речного пейзажа, так же мало заслуживали внимания с нашей стороны, как соседние с театром улички заслуживают такового со стороны восторженного энтузиаста драматического искусства. Но гораздо большим расстоянием, чем действительно существовавшее между ними расстояние в километрах, я отделял друг от друга участки моего мозга, — при помощи которых я о них думал; это мысленное расстояние принадлежало к числу тех, что с течением времени все увеличиваются, роют между вещами пропасть и размещают их в разных планах. И грань между ними сделалась еще более абсолютной вследствие того, что наше обыкновение никогда не ходить в один и тот же день, во время одной прогулки, в обе стороны, но один раз в сторону Мезеглиза, другой раз в сторону Германта, заключало их, так сказать, вдали друг от друга, за пределами взаимного кругозора, в наглухо закрытые и не сообщавшиеся между собой сосуды различных послеполуденных часов.

Собираясь отправиться в сторону Мезеглиза, мы выходили из дому (не очень рано, и даже не считаясь с тем, было ли небо облачным, так как прогулка предстояла непродолжительная и не заводила нас слишком далеко) через парадную дверь тетиного дома на улицу Сент-Эспри, как если бы мы шли все равно куда. Нам кланялся оружейник, мы опускали письма в ящик, передавали по пути Теодору от имени Франсуазы, что у нее вышло прованское масло или кофе, и выходили из города по дороге, тянувшейся вдоль белой ограды парка г-на Свана. Еще далеко от него нас приветствовал выходивший навстречу прохожим запах сирени. Сами же сиреневые кусты с любопытством высовывали над оградой парка окруженные маленькими зелеными сердцами свежих листьев султаны из лиловых или белых перьев, лоснившиеся, даже в тени, от солнечных лучей, в которых они выкупались. Некоторые из них, наполовину скрытые домиком с черепичной крышей, называвшимся Домом Стрелков, где жил сторож, увенчивали его готический щипец розовым минаретом своих цветов. Нимфы весны показались бы вульгарными рядом с этими юными гуриями, сохранявшими в французском саду живые и чистые тона персидских миниатюр. Несмотря на мое желание обвить руками их гибкую талию и привлечь к себе звездочки кудрей их благоуханных головок, мы проходили мимо не останавливаясь: после женитьбы Свана мои родные перестали посещать Тансонвиль; и чтобы не создавать впечатления, будто мы заглядываем в парк, мы не шли по дороге, тянувшейся вдоль ограды и поднимавшейся прямо в открытое поле, а избирали другой путь, тоже приводивший туда, но лишь после длинного обхода, заставлявшего нас забираться слишком далеко от дома. Однажды дедушка заметил отцу:

— Вы помните, Сван сказал вчера, что по случаю отъезда его жены и дочери в Реймс он хочет прокатиться на сутки в Париж. Мы могли бы пройти мимо парка: ведь дам теперь нет здесь; это очень сократит наш путь.

На несколько мгновений мы остановились подле ограды. Пора сирени приходила к концу; некоторые кусты изливали еще высокими лиловыми люстрами крохотные пузырьки своих цветов, но во многих частях листвы, где всего неделю назад волнами бушевала благоуханная пена, теперь увядала осевшая и потемневшая накипь, полая, сухая и лишенная запаха. Дедушка показывал отцу, в каких своих частях вид местности остался тем же и в каких частях он изменился со времени прогулки, совершенной им с г-ном Сваном в день смерти жены покойника; воспользовавшись случаем, он еще раз рассказал об этой прогулке.

Перед нами поднимались по направлению к дому ярко освещенная солнцем аллея, обсаженная настурциями. Направо, по ровному месту, раскинулся парк. Виден был затененный окружавшими его большими деревьями пруд, выкопанный родителями Свана; но даже в самых искусственных созданиях человека материал, над которым он работает, есть природа; иные места навсегда остаются окруженными символами своеобразной суверенной ее власти и водружают незапамятно древние ее атрибуты посреди разбитого человеком парка, как они делали бы это вдали от всякой человеческой культуры, в пустыне, которая всюду снова поглощает их, необходимо возникая из самого их расположения и накладываясь на произведение человеческого искусства. Таким именно образом в конце аллеи, спускавшейся к искусственному пруду, составился двухъярусный, сплетенный из незабудок и барвинка, изящный естественный голубой венок, обвивавший испещренную световыми бликами водную гладь; между тем как сабельник, с царской величавостью преклоняя мечи свой, простирал, над посконником и водяными лютиками, растрепанные фиолетовые и желтые лилейные цветы своего прудового скипетра.

Отсутствие м-ль Сван, которое — охраняя меня от страшной возможности увидеть ее появление на одной из дорожек, быть узнанным и презрительно отвергнутым этой девочкой, наслаждавшейся дружбой с Берготом и осматривавшей с ним старинные соборы, — лишало для меня интереса впервые мне доступный вид Тансонвиля, — в глазах дедушки и отца, напротив, казалось, сообщало усадьбе Свана какую-то особую зыбкую прелесть и — подобно совершенно безоблачному небу во время экскурсии в горы — делало этот день исключительно благоприятным для прогулки в сторону Мезеглиза; мне хотелось, чтобы их расчеты были опрокинуты, чтобы каким-нибудь чудом м-ль Сван появилась со своим отцом так близко от нас, что мы не успели бы незаметно скрыться и нам пришлось бы с нею познакомиться. Вот почему, когда я вдруг заметил знак ее возможного присутствия — забытую на траве корзинку и рядом с нею лесу, поплавок которой качался на поверхности пруда, — я приложил все усилия для отвлечения взглядов отца и дедушки в другую сторону. Впрочем, так как Сван сказал нам, что ему не следовало бы уезжать в этот день, ибо у него в доме гости, то лёса могла принадлежать также кому-нибудь из этих гостей. Однако ничьи шаги не раздавались на аллеях. Какая-то невидимая птица, спрятанная в листве одного из деревьев парка, в отчаянных попытках сократить бесконечно тянувшийся день, исследовала протяжной нотой обступавшую ее со всех сторон пустынность, но получала от нее такой единодушный отклик, такой мощный отпор тишины и неподвижности, что создавалось впечатление, будто птица эта навсегда остановила мгновение, которое пыталась заставить пройти скорее. Солнце так безжалостно лило свой свет с неподвижно застывшего неба, что хотелось укрыться в какое-нибудь недосягаемое для его лучей место, и даже уснувший пруд — сон которого непрестанно беспокоили насекомые, — грезивший, наверно, о каком-то фантастическом Мальстреме, увеличивал тревогу, в которую поверг меня вид пробкового поплавка, ибо у меня было впечатление, что сейчас он умчит его со страшной скоростью по безмолвным просторам отраженного в нем неба; поплавок этот, стоявший почти вертикально, казалось, вот-вот погрузится в воду, и я уже спрашивал себя, не следует ли мне, не считаясь с моим страстным желанием и страхом познакомиться с м-ль Сван, дать ей знать, что рыба клюет, но тут мне пришлось бегом догонять отца и дедушку, которые звали меня, удивленные, что я не пошел за ними по тропинке, поднимавшейся в гору, по направлению к полям, куда они уже повернули. Я нашел тропинку всю жужжавшей запахом боярышника. Изгородь похожа была на ряд часовен, совсем утопавших под грудами цветов, наваленных на их алтари; внизу, на земле, солнце рисовало световые квадратики, словно лучи его проникали через оконные стекла; от изгороди распространялось такое же густое, такое же ограниченное в пространстве благоухание, как если бы я стоял перед церковным алтарем, и цветы, такие же нарядные, держали каждый, с небрежным видом, блестящий букетик тычинок, — изящные лучистые стрелки «пламенеющего» стиля поздней готики, вроде тех, что украшают в церквах перила амвона или средники окон, но распускавшиеся здесь телесной белизною цветов земляники. Какими наивными и деревенскими покажутся по сравнению с ними цветы шиповника, которые через несколько недель тоже будут взбираться на солнцепеке по этой самой глухой тропинке, одетые в розовые блузки из лоснящегося шелка, расстегиваемые и срываемые малейшим дуновением ветерка.

Но напрасно я останавливался перед боярышником вдохнуть, поставить перед своим сознанием (не знавшим, что делать с ним), утратить, чтобы затем вновь найти, невидимый характерный запах его цветов, слиться с ритмом, разбрасывавшим эти цветы там и сям с юношеской легкостью на расстояниях столь неожиданных, как бывают неожиданны некоторые музыкальные интервалы, — цветы без конца изливали передо мной, с неистощимой расточительностью, все то же очарование, но не позволяли проникнуть в него глубже, подобно тем мелодиям, которые переигрываешь сто раз подряд, нисколько не приближаясь к заключенной в них тайне. На несколько мгновений я отворачивался от них, чтобы затем вновь подойти со свежими силами. Я следовал взором по откосу, круто поднимавшемуся за изгородью по направлению к полям, останавливался на каком-нибудь затерявшемся маке или на нескольких лениво задержавшихся васильках, там и сям декорировавших этот откос своими цветами, словно бордюр ковра, где слегка намечен сельский мотив, который будет торжествовать на самом панно; еще редкие, разбросанные подобно одиноким домам, возвещающим о приближении города, они являлись для меня предвестниками широкого простора, на котором волнами ходят хлеба и кудрявятся облака; и вид одинокого мака, взвивавшего на верхушку гибкого своего стебля трепавшийся на ветру красный вымпел над черным бакеном — жирной землей, — заставлял радостно биться мое сердце, как у путешественника, замечающего на низменной равнине первую потерпевшую аварию лодку, которую конопатит какой-нибудь рыбак, и восклицающего, еще прежде, чем он увидел полоску воды на горизонте: «Море!»

Затем я снова обращался к боярышнику, словно к тем шедеврам искусства, которые, как нам кажется, мы способны воспринять лучше, если на несколько мгновений отведем свой взгляд куда-нибудь в сторону; но напрасно приставлял я к глазам руки, чтобы в поле моего зрения не попадало ничего, кроме боярышника: пробуждаемое им во мне чувство оставалось темным и неопределенным, тщетно пытаясь освободиться, преодолеть отделявшее меня от цветов расстояние и слиться с ними. Они не помогали мне уяснить природу этого чувства, и я не мог обратиться к другим цветам для удовлетворения своего любопытства. И вот, — наполнив меня той радостью, какую мы ощущаем при виде неизвестного нам произведения любимого нами художника, непохожего на его другие произведения, или, лучше ещё, когда нам показывают картину, известную нам раньше только в форме карандашного эскиза, или же когда музыкальная пьеса, которую мы слышали только в исполнении на рояле, предстает перед нами в великолепном оркестровом наряде, — в этот миг дедушка подозвал меня и сказал, показывая на изгородь тансонвильского парка: «Ты так любишь боярышник; погляди же на этот куст с розовыми цветами — не правда ли, он красив?» В самом деле, этот куст розового боярышника был еще красивее, чем белые кусты. Он тоже был в праздничном наряде — том наряде, который надевают во время церковных праздников, единственно подлинных, потому что случайная прихоть не приурочивает их к дням, специально для них не предназначенным, не содержащим в себе ничего, по существу, праздничного, — но наряд его был еще более богатым, чем наряд остальных кустов, ибо цветы, лепившиеся по его ветвям, один над другим, так густо, что не было ни одного местечка, не украшенного ими, словно помпончики, обвивающие пастушьи посохи в стиле рококо, имели «окраску» и, следовательно, обладали более высоким качеством, согласно эстетике Комбре, если судить о ней по лестнице цен в «магазине» на площади или у Камю, где самыми дорогими бисквитами были розовые. Я сам выше ценил творог с розовыми сливками, то есть тот, что мне позволяли приправить мятыми ягодами земляники. Розовые цветы боярышника избрали именно окраску вкусной съедобной вещи или же трогательного украшения на туалете для большого праздника, одну из тех красок, которые, поскольку принцип их превосходства несложен, кажутся наиболее очевидно красивыми в глазах детей, и по этой причине всегда содержат для них нечто более живое и более естественное, чем другие краски, даже после того как дети поняли, что они не сулят им ничего вкусного и не были выбраны портнихой. И в самом деле, я сразу почувствовал, как чувствовал это при виде белого боярышника, но с большим восхищением, что праздничное настроение было передано цветами не искусственно, с помощью ухищрений человеческой изобретательности, но его выразила сама природа (с наивностью деревенской торговки, работающей над украшением уличного алтаря для какой-нибудь процессии), перегрузив куст этими слишком нежного тона розочками в стиле провинциального «помпадур». На концах ветвей, как мы можем наблюдать это на тех розовых деревцах в горшках, задрапированных бумажным кружевом, которые раскидывают тонкие свои веточки на престоле в дни больших праздников, тысячами сидели маленькие бутончики более бледной окраски; приоткрываясь, они позволяли видеть, словно на дне чаши из розового мрамора, кроваво-красные крапинки и еще больше, чем цветы, выдавали своеобразную, бесконечно притягательную сущность боярышника, которая всюду, где на нем распускались бутоны, где он начинал зацветать, могла быть только розовой. Являвшийся составной частью изгороди, но отличавшийся от нее так, как отличается молодая девушка в праздничном наряде от одетых по-будничному своих сестер, которые останутся дома, уже совсем готовый для майских служб, чьей необходимой принадлежностью он, казалось, был, так блистал, радостно улыбаясь, в свежем розовом своем наряде восхитительный католический кустарник.

Сквозь изгородь виднелась внутри парка аллея, обсаженная жасмином, анютиными глазками и вербеной, между которыми левкои раскрывали свежие свои розовые сумочки, пахучие и блеклые, как старая испанская кожа, между тем как на песке аллеи длинный рукав для поливки, выкрашенный в зеленый цвет, извиваясь своими кольцами, веером метал над цветами, из конца, усеянного крошечными отверстиями, жадно вдыхая их запах, вертикальный и призматический дождь многоцветных капелек. Вдруг я остановился и застыл словно изваяние, как это случается, когда появившийся перед нами предмет обращается не только к нашему зрению, но требует более глубокого восприятия и захватывает все наше существо. Подняв лицо, усеянное розовыми пятнышками, на нас смотрела белокурая рыжеватая девочка, казалось только что вернувшаяся с прогулки и державшая в руке маленький заступ. Ее черные глазки блестели, и так как я не умел тогда, и не научился никогда впоследствии, разлагать сильное впечатление на его объективные элементы, так как я не обладал, как говорится, достаточной наблюдательностью, чтобы составить себе отчетливое представление об их цвете, то в течение долгого времени, каждый раз, когда я о ней думал, в моем воспоминании блеск ее глаз тотчас вставал передо мной как ярко-лазурный, ибо она была блондинка; впечатление это было настолько сильно, что, если бы глаза ее не были такими черными — эта чернота наиболее поражала всякого, кто видел ее впервые, — я, может быть, не влюбился бы, как это случилось со мною, главным образом в ее воображаемые голубые глаза.

Сначала я смотрел на нее тем взглядом, в котором принимают участие не только глаза, но все чувства, застывшие в немом восторге, — взглядом, который хотел бы прикоснуться, завладеть, унести с собой пленившее его тело, а вместе с телом также и душу; затем — настолько я боялся, что каждую секунду дедушка и отец, заметив девочку, заставят меня оторваться от нее, прикажут идти впереди них, — взгляд мой бессознательно сделался умоляющим, старался принудить ее обратить на меня внимание, увидеть меня, познакомиться со мною! В это время девочка посмотрела в сторону отца и дедушки, как бы желая узнать, что это за люди, и мы, несомненно, произвели на нее неблагоприятное впечатление, потому что она отвернулась с равнодушным и презрительным видом и стала в таком положении, чтобы лицо ее оказалось вне поля их зрения; и в то время как, продолжая свой путь и не заметив ее, дедушка и отец обогнали меня, глаза ее блуждали в моем направлении, не меняя равнодушного выражения и не подавая вида, будто они заметили меня, но взгляд их был пристальным и светился какой-то замаскированной улыбкой, которую я не мог истолковать, на основании полученных мною понятий о хорошем воспитании, иначе как свидетельство величайшего презрения; и ее рука в это самое время описывала в воздухе непристойное движение, которому, когда оно бывает публично обращено к незнакомому лицу, маленький словарь правил приличия, запечатлевшийся в моем уме, давал единственное значение — значение намеренного оскорбления.

— Жильберта, пойдем; что ты делаешь, — крикнула резким и повелительным тоном дама в белом, которой раньше мне не случалось видеть, между тем как стоявший невдалеке от нее господин в полотняном костюме, тоже незнакомый мне, пристально смотрел на меня, выпуча глаза; улыбка девочки вдруг исчезла, она схватила свой заступ и удалилась, не оборачиваясь в мою сторону, с видом послушным, непроницаемым и лукавым.

Так прозвучало подле меня имя Жильберты, врученное мне словно талисман, позволявший мне, может быть, вновь найти когда-нибудь женщину, только что наделенную им определенной личностью, между тем как несколько мгновений тому назад она была лишь неясным образом. Так пронеслось оно над жасмином и левкоями, едкое и свежее, словно капельки, струившиеся из зеленого насоса; так пронеслось оно над садом, напитывая и окрашивая зону чистого воздуха, пройденную им — и обособленную от окружающего, — радужными цветами таинственной жизни той, которую называли так счастливые существа, жившие, гулявшие и путешествовавшие с нею, — обдавая меня, сквозь просвет в кустах розового боярышника, открывавшийся на уровне моего плеча, квинтэссенцией их коротких — для меня таких мучительных — отношений с нею, со всем неведомым для меня миром ее жизни, в который мне никогда не удастся проникнуть.

На миг (в то время как мы удалялись и дедушка бормотал: «Бедный Сван, какую роль они заставляют играть его: его сплавляют, чтобы она могла остаться наедине со своим Шарлюсом, ибо это Шарлюс, я узнал его! И этой малютке приходится присутствовать при всех их гадостях!») впечатление, оставленное во мне деспотическим тоном, которым мать Жильберты обратилась к ней, и она беспрекословно послушалась, — изображая мне ее как существо, вынужденное кому-то повиноваться, а не стоящее превыше всего в мире, — успокоило немного мои страдания, подало мне некоторую надежду и умерило мою любовь. Но очень скоро любовь эта вспыхнула во мне с новой силой, как реакция, при помощи которой мое униженное сердце пыталось подняться до уровня Жильберты или опустить ее до собственного уровня. Я любил ее; я сожалел, что у меня не было времени и не хватило находчивости оскорбить ее, сделать ей больно и заставить ее сохранить воспоминание обо мне. Я находил ее такой красивой, что страстно хотел вернуться и крикнуть ей, пожимая плечами: «Как вы безобразны, уродливы, как вы противны мне!» Однако я удалялся, навсегда унося с собой, — словно первый образ счастья, недоступного подобным мне детям в силу непреложных законов природы, — образ рыжеволосой девочки, с кожей, усеянной розовыми пятнышками, державшей в руке заступ и с улыбкой направлявшей на меня долгий, лукавый взгляд. И уже очарование, которым имя ее, подобно облаку фимиама, наполнило этот просвет в кустах розового боярышника, где я и она вместе услышали его, начало охватывать, покрывать, напоять благоуханием все, что окружало ее: ее дедушку и бабушку, с которыми имели такое несказанное счастье быть знакомыми мои собственные дедушка и бабушка, почетнейшую профессию биржевого маклера и даже меланхолический квартал Елисейских полей, где она жила в Париже.

— Леония, — сказал дедушка по возвращении с прогулки, — как мне хотелось, чтобы ты была сейчас вместе с нами. Ты не узнала бы Тансонвиля. Если бы я был посмелее, я срезал бы для тебя ветку розового боярышника, который ты когда-то так любила. — Дедушка рассказал всю нашу прогулку тете Леонии, желая развлечь ее или, может быть; питая некоторую надежду побудить ее встать с постели и начать выходить из дому. Ибо в прежние времена тетя очень любила эту усадьбу, и визиты Свана были последние, которые она соглашалась еще принимать, после того как дверь ее была уже закрыта для остальных ее знакомых. И тем же тоном, каким она приказывала ответить ему, когда он осведомлялся в настоящее время о ее здоровье (она была единственным лицом из живших в нашем доме, которое он хотел бы еще видеть), что сейчас она чувствует себя утомленной, но разрешит ему подняться к ней в следующий его визит, тетя сказала дедушке в тот вечер: «Да, когда-нибудь в хорошую погоду я прокачусь в экипаже до ворот парка». Она говорила это совершенно искренно. Ей очень хотелось снова увидеть Свана и Тансонвиль; но простое желание сделать это поглощало весь остаток ее сил, исполнение этого желания превысило бы их. Иногда хорошая погода наполняла ее некоторой бодростью, тетя вставала, одевалась; но не успевала она дойти до соседней комнаты, как уже снова чувствовала усталость и требовала, чтобы ее уложили в постель. Процесс, начинавшийся в ней — несколько раньше, чем он происходит обыкновенно во всех нас, — был процессом великого отречения старости, приготовляющейся к смерти, хоронящейся в свою куколку, — процессом, который можно наблюдать в жизни каждого, если она чрезмерно затянулась, даже у людей, долгие годы любивших друг друга самой страстной любовью, даже у друзей, соединенных узами самой преданной дружбы, когда, с наступлением известного года, они перестают совершать необходимую поездку или даже просто переходить улицу, чтобы повидаться друг с другом, перестают переписываться и знают, что между ними не будет больше общения в этом мире. Тетя, должно быть, прекрасно сознавала, что она не увидит больше Свана, что она никогда больше не покинет своего дома, но это пожизненное заточение она, казалось, принимала совершенно безропотно по тем самым причинам, которые, по нашему мнению, должны бы сделать его для нее более тягостным, именно: она была обречена на него ежедневно подмечаемым ею угасанием своих сил, которое, делая каждое ее движение, каждый жест утомительным, даже мучительным, сообщало в ее представлении бездействию, уединению, молчанию благословенную, укрепляющую и освежающую сладость покоя.

Тетя не поехала смотреть изгородь из розового боярышника, но я то и дело спрашивал своих родных, когда же она, наконец, поедет и часто ли она бывала раньше в Тансонвиле, стараясь таким образом заставить их говорить о родителях и о дедушке м-ль Сван, казавшихся мне великими как боги. Имя *Сван* стало для меня почти что мифологическим, и, разговаривая с родителями, я ощущал болезненную потребность услышать его из их уст; сам я не осмеливался произносить его, но постоянно заводил разговор на темы, близкие к Жильберте и ее семье, касавшиеся ее, во время обсуждения которых я не чувствовал себя отделенным от нее бесконечной пропастью; и я вдруг принуждал отца, — притворившись, например, будто считаю, что должность моего дедушки уже и раньше принадлежала членам моей вемьи или что изгородь из розового боярышника, которую хотела видеть тетя Леония, проходила по общественной земле, — исправить мои утверждения, сказать мне, как бы вопреки моей воле, по собственному желанию; «Нет, это неверно, эта должность принадлежала отцу Свана, эта изгородь составляет часть парка Свана». Тогда я бывал вынужден перевести дух: таким тяжелым грузом давило на то место, где оно навсегда было записано во мне, это имя, которое, когда я его слышал, казалось мне полновеснее всех других, ибо было уже отягчено моими бесчисленными мысленными повторениями его. Оно вызывало во мне удовольствие, которого я стеснялся просить у своих родных, ибо удовольствие это было так велико, что доставление его мне должно было требовать от них огромного труда, притом ничем не вознаграждавшегося, так как сами они его вовсе не испытывали. Поэтому из скромности я переводил разговор на другие темы. А также вследствие некоторого беспокойства совести. Дело в том, что я вновь находил в имени *Сван* все вкладываемые мною в него обольщения, едва только мои родные произносили его. Мне вдруг казалось тогда, что они не могут не испытать моего волнения, что они непременно должны стать на мою точку зрения, что в них тоже зарождаются мои мечтания, что они прощают их мне и даже прельщаются ими, и мне бывало не по себе, словно я их соблазнил и развратил.

В том году мои родные назначили день возвращения в Париж несколько раньше, чем обыкновенно! Перед отъездом меня решили свести к фотографу и по этому случаю с утра завили мне волосы, осторожно надели на меня шляпу, которой я еще не носил, и нарядили в бархатное пальто. Спустя несколько времени по окончании моего туалета мать моя, после безуспешных поисков во всех уголках нашего сада, нашла меня на упомянутом выше крутом пригорке, подле ограды тансонвильского парка, где я в слезах прощался с боярышником, заключив в объятия колючие ветки, и — подобно принцессе из трагедии, отягченной ненужными драгоценностями, — без всякой признательности к докучной руке, собравшей мне на лоб, в заботливо выведенных колечках, все мои волосы, топтал сорванные с головы папильотки и свою новую шляпу. Мама нисколько не была тронута моими слезами, но не могла удержаться от крика при виде растрепавшейся прически и изорванного пальто. Но я не слышал ее. «О мои бедные цветочки, — с плачем говорил я, — это не вы хотите доставить мне огорчение, не вы принуждаете меня разлучиться с вами! Вы, вы никогда, никогда не причиняли мне неприятностей! И я всегда буду любить вас». И, вытирая слезы, я обещал им, когда вырасту большой, не подражать безрассудному поведению других людей и, даже живя в Париже, вместо хождений с визитами и выслушивания глупой болтовни, ездить весною в деревню взглянуть на первые цветы боярышника.

Выйдя в поля, мы уже не расставались с ними в течение всей прогулки в сторону Мезеглиза. По ним непрестанно пробегал невидимым бродягой ветер, казавшийся мне добрым гением Комбре. Каждый год в день нашего приезда, желая убедиться, что я действительно нахожусь в Комбре, я взбирался на пригорок снова ощутить, как он надувал мой плащ и подгонял меня в направлении своего движения. Ветер всегда бывал попутным, когда я ходил в сторону Мезеглиза, по этой возвышенной равнине, где на протяжении многих лье ничто не нарушает спокойной гладкости почвы. Я знал, что м-ль Сван часто ездила на несколько дней в Лан, и, хотя до этого города было довольно далеко, расстояние сокращалось вследствие отсутствия всяких помех на пути; поэтому когда в жаркие послеполуденные часы я видел, как дуновение ветерка, рождавшегося где-то на самом горизонте, пригибает к земле колосившиеся хлеба на далеких полях, волной разливается по всей необъятной равнине и, обдавая теплом, с мягким шелестом ложится у моих ног, между эспарцетом и клевером, то эта общая для нас обоих равнина, казалось, сближала нас, соединяла, — мне представлялось, что этот ветерок пронесся мимо нее, что он был весточкой от нее, что он нашептывает мне что-то, чего я не мог понять; я ловил и целовал его на лету. Слева была деревня, называвшаяся Шампье (Campus Pagani, по объяснению кюре). Справа, за хлебами, виднелись два узорчатых купола деревенской церкви Сент-Андре-де-Шан, конические, чешуйчатые, ячейчатые, в косых квадратиках, буро-желтые и шероховатые, словно два колоса.

На фоне неподражаемого орнамента своих листьев, которые невозможно смешать с листьями какого-нибудь другого фруктового дерева, яблони в симметрическом порядке раскрывали широкие белые атласные лепестки или подвешивали робкие букетики бледно-розовых бутонов. Во время прогулок в сторону Мезеглиза я впервые обратил внимание на круглую тень, отбрасываемую яблонями на освещенную солнцем землю, а также на те неосязаемые золотистые шелковые нити, что наискось прядет под их листвою закатное солнце; я видел, как отец разрывал их своею палкой, но они по-прежнему оставались прямыми и неподвижными.

Иногда по полуденному небу украдкой, скромно, словно облачко, скользила белая луна, подобно актрисе в невыходной ее час, когда она в обыкновенном своем платье зашла на минутку в зрительный зал взглянуть на своих товарищей, замешавшись среди публики, так, чтобы не привлекать к себе внимание. Я любил находить ее изображение на картинах и в книгах, но эти произведения искусства — по крайней мере, в ранней моей юности, до той поры как Блок приучил мои глаза и мой ум к более утонченным гармониям, — были очень отличны от тех, где луна показалась бы мне красивой в настоящее время, но где я тогда не узнал бы ее. Тогда это были какой-нибудь роман Сентина, какой-нибудь пейзаж Глера, где она четко обрисовывается на небе в виде серебряного серпа, — одно из тех безыскусственных и несовершенных, подобно моим собственным тогдашним впечатлениям, произведений, увлечение которыми очень возмущало сестер моей бабушки. Они полагали, что детей следует окружать только такими произведениями, на которых лучше всего воспитывается хороший вкус и которые они будут продолжать ценить и по достижении зрелого возраста. Эти старые девы, вероятно, представляли себе эстетические ценности наподобие материальных предметов, которых зрячему нельзя не увидеть и для восприятия которых вовсе не нужно медленно вынашивать в собственном сердце эквивалентные способности.

По пути в Мезеглиз, в Монжувене, на берегу большого пруда, примыкая к крутому откосу, заросшему кустарником, стоял дом, в котором жил г-н Вентейль. Поэтому мы часто встречали по дороге его дочь, правившую лошадью в быстро катившей одноколке. Уже несколько лет мы неизменно видели ее в обществе подруги постарше ее, пользовавшейся в наших местах дурной репутацией и с недавнего времени окончательно поселившейся в Монжувене. Кругом говорили: «Должно быть, этот бедный г-н Вентейль совсем ослеплен любовью, если он не придает значения слухам и позволяет своей дочери, приходящей в ужас от каждого иносказательного выражения, водить знакомство и жить под одной крышей с подобной женщиной. Он утверждает, что это особа выдающаяся, что у нее золотое сердце и что она стала бы замечательной пианисткой, если бы развивала свои способности. Он может быть уверен, что не музыкой она занимается с его дочерью». Но г-н Вентейль уверял, что это так; замечательная вещь: всякое лицо, состоящее в физическом общении с другим лицом, неизменно восхищает своими нравственными качествами родственников последнего. Физическая любовь, столь несправедливо ославленная, заставляет ее жертву обнаруживать в каждом самом незначительном своем жесте такую доброту, такое полное пренебрежение эгоистическими интересами, что эти качества не могут остаться незамеченными со стороны лиц, входящих с ней в соприкосновение. Доктор Перспье, которому зычный голос и густые брови позволяли сколько угодно играть роль двурушника, так не соответствовавшую его наружности, нисколько не колебля его прочно установившейся и совершенно незаслуженной репутации добродушного медведя, умел рассмешить до слез кюре и всякого другого обывателя Комбре, грубовато заявляя: «Вы слышали? Оказывается, она занимается музыкой со своей подругой, м-ль Вентейль! Это вас удивляет? О, я ничего не знаю, ровнехонько ничего! Сам папаша Вентейль сказал мне это вчера. В конце концов, она имеет полное право любить музыку, эта девушка. Никогда бы я не стал препятствовать развитию артистических способностей молодежи; Вентейль, по-видимому, тоже. К тому же он сам занимается музыкой с подругой своей дочери. Да, черт возьми, настоящее музыкальное заведение этот дом! Чего вы смеетесь? Я говорю только, что эти люди чересчур усиленно занимаются музыкой. На днях я встретил папашу Вентейля возле кладбища. Он едва держался на ногах».

Всякому, кто, подобно нам, видел в это время, что г-н Вентейль избегает встреч со своими знакомыми, а заметив их, отворачивается, что за последние несколько месяцев он совсем постарел, весь ушел в свое горе и утратил способность ко всякому усилию, не направленному непосредственно на доставление счастья дочери, что целые дни напролет он проводит на могиле своей жены, — трудно было бы не понять, что он чахнет от горя, трудно было бы предположить, что он не обращает никакого внимания на ходившие кругом слухи. Он знал их, может быть даже верил им. Вероятно, нет человека, как бы ни были высоки его нравственные качества, которого роковое стечение обстоятельств не могло бы в один прекрасный день поставить в непосредственное соприкосновение с наиболее осуждаемым им пороком, — хотя он сразу и не узнает этот порок под маской, надеваемой им, чтобы легче войти к нему в доверие и причинить затем страдание: однажды вечером странные слова, необъяснимое поведение существа, любить которое у нас тысяча причин. Но для человека, подобного г-ну Вентейлю, должно быть, было особенно мучительно мириться с одним из тех положений, которые неправильно считаются исключительным уделом мира богемы: они создаются каждый раз, когда какой-нибудь порок испытывает потребность обеспечить необходимое для своего развития поле и безопасность, порок, заложенный в ребенке самой природой, иногда путем простого смешения положительных качеств отца и матери, вроде того, как она смешивает цвет их глаз. Но из того, что г-н Вентейль знал, может быть, о поведении своей дочери, не следует, что его обожание ее сколько-нибудь уменьшилось. Факты не способны проникнуть в область, где живут наши верования; не они создали эти верования, не они их и разрушают; они могут на каждом шагу изобличать их несостоятельность, нисколько их не подрывая при этом: целая лавина несчастий или болезней, непрерывно обрушивающихся на какую-нибудь семью, не заставит ее усомниться в благости ее Бога или в таланте ее врача. Но когда г-н Вентейль смотрел на свою дочь и на самого себя с точки зрения окружающих, с точки зрения своей репутации, когда он пытался поместить себя вместе с нею на ступеньку, которую они занимали в глазах общественного мнения, то он произносил над собой приговор, он осуждал себя с дочерью совершенно так же, как это сделал бы любой из наиболее враждебно настроенных к нему обывателей Комбре, он видел себя погрузившимся вместе с дочерью на самое «дно», и его манеры приобрели вследствие этого ту униженность, ту почтительность по отношению к лицам, стоявшим на общественной лестнице выше его, так что ему приходилось смотреть на них снизу вверх (хотя бы раньше они помещались значительно ниже его), — ту тенденцию всеми средствами пытаться вновь подняться до них, которая является почти механическим следствием всякого жизненного крушения. Однажды, проходя вместе со Сваном по улице в Комбре, мы встретили г-на Вентейля, который, показавшись из-за угла, так внезапно столкнулся лицом к лицу с нами, что не успел отойти в сторону; тут Сван, — с почти вызывающей участливостью светского человека, отказавшегося от всех моральных предрассудков и находящего в бесчестии другого только лишний повод проявить к нему благожелательность, внешние знаки которой в тем большей степени щекочут самолюбие лица, выказывающего их, что оно чувствует, насколько они драгоценны для того, к кому они обращены, — завел длинный разговор с г-ном Вентейлем, между тем как до сих пор не обращался к нему ни с одним словом, и, перед тем как расстаться с нами, попросил его прислать как-нибудь свою дочь в Тансонвиль, чтобы она там поиграла. Такое приглашение, будь оно сделано два года тому назад, привело бы в негодование г-на Вентейля, но теперь оно наполнило его чувством такой огромной признательности, что, из скромности, он счел своим долгом отказаться. Любезность Свана по отношению к его дочери казалась ему сама по себе такой благородной и драгоценной поддержкой, что он решил: пожалуй, лучше будет не воспользоваться ею и испытать чисто платоническое удовлетворение, сохранив ее в своем сердце.

— Какой обаятельный человек! — сказал он нам, после того как Сван покинул нас, с тем восторженным благоговением, какое испытывают умные и красивые женщины среднего класса по отношению к герцогине, хотя бы даже безобразной и глупой. — Какой обаятельный человек! Как жаль, что ему пришлось вступить в этот столь неудачный брак.

После этого — так склонны бывают к лицемерию самые искренние люди: разговаривая с кем-нибудь из знакомых, они глубоко прячут свое мнение о нем, но не успевает он отойти от них, как тотчас же громко его высказывают, — мои родные присоединились к сожалениям г-на Вентейля по поводу женитьбы Свана во имя принципов и условностей, которые, как это казалось собеседникам чем-то само собою разумеющимся (именно потому, что они одинаково разделялись и моими родственниками и г-ном Вентейлем, как порядочными людьми одного и того же круга), нисколько не нарушались в Монжувене. Г-н Вентейль не послал своей дочери к Свану, и тот первый пожалел об этом. Ибо каждый раз, расставаясь с г-ном Вентейлем, Сван вспоминал, что давно уже собирается спросить у него относительно одного лица, носившего фамилию Вентейль, одного из родственников композитора, как предполагал Сван. И он твердо решил не забыть обратиться к г-ну Вентейлю с этим вопросом, когда тот придет к нему с дочерью в Тансонвиль.

Так как прогулка в сторону Мезеглиза была более короткой, по сравнению с другой нашей прогулкой в окрестностях Комбре, и ее предпринимали поэтому во время неустойчивой погоды, то климат местности, лежавшей по направлению к Мезеглизу, был довольно дождливым, и мы никогда не теряли из виду опушки руссенвильских рощ, под густой сенью которых можно было укрыться в случае надобности.

Часто солнце скрывалось за облаком, искажавшим его форму, и золотило края облака. Оставаясь освещенным, пейзаж терял тогда свой блеск, и в нем, казалось, приостанавливалась всякая жизнь, между тем как деревушка Руссенвиль с убийственной четкостью и законченностью лепила на фоне неба рельеф белых гребешков своих крыш. Порыв ветра сдувал с дерева ворона, пропадавшего где-то в пространстве, а далекие леса на белесоватом небе казались темно-синими, как на тех одноцветных картинах, что украшают простенки старых домов.

В другие же дни начинал накрапывать дождь, о котором предупреждал нас выставленный в витрине у оптика капуцин. Водяные капли, подобно перелетным птицам, пускающимся в путь всей стаей одновременно, падали с неба плотно сомкнутыми рядами. Они не отделяются друг от дружки, не движутся как попало в своем быстром беге, но каждая, держась своего места, привлекает к себе следующую за нею каплю, и небо сильнее затемняется ими, чем стаей отлетающих ласточек. Мы укрывались под деревьями. Когда перелет капель казался уже оконченным, некоторые из них, более хилые, более медлительные, все еще продолжали падать. Но мы выходили из нашего убежища, ибо дождь шел теперь с ветвей деревьев: в то время как земля была уже почти сухая, многие капельки задерживались на поверхности листьев и, спокойно повисев на солнце несколько мгновений, вдруг скатывались и с самой верхушки дерева падали нам прямо на нос.

Часто также нам случалось укрываться вместе с каменными святыми и патриархами на паперти Сент-Андре-де-Шан. Какой французской была эта церковь! Над дверью святые, короли-рыцари с лилией в руке, сцены свадеб и похорон были изображены так, как они могли рисоваться в сознании Франсуазы. Скульптор рассказал также несколько анекдотов об Аристотеле и Вергилии совсем в том духе, в каком Франсуаза охотно говорила на кухне о Людовике Святом, словно она лично знала его, обыкновенно для того, чтобы пристыдить, путем сравнения, моих бабушку и дедушку, которые, по ее мнению, были менее «справедливы». Чувствовалось, что представления средневекового художника и средневековой крестьянки (уцелевшей в неприкосновенности в XIX веке) о древней или христианской истории — представления весьма простодушные и не отличавшиеся точностью — и тот и другая заимствовали не из книг, но из предания — древнего и прямого, непрерывного, устного, искаженного, неузнаваемого и живого. Другим комбрейским персонажем, которого я тоже узнавал типически изображенным на готических скульптурах Сент-Андре-де-Шан, был юный Теодор, мальчик из лавки Камю. И в самом деле, Франсуаза так хорошо чувствовала в нем родную почву и современника, что, когда тетя Леония тяжело заболевала и Франсуаза не могла без чужой помощи поворачивать ее на постели или переносить в кресло, она предпочитала посылать за Теодором, лишь бы только не позволить судомойке подняться наверх и, чего доброго, «произвести впечатление» на тетю. И этот малый, о котором в городе — вполне основательно — ходила дурная слава, до такой степени преисполнен был духом, украсившим паперть Сент-Андре-де-Шан, и в частности почтительными чувствами, с точки зрения Франсуазы обязательными по отношению к «бедным больным» и прежде всего, конечно, к «ее бедной барыне», что когда он приподнимал над подушкой тетину голову, лицо его принимало то выражение простодушия и усердия, какое мы могли наблюдать на барельефах у ангелочков, со свечками в руках теснившихся у смертного ложа Богоматери, как если бы эти высеченные из камня лица, серые и голые, точно деревья зимою, были, подобно деревьям, лишь временно погружены в сон; лишь накопляли силы, чтобы вновь зацвести Жизнью в бесчисленных крестьянских лицах, набожных и хитрых, как лицо Теодора, раскрашенных румянцем зрелого яблока. Там высилась также, не наложенная на камень, подобно этим ангелочкам, но несколько отделенная от паперти, ростом больше человека, стоявшая на постаменте, словно на табурете, чтобы не замочить ног о сырую почву, какая-то святая с полными щеками, упругой грудью, надувавшей платье, как гроздь спелого винограда в мешке, с низким лбом, с коротким и упрямым носом, с глубоко сидевшими глазами, с здоровым, грубоватым и мужественным выражением крестьянки здешних мест. Это сходство, сообщавшее статуе мягкость, которой я не искал в ней, часто подтверждалось какой-нибудь девушкой с соседних полей, подобно нам пришедшей на паперть укрыться от дождя; эта девушка, словно листья ползучего растения, обвившегося вокруг листьев, высеченных из камня, как будто самой судьбой предназначалась для того, чтобы мы могли, путем сопоставления с природой, судить о правдивости художественного произведения. Перед нами, в отдалении — земля обетованная или проклятая — Руссенвиль, в стены которого мне никогда не случалось проникать, Руссенвиль, когда дождь уже прекратился для нас, либо продолжал, словно библейский город, подвергаться каре, насылаемой на него в виде грозовых стрел, косым потоком хлеставших дома его обитателей, либо получал уже прощение от Вседержителя, освещавшего его бахромой позлащенных лучей неравной длины — вроде тех, что нимбом окружают напрестольную дарохранительницу, — вновь заблиставшего на небе солнца.

Иногда погода вконец портилась, нам приходилось возвращаться и сидеть дома взаперти. Вдали, посреди равнины, которую надвинувшаяся темнота и насыщенный влагой воздух делали похожей на море, одинокие дома, прилепившиеся к склону холма, погруженного во мрак и потоки дождя, блестели там и сям, словно кораблики, свернувшие паруса и на всю ночь ставшие на якорь в открытом море; но какая важность, что шел дождь, что бушевала гроза! Летом ненастье есть лишь мимолетное и поверхностное дурное настроение глубже лежащей устойчивой хорошей погоды, совершенно отличной от неустойчивой и текучей хорошей погоды зимой и даже прямо ей противоположной: утвердившись и упрочившись на земле в форме густой листвы, на которую дождь может литься потоками, нисколько не портя ее неизменно радостного настроения, разве не выбросила она на несколько месяцев на городских улицах, на стенах домов и на садовых оградах шелковые свои фиолетовые или белые флаги? Сидя в маленькой гостиной за книгой в ожидании обеда, я слышал, как лились потоки с наших каштанов, но я знал, что ливень лишь полирует их листья и что они останутся там, как залоги лета, в течение всей дождливой ночи, чтобы гарантировать непрерывность хорошей погоды; дождь мог идти сколько угодно, — все равно над белой оградой Тансонвиля завтра будут волноваться те же бесчисленные листочки в форме сердца; без малейшего огорчения видел я, как тополь на улице Першан молит грозу о пощаде, с отчаянием отвешивая ей поклоны; без малейшего огорчения слышал я в глубине сада последние раскаты грома, грохотавшего в кустах сирени. Если погода с утра бывала ненастной, то мои родные отказывались от прогулки, и я не выходил из дому. Но впоследствии я усвоил привычку ходить в такие дни один в сторону Мезеглиз-ла-Винез, той осенью, когда нам пришлось приехать в Комбре, чтобы уладить вопрос о наследстве, оставленном тетей Леонией, ибо она наконец умерла, доставив торжество и тем своим соседям, которые утверждали, что образ ее жизни расшатывает ее здоровье и в заключение совсем убьет ее, но не в меньшей степени также и тем, кто всегда были убеждены, что она больна не воображаемой, "о самой настоящей болезнью, очевидность которой теперь, когда она умерла от этой болезни, должны признать самые отъявленные скептики; умерла, не причинив своей смертью большого горя никому, за исключением одного лица, но зато горе этого лица не поддавалось описанию, лечение двух недель смертельной болезни тети Франсуаза не покидала ее ни на одно мгновение, не раздевалась, никому не позволяла подходить к тете и не разлучалась с ее телом вплоть до минуты, когда его опустили в землю. Тогда только мы поняли, что тот постоянный страх, в котором жила Франсуаза, страх неприязненных слов, подозрений и гнева тети, прикрывал собою чувство, принимавшееся нами за ненависть, но на самом деле являвшееся благоговением и любовью. Ее подлинной госпожи, чьи решения невозможно было предвидеть, чьи козни трудно было разрушить, чье доброе сердце легко было умилостивить, ее царицы, ее загадочной и всемогущей повелительницы больше не было. Рядом с тетей все мы стоили в ее глазах очень мало. Давно прошло то время, когда, приезжая на каникулы в Комбре, мы обладали у Франсуазы таким же обаянием, как и тетя. В ту осень, с утра до вечера занятые выполнением необходимых формальностей, переговорами с нотариусами и фермерами, мои родные почти не имели времени для прогулок, которым к тому же не благоприятствовала погода; поэтому они стали отпускать меня одного гулять в сторону Мезеглиза, закутывая, для защиты от дождя, в большой плед, который я с тем большей охотой набрасывал себе на плечи, что чувствовал, насколько шотландские его клеточки оскорбляют Франсуазу, не способную вместить в своем уме мысль, что цвет платья человека не стоит ни в какой связи с его чувствами; она вообще находила нашу скорбь по поводу тетиной смерти совершенно недостаточной, потому что мы не устроили большого званого обеда после ее похорон, нисколько не меняли тона голоса, говоря о ней, и я иногда даже напевал. Я уверен, что в книге — в этом отношении чувства мои совершенно совпадали с чувствами Франсуазы — такое представление о трауре в духе «Песни о Роланде» и скульптуры на паперти Сент-Андре-де-Шан показалось бы мне весьма привлекательным. Но как только Франсуаза подходила ко мне, так тотчас какой-то злой дух подстрекал меня рассердить ее, — я пользовался малейшим предлогом сказать ей, что я оплакиваю кончину тети, потому что, несмотря на все свои смешные странности, она была добрым человеком, а вовсе не потому, что она была моей тетей; она отлично могла бы быть моей тетей и в то же время быть мне ненавистной, так что ее смерть не причинила бы мне никакого горя, — утверждение, которое, прочитай я его в книге, показалось бы мне нелепостью.

Если в таких случаях Франсуаза, наполненная, подобно поэту, потоком неясных мыслей по поводу смерти, горя, семейных воспоминаний, извинялась, что не может опровергнуть мои теории, говоря: «Я не умею в_ы_р_а_ж_а_т_ь_с_я», — я торжествовал, услышав это признание, с ироническим и грубоватым видом, достойным доктора Перспье; и если она прибавляла: «Все же она была ваша р_о_д_и_т_е_л_ь_н_и_ц_а, всегда нужно относиться с уважением к р_о_д_и_т_е_л_ь_н_и_ц_а_м», то я пожимал плечами и говорил: «Я не могу тратить время на спор с безграмотной старухой, не умеющей правильно говорить на своем родном языке», — становясь для осуждения Франсуазы на узкую и мелочную точку зрения педантов, роль которых очень способны разыгрывать даже люди, относящиеся к ним с величайшим презрением при беспристрастной оценке их поступков, когда этим людям приходится выступать на подмостках заурядной повседневной жизни.

Мои прогулки в ту осень были тем более приятны мне, что я совершал их после долгих часов, проведенных над книгой. Уставши читать целое утро в комнатах, я накидывал на плечи плед и выходил из дому; тело мое, вынужденное в течение долгого времени хранить неподвижность, накопляло огромный запас жизненной энергии и ощущало потребность, подобно пущенному волчку, расходовать ее во всех направлениях. Стены домов, изгородь тансонвильского парка, деревья руссенвильского леса, покрытый кустарником холм подле Монжувена получали удары зонтиком или палкой, слышали радостные возгласы: и те и другие были лишь видимым выражением смутных представлений, наполнявших меня радостным возбуждением; не достигнув еще полного своего развития, состояния покоя в свете разума, они предпочитали медленной и трудной работе логического прояснения легче достающееся удовольствие непосредственного и немедленного выхода наружу. В большинстве случаев кажущееся истолкование наших переживаний является не более чем чисто внешним освобождением нас от них, выходом их наружу в неотчетливой форме, нисколько не помогающей нам познать их. Пытаясь отдать себе отчет, чем я обязан прогулкам в сторону Мезеглиза, сознать маленькие открытия, непосредственно вдохновленные ими или же такие, для которых они являлись только случайной рамкой, я припоминаю, что именно в ту осень, во время одной из таких прогулок, возле поросшего кустарником крутого откоса, прикрывавшего Монжувен, меня впервые поразило это несоответствие между нашими впечатлениями и привычным их выражением. Однажды, после целого часа энергичной борьбы с дождем и ветром, я вышел к стоявшей на берегу монжувенского пруда избушке, крытой черепицей, в которой садовник г-на Вентейля держал свой инструмент; в этот миг вновь выглянуло солнце, и золотые лучи его, вымытые проливным дождем, снова засияли на небе, на деревьях, на стене избушки, на ее еще мокрой черепичной крыше, по гребню которой прохаживалась курица. Ветер пригибал книзу пробивавшуюся к стене сорную траву и раздувал перья на курице, причем и трава и перья отдавались на волю ветра до самого своего основания, словно неживые инертные вещи. Черепичная крыша рисовала на поверхности пруда, снова ставшей зеркальной под солнечными лучами, полоску розового мрамора, до сих пор никогда еще не привлекавшую моего внимания. Увидя, как отраженная в воде стена отвечает бледной улыбкой улыбнувшемуся небу, я закричал в диком восторге, размахивая сложенным зонтиком: «Во, во, во, во!» Но в то же время я почувствовал, что мне нельзя ограничиваться этими бессмысленными словами, а надо постараться глубже исследовать причины моего восторга.

И в этот миг — благодаря проходившему мимо крестьянину с довольно мрачным выражением лица, которое еще больше помрачнело, когда я чуть не угодил в него зонтиком, так что он совсем нелюбезно ответил мне на мое замечание: «Прекрасная погода, не правда ли? Приятно в такой денек прогуляться», — я понял также, что одни и те же эмоции не возникают у людей одновременно в предустановленном порядке. Впоследствии, каждый раз когда слишком продолжительное чтение вызывало у меня желание поговорить, товарищ, к которому я обращался, как раз в эту минуту кончал приятную болтовню и хотел только, чтобы ему дали спокойно почитать. И если я исполнялся нежных мыслей по отношению к своим родным, если я принимал самые благоразумные решения, наиболее способные доставить им удовольствие, то как раз в это самое время они узнавали о каком-нибудь уже позабытом мною грешке и начинали сурово меня отчитывать, когда я бросался к ним в объятия, чтобы расцеловать их.

Иногда к радостному возбуждению, вызванному одиночеством, присоединялось другое сильное чувство, так что я не знал, которому из них следует отдать предпочтение, — чувство, рожденное желанием увидеть перед собой крестьянскую девушку, которую я мог бы сжать в своих объятиях. И сопровождавшее его наслаждение возникало столь внезапно, что я не успевав точно определить его причину в потоке самых разнообразных мыслей, и оно казалось мне лишь апогеем наслаждения, доставленного этими мыслями. Я находил лишнюю прелесть во всем, что было в этот момент в моем сознании: в розовом отражении черепичной крыши, в сорной траве, росшей на стене избушки, в деревне Руссенвиль, куда давно уже мне хотелось пойти, в деревьях руссенвильского леса, в колокольне руссенвильской церкви, — благодаря неизвестному мне раньше волнению, делавшему появление этих представлений более желанным лишь потому, что именно их я считал его виновниками; мне казалось, что мое волнение только и стремится к тому, чтобы как можно скорее перенести меня к ним, надувая мои паруса неведомым мне мощным попутным ветром. Но если это желание появления женщины прибавляло в моих глазах к прелестям природы еще более пьянящее очарование, то прелести природы, в свою очередь, расширяли и углубляли слишком ограниченное по своему содержанию очарование женщины. Мне казалось, что красота деревьев была также и ее красотой и что ее поцелуй раскроет передо мной душу этих горизонтов, деревни Руссенвиль, книг, прочитанных мной в этом году; таким образом, мое воображение черпало новые силы из соприкосновения с моей чувственностью, чувственность напитывала собою все области воображения, и мое желание не знало больше границ. Вот почему, — как это случается в минуты, когда, замечтавшись на лоне природы, мы отрешаемся от привычных своих представлений, перестаем считаться с отвлеченными понятиями о вещах и наполняемся глубокой верой в оригинальность, в индивидуальное лицо места, на котором мы находимся, — прохожая, призываемая моим желанием, казалась мне не просто случайным экземпляром родового понятия «женщина», но необходимым и естественным порождением этой земли. Ибо в те времена все, что не было мною, земля и живые существа казались мне более драгоценными, более значительными, наделенными более реальным бытием, чем то, какое они имеют в глазах взрослых людей. Я не отделял друг от друга землю и живые существа. Я желал крестьянскую девушку из Мезеглиза или Руссенвиля, рыбачку из Бальбека так же, как желал самые Мезеглиз и Бальбек. Наслаждение, которое эти девушки могли мне доставить, показалось бы мне менее подлинным, я перестал бы верить в него, если бы в моей власти было изменить его обстановку. Встреча в Париже с рыбачкою из Бальбека или с крестьянкой из Мезеглиза была бы равносильна получению в подарок раковин, каких я никогда не увидел бы на морском берегу, или папоротника, какого я никогда не нашел бы в лесу, она отняла бы у наслаждения, которое способны были доставить мне эти женщины, все другие наслаждения, посреди которых рисовало мне их мое воображение. Но блуждать по руссенвильским лесам, не встречая крестьянки, которую хотелось бы обнять, значило не узнать тайного сокровища, глубоко скрытой красоты этих лесов. Девушка эта, всегда испещренная в моих представлениях тенью листвы, сама была для меня своеобразным местным растением, отличавшимся от прочих лишь большей утонченностью, растением, структура которого позволяет острее, чем в других растениях, ощутить своеобразный вкус местности, где оно выросло. Я мог тем легче поверить этому (а также тому, что ласки, в которых она дала бы мне ощутить этот вкус, сами отличались бы своеобразием и доставили бы мне наслаждение, какого я не мог бы познать с другой женщиной) оттого, что был тогда, и долго еще должен был оставаться, в возрасте, когда мы еще не отвлекли этого наслаждения от обладания различными женщинами, с которыми мы его познали, еще не свели его к общему понятию, позволяющему затем рассматривать женщин, как меняющиеся орудия всегда тожественного наслаждения. В этом возрасте оно не существует даже как нечто обособленное, отделенное и отчетливо сознанное, как конечная цель нашего знакомства с женщиной, как причина тревоги, испытываемой нами в его предвкушении. Едва ли даже мы думаем о нем как о предстоящем нам наслаждении; скорее мы считаем его личным очарованием, свойственным известной женщине; ибо мы не думаем о себе, мы думаем лишь о том, как бы выйти за пределы своего «я». Смутно чаемое, внутренно присущее нашему чувству и глубоко в нем скрытое, наслаждение это, в момент, когда оно испытывается, лишь доводит до такого пароксизма другие наслаждения, доставляемые нам нежными взорами и поцелуями находящейся возле нас женщины, что кажется нам, по преимуществу, чем-то вроде нашей исступленной благодарности нашей подруге за доброту ее сердца и ее трогательное внимание к нам, степень которого мы измеряем расточаемыми ею благодеяниями и счастьем.

Увы, напрасно умолял я башню руссенвильского замка, напрасно просил я ее послать мне навстречу какую-нибудь девушку из окружавшей ее деревни, взывая к ней как к единственному свидетелю, которому я открывал первые свои желания, когда с чердака нашего дома в Комбре, из маленькой комнатки, пахнувшей ирисом, мне видна была в четырехугольнике полуоткрытого окна одна только эта башня, в то время как, с героическими колебаниями путешественника, отправлявшегося в не исследованные еще страны, или разуверившегося в жизни самоубийцы, почти лишаясь сил, прокладывал я в себе самом неведомую дорогу, могущую, казалось мне, привести меня к смерти, пока эмоция не иссякала, а на листьях дикой черной смородины, свешивавшей ко мне свои ветви, не обозначался некоторый естественный след, вроде следа, оставляемого улиткой. Напрасно взывал я к ней теперь. Напрасно держал я в поле своего зрения всю окружавшую меня местность, дренируя ее жадными своими взглядами, желавшими выудить из нее какую-нибудь женскую фигуру. Я мог дойти таким образом до самой паперти Сент-Андре-де-Шан: никогда не удавалось мне заметить девушку, которую я неизменно встречал, когда ходил гулять в обществе дедушки и когда не мог, следовательно, завязать с ней разговор. Бесконечно долго устремлял я взгляд на ствол отдаленного дерева, из-за которого она обыкновенно появлялась и шла мне навстречу; подвергнутый исследованию горизонт оставался пустынным; сгущались сумерки; без всякой надежды сосредоточивал я теперь свое внимание на этой бесплодной почве, на этой истощенной земле, словно желая извлечь из нее могущие заключаться в ней живые существа; с бешенством, а не с радостным возбуждением, осыпал я теперь ударами зонтика или палки деревья руссенвильского леса, из-за которых не показывалось ни одно живое существо, словно это были деревья, нарисованные на полотне панорамы, когда, не будучи в силах примириться с необходимостью возвращения домой, не заключив предварительно в свои объятия так страстно желанную женщину, я все же принужден был поворачивать свои стопы назад, по направлению к Комбре, и согласиться, что возможность появления ее на моем пути с каждой минутой все менее и менее вероятна. Впрочем, если бы даже она попалась мне навстречу, хватило ли бы у меня смелости заговорить с нею? Мне казалось, что она посмотрела бы на меня как на сумасшедшего, ибо я перестал верить в разделение другими существами желаний, возникавших у меня во время моих прогулок и никогда не осуществлявшихся; я перестал верить в их существование вне меня. Они рисовались мне теперь лишь как чисто субъективные, немощные, иллюзорные создания моего темперамента. У них не было больше связи с природой, с миром реальных вещей, который с этого момента утрачивал всякое очарование и всякое значение и становился чисто условной рамкой моей жизни, вроде той, какою является для действия романа железнодорожный вагон, на скамейке которого пассажир читает его, чтобы убить время.

Может быть, также на основании другого впечатления, полученного мною в Монжувене несколько лет спустя, впечатления, оставшегося тогда темным, составилось у меня, значительно позднее, представление о садизме. Читатель увидит в свое время, что, по совсем другим причинам, воспоминанию об этом впечатлении суждено было сыграть важную роль в моей жизни. Произошло это в очень жаркую погоду; родным моим необходимо было отлучиться куда-то на целый день, и они позволили мне не торопиться с возвращением домой, если мне захочется погулять подольше; и вот, дойдя до монжувенского пруда, на поверхности которого я так любил наблюдать отражение черепичной крыши, я растянулся под тенью кустарника и уснул на возвышавшемся подле дома откосе, в том месте, где я ожидал когда-то своих родителей в дни, когда они ходили в гости к г-ну Вентейлю. Проснулся я уже совсем в сумерках; я хотел встать и идти домой, но в эту минуту увидел м-ль Вентейль (или, по крайней мере, подумал, что это она, так как я редко встречался с нею в Комбре и притом в те времена, когда она была еще почти девочкой, тогда как теперь она уже делалась барышней); она, должно быть, только что пришла и стояла лицом ко мне, всего в нескольких десятках сантиметров от меня, в той самой комнате, где ее отец принимал моих родителей; теперь она устроила в ней свою маленькую гостиную. Окно было приотворено, горела лампа, я видел все ее движения, оставаясь не замеченным ею; но если бы я стал уходить, кустарник затрещал бы, она услышала бы меня и могла бы подумать, что я спрятался нарочно с целью подсматривать.

Она была в глубоком трауре, так как недавно умер ее отец. Мы не навестили ее; моя мать не захотела пойти к ней; ее удержала добродетель, которая одна только способна была поставить границы ее доброте: стыдливость; но она до глубины сердца жалела девушку. Мама помнила печальный конец жизни г-на Вентейля, целиком поглощенного сначала взятой им на себя ролью матери и няньки своей дочери, затем причиненными ею страданиями; она ясно видела измученное выражение, не сходившее с лица старика все эти страшные последние годы; она знала, что он навсегда отказался от переписки набело своих произведений, написанных им в последнее время, ничтожных, как нам казалось, вещиц старого преподавателя музыки, отставного деревенского органиста; мы были вполне уверены, что ценность их очень невысокая, и не относились к ним пренебрежительно только потому, что они были ему очень дороги и составляли единственный смысл его жизни, перед тем как он пожертвовал ими ради своей дочери; в большинстве случаев они не были даже записаны и хранились только в его памяти; да и те, что были записаны на отдельных клочках бумаги, крайне нечетко, обречены были оставаться в безвестности; мама думала также о другом, еще более жестоком отречении, на которое вынужден был г-н Вентейль, об отказе от надежд на счастливое, честное и окруженное уважением будущее дочери; когда мама представляла себе всю картину бед, стрясшихся над старым учителем музыки моих тетушек, она бывала искренно опечалена и с ужасом думала, в каком горе должна быть м-ль Вентейль, какими она должна мучиться угрызениями совести при мысли, что именно она была главной виновницей смерти отца. «Бедняга Вентейль, — говорила мама, — он жил ради своей дочери и умер из-за нее, не получив награды за свою любовь. Получит ли он ее после смерти, и в какой форме? Эта награда может быть дана ему только ее поведением».

В глубине комнаты м-ль Вентейль, на камине, стояла небольшая фотографическая карточка ее отца, которую она взяла в руки и внимательно рассматривала как раз в тот момент, когда раздался шум подъезжавшего с противоположной стороны дома экипажа; затем она опустилась на диван и придвинула вплотную к нему столик, куда поставила портрет, совсем так, как г-н Вентейль ставил когда-то на видном месте вещь, которую желал сыграть моим родителям. Вскоре в комнату вошла ее подруга. М-ль Вентейль поздоровалась с нею не вставая, — руки ее были закинуты за голову, — она только немного отодвинулась, как бы давая место пришедшей. Но едва только она сделала это движение, как ей показалось, что порыв, с которым она предлагала своей подруге поместиться на диване рядом, может быть принят тою как навязчивость. Она подумала, что та предпочитает сесть на стул подальше от нее; она нашла свой жест нескромным; ее чувствительное сердце наполнилось тревогой; она снова растянулась на диване во всю его длину, закрыла глаза и принялась зевать, желая показать таким образом, что желание спать было единственной причиной, заставившей ее разлечься. Несмотря на кажущуюся грубость и повелительную фамильярность ее обращения с подругой, я узнавал подобострастные и робкие жесты, внезапную нерешительность и сомнения, так характерные для ее отца. Вдруг она встала, подошла к окну и сделала вид, будто пытается закрыть ставни и это ей не удается.

— Не закрывай, мне жарко, — сказала подруга.

— Но это неприятно, нас увидят, — ответила м-ль Вентейль.

Но тут ей, вероятно, пришло в голову, что подруга подумает, будто эти слова были сказаны ею лишь с целью побудить ту произнести в ответ определенные другие слова, которые м-ль Вентейль действительно желала услышать, но из скромности предоставляла подруге первой заговорить на занимавшую ее тему. Вот почему я уверен, что взгляд м-ль Вентейль — хоти черты ее лица были видны мне неотчетливо — принял так нравившееся моей бабушке выражение, когда она поспешно прибавила:

— Я хотела сказать: увидят нас за чтением. Ужасно неприятно сознавать, что чьи-то глаза подглядывают за вами, хотя бы вы занимались самым прозаическим делом.

Вследствие инстинктивного благородства натуры и бессознательной учтивости она удерживалась от произнесения задуманных слов, которые считала необходимыми для полного осуществления своего желания. И все время из глубины ее робкая и застенчивая девушка молила о пощаде и оттесняла на второй план грубоватого, но всегда победоносного солдафона.

— О, да, за нами наверное подглядывают, в этот час, в этой людной местности! — иронически ответила ей подруга. — Притом, не все ли равно? — прибавила она (считая своим долгом сопроводить лукавым и нежным взглядом эти слова, по доброте сердечной произнесенные ею подчеркнуто циничным тоном, словно заученный наизусть урок, который, она знала, приятно будет услышать м-ль Вентейль). — Если нас увидят, тем лучше.

М-ль Вентейль вздрогнула и обернулась к ней. Ее совестливое и чувствительное сердце не знало, какие слова должны самопроизвольно вырваться из ее уст в соответствии со сценой, которой жадно хотела ее чувственность. Она пыталась по возможности отрешиться от своей подлинной моральной природы, найти язык, свойственный порочной девушке, за каковую она желала выдавать себя, но слова, которые, по ее мнению, эта последняя произнесла бы вполне искренно, казались ей звучащими фальшиво в ее собственных устах. И то немногое, что она позволила себе, было сказано ею тоном принужденным, в котором привычная ее робость парализовала покушение быть дерзкой, и пересыпалось вопросами: «Тебе не холодно? Тебе не очень жарко? Ты не хочешь остаться одна и почитать?»

— У мадемуазель, по-видимому, очень похотливые мысли сегодня, — закончила она свою речь, вероятно повторяя фразу, слышанную ею раньше из уст подруги.

М-ль Вентейль вдруг почувствовала в вырезе своей креповой блузки укол поцелуя подруги; она слегка вскрикнула, вырвалась, и обе девушки стали гоняться друг за дружкой, вскакивая на стулья, размахивая широкими рукавами как крыльями, кудахча и издавая крики, словно влюбленные птицы. Беготня эта кончилась тем, что м-ль Вентейль в изнеможении упала на диван, где ее заслонила от моих взоров наклонившаяся над нею фигура подруги. Эта последняя была обращена спиной к столику, на котором стоял портрет старого учителя музыки. М-ль Вентейль понимала, что подруга не увидит его, если она не привлечет к нему ее внимания; и вот она воскликнула, словно сама только сейчас заметила его:

— Ах, на нас глядит карточка моего отца. Не понимаю, — кто это мог поставить ее здесь; двадцать раз я говорила, что тут ей совсем не место!

Я вспомнил, что с этими словами г-н Вентейль обращался к моим родителям, извиняясь перед ними за то, что тетрадка с нотами стоит на неподобающем месте. Должно быть, этот портрет служил необходимой принадлежностью их ритуала, неизменно подвергался ими поруганию, так как подруга ответила ей следующими словами, являвшимися, по-видимому, литургийными:

— Оставь его, пусть он стоит; он не может теперь докучать нам. Теперь он не станет хныкать, не станет кутать тебя в пальто, увидев, что окна открыто, противная старая обезьяна!

М-ль Вентейль ответила: «Перестань, перестань!» — тоном мягкого упрека, свидетельствовавшим о доброте ее сердца; слова эти не были продиктованы негодованием на столь оскорбительный отзыв о покойнике (она, очевидно, приучила себя — с помощью каких софизмов? — подавлять в себе это чувство в такие минуты), но, скорее, являлись как бы уздой, добровольно — из нежелания производить впечатление эгоистки — налагаемой ею на наслаждение, которое пыталась доставить ей подруга. Кроме того, эта благожелательная сдержанность, которою она отвечала на поношения подруги, этот лицемерный и нежный упрек казались, может быть, ее открытой и доброй душе особенно гнусной и подобострастной формой той злодейской позы, которую она пыталась принять. Но она не могла устоять перед притягательной силой удовольствия, доставляемого ей нежностями особы, только что обнаружившей такую безжалостность к беззащитному покойнику; она прыгнула на колени подруги и целомудренно подставила ей для поцелуя свой лоб, как она сделала бы это, если бы была ее дочерью; с наслаждением чувствовала она, что обе они доводят таким образом до крайнего предела жестокость по отношению к г-ну Вентейлю, похищая у него священные права отца и подвергая поруганию даже в могиле. Подруга привлекла к губам голову м-ль Вентейль и запечатлела на лбу ее поцелуй с готовностью, обусловленной действительно большим расположением к м-ль Вентейль и желанием по возможности скрасить столь печальную теперь жизнь сироты.

— Знаешь, что я хотела бы сделать этой старой уродине? — сказала она, беря портрет.

И она что-то прошептала на ухо м-ль Вентейль, но я не мог расслышать.

— О, у тебя не хватит смелости!

— У меня не хватит смелости плюнуть сюда? На эту рожу? — вскричала подруга с умышленной грубостью.

Больше я ничего не слышал, потому что м-ль Вентейль с видом усталым, неловким, озабоченным, невинным и печальным подошла к окну и закрыла ставни; но я знал теперь, какую награду получил по смерти г-н Вентейль от своей дочери за все страдания, перенесенные им из-за нее при жизни.

И все же, размышляя над этой сценой впоследствии, я пришел к выводу, что если бы г-н Вентейль присутствовал при ней, он, пожалуй, не потерял бы веры в доброту сердца своей дочери и даже, пожалуй, не был бы в этом отношении совсем не прав. Конечно, во всех поступках м-ль Вентейль видимость зла была так велика, что едва ли его можно было встретить осуществленным в такой полноте у кого-нибудь, кроме садистки; скорее в огнях рампы бульварных театров, чем при свете лампы скромного деревенского дома, можно увидеть девушку, заставляющую свою подругу плевать на портрет отца, посвятившего дочери всю свою жизнь; и, по большей части, именно садизм является в повседневной жизни причиной жажды мелодраматических эффектов. Возможно, конечно, что, и не будучи садисткой, девушка способна с такой же крайней жестокостью, как и м-ль Вентейль, надругаться над памятью своего покойного отца и так же вызывающе отнестись к его желаниям; но подобная особа не выразит своих чувств в акте, исполненном такого грубоватого, такого наивного символизма; преступный элемент ее поведения будет искуснее скрыт от глаз посторонних и даже от ее собственных глаз, поскольку даже себе самой она не признается в том, что поступает дурно. Но если отвлечься от внешности, то зло в сердце м-ль Вентейль, по крайней мере в первоначальной стадии, было, вероятно, смешано с другими элементами. Садистка, подобная м-ль Вентейль, является актрисой зла, каковою не могла бы быть особа насквозь порочная, ибо зло не является чем-то внешним по отношению к этой последней, оно кажется ей вполне естественным и даже в некотором роде неотделимо от нее; и поскольку у девушки порочной никогда не было культа таких вещей, как добродетель, почтительное отношение к памяти умерших, дочерняя любовь, — поругание их не доставило бы ей святотатственного наслаждения. Садистки типа м-ль Вентейль — существа настолько чувствительные, насколько по природе своей добродетельные, что даже чувственное наслаждение кажется им чем-то дурным, привилегией людей порочных. И если сами они соглашаются на мгновение отдаться ему, то стараются при этом надеть на себя и на своих соучастников личину порока, чтобы испытать на мгновение иллюзию освобождения от контроля своей нежной и совестливой натуры, иллюзию бегства в бесчеловечный мир наслаждения. И мне стала понятна вся желанность для нее этого бегства, когда я увидел, до какой степени она неспособна была осуществить его. В тот миг, когда она хотела как можно меньше походить на своего отца, она напомнила мне манеру мыслить и говорить, так характерную именно для старого учителя музыки. Гораздо больше, чем фотографическую карточку старика, она подвергала поруганию и заставляла служить наслаждению свое сходство с отцом, хотя это сходство постоянно оставалось между наслаждением и ею и мешало ей с самозабвением отдаться ему, — подвергала поруганию голубые глаза его матери, переданные им ей по наследству подобно семейной драгоценности, его любезные жесты, помещавшие между пороком м-ль Вентейль и ею самой обороты речи и мысли, не предназначенные для порока и препятствовавшие ей смотреть на него как на нечто в корне отличное от многочисленных обязанностей, возлагаемых на нее вежливостью и так для нее привычных. Не порок внушал ей идею наслаждения, казавшегося ей привлекательным; скорее само наслаждение казалось ей порочным. И так как каждый раз, когда она отдавалась ему, оно сопровождалось в ее сознании порочными мыслями, в другое время совершенно чуждыми ее добродетельному уму, то в заключение она стала находить в наслаждении нечто дьявольское, стала отожествлять его со Злом. Быть может, м-ль Вентейль чувствовала, что ее подруга не была вконец испорченной и не была также искренней, когда обращалась к ней с кощунственными своими словами. Но, во всяком случае, она с наслаждением ощущала на своем лице ее поцелуи, видела ее улыбки, ее взгляды, притворные, может быть, но похожие по своему низменному и порочному выражению не на те, что присущи человеку доброму и много страдавшему, но на те, что свойственны существу жестокому, живущему в свое удовольствие. На мгновение она способна была вообразить, будто она действительно забавляется так, как могла бы забавляться со столь бесчеловечной соучастницей девушка, всерьез испытывающая лютую ненависть к памяти покойного отца. Может быть, она не считала бы порок состоянием столь редким, столь необыкновенным, столь экзотическим, погружение в которое действует так освежающе, если бы была способна различить в себе, как и во всех вообще людях, глубокое равнодушие к причиняемым ими страданиям, являющееся, как бы мы ни называли его, самой распространенной и самой страшной формой жестокости.

Если прогулка в сторону Мезеглиза была делом сравнительно простым, то совсем иначе обстояло с прогулкой в сторону Германта, ибо она требовала много времени, и мы должны были, прежде всего, быть спокойными относительно погоды. Когда нам казалось, что наступила полоса хороших дней, когда Франсуаза, опечаленная тем, что не падало ни капли на «бедные хлеба», и не видевшая на безмятежной небесной лазури ничего, кроме изредка проплывавшего белого облачка, с сокрушением восклицала: «Эти облака, ни дать ни взять, акулы, — резвятся себе, высунув наверх морду! Ах, нет у них в мыслях покропить дождиком на бедных землепашцев! А вот когда хлеба созреют, то дождь начнет лить как из ведра, не переставая и не обращая внимания, куда он льет, словно под ним открытое море!» — когда отец неизменно получал благоприятные ответы от садовника и от барометра, — то кто-нибудь из нас говорил за обедом: «Завтра, если погода удержится, мы пойдем в сторону Германта». Мы отправлялись сразу же после завтрака через маленькую садовую калитку, выводившую нас на улицу Першан, узкую и изогнутую под острым углом, поросшую травой, в которой две или три осы проводили день за гербаризацией, — улицу столь же причудливую, как и ее название, откуда как будто проистекали любопытные ее особенности и ее неприветливая физиономия, — улицу, которую мы напрасно стали бы искать в теперешнем Комбре, где на ее месте возвышается школа. Но в мечтах моих о Комбре (подобно тем архитекторам, ученикам Виолле-ле-Дюка, которые, вообразив, будто они открыли под амвоном эпохи Ренессанс и алтарем XVII века следы романского хора, приводят все здание в состояние, якобы присущее ему в XII веке) я не оставляю ни камня от теперешней постройки, я проникаю взором сквозь нее и «реставрирую» улицу Першан. И нужно сказать, что для восстановления ее я располагаю более точными данными, чем те, что обыкновенно находятся в распоряжении реставраторов: я храню в своей памяти несколько картин — может быть, последних, какие вообще существуют в настоящее время, и обреченных вскоре на гибель, — того, чем был Комбре в дни моего детства; картин, в силу того обстоятельства, что он сам начертал их во мне прежде, чем исчезнуть с лица земли, столь же волнующих, — если только можно сравнивать неясный образ воспоминания с теми знаменитыми произведениями, репродукции которых любила дарить мне бабушка, — как старинные гравюры с «Тайной вечери» или же картина Джентиле Беллини, где мы можем видеть в несуществующем теперь состоянии шедевр Винчи или портал Святого Марка.

Мы проходили по улице Птицы перед старой гостиницей Подстреленной Птицы, в большой двор которой вкатывали некогда в XVII веке кареты герцогинь де Монпансье, Германтов и де Монморанси, когда им нужно было приезжать в Комбре для какой-нибудь тяжбы со своими фермерами или для получения от них присяги в верности. Затем мы выходили на городскую площадку для игр, сквозь деревья которой виднелась колокольня Сент-Илер. И мне очень хотелось сесть там на скамейку и провести целый день за книгою, слушая звон колоколов, ибо устанавливалась такая прекрасная погода и в воздухе было так тихо, что когда били часы, то не было впечатления, будто бой этот нарушает полуденное спокойствие, но лишь казалось, что он освобождает день от отягчающего его содержания и что колокольня, с ленивой и пунктуальной точностью особы, которой нечего делать, надавливает в определенные мгновения на преизбыточность тишины, чтобы выжать из нее и уронить в пространство несколько золотых капелек, медленно и естественно накапливаемых в ней жарою.

Наибольшей прелестью прогулки в сторону Германта было то, что почти все время нам нужно было идти по берегу Вивоны. В первый раз мы пересекали реку через десять минут по выходе из дому, по пешеходному мостику, называвшемуся Старым мостом. Каждый год, на следующий же день после нашего приезда, в пасхальное утро, по выслушании проповеди, если погода была хорошая, я бежал туда (окруженный беспорядком, бывающим всегда в утро большого праздника, когда рядом с пышными приготовлениями тем более убогой кажется не убранная еще посуда и предметы повседневного обихода) посмотреть на реку, медленно катившую свои небесно-голубые воды среди еще черных и голых берегов и сопутствуемую только кучками преждевременно зажелтевшего златоцветника и первых буквиц; изредка, впрочем, можно было увидеть голубое пламя фиалки, стебелек которой изгибался под тяжестью заключенной в ее чашечке благоуханной капельки. Старый мост выходил на тропинку-бечевник, летом в этом месте всю обрамленную голубоватой листвой орешника, под тенью которой всегда сидел рыбак в соломенной шляпе, точно вросший там в землю. В Комбре, где я знал каждого и всегда мог определить, какой кузнец или мальчик из бакалейной лавочки скрывается под ливреей церковного привратника или под стихарем певчего, этот рыбак был единственным лицом, которое я не мог бы опознать. Должно быть, он был знаком с моими родными, потому что приподнимал шляпу, когда мы проходили мимо; я хотел тогда спросить его имя, но мне делали знак, чтобы я молчал, так как мой голос мог спугнуть рыбу. Мы поворачивали на тропинку, извивавшуюся по крутому берегу, на несколько футов выше уровня реки; другой берег был низкий, на нем тянулись луга до самого городка и даже до расположенного еще дальше вокзала. Луга эти были усеяны наполовину скрытыми в высокой траве остатками замка графов Комбрейских, в средние века течением Вивоны защищенного с этой стороны от нападения сеньоров Германтских и аббатов Мартенвильских. Сейчас замок этот представлял собой лишь несколько обломков башен, слегка бугривших ровную поверхность луга, едва заметных, откуда некогда арбалетчик метал камни, откуда дозорный наблюдал за тем, что происходит в Новпон, Клерфонтен, Мартенвиль-ле-Сек, Байо-л’Экзан, вассальных территориях сеньоров Германтских, в которые вклинивался Комбре; обломки эти едва возвышались над травой, и по ним карабкались школьники из конгрегации христианских братьев, приходившие сюда учить уроки или играть во время рекреаций; — седая старина, почти ушедшая в землю и расположившаяся на берегу реки, словно гуляющий, присевший освежиться, давала уму моему обильную пищу, заставляла имя Комбре обозначать для меня не только теперешний маленький городок, но также весьма отличный от него исторический город, пленяла мое воображение непонятными и чуждыми для нас теперь чертами, наполовину скрытыми в желтом ковре лютиков. Их было очень много в этом месте, облюбованном ими для резвых своих игр в траве; они росли поодиночке, парами, группами, желтые как яичный желток, глянцевитые в тем большей степени, казалось мне, что, не будучи способен отнести удовольствие, доставляемое мне их видом, к какому-либо вкусовому ощущению, я сосредоточивал его на их золотистой поверхности до тех пор, пока оно не становилось настолько мощным, что создавало в моем уме представление о самодовлеющей, не служащей никаким практическим целям красоте; так бывало, начиная с самого раннего моего детства, когда с прибрежной тропинки я протягивал к ним руки еще прежде, чем научился произносить их прелестное имя, годное для принцев из французских волшебных сказок; вся душа моя неслась к этим пришельцам, переселившимся сюда, может быть, несколько веков тому назад из Азии, но навсегда натурализовавшимся среди французских деревень, довольным окружавшим их скромным горизонтом, любящим солнце и берег реки, верным неширокому виду, открывавшемуся на вокзал, и все же до сих пор хранящим, подобно некоторым нашим старым полотнам, в простонародной своей простоте поэтический блеск Востока.

Я с удовольствием смотрел на графины, пускаемые в Вивону мальчишками для ловли пескарей; наполненные речной водой и в свою очередь окруженные водой, являясь одновременно «вместилищем», чьи прозрачные стенки подобны были отвердевшей воде, и «вмещаемым», погруженным в более обширное вместилище из жидкого и текучего хрусталя, они вызывали образ свежести, более усладительный и более раздражающий, чем тот, что они вызвали бы, если бы стояли на сервированном столе, ибо показывали эту свежесть лишь в ее непрерывной текучести, между неосязаемой водой, в которой мои руки не могли схватить ее, и плотным стеклом, в котором мое нёбо не могло бы ощутить ее вкуса. Я все собирался снова прийти туда с удочкой; я выпрашивал кусочек хлеба из корзинки, подаваемой к завтраку, катал из него шарики и бросал их в Вивону, где они, казалось, обладали способностью приводить воду в состояние пересыщенного раствора, ибо она тотчас же густела вокруг них яйцевидными гроздьями хилых головастиков, которые несомненно до тех пор были растворены в ней, невидимы, но совсем готовы подвергнуться кристаллизации.

Несколько поодаль течение Вивоны засоряется водяными растениями. Сначала они попадаются в одиночку, например, какая-нибудь кувшинка, так несчастливо выросшая посреди водяной струи, что та не давала ей ни минуты покоя, и, подобно механически движущемуся парому, цветок приставал к одному берегу лишь для того, чтобы снова отплыть к другому, вечно повторяя свой двойной путь. Увлекаемый к одному из берегов, стебель его распрямлялся, удлинялся, вытягивался, достигал крайнего предела растяжения, затем струя снова подхватывала его, зеленый трос сворачивался и приводил бедное растение к его исходному пункту, могущему быть названным так с тем большим правом, что оно ни секунды не оставалось там и обречено было снова повторять свое неизменное движение. В каждую из наших прогулок я всегда находил его все в том же беспомощном состоянии, напоминавшем состояние неврастеников той категории, куда, по мнению дедушки, следовало отнести тетю Леонию, — неврастеников, из года в год, без всякого изменения, являющих нам зрелище странных привычек, от которых, как им кажется, они вот-вот готовы избавиться, но которым остаются верны до самой смерти; подхваченные шестерней своих недугов и маний, тщетно пытаются они вырваться на свободу: усилия их лишь обеспечивают неуклонное функционирование их странной, роковой и гибельной диететики. Такова была и эта водяная лилия, похожая также на одного из тех несчастных, необыкновенное мучение которых, непрестанно повторявшееся в течение вечности, привлекло к себе любопытство Данте, и он обстоятельнее расспросил бы о его природе и причинах у самих жертв, если бы Вергилий, ушедший далеко вперед, не заставлял его поспешно бежать за ним вдогонку, как заставляли меня догонять их мои родные.

Но дальше течение замедляется, река проходит по частному владению, доступ в которое был открыт для публики его собственником, большим любителем водяной садовой культуры, насадившим в маленьких прудах, образуемых здесь Вивоной, целые сады водяных лилий. Так как берега в этом месте поросли густыми рощами, то тень от деревьев давала воде известную окраску, обыкновенно, темно-зеленую; но по временам, когда мы возвращались домой прояснившимися после грозового полудня вечерами, я видел на поверхности воды чистые и яркие синие тона, почти фиолетовые, похожие на перегородчатые эмали в японском вкусе. Там и сям на воде краснел, словно земляника, цветок кувшинки, с алым сердцем в кольце белых лепестков. Дальше цветов росло больше, но они были более бледные и не такие лоснящиеся, более шероховатые, в более густых складочках, и случай разбрасывал их в таких изящных узорах, что мне казалось, будто я вижу плывущие по течению, как после меланхолического финала изысканного праздника во вкусе Ватто, растрепанные гирлянды бледных роз. В другом месте, казалось, сохранен был уголок для более грубых сортов, с опрятными белыми и розовыми, как у ночных фиалок, лепестками, вымытыми с хозяйственной заботливостью, словно фарфоровая посуда, тогда как немного подальше другие кувшинки, прижавшиеся друг к дружке и образовавшие настоящую плавучую грядку, похожи были на анютины глазки, прилетевшие сюда, словно мотыльки, из какого-то сада подержаться на своих полированных голубоватых крылышках над прозрачной тенистостью этого водного цветника; этого небесного цветника также: ибо он давал цветам почву тона более драгоценного, более волнующего, чем тон самих цветов; и сверкала ли она под кувшинками в полдень калейдоскопом молчаливого, ненасытного и переменчивого счастья, или же наполнялась, словно далекий какой залив, розовыми грезами закатного солнца, непрестанно меняя окраску, но всегда гармонируя, вокруг более устойчивой окраски венчиков лилий, с тем, что есть самого глубокого, самого мимолетного, самого таинственного, — с тем, что есть самого бесконечного, — в каждом мгновении: и в полдень, и вечером водяные эти лилии цвели, казалось, в лоне самого неба.

Миновав этот парк, Вивона вновь ускоряла свое течение. Сколько раз наблюдал я — и желал поступать точно так же, когда волен буду жить как мне заблагорассудится, — гребца, который, уронив весла и запрокинув голову, лежал на спине, растянувшись во весь рост, пустив лодку по течению, видя только медленно скользящее над ним небо и изображая на лице своем предвкушение счастья и покоя.

Мы присаживались между ирисами на берегу реки. В праздничном небе лениво плыло беспечное облачко. По временам, истомленный скукой, карп всплескивал над водой в каком-то отчаянном порыве. Нам пора было подкрепиться. Перед тем как вновь пуститься в путь, мы долго ели фрукты, булку и шоколад, сидя на траве, и к нам доносились с горизонта ослабленные, но еще густые и металлические звуки колокола Сент-Илер; они нисколько не растворялись в воздухе, который пересекали с таких уже давних пор, но, разъятые на части последовательным своим трепетанием, вибрировали над самыми венчиками цветов у наших ног.

Иногда мы проходили мимо стоявшего у самой воды и окруженного деревьями дома, какой-то загородной дачи, — одинокого, затерянного, не видевшего ничего, кроме реки, омывавшей его фундамент. Молодая женщина, задумчивое лицо которой и элегантные вуали были не местного происхождения и которая, должно быть, прибыла сюда, чтобы, согласно народному выражению, «схорониться» в этом доме, вкушать горькое удовольствие от сознания, что ее имя, и особенно имя того, чье сердце она не могла удержать, здесь неизвестно, — глядела из окна, не позволявшего ей видеть дальше причаленной у двери лодки. Она рассеянно поднимала глаза, заслышав за деревьями, росшими на берегу, голоса прохожих, по которым, еще перед тем как увидеть их лица, она с уверенностью могла заключить, что никогда эти прохожие не знали и никогда не узнают неверного ее любовника, что ничто в их прошлой жизни не хранило знака о нем и никогда в их будущем им не случится получить этот знак. Чувствовалось, что в своем отречении она добровольно покинула места, где могла бы, по крайней мере, поглядеть на того, кого она любила, променяв их на места, которые его никогда не видели. И я замечал, как, возвратившись с дальней прогулки по дороге, на которой, как ей хорошо было известно, он никогда не покажется, она снимала со своих покорившихся судьбе рук длинные перчатки, вкладывая в это движение ненужную ей теперь грацию.

Во время наших прогулок в сторону Германта никогда не могли мы добраться до истоков Вивоны, о которых я часто думал и которые были в моем представлении чем-то столь абстрактным, столь идеальным, что, когда мне сообщили об их местонахождении в нашем департаменте, на расстоянии определенного числа километров от Комбре, я был так же удивлен, как удивился, узнав, что пункт, где, по мнению древних, открывался вход в преисподнюю, существует в действительности на земной поверхности. Равным образом никогда не могли мы дойти до предела, которого мне так хотелось достигнуть, — до самого Германта. Я знал, что там был замок, где жили герцог и герцогиня Германтские, знал, что они были реальные и подлинно существующие персонажи, но каждый раз, когда я думал о них, я представлял их себе то на гобелене, как графиню Германтскую на «Короновании Эсфири», висевшем в нашей церкви, то в переливчатых радужных тонах, как Жильбера Дурного на витраже, где из капустно-зеленого он делался сливяно-синим в зависимости от того, погружал ли я еще руку в святую воду или подходил уже к нашим стульям, то совсем неосязаемыми, как образ Женевьевы Брабантской, родоначальницы фамилии Германтов, образ, проектируемый волшебным фонарем на занавески моей комнаты и подчас даже на потолок, — словом, всегда окутанными тайной меровингской эпохи и купавшимися, словно в лучах закатного солнца, в оранжевом свете, источаемом звучным слогом «ант». Но если, несмотря на это, они были для меня, в качестве герцога и герцогини, существами реальными, хотя и необыкновенными, зато их герцогская личность расширялась до огромных размеров, делалась невещественной, чтобы быть способной вместить в себя тот Германт, герцогом и герцогиней которых они были, всю залитую солнцем «сторону Германта», течение Вивоны, ее кувшинки и развесистые деревья и бесконечную вереницу прекрасных летних послеполуденных часов. И я знал, что они не только носили титул герцога и герцогини Германтских, но, начиная с XIV века, когда после безуспешных попыток одержать верх над своими прежними сеньорами, они объединились с ними путем браков и стали также графами Комбрейскими, следовательно, первыми гражданами Комбре, хотя и единственными из всех граждан, не жившими в нем; — графами Комбрейскими, обладавшими Комбре, вплетшими его в свое имя и свою личность и несомненно носившими на себе печать той странной и набожной меланхолии, которая была такой характерной особенностью Комбре; — собственниками города, но города в целом, а не какого-либо отдельного дома в нем, пребывавшими, вероятно, на дворе, на улице, между небом и землею, как тот Жильбер Германтский, у которого я мог видеть на витражах абсиды Сент-Илер только покрытую черным лаком оборотную сторону, если задирал голову, когда ходил за солью к Камю.

Случалось, что, гуляя «в стороне Германта», я проходил иногда мимо садиков с влажной почвой, над оградой которых поднимались гирлянды темных цветов. Я останавливался перед ними в надежде приобрести драгоценное новое знание, ибо мне казалось, что перед глазами моими находится кусок той речной области, в которой мне так хотелось побывать после того, как я познакомился с описанием ее в книге одного из моих любимых авторов. С этой именно областью, с ее воображаемой почвой, изрезанной множеством обливавшихся пеной потоков, отожествился, изменив в воображении моем свою внешность, Германт, когда я услышал от доктора Перспье о цветах и прелестных ручьях и фонтанах, которые можно было видеть в замковом парке. Мне грезилось, что герцогиня Германтская пригласила меня туда, по внезапному капризу воспылав ко мне страстью; целый день она занималась вместе со мной ловлей форели. А вечером, проходя со мной под руку мимо садиков своих вассалов, показывала мне гирлянды фиолетовых и красных цветов, свешивавшихся над низкой оградой, и сообщала мне их названия. Она просила меня рассказать ей содержание стихотворений, которые я собирался написать. И так как я хотел в будущем стать писателем, то грезы эти напоминали мне, что пора уже решить, что именно собираюсь я писать. Но как только я задавался этим вопросом, стараясь найти сюжет, в который я мог бы вложить бесконечно глубокое философское содержание, ум мой переставал работать, перед мысленным моим взором открывалась одна лишь пустота, и я приходил к убеждению, что либо у меня вовсе нет таланта, либо какая-нибудь болезнь мозга мешает ему развиться. Иногда я рассчитывал на помощь моего отца. Он был таким могущественным человеком, в такой милости у власть имущих, что ему удавалось иногда добиться для нас нарушения законов, которые Франсуаза научила меня считать более непреложными, чем законы жизни и смерти, например отложить на год обязательную окраску фасада нашего парижского дома, единственного в целом квартале получавшего такую льготу, или выхлопотать у министра для сына г-жи Сазра, собиравшейся ехать на воды, разрешение держать выпускные экзамены на два месяца раньше назначенного срока, вместе с кандидатами, фамилии которых начинались на букву А, не дожидаясь, когда придет очередь для кандидатов с фамилиями на С. Если бы мне случилось тяжело заболеть или быть похищенным разбойниками, то, будучи убежден, что мой отец находится в слишком хороших отношениях с высшими властями и располагает слишком влиятельными рекомендательными письмами к Господу Богу, чтобы болезнь моя или мой плен могли оказаться чем-либо большим, чем пустые призраки, нисколько для меня не опасные, я спокойно дожидался бы часа неминуемого возвращения к отрадной действительности, часа освобождения или выздоровления; быть может, это отсутствие таланта, эта черная дыра, зиявшая в моем уме, когда я искал сюжета для своих будущих произведений, была также только невещественной иллюзией, рассеющейся благодаря вмешательству моего отца, который, опираясь на свои связи с правительством и с провидением, устроит так, что я окажусь первым писателем эпохи. Но в другие минуты, когда мои родные выходили из терпения, видя, что я задерживаюсь на дороге, вместо того чтобы следовать за ними, моя действительная жизнь переставала казаться мне искусственным созданием моего отца, которое он мог видоизменять по собственному произволу, но, напротив, представлялась помещенной в некоторую реальность, созданную не для меня, реальность, решения которой невозможно было обжаловать, в которой у меня не было союзников и друзей и за пределами которой не таилось решительно ничего. Мне казалось тогда, что я существую подобно всем прочим людям, что так же, как и они, я состарюсь и умру и что среди них я лишь принадлежу к числу лиц, лишенных литературного дарования. В результате я приходил в отчаяние и навсегда отрекался от литературы, несмотря на ободряющие речи Блока. Это интимное и непосредственное чувство, это ощущение ничтожества моей мысли превозмогало все расточаемые передо мною льстивые слова, подобно тайным угрызениям совести, мучающим человека злого, хотя бы все восхваляли его добрые дела.

Однажды мама сказала мне: «Ты все расспрашиваешь о герцогине Германтской. Так как доктор Перспье отлично вылечил ее четыре года тому назад, то она, вероятно, приедет в Комбре на свадьбу его дочери. Ты сможешь увидеть ее в церкви». Мне вообще приходилось больше всего слышать о герцогине Германтской от доктора Перспье, который как-то показал даже нам номер иллюстрированного журнала, где она была изображена в платье, бывшем на ней на костюмированном балу у принцессы Леонской.

Действительно, во время венчанья движение, сделанное церковным сторожем, позволило мне увидеть сидевшую в приделе белокурую даму с большим носом, голубыми проницательными глазами, пышным шарфом из лилового шелка, глянцевитого, нового и блестящего, и небольшим прыщом на носу. И так как на красном лице ее (ей, видимо, было очень жарко) я различал расплывчатые и едва уловимые частицы сходства с показанным мне портретом; так как особенно своеобразные черты, подмеченные мною в этой даме, при моей попытке назвать их, выражались как раз в тех же терминах: б_о_л_ь_ш_о_й н_о_с, г_о_л_у_б_ы_е г_л_а_з_а, какими пользовался доктор Перспье, описывая в моем присутствии наружность герцогини Германтской, то я сказал себе: «Эта дама похожа на герцогиню Германтскую». Однако придел, откуда она слушала мессу, был приделом Жильбера Дурного, под гладкими могильными плитами которого, желтоватыми и неровными как поверхность пчелиного сота, покоился прах графов Брабантских, и я помнил, как мне когда-то сказали, что этот придел отводился для семьи Германтов в тех случаях, когда кто-нибудь из ее членов желал присутствовать на церковной службе в Комбре; по всей вероятности, в числе их была только одна женщина, похожая на портрет герцогини Германтской, которая могла бы в этот день — день, когда ожидали именно ее, — находиться в приделе Жильбера Дурного: значит, это была она! Разочарование мое было огромно. Оно проистекало оттого, что, думая о герцогине Германтской, я давал слишком большую волю воображению и всегда представлял ее себе в тонах гобелена или витража, в костюме другой эпохи, состоявшей из другого вещества, чем все остальные люди. Никогда мне не приходило в голову, что у нее может быть красное лицо, лиловый шарф, как у г-жи Сазра; и овал ее щек так сильно напоминал мне лиц, которых я видел в нашем доме, что у меня мелькнуло подозрение (правда, сейчас же рассеявшееся), будто эта дама, по физическому своему составу, по всем своим молекулам, не имеет ничего общего с сущностью герцогини Германтской и будто ее тело, ничего не ведавшее о громком имени, прилагаемом к нему, принадлежит к определенному женскому типу, охватывающему также жен врачей и коммерсантов. «Так вот она какая, герцогиня Германтская! Только-то!» — говорило, казалось, внимательное и изумленное выражение, с каким я рассматривал этот образ, который, понятно, не имел ничего общего с образом, столько раз являвшимся моим мечтам под тем же именем герцогини Германтской, ибо он не был, подобно другим образам, произвольно создан моей фантазией, но впервые предстал моим глазам лишь несколько мгновений тому назад, здесь, в церкви; он был иной природы, не окрашивался по произволу, подобно прочим, в оранжевые тона звучного слога, но обладал такой реальностью, что все в нем, вплоть до прыщика, горевшего на носу, удостоверяло его подчиненность законам жизни, как в театральном апофеозе складка на платье феи, дрожание ее мизинца выдают физическое присутствие живой актрисы, не будь чего, мы остались бы в неуверенности, не находится ли перед нашими глазами простая картина волшебного фонаря.

Но в то же время я пытался приложить к этому образу, пришпиленному в поле моего зрения большим носом и живыми глазами (может быть, потому, что они первые проникли в него, первые отпечатлелись в нем в момент, когда я не успел еще сообразить, что женщина, являвшаяся мне таким образом, может быть герцогиней Германтской), — пытался приложить к этому совсем свежему и неподвижному образу мысль: «Это герцогиня Германтская», однако мне удалось только поместить эту мысль на некотором расстоянии от образа, так что они казались двумя дисками, двигавшимися в разных планах. И вот эта герцогиня Германтская, о которой я так часто грезил, теперь, когда я видел, что она реально существует вне меня, забрала ещё больше власти над моим воображением; на миг парализованное соприкосновением с так отличавшейся от моих ожиданий действительностью, оно понемногу стало оправляться и говорить мне: «Славные еще задолго до Карла Великого, Германты обладали правом казнить и миловать своих вассалов; герцогиня Германтская происходит от Женевьевы Брабантской. Она не знакома и не согласится водить знакомство ни с кем из лиц, присутствующих здесь в церкви».

И — о чудесная независимость человеческого взора, привязанного к лицу нитью столь свободной, столь длинной, столь растяжимой, что он может разгуливать один вдали от человека — в то время как герцогиня Германтская сидела в приделе над могильными плитами своих предков, взгляды ее блуждали там и сям, скользили по колоннам, останавливались даже на мне, подобно солнечному лучу, заглядывавшему во внутренность церкви, но в момент, когда я получал его ласки, казалось, сознававшему то, на что он падает. Что касается самой герцогини, то она сидела неподвижно, притворившись, подобно матери, будто она не замечает шалостей и озорства своих детей, играющих и заговаривающих с лицами, с которыми она не знакома; поэтому мне невозможно было определить, одобряет она или порицает, в этом состоянии праздности и покря, беспечное блуждание своих взоров.

Я придавал большое значение тому, что она не покидает церковь раньше, чем я вдоволь нагляжусь на нее, ибо уже в течение нескольких лет считал лицезрение ее чем-то страшно желанным, и не отрывал глаз от нее, как если бы каждый из моих взглядов мог материально оторвать от нее и сложить в сокровищницу моей памяти длинный нос, красные щеки, все эти частности, дававшие мне, казалось, столь драгоценные, подлинные и исключительные сведения о ее лице. Теперь, когда меня побуждали находить его прекрасным, все мысли, которые я относил к нему — и особенно, может быть, постоянно присущее нам желание, этот своеобразный инстинкт сохранения лучших частей нашего существа, всячески избегать разочарования, — помещая его (так как дама, сидевшая передо мной, и созданная ранее моим воображением герцогиня Германтская являлись одним и тем же лицом) вне остального человечества, с которым, в момент чистого и не осложненного никакой мыслью созерцания ее внешности, я смешал было ее, — я приходил в негодование, слыша, как окружающие меня говорили: «Она красивее, чем г-жа Сазра, чем м-ль Вентейль» — точно ее вообще можно было сравнивать с ними. И, останавливая свои взгляды на ее белокурых волосах, на ее голубых глазах, на линиях ее шеи и оставляя без внимания черты, которые могли бы напомнить мне другие женские лица, я восклицал по адресу этого намеренно не законченного эскиза: «Как она прекрасна! Какое благородство! Да, это действительно гордая представительница рода Германтов, потомок Женевьевы Брабантской, дама, которую я вижу перед собою!» И мое внимание, сосредоточенное на этом лице, до такой степени обособило его от окружающего, что даже сейчас, когда я вспоминаю об этой свадебной церемонии, я не способен вызвать образ ни одного из присутствовавших на ней лиц, за исключением ее и церковного сторожа, ответившего мне утвердительно на мой вопрос, действительно ли эта дама герцогиня Германтская. Но я ее вижу отчетливо, особенно в момент, когда присутствующие стали вереницей подходить к ризнице, освещенной горячим лучом то показывавшегося, то вновь прятавшегося в облаках солнца (день был ветреный и дождливый); герцогиня была окружена всеми этими обывателями Комбре, которые не были известны ей даже по именам, но ничтожество которых так рельефно подчеркивало ее превосходство, что она не могла не чувствовать самой искренней благожелательности по отношению к ним, сознавая к тому же, что простота и обходительность в обращении сделают ее в их глазах еще более обаятельной. Поэтому, лишенная возможности посылать свои взгляды в определенных направлениях и сообщать им то особенное выражение, с каким мы обращаемся к замеченному нами в толпе знакомому, но вынужденная ограничиться непрестанным источением из своих глаз потока голубого света, который она бессильна была сдержать, она старалась произвести как можно более благоприятное впечатление, не хотела показаться высокомерной маленьким этим людям, которых встречал на своем пути голубой поток ее взглядов, которых каждое мгновение он омывал. До сих пор еще вижу я, над пышным шелковым лиловым шарфом, ее приветливые и слегка недоумевающие глаза, взгляду которых она сообщала, не решаясь предназначить ее для кого-либо в отдельности, но так, чтобы каждый мог получить от нее свою часть, немножко робкую улыбку сюзерена, как бы извинявшегося за свое присутствие среди любимых вассалов. Улыбка эта упала и на меня, ни на минуту не спускавшего глаз с ее лица. Тогда, вспомнив взгляд, который она остановила на мне во время мессы, голубой, как луч солнца, проникавший в церковь сквозь витраж Жильбера Дурного, я сказал себе: «Конечно же, она обратила внимание на меня». Я вообразил, что моя наружность ей понравилась, что она будет думать обо мне и по уходе из церкви и при этом воспоминании, может быть, даже взгрустнет сегодня вечером в Германте. И тотчас же я воспылал к ней любовью, ибо если для того, чтобы мы полюбили женщину, иногда достаточно бывает бросить ей презрительный взгляд на нас, каковой, по моему мнению, бросила на меня м-ль Сван, достаточно бывает вообразить, что она никогда не будет принадлежать нам, то иногда для этого достаточно бывает, напротив, ее благожелательного взгляда, каким был взгляд герцогини Германтской, достаточно мысли, что она может когда-нибудь принадлежать нам. Глаза ее синели, словно барвинок, который я не мог сорвать, но который она все же дарила именно мне; и солнце, подвергавшееся угрозе со стороны облака, но еще ярко освещавшее площадь и ризницу, окрашивало в тона герани разостланный на полу по случаю торжества красный ковер, по которому с улыбкой шествовала герцогиня, и покрывало шерстяную его поверхность пушком розового бархата, световым налетом, сообщая пышному и радостному церемониалу оттенок своеобразной нежности и величавой мягкости, так характерный для некоторых страниц «Лоэнгрина» и для некоторых картин Карпаччо и делающий нам понятным, почему Бодлер мог приложить к звуку труб эпитет с_л_а_д_о_с_т_н_ы_й.

Как часто после этого дня, во время прогулок в сторону Германта, сокрушался я еще больше, чем раньше, размышляя об отсутствии у меня литературного дарования, о необходимости отказаться от всякой надежды стать когда-нибудь знаменитым писателем. Горечь, которую я испытывал по этому поводу, оставаясь наедине немного помечтать, причиняла мне такие острые страдания, что для заглушения их ум мой, по собственному почину, как бы благодаря запрету сосредоточивать внимание на боли, совершенно переставал думать о стихах, о романах, о писательской будущности, на которую отсутствие таланта не позволяло мне рассчитывать. Тогда, вне всякой зависимости от этих литературных забот и без всякой вообще видимой причины, вдруг какая-нибудь кровля, отсвет солнца на камне, дорожный запах заставляли меня остановиться, благодаря своеобразному удовольствию, доставляемому мне ими, а также впечатлению, будто они таят в себе, за пределами своей видимой внешности, еще нечто, какую-то особенность, которую они приглашали подойти и взять, но которую, несмотря на все мои усилия, мне никогда не удавалось открыть. Так как я чувствовал, что эта таинственная особенность заключена в них, то я застывал перед ними в неподвижности, пристально в них вглядываясь, внюхиваясь, стремясь проникнуть своею мыслью по ту сторону видимого образа или запаха. И если мне нужно было догонять дедушку или продолжать свой путь, то я пытался делать это с закрытыми глазами; я прилагал все усилия к тому, чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня, казавшиеся мне, я не мог понять почему, преизбыточными, готовыми приоткрыться, явить моему взору таинственное сокровище, лишь оболочкой которого они были. Разумеется, не эти впечатления могли снова наполнить меня утраченной надеждой стать со временем писателем и поэтом, потому что они всегда были связаны с каким-либо конкретным предметом, лишенным всякой интеллектуальной ценности и не содержащим в себе никакой отвлеченной истины. Но, по крайней мере, они доставляли мне иррациональное наслаждение, иллюзию некоего оплодотворения души, чем прогоняли мою скуку, чувство моей немощности, испытываемое каждый раз, когда я искал философской темы для большого литературного произведения. Но возлагаемый на мою совесть этими впечатлениями формы, запаха или цвета долг: постараться воспринять то, что скрывалось за ними, — был так труден, что я довольно скоро находил извинения, позволявшие мне уклониться от совершения столь изнурительных усилий и избежать сопряженного с ними утомления. К счастью, меня окликали мои родные; я чувствовал, что в данную минуту у меня нет необходимого спокойствия для успешного продолжения моих изысканий и что лучше перестать думать об этом до возвращения домой, не утомлять себя до тех пор бесплодными попытками. И я не занимался больше таинственной сущностью, скрытой под определенной формой или определенным запахом, вполне спокойный на ее счет, потому что я приносил ее домой огражденной видимыми и осязаемыми своими покровами, под которыми я найду ее еще живой, как рыбу, которую, в дни, когда меня отпускали на уженье, я приносил в корзинке, прикрытой травою, сохранявшею мой улов свежим. Придя домой, я начинал думать о чем-нибудь другом, и таким образом в уме моем беспорядочно накоплялись (вроде того, как моя комната постепенно наполнялась собранными мною во время прогулок цветами и полученными в подарок безделушками): камень, на котором играл солнечный блик, крыша, звук колокола, запах листьев — множество различных образов, под которыми давно уже умерла смутно почувствованная когда-то реальность, а я так и не собрался с силами раскрыть ее природу. Однажды, впрочем, — когда наша прогулка затянулась значительно дольше обычного, и мы очень обрадовались, так как начало уже вечереть, повстречав на обратном пути быстро мчавшийся экипаж доктора Перспье, который узнал нас, остановил лошадей и предложил нас подвезти, — мне удалось несколько углубить одно из таких впечатлений, полученное по пути домой. Меня посадили на козлах, рядом с кучером; лошади мчались во весь опор, потому что перед возвращением в Комбре доктор должен был еще заехать в Мартенвиль-ле-Сек навестить одного больного, подле дома которого мы условились подождать его. На одном из поворотов дороги я испытал вдруг уже знакомое мне своеобразное, ни с чем не сравнимое наслаждение при виде двух освещенных закатным солнцем куполов мартенвильской церкви, которые движение нашего экипажа и извилины дороги заставляли непрерывно менять место; затем к ним присоединился третий купол — купол вьевикской церкви; несмотря на то, что он был отделен от первых двух холмом и долиной и стоял вдали на сравнительно более высоком уровне, мне казалось, что купол этот расположен совсем рядом с ними.

Наблюдая и запечатлевая в сознании их остроконечную форму, изменение их очертаний, освещенную солнцем их поверхность, я чувствовал, что этим впечатление мое не исчерпывается, что за движением линий и освещенностью поверхностей есть еще что-то, что-то такое, что они одновременно как бы и содержат и прячут в себе.

Купола казались такими далекими и у меня было впечатление, что мы приближаемся к ним так медленно, что я был очень изумлен, когда через несколько минут мы остановились перед мартенвильской церковью. Я не понимал причины наслаждения, наполнявшего меня во время созерцания их на горизонте, и нахождение этой причины казалось мне делом очень трудным; мне хотелось лишь сохранить в памяти эти двигавшиеся в солнечном свете очертания и не думать о них больше. И весьма вероятно, что если бы я поступил согласно моему желанию, то эти два купола разделили бы участь стольких деревьев, крыш, запахов, звуков, мысленно выделенных мною в особую группу по причине доставленного ими таинственного наслаждения, в природу которого я никогда не проникал глубже. Я спустился с козел, чтобы в ожидании доктора поговорить с сидевшими в экипаже моими родными. Пришло время снова трогаться в путь, я занял свое место на козлах и обернулся, чтобы еще раз взглянуть на купола, которые вскоре в последний раз увидел на повороте дороги. Так как кучер был, по-видимому, не расположен разговаривать и едва отвечал на мои замечания, то, за отсутствием другого собеседника, мне пришлось ограничиться обществом самого себя и попытаться вспомнить мои купола. И вдруг их очертания и их залитые солнцем поверхности разодрались словно кора, в отверстие проглянул кусочек их скрытого от меня содержимого; меня осенила мысль, которой у меня не было мгновение тому назад; мысль эта сама собой облеклась в слова, и наслаждение, доставленное мне недавно видом куполов, от этого настолько возросло, что я совсем опьянел, я не мог больше думать ни о чем другом. В это мгновение, хотя мы отъехали уже далеко от Мартенвиля, я обернулся назад и вновь их заметил, — на этот раз они были совсем черные, потому что солнце уже закатилось. По временам повороты дороги скрывали их от моих глаз, затем они показались в последний раз, и больше я их не видел.

Я не сознавал, что таинственное содержание мартенвильских куполов должно иметь какое-то сходство с красивой фразой, но так как оно предстало мне в форме слов, доставивших мне наслаждение, то, попросив у доктора карандаш и бумагу, я сочинил, несмотря на тряску экипажа, для успокоения совести и чтобы дать выход наполнявшему меня энтузиазму, следующий отрывок, который потом отыскал и воспроизвожу здесь лишь с самыми незначительными изменениями:

Одиноко возвышавшиеся над равниной и как бы затерянные в этой открытой и голой местности, тянулись к небу два купола мартенвильской церкви. Вскоре мы увидели три купола: смелым прыжком присоединился к ним, с некоторым запозданием, купол вьевикской церкви. Минуты проходили, мы ехали быстро, и все же три купола неизменно оставались вдали от нас, словно три неподвижно стоявшие на равнине птицы, отчетливо видные в солнечном свете. Затем купол вьевикской церкви отделился, поместился на должном расстоянии, и мартенвильские купола остались в одиночестве, позлащенные закатным солнцем; веселая игра солнечных лучей на их крутых скатах отчетливо видна была мне, несмотря на их отдаленность. Мы так медленно приближались к ним, что я думал, пройдет еще немало времени, прежде чем мы доберемся до них, как вдруг экипаж сделал крутой поворот и подкатил к самой церкви; она так внезапно стала на нашем пути, что, если бы кучер не осадил лошадей, экипаж налетел бы на церковную паперть. Мы снова тронулись в путь; мы покинули Мартенвиль, и деревня, провожавшая нас несколько секунд, исчезла, а мартенвильские купола и купол Вьевика, одиноко оставшиеся на горизонте наблюдать наше бегство, все еще качали, прощаясь, своими залитыми солнцем верхушками. Иногда один из них отодвигался в сторону, так чтобы два других могли видеть нас еще некоторое время; затем дорога изменила направление, они повернулись в светлом небе, как три золотые стержня, и исчезли из поля моего зрения. Но немного погодя, когда мы подъезжали к Комбре и солнце уже закатилось, я увидел их в последний раз; они были теперь очень далеко и казались тремя цветками, нарисованными на небе над низкой линией полей. Они напомнили мне также трех девушек из старинной легенды, покинутых в пустынном месте среди надвигавшейся темноты; и, в то время как мы галопом удалялись от них, я увидел, как они испуганно заметались в поисках дороги и, после нескольких неловких оступающихся движений их благородных силуэтов, прижались друг к дружке, спрятались друг за дружкой, образовали на фоне еще розового неба одну только темную фигуру, очаровательную и безропотную, и в заключение пропали во мраке.

Никогда впоследствии не вспоминал я об этой странице, но когда я окончил свою запись, сидя на кончике козел, куда кучер доктора ставил обыкновенно корзину с птицей, купленной на мартенвильском рынке, по всему существу моему разлилось такое ощущение счастья, страница эта так всецело освободила меня от наваждения мартенвильских куполов и скрытой в них тайны, что я заорал во все горло, словно сам был курицей, которая только что снеслась.

Во время этих прогулок я в течение целого дня способен был мечтать о том, какое наслаждение быть другом герцогини Германтской, заниматься ловлей форели, кататься в лодке по Вивоне; жадно стремясь к счастью, я не просил от жизни в такие минуты ничего другого; пусть бы только вся она состояла из череды безмятежных послеполуденных часов. Но когда на обратном пути я замечал налево ферму, отделенную довольно большим расстоянием от двух других, расположенных, напротив, совсем близко, после чего до Комбре оставалась одна только дубовая аллея, с примыкавшим к ней рядом небольших садиков, где росли рассаженные на равных расстояниях яблони, чертившие на зеленых лужайках, когда их освещало закатное солнце, японский узор теней, — то сердце мое внезапно начинало колотиться, я знал, что меньше чем через полчаса мы будем дома и что, как это бывало обыкновенно в дни, когда мы ходили в сторону Германта и обедали позже, меня пошлют спать сейчас же после первого блюда, вследствие чего мама, остававшаяся за столом как в дни званых обедов, не поднимется попрощаться со мной в мою комнату. Пояс печали, куда я собирался вступить, был резко отграничен от пояса, где лишь несколько мгновений тому назад я прыгал от радости, совсем так, как иногда на небе розовая полоска бывает отделена какой-то невидимой чертой от полоски зеленой или черной. Вы видите, как птица летит по розовой полосе, приближается к ее краю, почти касается его, затем-пропадает в черной полосе. Еще мгновение тому назад вокруг меня роились желания пойти в Германт, путешествовать, жить счастливо, — теперь же я был настолько далек от них, что их осуществление не доставило бы мне никакого удовольствия. Как охотно я бы пожертвовал всем этим за возможность проплакать всю ночь в объятиях мамы! Я дрожал от волнения, не мог оторвать своих страдальческих глаз от маминого лица, которое не появится сегодня вечером в комнате, где я мысленно уже видел себя лежавшим в постели; мне хотелось умереть. И это состояние продлится до завтра, пока утренние лучи не прислонят своих полос, точно садовник лестницу, к стене, увитой настурциями почти до моего окна, и я не соскочу с кровати, чтобы помчаться в сад, совсем позабыв о том, что снова наступит вечер и вместе с ним час расставанья с мамой. Таким образом, прогулки в сторону Германта научили меня различать состояния, попеременно овладевающие мною на определенный промежуток времени и даже распределяющие между собою каждый мой день, так что одно из них, появляясь, прогоняет другое с пунктуальностью перемежающейся лихорадки; несмотря на свою смежность, они до такой степени чужды друг другу, до такой степени лишены средств сообщения между собой, что, пребывая в одном из них, я не способен больше понять и даже представить себе, чего я желал, чего страшился, что сделал, когда находился в другом.

Таким образом, сторона Мезеглиза и сторона Германта остаются для меня связанными со множеством маленьких событий в области той из нескольких параллельных наших жизней, которая наиболее богата перипетиями: я имею в виду жизнь интеллектуальную. Разумеется, она неуловимо в нас эволюционирует, и мы исподволь подготовляли открытие истин, изменивших для нас ее смысл и ее облик, осветивших нам новые пути; но эта подготовительная работа была подсознательной; и осенившие нас истины приурочиваются нами ко дню, к минуте, когда они стали нам видимыми. Цветы, игравшие тогда в траве, вода, струившаяся на солнце, весь пейзаж, окружавший их появление, продолжает сопровождать воспоминание о них своим бессознательным или рассеянным обликом; и конечно, когда они долгие часы созерцались скромным прохожим, мечтательным мальчиком — как король созерцается затерявшимся в толпе летописцем, — этот уголок природы, этот закоулок сада никогда не могли бы предположить, что благодаря ему будут запечатлены и сохранены их самые мимолетные особенности; и все же этот запах боярышника, блуждающий вдоль изгороди, откуда вскоре его прогонит шиповник, мягкий шум шагов по усыпанной гравием дорожке, пузырь, образовавшийся возле водяного растения на поверхности реки лишь для того, чтобы вскоре лопнуть, — были унесены моим восторженным созерцанием, и ему удалось сохранить их в неприкосновенности в течение длинного ряда лет, в то время как дороги, пролегавшие мимо них, давно уже заросли травой, давно уже лежат в гробу те, кто ходил по ним, и умерло даже самое воспоминание о них. Иногда кусок пейзажа, донесенный таким образом до настоящего, рисуется настолько обособленно от всего прочего, что он одиноко плывет в моих мечтах, словно цветущий Делос, и я не способен даже сказать, из каких мест, из каких времен — может быть, просто из каких грез — берет он свое начало. Но особенно на сторону Мезеглиза и сторону Германта смотрю я как на самые глубокие пласты моей душевной почвы, как на тот нерушимый грунт, который и сейчас еще служит основанием для воздвигаемых мною построек. Объясняется это тем, что, наблюдая вещи, сталкиваясь с людьми, я пришел к убеждению, что вещи и люди, с которыми они меня познакомили, суть единственные и до сих пор еще принимаемые мною всерьез, и до сих пор еще доставляющие мне радость. Оттого ли, что вера, творящая действительность, иссякла во мне, оттого ли, что подлинная реальность образуется только памятью, — цветы, показываемые мне теперь в первый раз, не кажутся мне настоящими цветами. Сторона Мезеглиза, с ее сиренью, боярышником, васильками, маками, яблонями, сторона Германта, с ее рекой, кишевшей головастиками, ее кувшинками и лютиками, навсегда остались для меня местами, где я хотел бы жить, требуя только, чтобы можно было ходить на рыбную ловлю, кататься в лодке, видеть развалины готических укреплений и находить среди хлебов, как Сент-Андре-де-Шан, какую-нибудь монументальную сельскую церковь, золотистую как скирда пшеницы; и так как васильки, боярышник, яблони, которые мне случается встречать на полях во время моих прогулок, расположены на той же глубине, на уровне моего прошлого, то они сразу же находят доступ к моему сердцу. И все же у каждой местности есть своя индивидуальность, так что, когда мной овладевает желание вновь увидеть сторону Германта, я не был бы удовлетворен прогулкой по берегу реки, где росли бы такие же красивые, еще более красивые кувшинки, чем те, что я видел на Вивоне, и равным образом, возвращаясь вечером домой, — в час пробуждения во мне той тоски, которая впоследствии переселяется в любовь и может даже стать ее неразлучной спутницей, — я не желал бы, чтобы со мной пришла прощаться чья-нибудь чужая мама, хотя бы даже более красивая и более умная, чем моя. Нет: подобно тому, как единственной вещью, в которой я нуждался для того, чтобы заснуть счастливым сном — с тем безмятежным покоем, какого не могла мне дать впоследствии ни одна любовница, ибо мы сомневаемся в них даже в минуты, когда им верим, и никогда не обладаем их сердцем, как я получал его, вместе с поцелуем, от моей матери, всё целиком, безоговорочно, без утайки в нем какой-либо задней мысли, без желаний, направленных куда-нибудь в другую сторону, а не на меня, — был приход ко мне мамы, ее склонившееся ко мне лицо, на котором пониже глаза был, по-видимому, какой-то изъян, столь же дорогой мне, как и все в нем, — так и местность, где я вновь желал бы побывать, есть сторона Германта в том виде, как я знал ее, с фермой, расположенной несколько в стороне от двух других тесно прижавшихся друг к дружке ферм при повороте на дубовую аллею, — зеленые лужайки, на поверхности которых, когда закатное солнце делает ее зеркальной, как поверхность пруда, обрисовывается листва яблонь, — весь этот пейзаж, чья индивидуальная физиономия иногда, ночью, в сновидениях, навязывается мне прямо-таки с фантастической силой, хотя по пробуждении я не могу найти и следа от нее. Несомненно, благодаря неразрывному сцеплению разнородных впечатлений, обусловленному одним лишь фактом одновременного получения их мною, сторона Мезеглиза и сторона Германта подвергли меня впоследствии множеству разочарований и даже заставили совершить множество ошибок. Ибо часто хотел я вновь увидеть какое-нибудь лицо, не сознавая, что мое желание бывало вызвано единственно только тем, что лицо это напоминало мне изгородь из цветущего боярышника; и я бывал склонен думать и уверять другого в возврате нежности к нему благодаря одному только желанию совершить поездку. Но в силу этих же самых своих особенностей, а также благодаря постоянному своему присутствию в тех из теперешних моих впечатлений, с которыми они могут найти какую-нибудь связь, Они придают этим последним опору, глубину, некоторое добавочное по сравнению с другими впечатлениями измерение. Они наделяют их также очарованием и значением, доступным одному только мне. Когда, летним вечером, гармоничное небо начинает рычать как дикий зверь и все жалуются на грозу, — мое воображение переносит меня в сторону Мезеглиза, где я представляю себя одиноко стоящим и в упоении вдыхающим, сквозь шум проливного дождя, приторный запах невидимой сирени.

* * *

И вот часто лежал я таким образом до утра, мечтал о времени, проведенном мною в Комбре, о печальных и бессонных вечерах, о стольких днях, образ которых был восстановлен в моей памяти сравнительно недавно вкусом — в Комбре сказали бы «ароматом» — чашки чаю, и, по ассоциации воспоминаний, о том, что, спустя много лет по оставлении мною этого городка, я узнал по поводу любви Свана, изведанной им еще до моего рождения, — узнал в таких подробностях, которые иногда легче бывает получить относительно жизни людей, умерших несколько столетий тому назад, чем о жизни наших лучших друзей; получение этих подробностей кажется даже делом вовсе невозможным, как казалось невозможным говорить из одного города в другой, пока не было сделано изобретение, преодолевшее эту невозможность. Все эти воспоминания, прибавляясь одни к другим, мало-помалу образовали одно целое, не настолько, однако, однородное, чтобы я не мог различить между ними — между самыми старыми воспоминаниями, воспоминаниями сравнительно недавними, вызванными «ароматом», и, наконец, воспоминаниями другого лица, сообщившего их мне, — если не расщелины, не трещины, то по крайней мере прожилки, цветные полосы, отмечающие в некоторых горных породах, в некоторых мраморах различное происхождение, различный возраст, различную «формацию».

Конечно, с приближением утра окончательно рассеивалась краткая неуверенность моего пробуждения. Я знал, в какой комнате нахожусь я в действительности, я восстановил ее вокруг себя в темноте, восстановил — ориентируясь на основании одной только памяти или же пользуясь в качестве опорного пункта полоской бледного света, под которой я поместил оконные занавески, — всю целиком, а также меблировал, как сделали бы это архитектор и обойщик, сохраняя первоначальное расположение окон и дверей, поставил на обычно занимаемые ими места зеркала и комод. Но едва только дневной свет, — а не отблеск последних умирающих угольков на медном пруте для портьеры, ошибочно принятый мной за дневной свет, — чертил в темноте, словно куском мела по черной доске, свою первую белую исправляющую линию, как тотчас окно со своими занавесками покидало четырехугольник двери, где я ошибочно расположил его, и в то же время, чтобы дать ему место, письменный стол, неудачно поставленный моей памятью там, где должно было находиться окно, убегал во всю мочь, увлекая с собою камин и убирая стену, отделявшую мою комнату от коридора; двор моего дома воцарялся на месте, где еще мгновение тому назад была расположена моя туалетная, и жилище, построенное мною в потемках, подвергалось участи всех других жилищ, на мгновение представших моему сознанию в вихре пробуждения: оно обращалось в бегство этой бледной полоской, проведенной над занавесками перстом занимавшегося дня.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЮБОВЬ СВАНА

Чтобы быть допущенным в «кружок», в «кучку», в «маленький клан» Вердюренов, одно условие было достаточно, но оно было необходимо: требовалось молчаливо принять символ веры, одним из членов которого было признание, что молодой пианист, которому в том году покровительствовала г-жа Вердюрен и о котором она говорила: «Положительно, нельзя допустить, чтобы кто-нибудь мог этак сыграть Вагнера!» — «затмевает» и Планте и Рубинштейна и что доктор Котар более блестящий диагност, чем Потен. Всякий «новобранец», которого Вердюрены не могли убедить, что вечера лиц, не бывающих у них, скучны как ненастье, немедленно подвергался изгнанию. Так как женщины бывали в этом отношении строптивее мужчин и не соглашались безропотно отказываться от суетного любопытства и желания самостоятельно осведомляться, что делается в других салонах, и так как, с другой стороны, Вердюрены чувствовали, что этот дух пытливости и этот демон суетности могут заразить других и оказаться роковыми для ортодоксии маленькой церкви, то они были вынуждены изгнать, одну за другой, всех «верных» женского пола.

Если не считать молодой жены доктора, то прекрасный пол представлен был в том году почти исключительно (несмотря на то, что сама г-жа Вердюрен была особа вполне добродетельная и происходила из почтенной буржуазной семьи, очень богатой и совершенно безвестной, с которой она мало-помалу по собственному почину прервала всякие сношения) молодой женщиной почти что из полусвета, г-жой де Креси, которую г-жа Вердюрен называла по имени, Одеттой, и заявляла, что она «прелесть», и теткой пианиста, выглядевшей как бывшая привратница: особами, совершенно не знавшими света, которых, благодаря их простоте душевной, весьма легко было убедить, что княгиня де Саган и герцогиня Германтская вынуждены платить большие деньги несчастным гостям, иначе на их званые обеды никто бы не ходил; поэтому, если бы кто-нибудь предложил им достать приглашение к двум этим великосветским дамам, то прежняя привратница и кокотка с презрением отвергли бы такое предложение.

Вердюрены не приглашали к обеду: каждый из членов «кучки» знал, что для него приготовлен прибор. (Вечера не имели определенной программы. Молодой пианист играл, но только в том случае, если «был в настроении», ибо никого ни к чему не принуждали, и, как говорил г-н Вердюрен: «Мы все здесь друзья. Да здравствуют товарищеские отношения!» Если пианист хотел играть «Полет Валкирий» или Вступление к «Тристану», г-жа Вердюрен протестовала не потому, что эта музыка не нравилась ей, но, напротив, потому, что она производила на нее слишком сильное впечатление. «Значит, вы хотите, чтобы у меня была мигрень? Вы отлично знаете, что я всегда бываю больна, если он играет эти вещи. Я знаю, что меня ожидает потом! Завтра, когда я захочу встать, — нет, благодарю покорно!» Если пианист не играл, то завязывался разговор, и один из друзей, чаще всего художник, бывший у них в фаворе в том году, «отпускал», как говорил г-н Вердюрен, «какую-нибудь этакую пикантную штучку, заставлявшую всех покатываться со смеху», особенно г-жу Вердюрен, которой — так прочно укоренилась у нее привычка употреблять в буквальном смысле образные выражения переживаемых ею эмоций — доктор Котар, только еще начинавший практику в то время, должен был однажды вправить челюсть, вывихнутую от неумеренного смеха.

Фрак был запрещен, так как гости Вердюренов были среди «приятелей» и не хотели походить на «скучных людей», от которых они сторонились как от чумы; их приглашали только на большие вечера, даваемые по возможности реже и только в тех случаях, если они могли развлечь художника или упрочить репутацию музыканта. В остальное время довольствовались игрой в шарады, костюмированными ужинами, но среди своих, не вводя никого чужого в «кружок».

Но, по мере того как «приятели» занимали все больше и больше места в жизни г-жи Вердюрен, скучным и достойным порицания становилось все то, что удерживало друзей вдали от нее, что мешало им иногда быть свободными: мать одного из них, профессия другого, дача или нездоровье третьего. Если доктор Котар считал своим долгом встать из-за стола, чтобы возвратиться к какому-нибудь серьезно больному пациенту, — «Кто знает, — говорила ему г-жа Вердюрен, — может быть, для него будет гораздо лучше, если вы не станете беспокоить его сегодня вечером; он отлично поспит без вас; завтра рано утречком вы навестите его и найдете совсем выздоровевшим». С самого начала декабря она делалась больна от мысли, что «верные» изменят ей в день Рождества и Нового года. Тетка пианиста требовала, чтобы он шел с нею в этот день на семейный обед к ее матери.

— Неужели вы думаете, что ваша матушка умрет, — в сердцах восклицала г-жа Вердюрен, — если вы не пообедаете с нею в день Нового года, как в п_р_о_в_и_н_ц_и_и!

Ее беспокойство возобновлялось на страстной неделе:

— Вы, доктор, — ученый, умный человек; вы, понятно, придете в страстную пятницу, как во всякий другой день, — сказала она Котару в первый год существования «кружка» таким уверенным тоном, словно не могла сомневаться в ответе. Но она дрожала в ожидании его, ибо, если бы он не пришел, она рисковала бы обедать в одиночестве.

— Я приду в страстную пятницу… попрощаться с вами, потому что мы собираемся провести праздники в Оверни.

— В Оверни? Чтобы отдать себя на съедение блохам и вшам? Большое же благодеяние окажете вы им!

Затем, помолчав немного:

— Вы бы, по крайней мере, сказали об этом нам раньше, мы постарались бы организовать дело и поехали бы туда вместе, с удобствами.

Равным образом, если у кого-нибудь из «верных» был друг или у одной из постоянных посетительниц — поклонник, способный заставить их «увильнуть» от вечера, то Вердюрены, которых нисколько не пугало то, что женщина имеет любовника, лишь бы только он был у них на виду, она находилась с ним в их обществе и не предпочитала им его, говорили: «Отлично, приведите сюда вашего друга». И его подвергали испытанию, чтобы выяснить, способен ли он не иметь секретов от г-жи Вердюрен и может ли быть принят в «маленький клан». Если он оказывался негодным, то «верного», познакомившего их с ним, отводили в сторонку и оказывали ему услугу, ссоря его с другом или с любовницей. Если же «новенький» выдерживал испытание, то, в свою очередь, становился «верным». Вот почему, когда в том году дама из полусвета сказала г-ну Вердюрену, что она познакомилась с одним очаровательным человеком, г-ном Сваном, и дала понять, что он был бы очень рад быть принятым у них, то г-н Вердюрен тут же передал ее пожелание своей жене. (Он никогда не высказывал своего мнения, не выслушав предварительно жену: его специальной ролью было приводить в исполнение женины желания, а также желания всех вообще «верных», в чем он проявлял огромную изобретательность.)

— Дорогая моя, г-жа де Креси хочет обратиться к тебе с просьбой. Она желала бы представить тебе одного из своих друзей, г-на Свана. Что ты скажешь по этому поводу?

— Ну разве можно отказать в чем-нибудь такому совершенству, как она? Молчите, никто не спрашивает вашего мнения. Говорю вам, что вы — совершенство.

— Если вам угодно, — ответила Одетта изысканно-вежливым тоном, и прибавила: — Вы знаете: I’m not fishing for compliments.

— Прекрасно! Приведите вашего друга, если он мил.

Конечно, «кружок» был совершенно чужд обществу, в котором вращался Сван, и настоящие светские люди нашли бы, что человеку, занимавшему в аристократических кругах такое исключительное положение, едва ли стоит добиваться чести быть принятым у Вердюренов. Но Сван настолько любил женщин, что, познакомившись почти со всеми представительницами аристократии, узнав от них все, чему они могли научить его, он стал смотреть на рекомендательные письма, почти что жалованные грамоты, выданные ему Сен-Жерменским предместьем, только как на своего рода меновую ценность, кредитив, сам по себе ничего не стоивший, но позволявший ему импровизировать видное положение в какой-нибудь провинциальной дыре или глухом парижском квартале, где привлекла его внимание хорошенькая дочка местного дворянчика или секретаря суда. Ибо желание или любовь оживляли в нем в те времена чувство тщеславия, от которого он вовсе освободился в повседневной жизни (хотя, несомненно, это самое чувство некогда побудило его избрать себе карьеру светского человека, в которой он расточил свои дарования на суетные удовольствия и огромную свою эрудицию в вопросах искусства представил к услугам светских дам, советуя им, какие купить картины и как обставить их особняки); это тщеславие наполняло его желанием блеснуть в глазах какой-нибудь пленившей его безвестной красотки элегантностью, которой одна фамилия Сван не способна была сообщить ему. С особенной силой возникало у него это желание, если безвестная красотка была из низших кругов. Умный человек не боится показаться глупцом другому умному человеку; так и человек элегантный страшится увидеть непризнание своей элегантности не со стороны вельможи, а со стороны деревенщины. Три четверти ухищрений, три четверти лжи, продиктованной тщеславием и расточенной с тех пор как существует мир, людьми, достоинство которых она лишь умалила, было расточено ими перед низшими классами. И Сван, простой и естественный в обращении с герцогиней, трепетал перед ее горничной, позировал перед ней, боясь, как бы она не отнеслась к нему пренебрежительно.

Он не принадлежал к числу людей, которые, вследствие ли лени, или же безропотно покоряясь возлагаемой на них социальным положением обязанности всю жизнь свою оставаться пришвартованными к определенному берегу, воздерживаются от удовольствий за пределами того круга, где они вращаются до самой своей смерти, и в заключение доходят до того, что, привыкнув, называют удовольствиями, за неимением лучших, посредственные развлечения и терпимую скуку, предлагаемые им их мирком. Сван не делал попыток находить хорошенькими женщин, с которыми проводил время, но старался проводить время с женщинами, которых нашел хорошенькими. И часто это были женщины довольно низкопробной красоты, ибо физические качества, бессознательно привлекавшие его, составляли полную противоположность тем качествам, которыми он так восхищался в женских портретах или бюстах, исполненных его любимыми художниками. Глубокий взгляд или меланхолическое выражение на лице женщины замораживали его чувства, тогда как, напротив, здоровое, изобильное и розовое тело сразу же воспламеняло его.

Если во время путешествия он встречал семейство, с которым ему, с точки зрения этикета, не следовало бы заводить знакомство, но в котором глаза его замечали женщину, украшенную еще неведомой для него прелестью, то оставаться замкнутым в своем мирке и обманув возбужденное ею желание, заменить наслаждение, которое он мог бы познать с нею, другим наслаждением, пригласив к себе письмом одну из своих прежних любовниц, показалось бы ему такой же трусостью перед жизнью, таким же нелепым отказом от нового вида счастья, как если бы, вместо посещения страны, где он был, он уединился в свою комнату и стал любоваться видами Парижа. Он не замыкался в солидно построенном здании своих общественных отношений, но сделал из них, так, чтобы ее можно было сызнова разбивать всюду, где он встречал приглянувшуюся ему женщину, как бы разборную палатку, вроде тех, что носят с собой исследователи новых стран. Все, что в этих отношениях не поддавалось переноске или обмену на еще не испытанное наслаждение, выбрасывалось им как вещь, не имеющая цены, как бы ни была она завидна в глазах других. Сколько раз влияние, которым он пользовался у какой-нибудь герцогини, желавшей сделать ему что-нибудь приятное, но годами не встречавшей для этого подходящего повода, — сколько раз Сван сразу утрачивал его, обратившись к ней, в необдуманно составленном письме, с просьбой прислать по телеграфу рекомендацию, позволявшую ему сразу же завязать знакомство с одним из ее управляющих, дочь которого привлекла его внимание во время пребывания в деревне, вроде того, как изголодавшийся человек променял бы бриллиант на краюху хлеба. Даже сознав свою оплошность, он смеялся над собой, ибо ему присуща была, искупаемая редкой утонченностью и деликатностью, некоторая доза грубоватости. Кроме того, он принадлежал к той категории умных людей, проживших в праздности, которые ищут утешения и, может быть, даже извинения в мысли, что эта праздность дает их уму объекты столь же достойные внимания, как и те, что могли бы дать им занятия искусствами или наукой, и что ж_и_з_н_ь содержит в себе более интересные и более романические положения, чем все когда-либо написанные романы. Так, по крайней мере, уверял он и без труда убеждал в этом самых утонченных своих друзей из аристократического общества, особенно барона де Шарлюса, которого он любил забавлять рассказами о своих пикантных приключениях: то, встретившись в поезде с женщиной и увезя ее затем к себе, он внезапно обнаруживал, что она была сестрой государя, в руках которого сосредоточивались в тот момент все нити европейской политики, так что Сван оказывался в курсе этой политики весьма приятным для себя образом, то, в силу сложной игры обстоятельств, от предстоящего избрания папы на конклаве зависело, удастся ему или не удастся сделаться любовником одной кухарки.

Впрочем, не одну только блестящую фалангу добродетельных вдов, генералов, академиков, с которыми он был особенно близок, Сван так цинично заставлял играть роль сводников. Все его друзья привыкли получать время от времени письма, в которых просьба рекомендовать или познакомить его была выражена им с дипломатическим искусством; особенность эта, оставаясь неизменной во всех его последовательных увлечениях и при весьма различных обстоятельствах, выдавала явственнее, чем это сделали бы самые грубые его оплошности, некоторую устойчивую черту его характера и тожественность преследуемых им целей. Много лет спустя, начав интересоваться его характером вследствие обнаружившегося в нем сходства, в совсем других отношениях, с моим собственным, я часто просил рассказать мне о том, как дедушка (который не был еще в те времена дедушкой, потому что лишь приблизительно в год моего рождения началось большое «увлечение» Свана, надолго прервавшее описываемые здесь его приемы), взглянув на полученное письмо и узнав на конверте почерк своего друга, восклицал: «Эге, Сван обращается с какой-то просьбой: будем на страже!» И вследствие ли недоверия, или же благодаря бессознательному дьявольскому чувству, побуждающему нас предлагать вещь только тем людям, которые ее не желают, мои родные самым решительным образом отклоняли его просьбы, даже в тех случаях, когда удовлетворить их не стоило им никакого труда, например просьбу познакомить его с барышней, обедавшей у нас по воскресеньям; каждый раз, когда Сван заводил о ней речь, дедушка и бабушка делали вид, будто больше ее не встречают, между тем как всю неделю они ломали голову, кого бы им пригласить к обеду вместе с нею, причем часто так никого и не находили, совсем позабыв, что стоит им сделать Свану знак, и тот, осчастливленный, прилетит к ним.

Иногда какая-нибудь дружественная моим дедушке и бабушке супружеская чета, жаловавшаяся, что Сван совсем забыл ее, с удовлетворением и даже, может быть, с некоторым желанием возбудить зависть, сообщала, что он стал вдруг необычайно внимательным к ним, что он сама предупредительность, что он ни на минуту не покидает супругов. Дедушка не хотел омрачать их удовольствие, но бросал лукавый взгляд на бабушку и тихонько напевал:

Что здесь за тайна?

Мне никак не понять, —

или:

Мимолетное виденье…--

или:

В делах такого рода

Мне лучше быть слепым.

Если несколько месяцев спустя дедушка спрашивал нового друга Свана: «Как поживает Сван? По-прежнему вы часто видаетесь с ним?» — лицо его собеседника вытягивалось: «Никогда не произносите его имени в моем присутствии!» — «А я думал, что вы большие друзья…» Он сделался, таким образом, завсегдатаем у двоюродного брата моей бабушки, обедая у него почти каждый день. Вдруг, без всякого предупреждения, он перестал появляться. Тот предположил, что он заболел, и хозяйка дома собиралась уже послать горничную осведомиться о его здоровье, но в это время она нашла в буфетной писанное его рукою письмо, по оплошности оставленное кухаркой в расходной книге, Там Сван сообщал кухарке, что уезжает из Парижа и не может больше бывать в доме ее хозяев. Кухарка была его любовницей, и в момент разрыва он счел необходимым уведомить об этом ее одну.

Но если его очередная любовница была, напротив, светской дамой или, по крайней мере, женщиной, чье происхождение было не настолько низкое и общественное положение не настолько шаткое, чтобы он не мог добиться для нее доступа в «свет», то ради нее он возвращался туда, но исключительно в ту орбиту, где двигалась она или куда он ее увлек. «Бесполезно рассчитывать на Свана сегодня вечером, — говорили его знакомые, — вы ведь знаете, по пятницам бывает в опере его американка». Он доставал для нее приглашения в наиболее труднодоступные салоны, в дома, куда сам он приходил еженедельно в определенные дни обедать или играть в покер; каждый вечер, слегка взбив свои жесткие рыжие волосы, что несколько смягчало живость взгляда его зеленых глаз, он выбирал цветок для бутоньерки и отправлялся на свидание со своей любовницей в доме одной из дам его круга; и тогда, наглядно представив себе восхищение и заверения в дружбе, которые великосветские франты, изо всех сил старавшиеся подражать ему и находившиеся в этот момент в гостиной, куда он шел, будут расточать ему в присутствии любимой им женщины, он вновь находил обаяние в суетной светской жизни, которою был пресыщен, но вещество которой, пронизанное и окрашенное в горячие тона введенным им в него ярко горевшим пламенем, казалось ему драгоценным и прекрасным после приобщения к нему его новой любви.

Но если каждая из этих связей или каждый из этих флиртов являлись более или менее полным осуществлением мечты, рожденной видом какого-нибудь лица или тела, которые Сван невольно, не делая над собой усилия, нашел очаровательными, то дело обстояло совсем иначе, когда раз в театре он был представлен Одетте де Креси одним старым своим другом, еще раньше говорившим ему о ней как о женщине премилой, с которой он в состоянии будет, может быть, кой-чего достигнуть, но изобразившим ее более недоступной, чем она была в действительности, чтобы преувеличить таким образом в глазах Свана размеры своей любезности. Конечно, она показалась Свану не лишенной красоты, но к типу ее красоты он был равнодушен, красота этого типа не пробуждала в нем никакого желания и даже, пожалуй, вызывала нечто вроде физического отвращения, — показалась женщиной из числа тех (у каждого из нас есть свой тип женщин, и у каждого он различен), что являются противоположностью типа, которого требуют наши чувства. Профиль ее был слишком резко очерчен, кожа слишком нежная, скулы слишком выдающиеся, черты лица слишком вытянутые, чтобы ему понравиться. Глаза Одетты были красивы, но так велики, что, казалось, изнемогали от собственной тяжести, утомляли ее лицо и всегда сообщали ей такой вид, точно она чувствовала себя нехорошо или была в дурном настроении. Через несколько времени после этого знакомства в театре она прислала Свану письмо, в котором просила разрешить ей взглянуть на его коллекции, так интересующие ее, «невежественную женщину, питающую слабость к красивым вещам», говоря, что она лучше узнает его, когда увидит его «in his home», где она представляла себе его «в уютной комнате, за чаем, с книгами», хотя и не могла скрыть своего удивления тем, что он жил в этом квартале, таком, должно быть, мрачном и «недостаточно s_m_a_r_t для такого элегантного человека». И когда он пригласил ее к себе, она, прощаясь, выразила сожаление, что провела так мало времени в доме, куда она была счастлива войти, говорила о Сване как о человеке, бывшем для нее чем-то большим, чем другие ее знакомые, и как будто устанавливая между их личностями нечто вроде романической связи, что вызвало на лице его улыбку. Но в возрасте, к которому приближался Сван, когда человек бывает уже несколько разочарован и умеет довольствоваться приятным чувством, доставляемым ему состоянием влюбленности, не предъявляя слишком больших требований по части ответного чувства, это сближение сердец пусть даже не является, как в пору ранней юности, целью, к которой необходимо стремится любовь, оно остается зато соединенным с любовью столь прочной ассоциацией, что может оказаться ее причиной, если имеет место в нашей жизни раньше любви. В годы молодости мы мечтали обладать сердцем женщины, в которую были влюблены; впоследствии чувства, что мы обладаем сердцем женщины, может оказаться достаточно, чтобы мы влюбились в нее. Таким образом, в возрасте, когда будет казаться, — так как мы ищем в любви главным образом субъективного наслаждения, — что любование женской красотой должно играть в ней преобладающую роль, любовь может родиться — любовь самая плотская — при полном отсутствии предваряющего ее желания. В эту пору жизни мы уже неоднократно бывали ранены стрелами любви; любовь не развивается уже одна, подчиняясь своим собственным непонятным и роковым законам, в нашем изумленном и пассивном сердце. Мы приходим ей на помощь; мы подделываем ее при помощи наших воспоминаний, при помощи внушения. Узнав один из ее симптомов, мы призываем, мы воссоздаем остальные. Так как гимн ее полностью запечатлен в наших сердцах, то вовсе не нужно, чтобы женщина начала петь его нам с самых первых слов — полных восхищения, внушаемого нам красотой, — мы и без этого вспомним его продолжение. Пусть даже она запоет его с середины — где говорится о сближении сердец, о том, что два существа живут лишь друг для друга, — мы достаточно усвоили эту музыку, чтобы сразу же подхватить ее и начать вторить нашей партнерше с того места, где она сделает паузу. Одетта де Креси вскоре снова посетила Свана, затем визиты ее стали повторяться часто; и, несомненно, каждый из них оживлял в нем чувство разочарования, испытываемого при виде этого лица, особенности которого он немного забывал в промежутке между встречами, так что оно вдруг поражало его своей выразительностью и блеклостью, несмотря на молодость его обладательницы; когда она разговаривала с ним, Сван жалел, что большая красота ее не принадлежала к тому типу, который невольно вызывал его восхищение. Нужно, впрочем, заметить, что лицо Одетты казалось ему более худым и более резко очерченным оттого, что лоб и верхняя часть щек, эти однородные и почти плоские поверхности, были закрыты прядями волос, которые женщины начесывали тогда на лоб, завивали и напускали локонами на уши; что же касается ее удивительно сложенной фигуры, то очень трудно было воссоздать ее в целом (по причине тогдашних мод, несмотря на то, что она была одной из наилучше одевавшихся в Париже женщин), — настолько выпячивавшийся дугой вперед, словно над воображаемым животом, и резко заканчивавшийся острым углом корсаж, под которым вздувался раструб двойных юбок, придавал женщине вид существа, составленного из разнородных, плохо прилаженных друг к другу кусков; настолько складочки, оборочки, вставочки, вполне независимо, подчиняясь лишь прихоти своего рисунка или плотности материала, чертили линию, приводившую их то к бантикам, то к кружевным нашивкам, то к отвесно падавшей бахроме черного стекляруса, или же направлявшуюся вдоль планшеток корсета, но нигде не сопряг касавшуюся с живым существом, которое, смотря по тому, приближалась ли архитектура этих безделушек к формам его тела, или же, напротив, не соответствовала им, то задыхалось, то утопало в них.

Но когда Одетта покидала его, Сван с улыбкой думал о ее жалобах на то, что время будет тянуться для нее томительно до дня, когда он позволит ей снова прийти к нему; он вспоминал тревожный и робкий вид, с каким она однажды стала просить его, чтобы срок был не слишком долгий, вспоминал ее взгляд, устремленный на него с боязливой мольбой и делавший ее трогательной, в белой соломенной круглой шляпе, украшенной букетиком искусственных анютиных глазок и подвязанной под подбородком черными шелковыми лентами. «А разве вы, — сказала она ему, — не придете как-нибудь ко мне на чашку чаю?» Он сослался на неотложную работу, этюд — в действительности заброшенный им уж несколько лет тому назад — о Вермере Дельфтском. «Я понимаю, что я ни на что не способна, что я кажусь жалкой рядом с такими серьезными учеными людьми, как вы, — ответила она. — Я выглядела бы как лягушка перед ареопагом! И все же мне так хочется учиться, знать, быть посвященной. Как, должно быть, занятно рыться в старых книгах, совать нос в старые бумаги, — продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины, утверждающей, будто она только и мечтает о том, как бы заняться, не боясь выпачкать свои пальцы, какой-нибудь грязной работой, вроде стряпни, „собственноручно замешивая тесто“. — Вы будете смеяться над моим вопросом, но скажите мне, пожалуйста, этот художник, который мешает вам приехать ко мне (она имела в виду Вермера), я никогда даже не слыхала о нем, жив он еще? Можно ли видеть какие-нибудь его картины в Париже? Я хочу, составить себе представление о том, что вы любите, отгадать, что скрывается под этим высоким лбом, который столько работает, в этой голове, вечно размышляющей о глубоких вопросах, хочу иметь возможность сказать: вот о чем он думает! Какое счастье было бы помогать вам в ваших работах!» В качестве извинения он сослался на свой страх заводить новую дружбу, который он галантно назвал страхом несчастной любви. «Вы страшитесь любви? Как мне забавно слышать это: ведь я только и ищу, что любви, я отдала бы жизнь, если бы мне удалось найти ее, — сказала она таким естественным и убежденным тоном, что Сван был искренно тронут. — Вам, должно быть, пришлось страдать от какой-нибудь женщины. И вы решили, что все другие такие же, как она. Она была не способна вас понять: вы так непохожи на других мужчин. Это как раз и понравилось мне в вас с самого начала; я сразу же почувствовала, что вы не такой, как все». — «Да и вы ведь сами тоже, — перебил он ее, — я хорошо знаю, что такое женщины; у вас, должно быть, куча дела, нет ни минуты свободной». — «Я? Что вы? Мне решительно нечего делать; я всегда свободна и всегда буду свободна для вас Если бы вам захотелось увидеть меня, пошлите за мной в любой час дня или ночи, и я буду счастлива примчаться к вам. Сделаете вы так? Вы были бы очень милы, если бы согласились исполнить одно мое желание: позволили мне представить вас г-же Вердюрен, к которой я хожу каждый вечер. Как это было бы хорошо! Я встречала бы вас там и думала бы, что немножко ради меня вы туда пришли».

И, несомненно, вспоминая таким образом разговоры с нею, думая о ней в одиночестве, Сван лишь помещал, в романических мечтах своих, ее образ среди бесчисленных других женских образов, но если бы, благодаря какому-нибудь случайному обстоятельству (или даже, может быть, без его помощи, и обстоятельство, представившееся в момент, когда скрытое до той поры состояние дает себя почувствовать, может вовсе не оказать на него влияния), образ Одетты де Креси всецело поглотил его мечты, если бы воспоминание о ней стало неотделимым от этих мечтаний, то ее физические несовершенства утратили бы всякое значение, как утратило бы значение и большее или меньшее соответствие ее тела, по сравнению с каким-либо другим телом, вкусу Свана: ибо, став телом любимой женщины, отныне оно одно было бы способно причинять ему радости и терзания.

Случилось так, что мой дедушка хорошо знал — чего нельзя было бы сказать ни о ком из их теперешних знакомых — семью этих Вердюренов. Но он давно уже прервал всякие сношения с тем, кого он называл «молодым Вердюреном», считая его (благодаря слишком грубому обобщению получаемых о нем сведений) человеком, окончательно погрузившимся в мир богемы и разного сброда, хотя и сохранившим при этом свои миллионы. Однажды он получил письмо от Свана, в котором тот спрашивал дедушку, не может ли он познакомить его с Вердюренами. «Будем на страже! Будем на страже! — воскликнул дедушка. — Это ничуть не удивляет меня; именно так должен был кончить Сван. Хорошенькое общество! Я не могу исполнить его просьбу прежде всего потому, что я не знаком больше с этим господином. Кроме того, тут, вероятно, замешана женщина, а я предпочитаю держаться в стороне от таких дел. Да, занятное у нас будет развлечение, если Сван станет бегать к маленьким Вердюренам!»

После отрицательного ответа дедушки сама Одетта ввела Свана к Вердюренам.

В день первого появления Свана на обеде у Вердюренов были: доктор Котар с супругой, молодой пианист с теткой и художник, пользовавшийся тогда их благосклонностью; вечером к этим лицам присоединилось еще несколько «верных».

Доктор Котар никогда не был уверен, каким тоном следует отвечать собеседнику, никогда не знал в точности, шутит ли тот или говорит серьезно. Поэтому на всякий случай он сопровождал выражение своего лица предупредительной условной улыбкой, выжидательная утонченность которой освобождала бы его от упрека в наивности, если бы оказалось, что обращенное к нему замечание носит шуточный характер. Но поскольку он должен был считаться также и с противоположной возможностью, то не решался позволить этой улыбке отчетливо утвердиться на своем лице, так что на нем вечно блуждала неуверенность, в которой можно было прочесть вопрос (он не осмеливался задавать его открыто): «Вы действительно так думаете?» Не больше уверенности было у него относительно того, как ему следует держаться на улице и даже вообще в жизни; часто можно было видеть, как он встречает прохожих, экипажи, происшествия с лукавой улыбкой, которая освобождала его от всякого упрека в неуклюжести, так как доказывала, если поведение его было не соответствовавшим обстановке, что он прекрасно сознает это и совершил смешной поступок исключительно ради шутки.

Во всех тех случаях, однако, когда откровенный вопрос казался ему позволительным, доктор усердно старался ограничить поле своих сомнений и пополнить свое образование.

Вот почему, следуя совету, который дан был ему предусмотрительной матерью, когда он покидал свою провинцию, Котар никогда не пропускал неизвестного ему выражения или собственного имени, не постаравшись собрать о них самые точные справки.

Что касается образных выражений, то он был ненасытен по части должного осведомления, часто предполагая в них более определенный смысл, чем они имеют в действительности; он хотел бы знать, что, собственно, означают те из них, которые ему приходилось слышать чаще всего: «дьявольская красота», «голубая кровь», «жизнь кота с собакой», «четверть часа Рабле», «законодатель вкуса», «дать carte blanche», «быть поставленным в тупик» и т. п.; и в каких определенных случаях он сам мог бы употреблять их в своем разговоре. За неимением их он уснащал свою речь зазубренными примерами игры слов. Что касается произносимых в его присутствии имен неизвестных ему лиц, то он ограничивался тем, что повторял их вопросительным тоном, считая, что этого достаточно для получения разъяснений, которых он не спрашивал открыто.

Так как, несмотря на свое убеждение, что он ко всему относится критически, Котар в действительности был вовсе лишен критических способностей, то утонченная вежливость, заключающаяся в том, что, делая кому-нибудь одолжение, мы уверяем (нисколько не желая, чтобы этому поверили), что, напротив, нам сделано одолжение, — вежливость этого рода была пропащим делом по отношению к Котару, ибо каждое услышанное слово он понимал в буквальном смысле. Как ни было велико ослепление г-жи Вердюрен доктором Котаром, она все же, по-прежнему продолжая находить его человеком изысканно-тонким, в заключение стала раздражаться, когда, пригласив его в литерную ложу посмотреть Сару Бернар и для большей любезности обратившись к нему: «Вы очень милы, доктор, что пришли, тем более что, я уверена, вы уже много раз видели Сару Бернар; к тому же мы, пожалуй, слишком близко от сцены», — она слышала от доктора Котара, входившего в ложу с улыбкой, ожидавшей, чтобы обозначиться с большей определенностью или исчезнуть, чьего-нибудь авторитетного осведомления относительно важности спектакля, следующий ответ: «В самом деле, мы находимся слишком близко от сцены, и Сара Бернар начинает уже утомлять. Но вы выразили желание, чтобы я пришел. Ваши желания для меня приказы. Я бесконечно рад оказать вам эту маленькую услугу. Чего только я не сделал бы для доставления вам удовольствия, вы так добры. — И он продолжал: — Сара Бернар, — ее называют Золотым Голосом, не правда ли? Часто пишут также, что под ней пол горит. Странное выражение, не правда ли?» — в надежде услышать комментарии, но их не последовало.

«Знаешь ли, — сказала г-жа Вердюрен мужу, — мне кажется, мы совершаем ложный шаг, обесценивая из скромности то, что мы предлагаем доктору, это — *ученый*, витающий за пределами практической жизни; он ничего не смыслит в ценности вещей и свято принимает на веру все, что мы ему говорим». — «Я не решался сказать тебе, но и я это заметил», — отвечал г-н Вердюрен. И в день ближайшего Нового года, вместо поднесения доктору Котару рубина в три тысячи франков, словно ничего не стоящей безделушки, г-н Вердюрен купил за триста франков искусственный камень и, даря его доктору, дал понять, что вряд ли можно найти другой столь же красивый бриллиант.

Когда г-жа Вердюрен объявила, что на вечере будет г-н Сван, — «Сван?» — воскликнул доктор грубым от изумления тоном, потому что малейшая новость захватывала врасплох этого человека, всегда считавшего себя приготовленным ко всякой неожиданности. И, видя, что никто не отвечает ему: «Сван? Кто такой этот Сван?» — чуть ли не проревел он вне себя от беспокойства, которое тотчас утихло, когда г-жа Вердюрен объяснила: «Неужели вы не знаете? Это друг Одетты, о котором она говорила нам». — «Ах, да, верно, верно; прекрасно!» — проговорил сразу успокоившийся доктор. Что касается художника, то тот был в восторге от ожидаемого появления Свана у г-жи Вердюрен, так как, по его предположениям, Сван был влюблен в Одетту, а он охотно покровительствовал любовным связям. «Ничто так не забавляет меня, как устройство свадеб, — признался он на ушко доктору Котару, — мне очень везло в этом отношении, даже у женщин!»

Характеризуя Свана Вердюренам, как «smart», Одетта встревожила их: они испугались, как бы он не оказался «скучным». Однако он произвел на них отличное впечатление, одной из косвенных причин чего, хотя они этого не сознавали, были привычки, усвоенные им во время частых посещений элегантного общества. В самом деле, он обладал одним преимуществом над людьми, даже высоко культурными и умными, но никогда не посещавшими аристократических салонов, — преимуществом человека, который вращался в «свете» и поэтому не преображает его симпатией или антипатией, но рассматривает как явление, лишенное всякого значения. Любезность такого человека, вполне свободная от всякой примеси снобизма и от страха показаться чрезмерной, ставшая действительно независимой, обладает той непринужденностью и грацией движений, которой отличаются гимнасты, выполняющие гибкими своими членами как раз то, что они хотят, без ненужного и неуклюжего участия остального тела. Простые и элементарные движения светского человека, учтиво подающего руку незнакомому юноше, которого представляют ему, и сдержанно кланяющегося послу, которому его представляют, мало-помалу, совершенно бессознательно, вошли в плоть и кровь Свана, так что, очутившись среди людей низшего общественного положения, каковыми были Вердюрены и их друзья, он инстинктивно выказал внимание и предупредительность, совершил шаги, от которых, по их мнению, «скучный» воздержался бы. Некоторую холодность он проявил лишь по отношению к доктору Котару: увидя, как тот подмигивает ему и двусмысленно улыбается, еще прежде, чем они успели обменяться приветственными словами (Котар называл эту гримасу «добро пожаловать»), Сван подумал, что доктор узнал его, вероятно, по встрече в каком-нибудь увеселительном заведении, хотя он посещал эти места очень редко, так как не любил обращаться к услугам продажных женщин. Находя подобный намек свидетельством дурного вкуса, особенно в присутствии Одетты, у которой могло сложиться дурное представление о нем, он напустил на себя ледяной вид. Но когда он узнал, что дама, сидевшая рядом с доктором, была госпожа Котар, то решил, что такой юный еще муж не стал бы намекать в присутствии жены на развлечения этого рода, и перестал истолковывать мимику доктора в неприятном для себя смысле. Художник сразу же пригласил Свана посетить вместе с Одеттой его ателье, и Сван нашел его очень милым. «Может быть, вы удостоитесь большей благосклонности, чем я, — сказала г-жа Вердюрен притворно обиженным тоном, — и вам будет показан портрет Котара, — (заказанный г-жою Вердюрен художнику). — Постарайтесь же хорошенько, мэтр Бит, — напомнила она художнику, которого давно уже все в шутку называли „мэтром“, — передать это красивое выражение его глаз, эту плутовскую искорку в них. Вы ведь знаете, что больше всего мне хочется иметь его улыбку; я просила вас написать портрет его улыбки». И так как эта фраза показалась ей замечательной, то она еще раз громко повторила ее для большей уверенности в том, что она будет услышана всеми присутствующими; предварительно она нашла даже какой-то предлог теснее сомкнуть кружок своих гостей.

Сван попросил познакомить его со всеми гостями, даже с одним старым другом Вердюренов, Саньетом, который, благодаря своей робости, простодушию и доброте, повсюду лишился уважения, несмотря на то, что его познания в области палеографии, большое состояние и хорошее происхождение давали ему полное право на это уважение. Когда он говорил, во рту у него была каша, но слушать его было приятно, так как чувствовалось, что она является не столько недостатком речи, сколько душевным качеством, чем-то вроде остатка детской невинности, которую он сохранил во всей неприкосновенности. Не произносимые им согласные казались похожими на грубости, которых он не способен был совершить. Прося представить его г-ну Саньету, Сван заставил г-жу Вердюрен нарушить установившийся в доме порядок (так что в ответ та сказала ему, подчеркивая разницу: «Г-н Сван, благоволите разрешить мне представить вам нашего друга Саньета»), но вызвал у Саньета горячую признательность, о чем, впрочем, Вердюрены никогда не сообщили Свану, так как Саньет их немного раздражал и они не поощряли дружеских отношений между ним и их гостями. Но зато Сван чрезвычайно тронул их, сочтя своей обязанностью попросить, чтобы его познакомили вслед за Саньетом с теткой пианиста. Одета она была, как всегда, в черное платье, так как считала, что черный цвет всегда к лицу и одеваться в черное — верх изысканности; зато лицо у нее было багровое, как всегда после еды. Она почтительно поклонилась Свану, но затем снова величественно выпрямилась. Так как она была женщина совсем необразованная и боялась наделать ошибок по части грамматики и произношения, то нарочно произносила слова невнятно, думая, что если совершит какую-нибудь оплошность, то она растворится в окружающих звуках и слушатели не в состоянии будут с уверенностью различить ее; в результате ее речь превращалась в какое-то сплошное отхаркиванье, откуда изредка всплывали звуки и слоги, в которых она чувствовала себя уверенной. Сван подумал, что он вправе немножко подшутить над ней в разговоре с г-ном Вердюреном, но тот, напротив, был этим задет.

— Это превосходная женщина! — ответил он. — Я согласен с вами: она не ослепляет; но, уверяю вас, она бывает обаятельна, когда разговариваешь с нею один на один. — Не сомневаюсь в этом, — поспешил успокоить его Сван. — Я хотел сказать только, что она не показалась мне «выдающейся», — прибавил он, как бы ставя этот эпитет в кавычки, — и, в общем, это скорее комплимент! — Погодите-ка, — сказал Вердюрен, сейчас я изумлю вас, она пишет очаровательно. Вы никогда не слышали ее племянника? Восхитительно, не правда ли, доктор? Желаете, я попрошу его сыграть что-нибудь, господин Сван?

— Было бы счастьем…-- начал было Сван несколько выспренним тоном, но тут доктор с насмешливым видом перебил его. Где-то он слышал и запомнил, что употребление в разговоре напыщенных фраз и торжественных выражений является теперь старомодным; с тех пор, когда ему приходилось слышать какое-нибудь значительное слово, произнесенное серьезным тоном, вроде сказанного сейчас Сваном слова «счастье», он сразу же заключал, что человек, употребляющий в разговоре такие слова, тем самым выдает свою ограниченность и педантизм. И если вдобавок подобное слово входило случайно в то, что он называл избитым клише, то, как бы ни являлось оно употребительным, доктор сразу решал, что начинавшаяся им фраза была шуточной, и иронически заканчивал ее каким-нибудь шаблонным изречением, как бы приписывая своему собеседнику намерение произнести его в этом месте, тогда как тот вовсе не имел подобного намерения.

— Счастьем для Франции! — насмешливо воскликнул он, патетически воздев руки кверху.

Г-н Вердюрен не мог удержаться от смеха.

— Над чем это смеются там эти проказники? Да, в вашем уютном уголке вы не томитесь от скуки, — воскликнула г-жа Вердюрен. — Неужели вы думаете, что мне очень весело оставаться одной, точно сидя на покаянии? — промолвила она капризно-недовольным тоном, словно обиженный ребенок.

Г-жа Вердюрен сидела на высоком шведском стуле из вощеной сосны, подаренном ей одним шведским скрипачом; несмотря на то, что формой своей стул этот напоминал табурет и совсем не подходил к красивой старинной мебели, стоявшей в гостиной, она держала его на видном месте, так как считала своим долгом выставлять напоказ подарки, время от времени обыкновенно подносимые ей «верными», так, чтобы дарители при виде их могли испытать удовольствие, когда приходили к ней в гости. Она всячески старалась убедить их ограничиваться цветами и конфетами, которые, по крайней мере, обладают тем преимуществом, что их сокрушает время; но ее убеждения не имели успеха, и мало-помалу в ее доме образовалась целая коллекция грелок, подушечек, стенных часов, ширм, барометров, вазочек, — утомительно однообразных и не гармонировавших между собою бесполезных, но несокрушимых вещей.

Со своего возвышенного пункта г-жа Вердюрен принимала самое живое участие в разговоре «верных» и упивалась их «выходками», но после несчастного случая с челюстью отказалась принимать чересчур деятельное участие в общем веселье, заменив его условной мимикой, без утомления и риска для нее обозначавшей, что она хохочет до слез. При малейшем словечке, отпущенном кем-либо из завсегдатаев по адресу человека «скучного» или одного из бывших завсегдатаев, ныне изгнанного в общество «скучных», — и к вящему прискорбию г-на Вердюрена, который давно уже имел поползновение быть столь же любезным, как и жена, но, смеясь всерьез, очень быстро истощал свои силы, так что всегда бывал превзойден и побежден хитрой уловкой г-жи Вердюрен, заливавшейся притворным, но непрестанным хохотом, — она пронзительно взвизгивала, плотно зажмуривала свои птичьи глазки, которые начинало заволакивать бельмо, и поспешно, как если бы она закрывалась от какого-нибудь непристойного зрелища или отражала смертельный удар, пряча лицо в своих руках, совершенно загораживавших его от посторонних взоров и не позволявших никому видеть его выражения, притворялась, будто изо всех сил старается сдержать, подавить приступ смеха, который, дай она ему волю, довел бы ее до обморока. Так, одуревшая от смешных выходок «верных», опьяненная панибратством, злословием и всеобщим одобрением, г-жа Вердюрен подобно птице, сухарики которой смочили глинтвейном, клохтала на своем насесте от избытка дружеских чувств..

Тем временем г-н Вердюрен, попросив у Свана разрешения закурить трубку («у нас без церемонии, отношения товарищеские»), просил молодого пианиста сесть за рояль.

— Оставь его в покое, не надоедай ему, он пришел сюда не для того, чтобы его мучили, — вскричала г-жа Вердюрен, — я не хочу, чтобы его мучили, слышишь?

— Но откуда ты взяла, что мы собираемся его мучить? — сказал в ответ г-н Вердюрен. — Я уверен, что г-н Сван никогда не слышал открытой нами сонаты в фа-диез; он сыграет нам ее в аранжировке для рояля.

— Ах, нет, нет, ради Бога, не надо моей сонаты, — застонала г-жа Вердюрен, — я вовсе не желаю, чтобы меня заставили реветь до насморка и лицевой невралгии, как это случилось последний раз; премного вам благодарна, я вовсе не хочу, чтобы у меня повторилась вся эта музыка; вам, конечно, полгоря; видно, что никому из вас не придется неделю лежать в постели!

Эта маленькая сцена, возобновлявшаяся каждый раз, когда пианист собирался сесть за рояль, неизменно приводила в восторг друзей, словно они видели ее впервые; она как бы являлась доказательством пленительной оригинальности «хозяйки» и ее крайней музыкальной чувствительности. Сидевшие поблизости от нее делали знак курившим или игравшим в карты в другом конце комнаты подойти поближе, кричали: «Слушайте, слушайте!» — как это принято во время парламентских прений в моменты, когда оратор, произносит вещи, заслуживающие внимания. И на другой день гости жалели тех, кто не мог быть накануне у Вердюренов, уверяя их, что сцена была забавнее, чем когда-либо.

— Ладно; решено, — заявил г-н Вердюрен, — он сыграет только a_n_d_a_n_t_e.

— Только a_n_d_a_n_t_e, вот тоже сказал! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Ведь именно a_n_d_a_n_t_e разбивает меня всю. Наш хозяин поистине бесподобен. Это все равно, как если бы по поводу «Девятой» он сказал: мы услышим только финал или только увертюру «Мейстерзингеров»!

Однако доктор стал упрашивать г-жу Вердюрен разрешить пианисту поиграть не потому, что считал притворными ее жалобы на болезненное действие, оказываемое на нее музыкой, — он признавал существование некоторых неврастенических состояний, — но в силу свойственной многим врачам привычки сразу смягчать строгость своих предписаний, как только подвергается опасности, — вещь, представляющаяся им гораздо более важной, чем здоровье пациентов, — успех светского собрания, где они участвуют и где руководящую роль играет лицо, которому они советуют забыть на один вечер о своем пищеварении или о своем гриппе.

— На этот раз вы не будете больны, вот увидите, — сказал он, стараясь одновременно загипнотизировать ее взглядом. — А если заболеете, мы вас вылечим.

— Правда? — ответила г-жа Вердюрен таким тоном, как если бы, в надежде на столь великие милости, ей не оставалось ничего другого, как только сдаться. А может быть также, заявив о пугавшей ее перспективе стать больной, она привела себя в такое состояние, в котором перестала сознавать, что разыгрывает маленькую комедию, и совершенно искренно стала смотреть на вещи с точки зрения больной. В самом деле, часто можно наблюдать, как больные, утомленные необходимостью вечно держать в зависимости от своего благоразумия количество и остроту припадков своей болезни, охотно отдаются во власть мысли, что они могут безнаказанно делать все, что им нравится (и за что они обыкновенно платятся впоследствии обострением страданий), если только вверят себя попечению некоего могущественного существа, которое, не требуя никакого усилия с их стороны, способно будет одним своим словом или какими-нибудь пилюлями снова поставить их на ноги.

Одетта направилась к ковровому дивану, стоявшему возле рояля.

— Я сяду на свое уютное местечко, — сказала она г-же Вердюрен.

Последняя, увидя, что Сван сидит на стуле, заставила его встать:

— Вам там неудобно; садитесь рядом с Одеттой; вы ведь дадите, Одетта, местечко подле себя г-ну Свану?

— Какой прелестный б_о_в_э! — сказал Сван, любуясь диваном, перед тем как сесть на него; он желал быть любезным.

— Я очень довольна, что вы оценили по достоинству мой диван, — отвечала г-жа Вердюрен. — И я предупреждаю вас, что если вы рассчитываете увидеть когда-нибудь другой диван такого же качества, то вы должны отказаться от этой надежды. Никогда не было сделано ничего похожего! Эти стулья тоже чудеса искусства. Потом вы внимательнее их осмотрите. Каждое бронзовое украшение соответствует сюжету, изображенному на сиденье стула; вместе с развлечением вы почерпнете также поучение, если соблаговолите все Это рассмотреть: вы будете в восторге, ручаюсь вам. Взгляните на этот бордюрчик по краям, вот здесь, этот виноград на красном фоне в соответствии с рисунком «Медведь и виноград». Каков рисунок! Что вы скажете по этому поводу? Да, я думаю, они понимали толк в рисованье! Разве у вас не текут слюнки при виде этого винограда? Мой муж заявляет, будто я не люблю фруктов, потому что я ем их меньше, чем он. Неправда, я большая лакомка, чем все вы, но я не ощущаю потребности класть их в рот, раз я могу пожирать их глазами. Что это все вы смеетесь? Спросите доктора, — он скажет вам, что эти гроздья действуют на меня как настоящее слабительное. Иные ездят лечиться в Фонтенебло, я же прохожу свой маленький курс в Бовэ. Вы непременно должны будете потрогать эти бронзовые украшения на спинках, г-н Сван. Какая гладкая поверхность, разве можно подумать, что это металл? Нет, нет, не всей рукой, а вот так!

— Ну, если г-жа Вердюрен начала заниматься бронзой, так нам не придется услышать музыки сегодня вечером, — сказал художник.

— Замолчите, грубиян! В сущности, — сказала она, обращаясь к Свану, — нам, бедным женщинам, запрещены наслаждения гораздо менее соблазнительные, чем эти. Ни одно тело в мире не сравнится по нежности с этой бронзой. Ни одно! Когда г-н Вердюрен удостаивал меня чести, устраивая мне сцены ревности… послушай, будь, по крайней мере, вежлив; не говори, что ты никогда не устраивал мне…

— Но, дорогая, я не произнес решительно ни одного слова. Доктор, я беру вас в свидетели: разве я сказал хотя бы слово?

Сван из вежливости ощупывал бронзу и не решался прекратить это занятие.

— Вот что, вы поласкаете ее потом; теперь же вас самих будут ласкать, будут ласкать ваш слух; я думаю, вы любите такую ласку. Вот молодой человек, который займется этим приятным делом.

Когда пианист сыграл, Сван проявил к нему еще больше любезности, чем к другим гостям Вердюренов, по следующей причине.

В прошлом году, на одном вечере, он слышал музыкальное произведение, исполненное на рояле и скрипке. Сначала он воспринимал лишь материальное качество звуков, издаваемых инструментами. Большим наслаждением было уже и то, что под узкой ленточкой скрипичной партии, тоненькой, прочной, плотной и управлявшей движением звуков, он вдруг услышал пытавшуюся подняться кверху, в бурных всплесках, звуковую массу партии для рояля, бесформенную, нерасчлененную, однородную, повсюду сталкивавшуюся с мелодией, словно волнующаяся лиловая поверхность моря, околдованная и бемолизованная сиянием луны. Но в определенный момент, не будучи способен отчетливо различить какое-либо очертание, дать точное название тому, что нравилось ему, внезапно очарованный, он попытался запечатлеть в памяти фразу или гармонию, — он сам не знал что, — которая только что была сыграна и как-то шире раскрыла его душу, вроде того как носящийся во влажном вечернем воздухе аромат некоторых роз обладает способностью расширять наши ноздри. Быть может, незнание им музыки было причиной того, что он мог испытать столь смутное впечатление, из числа тех, которые одни только, может быть, тем не менее являются впечатлениями чисто музыкальными, не протяженными, насквозь оригинальными, несводимыми ни к каким другим впечатлениям. Впечатление этого рода в течение краткого мгновения пребывает, так сказать, sine materia. Разумеется, ноты, которые мы слышим в такие мгновения, стремятся растянуться соответственно высоте своей и длине, покрыть перед нашими глазами поверхности, большего или меньшего размера, начертать причудливые арабески, дать нам ощущение ширины или тонины, устойчивости или прихотливости. Но ноты исчезли прежде, чем эти ощущения успели принять достаточно определенную форму, так, чтобы не потонуть в ощущениях, уже пробуждаемых в нас нотами последующими или даже одновременными. И эта неотчетливость продолжала бы обволакивать своей расплывчатостью и своей текучестью едва уловимые мотивы, по временам всплывающие из нее и тотчас вновь тонущие, исчезающие, распознаваемые только по своеобразному удовольствию, которое они дают, не поддающиеся описанию, воспроизведению, наименованию, несказанные, — если бы память, словно рабочий, трудящийся над возведением прочных устоев среди бушующих волн, не позволяла нам, изготовляя отпечатки этих мимолетных фраз, сравнивать их с последующими фразами и отличать от них. Вот почему, едва только сладостное ощущение, испытанное Сваном, угасало, как память уже снабжала его копией услышанной фразы, правда, упрощенной и несовершенной, но все же предстоявшей его взору в то время, как игра продолжалась, так что, когда прежнее впечатление вдруг возвращалось, оно не было больше неуловимым. Сван представлял себе его протяжение, симметричное построение, его начертание, степень его выразительности; перед ним была вещь, являвшаяся уже не чистой музыкой, но, скорее, рисунком, архитектурой, мыслью, и лишь позволявшая припоминать подлинную музыку. На этот раз он отчетливо различил фразу, вынырнувшую на несколько мгновений из звуковых волн. Она сразу же наполнила его своеобразным наслаждением, о котором, до того как услышать ее, он не имел никакого понятия, с которым, он чувствовал, ничто другое, кроме этой фразы, не могло бы познакомить его, и он ощутил к ней какую-то неведомую ему раньше любовь.

Медленным ритмическим темпом она вела его, сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, к какому-то счастью — благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно-нежным, стала увлекать его к каким-то безбрежным неведомым далям. Потом она исчезла. Он страстно пожелал вновь услышать ее в третий раз. И она действительно появилась, но язык ее не сделался более понятным, и даже доставленное ею наслаждение было на этот раз менее глубоким. Но, возвратившись домой, Сван почувствовал потребность в ней, подобно мужчине, в жизнь которого мельком замеченная им на улице прохожая внесла образ новой красоты, обогативший его внутренний мир, хотя он не знает даже, удастся ли ему когда-нибудь вновь увидеть ту, кого он уже любит, но в ком все, вплоть до имени, ему неизвестно.

Эта вдруг вспыхнувшая у Свана любовь к музыкальной фразе одно время, казалось, способна была даже внести в его жизнь своего рода помолодение. Он так давно уже перестал стремиться к каким-либо идеальным целям и ограничивался лишь погоней за минутными удовольствиями, что считал уже, никогда, впрочем, не утверждая категорически, даже самому себе, что так будет продолжаться до самой его смерти. Мало этого: не ощущая больше в уме своем возвышенных идей, он перестал верить в их реальность, хотя и не мог бы безусловно отрицать ее. В результате он усвоил привычку искать прибежище в плоских мыслях, позволявших ему оставлять в стороне темы существенные. Подобно тому, как он никогда не спрашивал себя, не лучше ли ему перестать посещать салоны, но зато хорошо знал, что если им принято приглашение, то он должен показаться там, куда его пригласили, и что потом он должен либо делать визиты в этот дом, либо, по крайней мере, завозить туда свои карточки, — так и в разговоре, он всячески избегал с одушевлением высказывать свое личное мнение о вещах, взамен чего сообщал множество фактических подробностей, обладавших до известной степени самостоятельной ценностью и позволявших ему не раскрывать собственных взглядов. Он бывал изумительно точен, сообщая кулинарный рецепт, дату рождения или смерти знаменитого художника, название его произведений. Впрочем, иногда, вопреки обыкновению, он позволял себе высказать критическое суждение по поводу какого-нибудь художественного произведения или чьей-либо точки зрения на жизнь, но в таких случаях придавал своим словам иронический тон, как если бы не вполне соглашался с тем, что говорил. Но теперь — подобно определенной категории болезненных людей, у которых перемена места и обстановки, иной режим, и иногда даже самопроизвольные и таинственные органические процессы, вдруг как будто приводят к такому облегчению болезни, что они начинают серьезно считаться с возможностью, до той поры совершенно безнадежной, зажить на старости новой жизнью, в корне отличной от жизни прежней, — Сван находил в себе, вспоминая пленившую его фразу или же слушая другие сонаты, которые он просил играть ему в надежде открыть в них эту фразу, присутствие одной из тех невидимых реальностей, в которые он перестал верить и которым, как если бы музыка произвела на его давно уже бесплодную душу некоторое живительное действие, он снова чувствовал желание и почти силу посвятить свою жизнь. Но так как, несмотря на все старания, ему не удалось узнать, кто был автор слышанного им произведения, то он не мог приобрести его и в конце концов совсем позабыл о нем. Правда, в ближайшие дни он встретился с несколькими присутствовавшими вместе с ним на вечере лицами и спросил их о заинтересовавшей его сонате; но большинство этих людей либо приехало по окончании музыки, либо уехало до ее начала; некоторые, впрочем, были и во время исполнения, но сидели в другой комнате и разговаривали, да и те, что слушали, сохранили столь же смутное впечатление, как и прочие. Что же касается хозяев дома, то они знали лишь, что это было какое-то новое произведение, которое просили разрешения исполнить приглашенные ими артисты; так как эти артисты отправились вскоре после вечера в турне, то Сван так и не узнал ничего больше. У него были, правда, друзья музыканты, но, как ни живо мог он вспомнить своеобразное и непередаваемое наслаждение, доставленное ему фразой, как ни отчетливо представал его взорам нарисованный ею узор, он, однако, был совершенно не способен пропеть им ее. Через некоторое время Сван перестал о ней думать.

Но в этот вечер у г-жи Вердюрен, едва только юный пианист взял несколько аккордов и протянул в течение двух тактов одну высокую ноту, Сван вдруг увидел, как из-за длительного звучания, протянутого, слввно звуковой занавес, чтобы скрыть тайну ее рождения, появляется сокровенная, рокочущая и расчлененная фраза, — Сван узнал эту пленившую его воздушную и благоуханную фразу. Она была так своеобразна, она содержала в себе столь индивидуальную прелесть, которую ничто не могло бы заменить, что Свану показалось, будто он встретил в гостиной у друзей женщину, однажды замеченную им на улице и пленившую его, женщину, которую он отчаялся увидеть когда-нибудь вновь. Наконец фраза — руководящая, бдительная — удалилась, затерялась в струях расточенного ею благоухания, оставив на лице Свана отблеск своей улыбки. Но теперь он мог узнать имя своей незнакомки (ему сказали, что это andante из сонаты Вентейля для рояля и скрипки), он владел ею, мог снова иметь ее у себя всякий раз, когда пожелает, мог попытаться изучить ее язык и отгадать ее тайну.

Вот почему, когда пианист окончил, Сван подошел к нему и в очень горячих словах выразил ему свою признательность, что очень понравилось г-же Вердюрен.

— Какой волшебник, не правда ли, — обратилась она к Свану, — ведь хорошо чувствует свою сонату, негодяй? Предполагали ли вы, что на рояле можно достигнуть такой выразительности? Здесь было все, кроме рояля, честное слово! Каждый раз я попадаюсь; мне кажется, что я слышу оркестр. Это даже лучше оркестра, полнозвучнее.

Юный пианист поклонился и, с улыбкой подчеркивая слова, как если бы он сочинил остроту, сказал:

— Вы очень снисходительны ко мне.

И в то время как г-жа Вердюрен говорила мужу: «Принеси ему скорее стакан оранжада; он вполне заслужил его», — Сван рассказывал Одетте, как он влюбился в эту короткую фразу. Когда г-жа Вердюрен, сидевшая поодаль, сказала: «Вам, кажется, говорят очень милые вещи, Одетта?» — та ответила: «Да, очень милые», — и Сван нашел ее скромность очаровательной. Затем он стал расспрашивать о Вентейле, о его других произведениях, о времени, когда написана им эта соната, о том, что могла означать для него пленившая Свана фраза, — это значение больше всего хотелось бы знать Свану.

Но никто из присутствовавших, кичившихся своим преклонением перед этим композитором (когда Сван сказал, что его соната поистине прекрасна, г-жа Вердюрен воскликнула: «Вы совершенно правы: она прекрасна! Никто не смеет не знать Вентейля, никто не вправе не знать ее», а художник прибавил: «О, это грандиозная штука, не правда ли? Это, если угодно, не есть вещь „приятная“ и „общедоступная“, не правда ли, но она производит огромное впечатление на художников»), никто из присутствовавших никогда, казалось, не задавался этими вопросами, потому что никто из них не был способен ответить на них.

Даже на одно или два замечания Свана, сделанные им специально по поводу пленившей его фразы, — «Знаете, ведь это забавно, я никогда не обращала на нее внимания; должна сказать вам, что я не люблю рассматривать букашек под микроскопом и исследовать разные тонкости; мы не теряем здесь времени на оцеживание комаров, такое занятие не в привычках нашего дома», — ответила г-жа Вердюрен, на которую доктор Котар взирал в блаженном восторге, от души, завидуя той легкости, с которой она переносилась от одного образного выражения к другому. Впрочем, и он, и г-жа Котар с достаточным благоразумием, присущим многим людям низкого происхождения, всячески остерегались высказывать свое мнение или притворно восхищаться музыкальным произведением, которое, как они чистосердечно признавались друг другу по возвращении домой, было для них так же малопонятно, как и живопись «мэтра» Биша. Подобно всей вообще «широкой публике», умеющей разглядеть прелесть, красоту и даже внешние формы явлений природы лишь поскольку они были медленно усвоены ею при помощи изучения посредственных и банальных произведений искусства, между тем как оригинальный художник начинает с отбрасывания этих шаблонов, г-н и г-жа Котар, типичные представители этой публики, не находили ни в сонате Вентейля, ни в портретах Биша того, чем являлась для них гармоничность в музыке и красота в живописи. Когда пианист играл сонату, то им казалось, что он извлекает из рояля беспорядочную смесь звуков, которые действительно не имели ничего общего с привычными для них музыкальными формами, и что художник как попало кладет краски на свои полотна. Если на одном из этих полотен им удавалось различить какую-нибудь форму, то они всегда находили ее нарочито грубой и вульгаризованной (то есть лишенной элегантности, свойственной произведениям той школы живописи, глазами которой они видели даже проходящих мимо по улице живых людей), а также ненатуральной, словно г-н Биш не знал анатомии человеческого плеча и ему не было известно, что у женщин не бывает лиловых волос.

Однако, когда «верные» расположились по дальним углам гостиной, доктор почувствовал, что таким удобным случаем нельзя пренебрегать, и, в то время как г-жа Вердюрен говорила последнее хвалебное слово по поводу сонаты Вентейля, внезапно набравшись храбрости, подобно начинающему пловцу, бросающемуся в воду, чтобы научиться держаться на ней, но выбирающему момент, когда на него смотрит не очень много народу, выпалил:

— Не правда ли, это, как говорится, композитор d_i p_r_i_m_o c_a_r_t_e_l_l_o.

Сван узнал только, что недавно опубликованная соната Вентейля произвела большое впечатление в группе весьма передовых композиторов, но была еще совершенно неизвестна широкой публике.

— Я хорошо знаю одного господина по фамилии Вентейль, — сказал Сван, имея в виду преподавателя музыки сестер моей бабушки.

— Может быть, это он и есть! — воскликнула г-жа Вердюрен.

— О, нет! — со смехом отвечал Сван. — Если бы вы увидели его хотя бы на мгновение, вы не задали бы такого вопроса.

— Разве задать вопрос значит решить задачу? — вмешался доктор.

— Но это может быть его родственник, — продолжал Сван. — Это было бы довольно прискорбно; может ведь талантливый человек быть двоюродным братом какого-нибудь старого дурака. Если это так, то, клянусь, я готов пойти на самые жестокие муки, лишь бы только старый дурак познакомил меня с автором сонаты: прежде всего — на муку ходить в гости к старому дураку, общество которого, должно быть, ужасно.

Художник знал, что Вентейль был в этот момент серьезно болен и что доктор Потен боится, что нельзя спасти его жизнь.

— Как! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Неужели есть еще люди, обращающиеся за помощью к Потену?

— Ах, госпожа Вердюрен, — притворно-возмущенным тоном сказал Котар, — вы забываете, что говорите об одном из моих коллег, даже больше — об одном из моих учителей.

Художник слышал где-то, будто Вентейлю угрожает потеря рассудка. И он стал уверять, что признаки этого можно заметить в некоторых пассажах сонаты. Замечание это не показалось Свану нелепым, но оно смутило его; ведь произведения чистой музыки лишены той логической связности, нарушение которой в речи является свидетельством безумия; поэтому обнаружение признаков безумия в сонате казалось ему чем-то столь же непостижимым, как обнаружение безумия собаки или лошади, хотя такие случаи наблюдаются в действительности.

— Оставьте меня в покое с вашими учителями, у вас знаний в десять раз больше, чем у него, — ответила доктору Котару г-жа Вердюрен тоном женщины, имеющей мужество высказывать свои убеждения и всегда готовой сразиться с лицами, не разделяющими ее взглядов. — Вы, доктор, по крайней мере не убиваете своих пациентов!

— Простите, сударыня, он ведь академик, — иронически возразил ей Котар. — Если больной предпочитает умереть от руки одного из князей науки… Гораздо шикарнее иметь возможность сказать: меня лечит Потен.

— Ах, вот как: шикарнее? — перебила его г-жа Вердюрен. — Значит, и в болезнях в настоящее время есть шик. Я не знала этого… Ну и рассмешили же вы меня, — вскричала она вдруг, пряча лицо в ладонях. — А я-то, дура, серьезно спорю, не замечая, что вы водите меня за нос.

Что касается г-на Вердюрена, то, находя несколько утомительным смеяться по такому ничтожному поводу, он пустил лишь облако дыма из своей трубки, с грустью констатировав свою неспособность угнаться за женой по части веселья и любезности.

— Знаете, ваш друг очень нам нравится, — сказала г-жа Вердюрен Одетте, когда та прощалась с нею. — Он прост, обаятелен; если все ваши друзья, с которыми вы хотели бы познакомить нас, такие, как он, приводите их сюда, пожалуйста.

Г-н Вердюрен заметил, однако, что Сван не оценил по достоинству тетку пианиста.

— Он чувствовал некоторое стеснение, бедняга, — отвечала г-жа Вердюрен. — Не станешь же ты требовать, чтобы с первого посещения он уловил тон дома, как, скажем, Котар, состоящий членом нашего маленького клана уже столько лет. Первое посещение не в счет, он только еще осматривался. Одетта, давайте условимся, что он встретится с нами завтра в Шатле. Может быть, вы пригласили бы его туда?

— Нет, он не захочет.

— Ну, как вам угодно. Лишь бы только он не увильнул от нас в последнюю минуту!

К великому изумлению г-жи Вердюрен, он никогда не «увиливал» от них. Он всюду бывал в их обществе: в загородных ресторанах, куда, впрочем, они ходили сравнительно редко, потому что сезон еще не начался, и главным образом в театре, который очень любила г-жа Вердюрен; и когда однажды у себя в гостиной она сказала в его присутствии, что им очень полезно было бы иметь в дни премьер или спектаклей-гала разрешение из префектуры, дающее право приезжать вне очереди, и стала жаловаться на то, что отсутствие его причинило им много неприятностей в день похорон Гамбетты, то Сван, никогда не упоминавший о своих фешенебельных знакомствах, но лишь о низко расцениваемых, скрывать которые он считал поэтому признаком дурного вкуса и к числу которых, вращаясь в салонах Сен-Жерменского предместья, он привык относить свои знакомства в официальных сферах Третьей Республики, необдуманно заявил:

— Обещаю вам это устроить; вы будете иметь разрешение ко времени возобновления «Данишевых»; на завтраке в Елисейском дворце я встречусь с префектом полиции.

— Как, в Елисейском дворце? — громовым голосом вскричал доктор Котар.

— Да, у г-на Греви, — ответил Сван, несколько смущенный эффектом, произведенным его словами.

Художник спросил доктора насмешливым тоном:

— Вас часто этак ошарашивают?

Получив объяснение, Котар обыкновенно приговаривал: «А, хорошо, хорошо, прекрасно» — после чего не выказывал больше ни малейших признаков волнения.

Но на этот раз последние слова Свана не только не дали ему привычного успокоения, но, напротив, довели до апогея его изумление по поводу сделанного им открытия, что человек, с которым он сидел за одним столом, человек, не занимавший никакого официального положения и не имевший никаких знаков отличия, бывал на приемах у главы государства.

— Что вы говорите, у г-на Греви? Вы знакомы с г-ном Греви? — спросил он Свана озадаченным и недоверчивым тоном стоящего на посту у дворца полицейского, к которому какой-нибудь неизвестный обращается с вопросом, можно ли видеть президента республики, и который, поняв из этих слов, «с кем он имеет дело», как говорится в газетах, уверяет несчастного сумасшедшего, что тот будет принят сию минуту, и направляет его на ближайший полицейский медицинский пункт.

— Я немного знаком с ним; у нас есть общие друзья. — (Сван не решился сказать, что одним из этих друзей был принц Уэльский.) — Впрочем, он приглашает очень легко, и я уверяю вас, что эти завтраки совсем не занятны; к тому же они очень просты, за столом никогда не бывает больше восьми человек, — отвечал Сван, всячески стараясь сгладить слишком сильное впечатление, произведенное на доктора его знакомством с президентом республики.

Котар тотчас же истолковал эти слова Свана в буквальном смысле и решил, что приглашения г-на Греви не имеют большой цены, что они рассылаются всем и каждому и никто не бывает особенно польщен ими. После этого он не удивлялся больше, что Сван, подобно многим другим, посещал Елисейский дворец; он даже слегка жалел его за то, что ему приходится бывать на этих завтраках, которые сам же Сван находил скучными.

— А, прекрасно, прекрасно; все в порядке, — сказал он тоном таможенного досмотрщика, подозрительно на вас поглядывавшего, но после ваших объяснений дающего визу и позволяющего вам продолжать ваше путешествие, не обследуя содержимого ваших чемоданов.

— О, я вполне верю вам, что завтраки эти совсем не занятны; ходить на них, должно быть, большой подвиг, — сказала г-жа Вердюрен, смотревшая на президента республики только как на «скучного», притом особенно опасного, так как в его распоряжении были такие средства обольщения и даже принуждения, которые, будучи применены к «верным», легко могли повлечь их «измену». — Говорят, что он глух как пень и кушает пальцами.

— Ну, в таком случае вам вряд ли доставляет большое удовольствие ходить туда, — сказал доктор с ноткой соболезнования в голосе; затем, пораженный цифрой приглашенных — только восемь! — Что же, эти завтраки интимны? — спросил он вдруг не столько из праздного любопытства, сколько снедаемый желанием укрепиться в своих лингвистических познаниях.

Но престиж, каким обладал в его глазах президент республики, в конце концов восторжествовал все же и над скромностью Свана и над недоброжелательностью г-жи Вердюрен, и за каждым обедом Котар с любопытством спрашивал: «Как вы думаете, увидим мы сегодня вечером г-на Свана? Он один из близких знакомых г-на Греви. Не правда ли, его можно назвать настоящим джентльменом?» Любезность доктора дошла даже до того, что он предложил Свану пригласительный билет на зубную выставку.

— По этому билету вы можете прийти туда с кем пожелаете, но собак туда не пропускают. Вы понимаете, я говорю вам это потому, что некоторые из моих друзей не знали о существовании такого правила, и у них вышли неприятности.

Что касается г-на Вердюрена, то от внимания его не ускользнуло дурное впечатление, произведенное на его супругу сделанным в доме открытием, что у Свана есть влиятельные друзья, о которых он никогда не говорил.

Если не устраивалось совместное посещение театра или ресторана, то Сван находил весь «кружок» у Вердюренов, но он являлся к ним только вечером и почти никогда не принимал приглашений к обеду, несмотря на настойчивые просьбы Одетты.

— Я могла бы, даже обедать где-нибудь одна с вами, если вам это больше нравится, — говорила ему она.

— А г-жа Вердюрен?

— О, это устроить очень просто. Мне стоит только сказать, что не было готово мое платье или что мой кеб был подан с запозданием. Всегда можно как-нибудь оправдаться.

— Вы очень милы.

Но Сван говорил себе, что, намекая Одетте (своим согласием встречаться с нею только после обеда) на существование у него удовольствий, которые он предпочитал удовольствию находиться в ее обществе, он обеспечивает продолжительность и силу ее влечения к нему. К тому же, ставя значительно выше, по сравнению с красотой Одетты, красоту одной свеженькой и пышной как роза работницы, в которую он был тогда влюблен, он предпочитал проводить начало вечера с нею, будучи вполне уверен, что вслед за тем увидится с Одеттой. По этим же соображениям он никогда не позволял Одетте заезжать к нему, чтобы вместе отправиться к Вердюренам. Работница ожидала его обыкновенно недалеко от дома, на ближайшем углу; Реми, кучер Свана, знал, где остановить экипаж; она вскакивала, садилась рядом со Сваном и оставалась в его объятиях до той минуты, когда экипаж подкатывал к подъезду Вердюренов. Он входил в гостиную, и в то время как г-жа Вердюрен, показывая на присланные им утром розы, говорила: «Я сержусь на вас» — и указывала ему место подле Одетты, пианист играл для них одних фразу из сонаты Вентейля, ставшую как бы гимном их любви. Он начинал всегда со скрипичных тремоло, которые в течение нескольких тактов не сопровождались аккомпанементом и наполняли своим звучанием весь передний план; затем они вдруг как бы раздвигались и — совсем как в тех картинах Питера де Гоха, где впечатление глубины создается узкой рамой полуоткрытой двери, — где-то далеко-далеко, окрашенная в другой тон, в бархатистом свете проникшего откуда-то со стороны луча, показывалась коротенькая фраза, танцующая, пасторальная, чужеродная, эпизодичная, принадлежащая к другому миру. Простыми и бессмертными движениями проходила она, рассыпая кругом дары своей прелести, все с той же невыразимо нежной улыбкой; но Свану казалось, что в ней сквозило теперь некоторое разочарование. Она как будто сознавала тщету счастья, к которому указывала путь. В воздушной ее грации было действительно нечто законченное, нечто похожее на отрешенность, бесстрастие, воцаряющееся в душе после вспышки напрасных сожалений. Но ему было мало нужды; он рассматривал фразу не столько саму по себе — со стороны того, что она могла выражать для какого-то композитора, во время ее сочинения не знавшего ни о его существовании, ни о существовании Одетты, и для всех тех, кто будет слушать ее в течение столетий, — сколько в качестве залога, памятки о его любви, заставлявшей даже Вердюренов и юного пианиста думать одновременно о нем и об Одетте, соединявшей их; он до такой степени утвердился в этой точке зрения, что, уступая капризу Одетты, отказался от своего проекта попросить какого-нибудь пианиста сыграть ему всю сонату, и по-прежнему знал только этот отрывок. «Зачем вам знать остальное? — говорила она ему. — Это н_а_ш кусочек; больше нам ничего не нужно». И даже, страдая, когда она проходила так близко, оставаясь все же бесконечно далекой ему, от мысли, что, обращаясь к нему и к Одетте, она их не знала, он почти сожалел о том, что она имела какое-то значение, что ей была присуща какая-то бесспорная внутренняя красота, чуждая им, подобно тому как, глядя на подносимые нам драгоценности и даже читая письма от любимой женщины, мы бываем недовольны чистотой воды камня и словами фраз письма за то, что они состоят не исключительно из сущности мимолетной любовной связи и именно этой любимой нами женщины.

Часто он настолько задерживался со своей молоденькой работницей перед приездом к Вердюренам, что едва только коротенькая фраза бывала исполнена пианистом, как Сван замечал, что скоро наступит час, когда Одетта уходила обыкновенно домой. Он провожал ее до ворот ее особняка на улице Ла-Перуз, за Триумфальной аркой. И, может быть, по этой причине, не желая просить ее, чтобы она уделяла ему всю свою благосклонность, он жертвовал менее насущным удовольствием видеть ее раньше, приезжать с нею к Вердюренам, ради привилегии (за пользование которой она бывала ему признательна) вместе уезжать от них; привилегию эту он ценил выше, потому что, благодаря ей, у него создавалось впечатление, будто никто другой не видится с ней, не становится между ними, не препятствует ему оставаться в ее мыслях после того, как он покидал ее.

Таким образом, каждый вечер возвращалась она домой в экипаже Свана; однажды, сойдя с экипажа, она поспешно подбежала, в то время когда он говорил ей «до завтра», к решетке садика перед домом, сорвала последнюю запоздалую хризантему и бросила ему, когда лошади уже трогались. На обратном пути Сван все время прижимал ее к губам, и, когда через несколько дней цветок завял, он бережно спрятал его в ящик своего письменного стола.

Но он никогда не заходил к ней. Два раза только он был у нее днем на «чашке чаю» — этом столь важном в ее жизни церемониале. Обособленность и пустынность этих коротких улиц (застроенных почти сплошь небольшими, вплотную примыкавшими друг к другу особняками, однообразие которых там и сям прерывалось какой-нибудь жалкой лавчонкой — историческим пережитком и грязным остатком тех времен, когда кварталы эти пользовались дурной славой), снег, еще лежавший в саду и висевший на ветвях деревьев, неприглядное время года, клочки природы — все это сообщало какую-то большую таинственность теплу, цветам, комфорту, которые он нашел в ее доме.

Оставив налево помещавшуюся в нижнем этаже, несколько приподнятом над уровнем улицы, спальню Одетты, выходившую на параллельный переулок, Сван поднимался по прямой лестнице, которая проложена была между стенами, окрашенными в темный цвет и увешанными восточными тканями и турецкими четками, и освещалась большим японским фонарем, спускавшимся с потолка на шелковом шнурке (впрочем, чтобы не лишать посетителей последних достижений западной цивилизации, в фонаре этом горел газ), в две гостиные: большую и маленькую. Перед тем как попасть в них, нужно было миновать узенькую переднюю, где вдоль стены, расклеченной деревянным трельяжем, как садовые решетки, только позолоченным, тянулся, во всю ее длину, прямоугольный ящик, словно оранжерея, с рядами больших хризантем, в те времена цветов довольно редких, но, правда, далеко не столь пышных, как те виды, что впоследствии удалось вырастить садоводам. Свана раздражала мода на эти цветы, которыми уже больше года увлекался Париж, но здесь ему приятно было видеть, как полумрак маленькой передней испещрялся розовыми, оранжевыми и белыми пахучими лучами эфемерных звезд, горевших холодным пламенем в сером сумраке зимних дней. Одетта приняла его в розовом шелковом домашнем платье, обнажавшем ее шею и руки. Она усадила его подле себя в одном из многочисленных укромных уголков, устроенных повсюду в гостиной под листьями огромных пальм в горшках из китайского фарфора и замаскированных ширмами, увешанными фотографиями, веерами и бантиками. Она сказала: «Вам так неудобно; подождите, сейчас я вас устрою» — и со смешком, выражавшим ее довольство своей изобретательностью, положила под голову и под ноги Свдану большие подушки из японского шелка, обращаясь с ними с такой небрежностью, точно она не придавала никакой цены своим богатствам. Но когда лакей начал вносить в комнату одну за другой многочисленные лампы, все почти помещенные в китайские вазы, и ставил их по одной или по две на разнообразные столики и этажерки, словно на алтари, так что в уже сгущавшихся сумерках короткого зимнего дня они как бы снова зажигали закатные огни, более продолжительные, более розовые и более человечные, — погружая, может быть, в мечтательность одинокого влюбленного, остановившегося на улице перед тайной чьей-то жизни, одновременно и обнаруживаемой и скрываемой освещенными окнами — она искоса внимательно наблюдала, правильно ли расставляет лакей лампы на предназначенные для них священные места. Ей казалось, что, если хоть одна лампа будет поставлена на ненадлежащее место, то весь эффект ансамбля ее гостиной будет разрушен и ее портрет на наклонном мольберте, задрапированном плюшем, окажется невыгодно освещенным. Вот почему она лихорадочно следила за движениями этого неуклюжего человека и сделала ему резкое замечание, когда он прошел слишком близко около двух жардиньерок, к которым она не позволяла ему прикасаться и сама вытирала их из опасения, как бы он не повредил растений; она подбежала даже взглянуть, не помял ли он цветов. Она находила «забавными» формы всех своих китайских безделушек, а также орхидей, особенно катлей, которые вместе с хризантемами были ее любимыми цветами, так как обладали большим достоинством: были вовсе не похожи на цветы, но казались сделанными из лоскутков шелка или атласа. «Вот эта как будто вырезана из подкладки моего пальто», — сказала она Свану, показывая на одну из орхидей, с ноткой почтения к этому «шикарному» цветку, к этой элегантной сестре, неожиданно дарованной ей природой и хотя помещавшейся далеко от нее на лестнице живых существ, однако изысканно-утонченной и гораздо более, чем многие женщины, достойной быть допущенной в ее гостиную. Привлекая его внимание то к химерам с огненными языками, написанным на вазе или вышитым на экране, то к мясистым лепесткам орхидей, то к верблюду из серебра с чернью с рубиновыми глазами, стоявшему на камине рядом с нефритовой жабой, она прикидывалась, будто ее пугает злобный вид чудовищ или смешат их уродливые формы, будто она краснеет от непристойных цветов и испытывает непреодолимое желание расцеловать верблюда и жабу, называя их «душками». И это притворство находилось в резком контрасте с искренностью некоторых ее чувств, например благоговения к Лагетской Богоматери, когда-то, во время пребывания ее в Ницце, исцелившей ее от смертельной болезни; с тех пор она всегда носила на себе золотой образок ее, приписывая ему чудотворную силу. Налив Свану чаю, Одетта спросила его: «Лимон или сливки?» — и когда тот ответил: «Сливки», сказала ему со смехом: «Облачком!» А когда он объявил, что чай превосходен, — «Вот видите, я знаю, какой вы любите». Этот чай действительно показался Свану, совершенно так же, как и Одетте, необыкновенно изысканным, и любовь чувствует такую потребность находить себе подкрепление, гарантию длительности, в наслаждениях, которые, напротив, без любви не существовали бы и прекращаются вместе с концом ее, что, покинув ее в семь часов, чтобы возвратиться домой и переодеться к вечеру, он не мог сдержать радости, доставленной ему часами, проведенными у Одетты, и всю дорогу повторял себе, сидя в своей двухместной карете: «Как приятно, однако, было бы иметь вот такую особу, у которой всегда можно было бы найти столь редкую вещь, как действительно вкусный чай». Через час он получил записку от Одетты и сразу узнал ее крупный почерк, в котором напускная британская жесткость придавала нескладным буквам видимость дисциплины, хотя для менее предвзятых глаз они явились бы, пожалуй, свидетельством беспорядочности мысли, поверхностности образования, недостатка прямоты и слабоволия. Сван забыл у Одетты свой портсигар. «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно».

Второй визит Свана к Одетте был, пожалуй, еще более знаменательным. Направляясь к ней в тот день, он мысленно рисовал себе ее образ, как делал это каждый раз, когда заранее знал, что увидится с нею; и необходимость, при желании найти лицо ее красивым, сосредоточивать внимание исключительно на розовых и свежих ее скулах, пренебрегая остальными частями щек, которые часто бывали у нее желтыми, истомленными, а иногда покрытыми маленькими красноватыми пятнышками, погружала его в уныние, как доказательство того, что идеал есть вещь недостижимая, а так называемое счастье всегда посредственно. Он привез ей гравюру, которую она хотела посмотреть. Она чувствовала себя не совсем здоровой и приняла его в лиловом пеньюаре из крепдешина, прикрывая свою грудь, как плащом, куском богато вышитой материи. Когда она стала подле него, уронив на щеки пряди незаплетенных волос, слегка выпятив одну ногу и поставив ее в почти танцевальную позицию, чтобы без утомления можно было нагибаться над гравюрой, которую она рассматривала, наклонив голову, своими большими глазами, такими усталыми и хмурыми, если ничто их не оживляло, то Свана поразило ее сходство с Сепфорой, дочерью Иофора, чью фигуру можно видеть на одной из фресок, -украшающих Сикстинскую капеллу. Сван всегда питал какое-то особенное пристрастие к нахождению на картинах старых мастеров не только общего сходства с окружающей нас действительностью, но того, что как будто, напротив, наименее поддается обобщению, именно индивидуальных черточек лиц знакомых нам людей; так, например, в бюсте дожа Лоредано работы Антенио Риццо он видел выдающиеся скулы и косые брови своего кучера Реми, как и вообще поразительное сходство с ним; в красках Гирландайо — нос г-на де Палански; в одном портрете Тинторетто — лоснившиеся от прорастания бакенбард щеки, ломаную линию носа, проницательный взгляд, припухшие веки доктора дю Бульбона. Так как в глубине души Сван всегда сожалел, что ограничил свою жизнь посещением светских салонов и больше разговаривает, чем действует, то он, может быть, думал найти себе своего рода снисходительное извинение у великих художников в том факте, что и они с удовольствием созерцали и ввели в свои произведения привлекавшие его типы человеческих лиц, сообщающие этим произведениям такой исключительный реализм и жизненность, такую современную остроту и сочность; а может быть, впрочем, он до такой степени предался суетности светского общества, что чувствовал потребность находить в старых произведениях искусства какой-нибудь меткий и забавный намек на людей ныне здравствующих. Наконец, может быть, наоборот; у него сохранилось достаточно художественного темперамента для того, чтобы эти характерные индивидуальные черты могли доставлять ему удовольствие, принимая более общее значение с момента, когда лишались в его глазах связи с определенной исторической эпохой, теряли свою материю, и он подмечал в каком-нибудь старинном портрете сходство с современным оригиналом, о существовании которого художник не подозревал. Как бы там ни было, и, может быть, благодаря тому, что изобилие полученных им в последнее время впечатлений, хотя источником их была скорее вспыхнувшая в нем любовь к музыке, обострило также его вкус к живописи, — во всяком случае, необычна была интенсивность наслаждения, и ему суждено было оказать длительное влияние на жизнь Свана, — наслаждение, испытанного им, когда он обнаружил сходство Одетты с Сепфорой того Сандро ди Мариано, которого более тонкие ценители искусства избегают называть популярным прозвищем «Боттичелли», так как это прозвище вызывает теперь не столько идею о подлинном творчестве художника, сколько ставшие с недавнего времени ходячими банальные и ложные представления о нем. Он не оценивал теперь лицо Одетты соответственно большей или меньшей доброкачественности ее щек и на основании чисто телесной мягкости, которую должны будут найти во время прикосновения к ним его губы, если когда-нибудь он осмелится поцеловать их, но смотрел на нее скорее как на сплетение тонких и красивых линий, которые он разматывал и вновь соединял, следуя взглядом за их извилинами и завитками, сопоставляя каденцию затылка и щек с потоком волос и крутым изгибом век, словно перед ним был ее портрет, где тип ее стал понятным и ясным.

Он смотрел на нее; кусок фрески оживал в ее лице и теле, и с тех пор Сван всегда старался вновь увидеть его, находился ли он подле Одетты, или же только думал о ней; и хотя шедевр флорентийца стал дорог ему, вероятно, лишь потому, что он находил в ней его воспроизведение, однако это сходство повышало в его глазах также и ее красоту, делало ее более драгоценной. Сван упрекал себя за то, что не оценил по достоинству женщину, от которой пришел бы в восторг великий Сандро, и радовался, что удовольствие, доставляемое ему лицезрением Одетты, оказалось оправданным его эстетической культурой. Он говорил себе, что, связывая мысль об Одетте со своими мечтами о счастье, он не покоряется, как ему до сих пор казалось, печальной необходимости иметь дело с сомнительной и второсортной ценностью, ибо ей присущи были качества, удовлетворявшие самым утонченным его художественным вкусам. Он упускал из виду, что Одетта не становилась от этого женщиной, соответствовавшей его чувственным желаниям, которые всегда направлялись у него в сторону прямо противоположную его эстетическим вкусам. Слова «флорентийская живопись» оказали Свану неоценимую услугу. Они сыграли роль своего рода титула, позволившего ему ввести образ Одетты в мир своих грез, куда до той поры она не имела доступа и где она приобрела новый, более благородный облик. И в то время как чисто физическое представление, составившееся у него об этой женщине, постоянно возобновляя его сомнения относительно достоинств ее лица, ее тела и ее красоты в целом, охлаждало его любовь, сомнения эти разом исчезли и любовь эта победно утвердилась, когда он оказался способным обосновать ее на незыблемых положениях своей эстетики; не говоря уже о том, что поцелуй и обладание, которые показались бы ему естественными и не слишком заманчивыми, если бы их согласилась дать ему женщина с посредственным телом, теперь, когда они увенчивали его восхищение музейным шедевром, рисовались ему как нечто сверхъестественное и изысканно-сладостное.

И когда у него являлись сожаления, что в течение месяцев он только видится с Одеттой, то он убеждал себя, что нет ничего неразумного посвятить столько времени на изучение бесценного шедевра искусства, отлитого на этот раз из вещества нового, необычного и исключительно прямого, в редчайшем экземпляре, который он созерцал то смиренным, проникновенным и бескорыстным взором художника, то гордыми, эгоистическими и сластолюбивыми глазами коллекционера.

Он поставил на письменном столе, как бы взамен фотографии Одетты, репродукцию дочери Иофора. Он любовался большими глазами, тонкими чертами лица, выдававшими несовершенство кожи, чудесными локонами, падавшими на утомленные щеки; и, приспособляя то, что он признавал прекрасным до сих пор с эстетической точки зрения, к представлению живой женщины, он превращал эту красоту в ряд физических достоинств, поздравлял себя с тем, что ему удалось найти соединение этих достоинств в существе, которым он, может быть, будет когда-нибудь обладать. Смутная симпатия, влекущая зрителя к находящемуся перед ним произведению искусства, теперь, когда Сван познакомился с обладающим плотью и кровью оригиналом дочери Иофора, стала у него чувственным желанием, с избытком восполнявшим то, чего первоначально не могли внушить ему физические качества Одетты. По целым часам любуясь этим Боттичелли, он думал о собственном живом Боттичелли и находил его еще прекраснее стоявшего перед ним на столе снимка; приближая к себе фотографию Сепфоры, Сван воображал, будто прижимает к сердцу живую Одетту.

И однако не только равнодушие Одетты он всячески старался предотвратить; нередко устрашало его собственное равнодушие; заметив, что теперь, когда она получила возможность легко видеться с ним, Одетта больше не делала вида, будто хочет сказать ему при встрече нечто значительное, он испугался, как бы усвоенная ею теперь несколько тривиальная, однообразная и словно навсегда утвердившаяся манера держаться в его обществе не убила в нем в конце концов романтической надежды на наступление дня, когда она откроет ему свою страстную любовь, — ведь только благодаря этой надежде он полюбил и продолжал оставаться влюбленным. И вот, чтобы немного обновить душевный облик Одетты, слишком застывшие черты которого, боялся он, утомят его, Сван писал ей вдруг письмо, полное мнимых разочарований и притворного негодования, отправив его с таким расчетом, чтобы она могла получить его до обеда. Он знал, что она испугается, поспешит ответить ему, и надеялся, что когда сердце ее сожмется от страха потерять его, то из него брызнут слова, которые она никогда еще не говорила ему; и действительно — при помощи этой уловки ему удалось добиться от нее самых нежных писем, какие только она писала ему, и одно из этих писем, присланное ею в полдень из «Золотого дома» (там происходил тогда благотворительный праздник Париж-Мурсия, устроенный в пользу жертв недавнего наводнения в Мурсии), начиналось так: «Дорогой друг, рука моя так дрожит, что я едва в состоянии писать»; эти письма Одетты Сван бережно спрятал в тот же ящик, где хранилась увядшая хризантема. Или же, если у нее не было времени написать, она живо подбегала к нему, едва только он показывался на пороге гостиной Вердюренов, и обращалась со словами: «Мне нужно поговорить с вами!» — и он с любопытством наблюдал, как на лице ее и в ее словах обнаруживались до сих пор скрываемые ею движения ее сердца.

Еще только подъезжая к дому Вердюренов и едва заметив большие освещенные окна их гостиной, никогда не закрывавшиеся ставнями, он приходил в умиление при мысли о пленительном существе, которое он вскоре увидит в золотистом свете ламп. По временам, заслоняя свет, четко обрисовывались в пространстве между лампой и окном черные тени гостей, похожие на те картинки, что наклеиваются там и сям на прозрачный абажур, остальные части которого представляют собой лишь светлое пространство. Он пытался различить силуэт Одетты. Затем, едва только он входил в комнату, глаза его невольно начинали лучиться такой радостью, что г-н Вердюрен говорил художнику: «Эге! Кажется, будет жарко». В самом деле, присутствие Одетты наделяло этот дом в глазах Свана тем, чего не было, по-видимому, ни в одном из домов, где он был принят: своего рода чувствительностью, нервной системой, разветвлявшейся по всем комнатам и непрерывно посылавшей раздражения в его сердце.

Таким образом, простое функционирование этого социального организма — «маленького клана» — автоматически обеспечивало Свану ежедневные свидания с Одеттой и позволяло ему прикидываться, будто для него безразлично, увидит он ее или нет, и даже будто у него вовсе нет желания видеть ее; поступая так, он не подвергал себя большому риску, ибо, что бы он ни писал ей днем, все равно встреча с нею вечером и проводы ее домой были обеспечены. Но однажды, подумав с досадой об этом неизбежном совместном возвращении домой, он захотел по возможности отдалить момент прихода к Вердюренам, увез свою молоденькую работницу до самого Булонского леса и приехал в «маленький клан» так поздно, что Одетта, не дождавшись его, отправилась домой одна. Окинув взглядом гостиную и не найдя ее, Сван почувствовал, что сердце его заныло; он содрогнулся от сознания, что лишается наслаждения, силу которого почувствовал впервые, ибо до этой минуты обладал уверенностью получить его в любое время, когда пожелает, — уверенностью, которая уменьшает или даже вовсе скрывает от наших глаз подлинные размеры всякого наслаждения.

— Заметила ли ты физиономию, которую он состроил, когда увидел, что ее нет? — спросил г-н Вердюрен у жены. — Можно было подумать, что его ущипнули!

— Физиономию, которую он состроил? — громко переспросил доктор Котар, только что приехавший от больного за женой и не знавший, о ком идет речь.

— Как, вы не встретились при входе с прекраснейшим из Сванов?

— Нет. Господин Сван был здесь?

— Только сию минуту ушел. Никогда еще он не бывал таким возбужденным, таким нервным. Вы понимаете: он не застал Одетту.

— Вы хотите сказать, что она на дружеской ноге с ним, что она сожгла корабли? — спросил доктор, осторожно взвешивая смысл этих выражений.

— Ничуть; у них ровно ничего нет; говоря между нами, я нахожу, что она делает большую ошибку и ведет себя как набитая дура, каковой, впрочем, она и является в действительности.

— Та, та, та, — иронически протянул г-н Вердюрен, — почем ты знаешь, что у них ничего нет? Разве мы присутствуем при всех их свиданиях?

— Будьте уверены, что она бы сказала мне, — с достоинством ответила г-жа Вердюрен. — Утверждаю вам, что она рассказывает мне о всех своих похождениях! Так как у нее нет никого в настоящее время, то я убеждала ее жить с ним. Она заявляет, будто она не может; будто она весьма неравнодушна к нему, но он с нею робок и от этого сама она робеет. Она заявляет, кроме того, будто ее любовь совсем не такая, а идеальная, платоническая, будто она боится подвергнуть профанации возвышенные чувства, и тому подобные глупости. Но он как раз то, что ей нужно.

— Разреши мне остаться при особом мнении, — вежливо перебил г-н Вердюрен. — Мне не очень нравится этот господин; я нахожу его позером.

Г-жа Вердюрен застыла в неподвижности, приняв такое выражение, точно она вдруг превратилась в статую, — уловка, позволявшая присутствовавшим предположить, будто она не слышала этого невыносимого для ее уха слова, способного, казалось, внушить мысль, что в ее доме можно позировать и что, следовательно, есть на свете люди, которые «больше, чем она».

— Наконец, если даже у них нет ничего, то я не думаю, чтобы это объяснялось тем, что этот господин считает ее добродетельной, — иронически произнес г-н Вердюрен. — А впрочем, все может быть, потому что он, по-видимому, принимает ее за женщину интеллигентную. Не знаю, слышала ли ты, какую лекцию прочитал он ей однажды насчет сонаты Вентейля; я люблю Одетту от всего сердца, но излагать ей эстетические теории — для этого нужно быть патентованным простофилей!

— Послушайте, не говорите дурно об Одетте, — перебила его г-жа Вердюрен, прикидываясь ребенком. — Она очаровательна.

— Но ведь это не мешает ей быть очаровательной; мы не говорим о ней ничего дурного, мы говорим только, что она не есть воплощение добродетели и ума. В сущности, — обратился он к художнику, — разве так уж важно, чтобы она была добродетельна? Кто знает: может быть, тогда пропало бы все ее очарование!

На площадке лестницы к Свану подошел метрдотель, который куда-то отлучился во время его приезда; Одетта поручила передать Свану — но это было уже час тому назад — в случае, если он еще приедет, что перед возвращением домой она, вероятно, заедет к Прево выпить чашку шоколаду. Сван тотчас же отправился к Прево, но на каждом шагу экипаж его задерживался другими экипажами или людьми, переходившими улицу, — досадными помехами, которые он с удовольствием опрокинул бы, если бы составление протокола полицейским не задержало его еще больше, чем остановка экипажа из-за переходящего улицу пешехода. Он лихорадочно считал минуты, прибавляя к каждой из них по нескольку секунд для большей уверенности, что он не сокращает их, мысленно увеличивая таким образом шанс приехать к Прево вовремя и еще застать там Одетту. Затем, в минуту просветления, — подобно больному лихорадкой, очнувшемуся от тяжелого сна и начинающему сознавать нелепость бредовых видений, среди которых он блуждал, не будучи в состоянии провести отчетливую границу между собою и ими, — Сван вдруг отдал себе отчет, насколько чужды были ему мысли, овладевшие им с момента, когда ему сказали у Вердюренов, что Одетта уже уехала, насколько новой была испытываемая им сердечная боль, которую он сейчас только сознал, точно проснувшись от глубокого сна. Как! Все это треволнение оттого лишь, что он не увидит Одетту раньше завтрашнего дня, между тем как именно этого он и желал всего какой-нибудь час тому назад, направляясь к г-же Вердюрен. Он был вынужден признать, что, сидя в том же самом экипаже, увозившем его теперь к Прево, он не был больше прежним Сваном и не был даже один, но с ним вместе находилось другое существо, приросшее к нему, спаянное с ним, существо, от которого он не в силах будет, может быть, освободиться, с которым ему придется обращаться так же деликатно, как мы обращаемся с нашим начальством или с нашей болезнью. И все же с той минуты, как он почувствовал, что новое существо соединилось, таким образом, с ним, жизнь его показалась ему более интересной. Напрасно говорил он себе, что возможное свидание с нею у Прево (напряженное ожидание которого до такой степени опустошало, оголяло предварявшие его мгновения, что он не мог найти ни одной мысли, ни одного воспоминания, способных доставить хотя бы малейшее успокоение его уму), если только оно состоится, по всей вероятности, будет похоже на все другие его свидания с нею, не принесет ничего особенного. Как и каждый вечер, едва только встретившись с Одеттой, бросив украдкой взгляд на ее переменчивое лицо и тотчас же отведя этот взгляд в сторону, из страха, как бы она не прочла в нем намека на рождающееся желание и не перестала бы верить в его равнодушие, он потеряет способность даже думать о ней, слишком поглощенный подысканием предлогов, которые позволили бы ему остаться еще некоторое время вместе с нею и заручиться от нее обещанием, — не подавая при этом вида, будто он очень настаивает, — что они завтра снова встретятся у Вердюренов: иными словами, предлогов продлить на несколько мгновений и возобновить на следующий день мучительное обольщение, приносимое ему бесплодным присутствием этой женщины, которую, как ни близко он к ней подходил, Сван все не решался заключить в свои объятия.

Ее не было у Прево; тогда Сван решил осмотреть все рестораны бульваров. Чтобы выиграть время, сам он отправился в одном направлении, а в другом послал своего кучера Реми (дожа Лоредано работы Риццо), которого стал поджидать — после того как его собственные поиски оказались бесплодными — в условленном месте. Экипаж не возвращался, и Сван представлял себе приближавшийся момент одновременно как такой, что Реми скажет ему: «эта дама там», и как такой, что он услышит, напротив: «этой дамы нет ни в одном из кафе». И соответственно этому конец вечера рисовался ему одним и в то же время раздвоенным: он либо встретит Одетту, и та развеет его тоску, либо вынужден будет отказаться от всякой надежды найти ее сегодня вечером, примириться с необходимостью возвратиться домой, не повидав ее.

Кучер возвратился; но когда он остановил экипаж перед Сваном, последний не спросил его: «Вы нашли эту даму?» — но: «Напомните мне завтра распорядиться о покупке дров, мне кажется, что наш запас должен скоро истощиться». Может быть, он убедил себя, что если Реми нашел Одетту в каком-нибудь кафе, где она ожидала его, то злосчастный этот вечер уже изглажен вполне обеспеченным вечером счастливым, и что ему нет надобности спешить насладиться своим счастьем, так как оно поймано и заключено в надежном месте, откуда больше не ускользнет. Но тут действовала также сила инерции; душа его была, так сказать, неповоротлива, как бывает неповоротливо у некоторых людей тело, у тех людей, что в момент, когда нужно увернуться от удара, выхватить платье из огня или совершить какое-нибудь другое не терпящее промедления движение, действуют не торопясь; остаются несколько мгновений в своем первоначальном положении, как бы пытаясь найти в нем точку опоры для разбега. И конечно, если бы кучер перебил его словами: «Эта дама там», он бы ответил ему: «Ах да, вы говорите о поручении, которое я вам дал; я совсем позабыл о нем» — и продолжал бы обсуждать вопрос о покупке дров, чтобы скрыть от кучера охватившее его волнение и дать себе самому время освободиться от своей тревоги и отдаться выпавшему на его долю счастью.

Но вернувшийся кучер доложил ему, что он нигде не нашел ее, после чего позволил себе высказать, на правах старого слуги:

— Я думаю, что барину самое лучшее возвратиться домой.

Однако равнодушный вид, который Свану так легко удалось напустить на себя, пока он был уверен, что Реми не в силах больше изменить что-либо в принесенном им благоприятном ответе, вдруг пропал, когда он увидел, что тот пытается убедить его оставить всякую надежду и прекратить бесплодные поиски.

— Вовсе нет, — вскричал он, — мы должны найти эту даму; это крайне важно. Она будет очень раздосадована — у нас есть одно дело — и обидится на меня, если я не разыщу ее.

— Не понимаю, каким образом эта дама может обидеться, — проворчал Реми, — ведь это она уехала, не дождавшись барина; велела передать, что она будет у Прево, а между тем ее там нет.

Вдобавок всюду уже начали гасить свет. Под деревьями бульваров бродили еще редкие прохожие, но их едва можно было различить в сгустившейся темноте. Приближавшийся иногда к Свану призрак женщины, произносившей ему на ухо несколько слов, просившей проводить ее домой, заставлял его вздрагивать. С тоскою вглядывался он в эти неясные фигуры, как если бы среди теней мертвецов, в подземном царстве, он искал Эвридику.

Из всех способов зарождения любви, из всех деятельных начал, распространяющих этот сладостный яд, немногие могут сравниться по своей силе с бешеным вихрем возбуждения, иногда увлекающим нас в свой водоворот. В таких случаях жребий брошен: отныне мы полюбим женщину, в обществе которой мы ищем развлечения в тот момент. Для этого не нужно даже, чтобы раньше она нравилась нам больше, чем другие, или хотя бы в такой же степени, как и другие. Нужно только, чтобы наш вкус к ней стал исключительным. И это условие оказывается осуществленным, коль скоро — в момент, когда она уклонилась от свидания с нами, — наслаждение, которого мы искали в ее обществе, внезапно сменилось у нас томительным желанием, предметом которого является эта самая женщина, желанием нелепым, так как законы этого мира не дают возможности утолить его и в то же время делают для нас трудным излечение от него, — безрассудным и мучительным желанием обладать ею.

Сван велел Реми везти его в последние еще открытые рестораны; это была единственная гипотеза благополучного исхода, о которой он мог думать с относительным спокойствием; теперь он не скрывал больше своего волнения, важности, придаваемой им этой встрече, и обещал, в случае удачи, щедро дать на чай кучеру, как если бы, внушая ему желание добиться успеха и тем самым как бы подкрепляя свое собственное желание, он мог чудом устроить так, чтобы Одетта, в случае если она возвратилась уже домой и легла спать, оказалась все-таки в одном из ресторанов бульвара. Он доехал таким образом до «Золотого дома», дважды заходил к Тортони и, по-прежнему нигде не найдя ее, покинул Английское кафе и с освирепевшим видом шагал к своему экипажу, поджидавшему его на углу Итальянского бульвара, как вдруг столкнулся лицом к лицу с женщиной, шедшей ему навстречу: это была Одетта; она объяснила ему потом, что, не найдя свободного столика у Прево, она поехала ужинать в «Золотой дом» и села там в уголок, где он, должно быть, не заметил ее; поужинав, она отправилась разыскивать свой экипаж.

Встреча со Сваном была до такой степени неожиданной для Одетты, что она в ужасе отшатнулась от него. Что касается Свана, то он обшарил Париж не потому, что питал какую-либо надежду найти ее, но потому, что отказ от этих поисков был бы для него слишком мучителен. Однако радость встречи, которую рассудок его не переставал считать, по крайней мере в этот вечер, несбыточной, наполнила его теперь с тем большей силой, ибо сам он ничего не прибавил к ней от себя путем предвидения вероятностей: вся целиком она была дана ему извне; ему не было надобности прибегать к своим внутренним ресурсам, чтобы сообщить ей неподдельность: из нее самой источалась, она сама метала ему эту неподдельность, чьи сверкающие лучи рассеивали, как тяжелый сон, удручавшее его чувство одиночества, — эту неподдельность, эту истинность, на которую он опирал, на которой основывал, хотя и бессознательно, свои сладкие грезы. Так путешественник, приехавший в прекрасную солнечную погоду на берег Средиземного моря, уже сомневается в существовании только что покинутых им стран и, вместо того чтобы оглянуться назад и удостовериться, готов скорее ослепить свои взоры потоками света, посылаемыми ему лучезарной и неблекнущей лазурью морского простора.

Он сел с нею в нанятый ею экипаж и приказал своему кучеру следовать за ними.

Она держала в руке букет катлей, и Сван увидел эти самые орхидеи также и под кружевным ее капором, в волосах, где они были приколоты к эгретке из лебяжьих перьев. Под мантильей на ней было надето черное бархатное платье в пышных складках, с одной стороны подобранное, так что виден был большой треугольный кусок белой шелковой юбки; в вырезе на груди была вставка также из белого шелка, куда было засунуто еще несколько катлей. Едва только она оправилась от испуга, вызванного неожиданной встречей со Сваном, как вдруг, наскочив на какое-то препятствие, лошадь шарахнулась в сторону. Толчок сорвал их с места, она вскрикнула и откинулась назад, вся трепещущая и задохшаяся.

— Ничего, пустяки, — сказал он ей, — не бойтесь.

И он обнял ее за плечо, притянув к себе ее стан, чтобы поддержать ее, затем продолжал:

— Только, пожалуйста, не разговаривайте со мной; отвечайте мне знаками, иначе вы задохнетесь еще больше. Вас не побеспокоит, если я поправлю цветы у вас на платье? От толчка они рассыпались. Боюсь, как бы вы не потеряли их, я хотел бы засунуть поглубже.

Одетта, не привыкшая к тому, чтобы мужчины обращались с нею так церемонно, отвечала с улыбкой:

— Нет, нет; это нисколько не беспокоит меня.

Но Сван, несколько расхоложенный ее ответом, а может быть, также желая создать впечатление, что он был искренним в этой уловке, или даже начиная сам верить в свою искренность, воскликнул:

— Нет, нет; прошу вас, не разговаривайте, вы опять задохнетесь. Вы свободно можете отвечать мне жестами; я пойму вас как нельзя лучше. Значит, я действительно не беспокою вас? Смотрите, вот тут немножко… мне кажется, что вас запачкала цветочная пыльца, вы позволите мне вытереть ее рукой? Я нажимаю не слишком сильно, я не очень груб? Может быть, я немножко щекочу вас? Это оттого, что я не хочу прикасаться к бархату, чтобы не измять его. Вот видите, мне непременно нужно было прикрепить их, иначе они свалились бы; а вот так, засунув их немножко глубже?.. Серьезно, я не неприятен вам? И вам не будет неприятно, если я понюхаю их, чтобы убедиться, действительно ли они потеряли запах? Вы знаете, я никогда не нюхал их, можно? Скажите правду!

Все время улыбаясь, она легонько пожала плечами, как бы желая сказать: «Дурачок, вы отлично видите, что это мне нравится».

Он погладил другой рукой щеку Одетты: она пристально посмотрела на него томным и серьезным взглядом, так характерным для женщин флорентийского художника, с которыми он нашел у нее сходство; закатившиеся за приспущенные веки блестящие глаза ее, большие и тонко очерченные, как глаза Боттичеллиевых флорентиянок, казалось, готовы были оторваться и упасть словно две крупные слезы. Она изогнула шею, как она изогнута у всех этих флорентиянок, и в сценах из языческой жизни, и на религиозных картинах. И хотя принятая ею поза была, несомненно, для нее привычной, хотя она знала, что эта поза очень удобна в такие минуты, и внимательно наблюдала, как бы не забыть принять ее, все же она сделала вид, будто ей приходится затрачивать огромные усилия, чтобы удерживать свое лицо в этом положении, словно какая-то невидимая сила влекла его к Свану. И перед тем как она уронила его наконец, как бы вопреки своей воле, на его губы, Сван на мгновение удержал его на некотором расстоянии в своих руках. Он хотел дать время ее мыслям поспеть за движениями ее тела, сознать так долго лелеянную ею мечту и присутствовать при ее осуществлении, подобно матери, которую приглашают в качестве зрительницы на публичное вручение награды взращенному ею и горячо ею любимому ребенку. А может быть, также сам Сван приковывал к лицу Одетты, еще не принадлежавшей ему и даже еще им не целованной, лицу, которое он видел в последний раз, тот многозначительный взгляд, каким мы в день отъезда смотрим на навсегда покидаемую нами страну, желая унести с собой ее образ.

Но он был настолько робок с нею, что и после этого вечера, начатого им с приведения в порядок ее катлей и законченного обладанием ею, — из боязни ли оскорбить ее, из нежелания ли показаться обманщиком, хотя бы задним числом, от недостатка ли смелости обратиться к ней с более настоятельным требованием, чем скромная просьба поправить ее цветы (которую он всегда мог повторять, ибо она не рассердила Одетту в первый раз), — в следующие дни он продолжал прибегать к этому предлогу. Если к её корсажу были приколоты катлей, он говорил: «Как жаль, сегодня не нужно поправлять ваших катлей, они не рассыпались, как в тот вечер; мне кажется, однако, что вот эта стоит недостаточно прямо. Можно мне понюхать, как они пахнут?» Или же, если катлей на ней не было: «О, ни одной катлеи сегодня! Мне нечего поправлять». Так что в течение некоторого времени оставался неизменным порядок, которого Сван держался в тот первый вечер, когда он начал с прикосновения пальцами, а затем губами, к груди Одетты, и ласки его по-прежнему начинались с этого скромного маневре; и много времени спустя, когда приведение в порядок (или ритуальное подобие приведения в порядок) ее катлей давно уже вышло из употребления, — метафора «свершать катлею», обратившаяся у них в простой глагол, который они употребляли, не думая о его первоначальном значении, когда хотели выразить акт физического обладания, — в котором, впрочем, обладатель не обладает ничем, — удержалась в их языке, закрепившем позабытый ими обычай. Возможно, что и наше выражение «свершать любовь», употребляемое нами обыкновенно в специфическом смысле, обозначало первоначально не совсем то, что обозначают его синонимы. Как бы ни были мы пресыщены женщинами, как бы мы ни рассматривали обладание самыми различными их разновидностями как акт всегда одинаковый и известный нам заранее, оно все же кажется нам неизведанным наслаждением, если мы имеем дело с женщинами труднодоступными — или принимаемыми нами за таковых, — так что нам приходится ожидать какого-нибудь непредвиденного эпизода при встречах с ними, каковым было для Свана приведение в порядок катлей. Он с трепетом надеялся в тот вечер (и Одетта, казалось ему, обманутая его уловкой, не могла догадаться о его намерении), что из их широких лиловых лепестков выйдет обладание этой женщиной; и наслаждение, которое он уже испытывал и которое Одетта допустит, может быть, думал он, потому только, что она совсем его не заметила, казалось Свану по этой причине — как оно казалось, вероятно, первому человеку, вкусившему его вреди цветов земного рая, — наслаждением, никогда раньше не существовавшим и которое он впервые пытался создать, — наслаждением, совершенно своеобразным и новым, так что ему пришлось дать специальное название, закреплявшее его особенности.

Теперь, когда лед тронулся, Сван, проводив ее домой, каждый вечер должен был заходить к ней; часто она провожала его в капоте до самого экипажа и целовала на глазах у кучера, говоря: «Что мне за дело до того, что меня видят посторонние?» В те вечера, когда он не ходил к Вердюренам (что случалось иногда с тех пор, как он нашел возможность встречаться с нею в других местах)

или посещал — все реже и реже — аристократические салоны, она просила его заезжать к ней перед возвращением домой, не обращая внимания на поздний час. Стояла весна, весна ясная и холодная. Выйдя из салона, он садился в викторию, закрывал ноги полостью, отвечал друзьям, приглашавшим его ехать домой вместе, что он не может, что ему не по дороге, и кучер сразу же трогал, хорошо зная, куда нужно везти. Друзья удивлялись, — и действительно, Сван не был больше прежним. Никто из них не получал, больше от него писем, в которых он просил бы познакомить его с какой-нибудь женщиной. Он вообще перестал обращать внимание на женщин, воздерживался от посещения мест, где их обыкновенно можно встретить. В ресторане или за городом манеры и поведение его были прямо противоположны манерам, по каким вчера еще любой его знакомый издали узнал бы его и какие, казалось, навсегда стали его неотъемлемой принадлежностью. До такой степени страсть является как бы нашим новым характером, кратковременным и отличным от нашего постоянного характера, не только утверждающимся на его месте, но и стирающим все черты, вплоть до самых неизменных, при помощи которых этот характер проявлялся! Зато неизменной теперешней чертой Свана было то, что, где бы он ни проводил вечер, он обязательно ехал потом к Одетте. Путь, отделявший его от нее, он обречен был неуклонно совершать, путь этот был как бы крутым скатом, по которому неудержимо низвергалась его жизнь. По правде говоря, засидевшись где-нибудь на вечере, он часто предпочитал бы вернуться прямо домой, не совершая этого длинного конца и отложив свидание с Одеттой до следующего дня; но самый тот факт, что он причинял себе беспокойство, навещая ее в столь ненормальное время, и что он догадывался, как расстававшиеся с ним друзья говорили друг другу: «Он связан по рукам и ногам; наверное, есть женщина, заставляющая его приходить к ней в любое время», давал ему чувствовать, что он вел жизнь тех людей, все существо которых овеяно любовной интригой и которые, благодаря принесению в жертву страстной мечте своего покоя и своих практических интересов, приобретают какое-то внутреннее очарование. Кроме того, эта уверенность, что она ожидает его, что она не находится где-нибудь в другом месте с незнакомыми ему людьми, что перед тем, как вернуться домой, он увидится с нею, как-то бессознательно для него лишала остроты ту позабытую им, правда, но всегда готовую воскреснуть тоску, которую он испытал в вечер, когда не застал Одетты у Вердюренов, и нынешнее успокоение, которое было так приятно, что, пожалуй, могло быть названо счастьем. Может быть, именно этой тоской объяснялась важность, приобретенная с тех пор Одеттой в его жизни. Люди обыкновенно так безразличны для нас, что когда мы приписываем кому-либо из них способность причинить нам острое страдание или доставить живую радость, то такой человек кажется нам принадлежащим как бы к другому миру, он окружается поэтическим ореолом, он расширяет пределы нашей жизни, делает ее волнующей, и в этих новых пространствах мы входим в большее или меньшее соприкосновение с ним. Сван не мог без тревоги задаваться вопросом, чем станет для него Одетта в будущие годы. Иногда, наблюдая со своей виктории в эти прекрасные холодные весенние ночи серебряную луну, заливавшую своим светом пустынные улицы, по которым он проезжал, Сван думал о другом ясном и чуть розоватом, как у этой луны, лице, в один прекрасный день взошедшем над горизонтом его сознания и с тех пор заливавшем мир таинственным сиянием, которым были теперь озарены для него все вещи. Если он приезжал после часа, когда Одетта отсылала своих слуг спать, то перед тем, как позвониться у калитки ее садика, он шел сначала на другую улицу, куда, наряду с другими совершенно одинаковыми, но темными окнами смежных домов, выходило одно только освещенное окно ее спальни в нижнем этаже. Он стучал в стекло, и она, услышав сигнал, отвечала и бежала встречать его на другую сторону дома, у садовой калитки. Он находил раскрытыми у нее на рояле ноты нескольких любимых ею вещей: «Valse des Roses» или «Pauvre fou» Тальяфико (которые должны были, согласно ее завещанию, исполняться во время ее похорон), но просил ее сыграть вместо них фразу из сонаты Вентейля. Правда, Одетта играла очень плохо, однако самое прекрасное впечатление, остающееся у нас от музыкального произведения, часто рождается фальшивыми звуками, извлекаемыми неискусными пальцами из расстроенного рояля. Фраза Вентейля продолжала ассоциироваться у Свана с его любовью к Одетте. Он ясно чувствовал, что любовь эта была чисто внутренним переживанием, которому не соответствовало никакое внешнее явление, ничего такого, что могло бы быть подмечено кем-нибудь другим, кроме него; он отдавал себе отчет, что качества Одетты не способны были оправдать высокой ценности, приписываемой им минутам, проведенным подле нее. И часто, когда Сваном руководили одни только соображения холодного рассудка, он хотел перестать приносить в жертву этому воображаемому наслаждению столько умственных и общественных интересов. Но фраза Вентейля, едва только коснувшись его слуха, обладала способностью очищать в нем необходимое для нее пространство; пропорции души Свана оказывались измененными; какой-то краешек ее сохранялся для наслаждения, которое, как и любовь его к Одетте, не стояло в связи ни с каким внешним объектом и, однако, не было, подобно наслаждению, доставляемому любовью, чисто индивидуальным, но предстояло Свану как некая высшая реальность по сравнению с реальностью конкретных вещей. Пробуждая в нем эту жажду неведомых упоений, фраза Вентейля не давала ему все же никакого точного указания, как утолить ее. В результате те части души Свана, откуда фраза изгнала заботы о материальных интересах, всю эту массу житейских повседневных мелочей, волнующих обыкновенно всех нас, остались у него незаполненными, подобно чистым страницам, на которых, он волен был написать имя Одетты. И если любовь к Одетте казалась ему иногда мимолетной и обманчивой, то фраза Вентейля присоединяла к ней, спаивала с ней свою таинственную сущность. Взглянув на лицо Свана в то время, как он слушал фразу, можно было подумать, что он принял анестезирующее средство, позволявшее ему глубже дышать. И действительно, наслаждение, доставляемое ему музыкой и готовое обратиться в настоящую страсть, в такие минуты было очень родственно наслаждению, которое он получил бы, воспринимая и исследуя запахи, входя в соприкосновение с миром, для которого мы не созданы, который кажется нам бесформенным, потому что глаза наши не способны увидеть его, и лишенным смысла, потому что он не поддается нашему уразумению, и который доступен нам при помощи одного только обоняния. Великим покоем, таинственным обновлением было для Свана, — глаза которого, хотя и тонкие ценители живописи, ум которого, хотя и острый наблюдатель нравов, носили на себе навсегда неизгладимую печать бесплодия его жизни, — чувствовать себя превращенным в существо, не похожее на человека, слепое, лишенное логических способностей, в какого-то мифологического единорога, химеру, воспринимающую мир одними только ушами. И так как в фразе Вентейля он все же искал какого-то смысла, в который рассудок его не способен был проникнуть, то какое же странное опьянение должен был, он испытывать, обнажая самую сердцевину души своей от рассудочного аппарата и процеживая ее сквозь темный фильтр звуков. Он начинал отдавать себе отчет, сколько скорбности и, может быть, даже тайной неутоленности скрывалось под сладостными звуками этой фразы, и все же она не причиняла ему никакой боли. Какое ему было дело, что фраза говорила о хрупкости и мимолетности любви, если его любовь была так сильна! Он играл печалью, источаемой ею, он чувствовал, что она проносится над ним, но как ласка, лишь углубляющая и услаждающая чувство переполнявшего его счастья. Он заставлял Одетту повторять ее десять, двадцать раз подряд, требуя, чтобы в то же самое время она непрестанно целовала его. Каждый поцелуй призывает другой поцелуй. Ах, в эти первые дни любви поцелуи рождаются так естественно! Они теснятся друг за другом в таком изобилии; сосчитать поцелуи, которыми обмениваются счастливые любовники в течение часа, все равно что сосчитать в мае цветы на лугу. Затем она делала вид, будто хочет остановиться, говоря: «Как хочешь ты, чтобы я играла, ведь сам же ты не позволяешь мне? Я не могу делать все сразу. Выбери что-нибудь одно; чего ты больше хочешь: слушать мою игру или играть со мной?» Он сердился, а она разражалась смехом, переходившим в град сыпавшихся на него поцелуев. Иногда она угрюмо смотрела на него, и он снова видел перед собою лицо, достойное украшать «Жизнь Моисея» Боттичелли, помещая его на фреску, придавая шее Одетты нужный изгиб; когда портрет ее был мысленно нарисован таким образом водяными красками, в манере XV века, на стене Сикстинской капеллы, сознание, что, несмотря на это, она остается здесь, подле рояля, в настоящий момент, доступная для поцелуев, для объятий, дознание ее материальности, ее живого присутствия до такой степени опьяняло его, что, с помутившимися глазами, со стиснутыми челюстями, как бы готовый пожрать ее, он набрасывался на эту девушку Боттичелли и начинал яростно целовать и кусать ее щеки. Затем, покинув ее (и часто снова возвращаясь, чтобы еще раз поцеловать ее, потому что он позабыл унести с собой, в своей памяти, какую-нибудь подробность ее запаха или выражения ее лица) и направляясь домой в своей виктории, он благословлял Одетту за то, что она позволяла ему совершать эти ежедневные визиты, которые, он чувствовал это, вряд ли могли доставлять ей особенно большое удовольствие, но зато, предохраняя его от ревнивых мыслей — исключая всякую возможность повторения жестокой боли, которой он был охвачен в вечер, когда не застал ее у Вердюренов, — помогали ему достигнуть, не переживая больше других подобных кризисов, первый из которых был так мучителен и оставался до сих пор единственным, предела этих исключительных часов его жизни, часов почти волшебных, таких же волшебных, как и часы его возвращения домой по пустынному Парижу, залитому лунным светом. И, замечен во время этого возвращения, что ночное светило переместилось по отношению к нему за часы, проведенные им у Одетты, и почти касалось уже горизонта, чувствуя, что любовь его тоже повиновалась непреложным законам природы, он спрашивал себя, долго ли еще продлится период, в который он вступил, или же вскоре мысль его способна будет увидеть дорогое лицо лишь на далеком расстоянии и в уменьшенных размерах и оно почти уже перестанет излучать кругом очарование. Ибо с тех пор, как Сван полюбил, он снова находил в вещах очарование, как в дни молодости, когда воображал себя художником: но это было не прежнее их очарование: теперь одна только Одетта сообщала им его. Он чувствовал возрождение в себе вдохновений юности, рассеянных пустой и суетной позднейшей его жизнью, но на этот раз все они носили отпечаток, отблеск одного-единственного существа; и в долгие часы, которые он находил теперь утонченное удовольствие проводить дома, наедине со своей выздоравливающей душой, он мало-помалу снова становился самим собой, но порабощенным другим существом.

Он ходил к ней только по вечерам и совсем не знал, как проводит она время в течение дня, совсем не знал также ее прошлого; у него не было даже тех небольших первоначальных сведений, которые, позволяя нам дополнять воображением то, чего мы не знаем, возбуждают наше любопытство. Поэтому он не задавался вопросом, что она может делать и какова была ее жизнь. Он лишь улыбался иногда при мысли, что несколько лет тому назад, когда он еще не был знаком с нею, кто-то говорил ему об одной женщине — и эта женщина, если память не изменяла ему, была, конечно, Одетта — как о «девке», как о «содержанке», как об одной из тех женщин, которым тогда он приписывал еще, так как мало бывал в их обществе, крайнее распутство, каковым уже с давних пор наделило их воображение некоторых романистов. Для составления правильного суждения о каком-нибудь лице часто достаточно бывает выворотить наизнанку репутацию, созданную ему в свете; это соображение приходило ему в голову, когда только что упомянутой характеристике он противопоставлял подлинный характер Одетты — доброй, простодушной, страстно влюбленной в идеал, настолько не способной говорить неправду, что, попросив его однажды, с целью иметь возможность пообедать с нею наедине, написать Вердюренам, будто она нездорова, он на другой день, когда г-жа Вердюрен спрашивала Одетту, лучше ли ей, увидел, как та краснеет, бормочет что-то невнятное, как, вопреки своей воле, выдает каждой черточкой своего лица, насколько невыносима, насколько мучительна для нее ложь, и как, нагромождая в своем ответе вымышленные подробности относительно мнимого своего недомогания накануне, она умоляющими своими взглядами и сокрушенным тоном голоса словно просила прощения за очевидную лживость своих слов.

Впрочем, иногда, правда редко, она приходила к нему днем прервать его мечтания или работу над статьей о Вермере, за которую он снова засел в последнее время. Ему докладывали, что г-жа де Креси находится в его маленькой гостиной. Сван выходил к ней, и, когда он открывал дверь, на розовом лице Одетты, едва только она замечала его, расцветала — меняя линию ее губ, взгляд ее глаз, моделировку ее щек — всепоглощающая улыбка. Оставшись один, он снова видел эту улыбку, или ту, что была у нее накануне, или ту, какой она ответила ему в экипаже, в памятный вечер, когда он спросил ее, не беспокоит ли он ее, поправляя ее катлеи; и так как он совсем не знал, какую жизнь ведет Одетта в часы, когда он не видит ее, то она казалась ему, на своем нейтральном и бесцветном фоне, похожей на те листы этюдов Ватто, где мы видим там и сям, повсюду, во всех направлениях, бесчисленные улыбки, нарисованные карандашами трех цветов на желтоватой бумаге. Но иногда, приоткрывая уголок этой жизни, которая для Свана была совсем пустой, хотя рассудок и уверял его, что она таковой не была и его неспособность заполнить ее каким-либо содержанием таковой ее не делала, кто-нибудь из его друзей, знавший Одетту и догадывавшийся о существовавших между ними отношениях, а потому не решавшийся сказать ему о ней что-нибудь значительное, описывал ему силуэт Одетты, которую он видел в то утро поднимавшейся пешком по улице Аббатуччи в коротеньком пальто со скунсовым мехом, в шляпе *Рембрандт* и с букетиком фиалок на груди. Этот простой набросок приводил Свана в большое волнение, так как он вдруг открывал ему, что у Одетты есть жизнь, не принадлежавшая ему всецело; он хотел знать, кому она старалась понравиться этим туалетом, в котором он никогда не видел ее; он принимал решение спросить у нее, куда она ходила в то утро, как если бы во всей бесцветной жизни — почти несуществующей, потому что она была невидима ему, — его любовницы была одна только вещь сверх всех этих обращенных к нему улыбок: ее прогулка в шляпе *Рембрандт*, с букетиком фиалок на груди.

За исключением своей просьбы сыграть ему фразу Вентейля вместо «Вальса роз», Сван никогда не заставлял ее исполнять любимые им вещи и вообще не делал попыток исправлять ее дурной вкус, ни в музыке, ни в литературе. Он отдавал себе вполне ясный отчет в ее некультурности. Говоря, что ей очень хотелось бы послушать его суждения о великих поэтах, она воображала, будто он сейчас станет произносить перед ней героические или романтические тирады в духе виконта де Борелли, только еще более трогательные. Что касается Вермера Дельфтского, то она спросила Свана, не страдал ли художник из-за женщины, не женщина ли была его вдохновительницей, и когда Сван признался ей, что он ничего об этом не знает, она перестала интересоваться голландцем. Она часто говорила: «Я уверена, что, понятно, не было бы ничего прекраснее поэзии, если бы все это было правда, если бы поэты действительно думали так, как они говорят. Но очень часто они самые расчетливые и корыстные люди на свете. В этих делах я немного осведомлена. У меня была приятельница, которая любила одного поэта. В своих стихах он только и говорил, что о любви, небе, звездах. Ах, как она была обманута! Он обошелся ей больше, чем в триста тысяч франков». Если Сван пытался разъяснить ей, в чем состоит красота художественного произведения, как следует наслаждаться поэзией или живописью, она очень скоро переставала его слушать, говоря: «Да… никогда себе не представляла ничего подобного». Разочарование ее — Сван чувствовал это — было так велико, что он предпочитал лгать, заявляя ей, что все это несущественно, все это пустяки, что у него нет времени углубиться в самую суть, что тут есть еще другое. Тогда она с живостью спрашивала: «Другое? Что же именно?.. Скажи же мне», — но он молчал, зная, насколько это покажется ей ничтожным и не похожим на то, чего она ожидала, менее сенсационным и трогательным, и опасаясь, как бы, разочаровавшись в искусстве, она не разочаровалась также в любви.

И действительно, она находила Свана в умственном отношении гораздо ниже, чем предполагала. «Ты всегда так хладнокровен; я не могу понять тебя». Гораздо больше она восторгалась его равнодушием к деньгам, его любезностью со всяким, его деликатностью. И в самом деле, это часто случается и с человеком более выдающимся, чем Сван, с ученым, с художником, если он не остается совсем не признанным окружающими: чувством этих окружающих, доказывающим их признание превосходства его интеллекта, является не восхищение его идеями, ибо они недоступны им, но почтение к его доброте. Положение, занимаемое Сваном в свете, также внушало Одетте почтение, но она не желал с его стороны попыток добиться, чтобы ее там принимали. Может быть, она чувствовала, что такие попытки обречены на неудачу, а может быть, даже боялась, как бы простой разговор о ней не вызвал неприятных для нее разоблачений. Во всяком случае, каждый день она требовала от него обещания никогда не произносить ее имени. Причиной ее нежелания посещать свет была, по ее словам, ссора, когда-то происшедшая у нее с одной приятельницей, которая, чтобы отомстить ей, стала говорить о ней разные гадости. «Но, — возражал Сван, — не все же знали твою приятельницу». — «Ах, это все равно что масляное пятно; свет так зол!» Сван не мог понять, почему Одетта придавала этой истории такое большое значение, но, с другой стороны, он знал, что такие утверждения, как: «Свет так зол», «Клевета распространяется как масляное пятно», обыкновенно считаются истинными; должны быть, следовательно, случаи, к которым они приложимы. Что же, случай с Одеттой один из их числа? Он мучился над этим вопросом, но не долго, потому что ум его отличался той же неповоротливостью, какая тяготела над умом его отца, когда ему приходилось иметь дело с какой-нибудь трудной задачей. Впрочем, свет этот, так страшивший Одетту, не возбуждал, вероятно, у нее большого желания посещать его, потому что он был слишком далек от знакомого ей общества для того, чтобы она была способна составить себе сколько-нибудь ясное представление о нем. В то же время, оставаясь в некоторых отношениях совершенно простой (она поддерживала, например, дружеские отношения с одной маленькой портнихой, переставшей теперь заниматься шитьем, к которой она карабкалась почти каждый день по крутой, темной и вонючей лестнице), Одетта страстно хотела быть «шикарной», хотя ее представления о шике не совпадали с представлениями о нем светских людей. Для этих последних шик есть свойство сравнительно ограниченного числа лиц, излучаемое ими на весьма значительное расстояние — в большей или меньшей степени ослабевающее по мере удаления от интимного общения с ними — в круг их друзей и друзей их друзей, имена которых образуют своего рода список. Люди «общества» знают его наизусть, в этих вопросах у них настоящая эрудиция, из которой они извлекли своего рода вкус, такт, действующий с такой автоматичностью, что Сван, например, прочтя в газете фамилии лиц, находившихся на каком-нибудь обеде, не имел никакой надобности приводить в порядок свое знание света, — он мог определить сразу степень шикарности этого обеда, как знаток литературы по одной только фразе может точно оценить литературное достоинство ее автора. Но Одетта принадлежала к числу лиц (таких лиц очень много, что бы там ни думали люди «общества», и их можно найти в любом общественном классе), не обладавших этими знаниями и представлявших себе шик совсем иначе; хотя он облекается в различные формы в зависимости от среды, к которой принадлежат эти лица, однако ему всегда бывает присущ один общий признак — будь то шик, о котором мечтала Одетта, или же шик, перед которым преклонялась г-жа Котар, непосредственная доступность для всех. Другой шик, шик людей общества, по правде говоря, тоже общедоступен, но приобретение его требует некоторого времени. Одетта говорила о ком-нибудь:

— Он всегда ходит только в шикарные места.

И если Сван спрашивал, что она разумеет под этим, она отвечала ему несколько презрительно:

— Шикарные места? Неужели в твоем возрасте тебя нужно учить, какие есть шикарные места в Париже? Что же ты хочешь услышать от меня? Ну, скажем, по воскресеньям утром авеню Императрицы, в пять часов прогулка в экипаже вокруг Озера, по четвергам театр Эден, по пятницам Ипподром, балы…

— Какие балы?

— Какой ты глупый! Балы, которые даются в Париже: понятно, шикарные балы. Взять хотя бы Эрбенже, ты ведь знаешь его: биржевик; конечно же, ты должен знать его, он один из самых известных людей в Париже: высокий, крупный молодой человек, блондин, такой сноб, всегда с цветком в петличке и в светлых пальто со складкой на спине; ходит всегда со старой уродиной, таскает ее на все премьеры. Так вот, он дал на днях бал, весь шикарный Париж был на нем. Как я хотела пойти туда! Но нужно было предъявлять пригласительный билет у входа, а я никак не могла достать его. В сущности, я теперь довольна, что не пошла туда; там была такая давка, я ничего бы не увидела. Разве только для того, чтобы иметь возможность сказать потом: я была у Эрбенже. Ты знаешь, я ведь очень тщеславна! Впрочем, можешь быть уверен: половина женщин, рассказывающих, будто они были там, говорят неправду… Но меня удивляет, что ты, такой *пшют*, не был там.

Сван, однако, не делал ни одной попытки изменить это представление о «шике»; сознавая, что его собственное представление было ничуть не более законно, но так же нелепо, так же лишено всякого значения, он не находил никакого интереса знакомить с ним свою любовницу; в результате спустя несколько месяцев она перестала интересоваться лицами, у которых он бывал, за исключением тех случаев, когда Сван мог достать через них билеты в привилегированные места: на concours hyppique или на премьеру в театр. Она очень желала, чтобы он поддерживал такие полезные знакомства, но стала считать их малошикарными после того, как увидела однажды на улице маркизу де Вильпаризи, шедшую пешком в черном шерстяном платье и в чепчике с завязками.

— Но у нее вид капельдинерши, старой консьержки, darling! Так это маркиза! Я не маркиза, но пусть меня озолотят, я не выйду в Париже на улицу в таких лохмотьях!

Она не могла понять, как Сван может жить в доме на Орлеанской набережной; не решаясь сказать ему открыто, она находила это для него неприличным.

Правда, она уверяла, будто любит «древности», и принимала восхищенный вид знатока, говоря, что обожает рыться по целым дням в антикварных лавочках, отыскивая старый «хлам», «подлинные» вещи. Она, упорно не желая отвечать, считая это делом чести (и как бы следуя каким-то семейным наставлениям), на задаваемые ей вопросы и «не давая отчета» в том, как она проводит время, все же однажды сказала Свану, что была приглашена к приятельнице, у которой вся обстановка состояла из «стильных» вещей. Но Сван не мог добиться от нее, какого же стиля были эти вещи. Впрочем, подумав немного, она ответила: «средневекового». Она подразумевала под этим то, что стены были обшиты деревянными панелями. Через некоторое время она снова заговорила с ним об этой приятельнице и прибавила нерешительным тоном, но со сведущим видом, какой мы напускаем на себя, называя неизвестного нам человека, в обществе которого мы накануне обедали и с которым хозяева обращались как со знаменитостью, так что собеседник наш, надеемся мы, сразу догадается, о ком идет речь: «Ее столовая… в стиле… восемнадцатого века!» Она находила ее, впрочем, ужасной, голой; дом производил на нее впечатление незаконченного; женщины выглядели в этой обстановке уродливо, и мода, казалось, никогда не проникала в него. Она упомянула об этом доме в третий раз, когда показала Свану визитную карточку архитектора, отделавшего эту столовую; она хотела пригласить его, когда у нее будут деньги, поговорить с ним, не может ли он отделать и ей столовую, — понятное дело, не такую, как та, но такую, о которой она мечтала и которой размеры ее маленького дома, к сожалению, не позволяли ей устроить: с высокими буфетными шкафами, с мебелью *ренессанс* и с каминами, как в замке в Блуа. Во время этого разговора она дала понять Свану, какого она была мнения о его квартире на Орлеанской набережной; когда он осмелился заметить, что обстановка подруги Одетты вовсе не в стиле Людовика XVI, а представляет собой беспорядочную смесь псевдостаринных стилей, так как стиль Людовика XVI не делается на заказ, хотя и подделка под него может быть очаровательна, — «Не можешь же ты требовать, чтобы она жила, подобно тебе, среди сломанных стульев и протертых ковров», — воскликнула Одетта, в невольном порыве давая врожденному почтению буржуазии к людскому мнению одержать верх над благоприобретенным дилетантизмом кокотки.

Лица, любившие собирать старые вещи, ценившие поэзию, презиравшие мелочную расчетливость, лелеявшие возвышенные идеалы чести и любви, были в ее глазах цветом человечества, стояли выше всех остальных людей. Не было необходимости действительно обладать этими качествами: достаточно, если о них много и с убеждением говорили; если сосед Одетты за обеденным столом признавался ей, что он любит бродить по улицам, пачкать пальцы пылью в лавочках старой мебели, что его никогда не оценят в теперешний торгашеский век, так как он не заботится о своих выгодах и принадлежит поэтому другому времени, то, возвратись домой, она говорила: «Какой восхитительный человек; какая тонкость чувств! Я никак этого не предполагала», — и внезапно проникалась к нему сильнейшей дружбой. Зато те, кто, подобно Свану, действительно обладали этими качествами, но не говорили о них во всеуслышание, оставляли ее холодной. Конечно, она должна была признать, что Сван совсем не дорожит деньгами, но прибавляла, надув губки: «Ну, он совсем не то»; и действительно, воображению ее: говорило вовсе не практически осуществляемое бескорыстие, но лишь его фразеология.

Чувствуя, что часто он не может доставить ей удовольствий, о которых она мечтала, Сван старался по крайней мере сделать ей приятным свое общество, старался не противоречить ее вульгарным мыслям, ее дурному вкусу, сказывавшемуся решительно во всем; он, впрочем, любил его, как все, что исходило от нее, он даже восхищался им, потому что вкус этот принадлежал к числу характерных особенностей, благодаря которым раскрывалась, делалась видимой сущность этой женщины. Вот почему, когда у нее бывал счастливый вид, так как она собиралась пойти на «Королеву Топаз», или когда ее взгляд делался серьезным, беспокойным и нетерпеливым, если она боялась пропустить цветочный праздник или просто опоздать к чаю с булочками и гренками на улице Рояль, регулярное посещение которого было, по ее мнению, необходимо для всякой женщины, желающей упрочить за собой репутацию элегантности. Сван приходил в восторг, какой все мы испытываем при виде непринужденного поведения ребенка или портрета, похожего на оригинал до такой степени, что кажется, будто он сейчас заговорит; он с такой явственностью видел, как душа его любовницы подступает к ее лицу и оживляет все его черты, что не мог удержаться от искушения подойти к ней и коснуться ее щек губами. «Ах, она хочет, чтобы мы взяли ее на цветочный праздник, маленькая Одетта, она хочет, чтобы ею восхищались; ну хорошо, мы возьмем ее туда, нам остается только повиноваться ее желаниям». Так как зрение Свана начинало слабеть, то дома, во время работы, он принужден был надевать очки, а бывая в обществе, вставлять в глаз монокль, который меньше безобразил его. Увидя его в первый раз в монокле, Одетта не могла сдержать своего восхищения: «Я нахожу, что для мужчины, тут не может быть споров, это чертовски шикарно! Как ты красив сейчас! У тебя вид настоящего джентльмена. Недостает только титула!» — прибавила она с ноткой сожаления в голосе. Он любил, когда Одетта была такою, подобно тому как, влюбившись в какую-нибудь бретонку, был бы рад видеть ее в местном головном уборе и слышать от нее признание, что она боится привидений. До сих пор, как и у большинства людей, вкус которых к искусствам развивается независимо от их чувственности, у Свана существовала странная несогласованность между способами, какими он удовлетворял ту и другую свою потребность, наслаждаясь все более и более утонченными произведениями искусства в обществе все более и более невежественных и некультурных женщин, приводя, например, молоденькую горничную в закрытую ложу бенуара на декадентскую пьесу, которую ему очень хотелось посмотреть, или на выставку импрессионистов; он был, впрочем, убежден, что образованная светская дама поняла бы в театре или на выставке не больше горничной, но не умела бы так мило, как последняя, воздержаться от своего суждения. Но с тех пор, как он полюбил Одетту, все это изменилось: разделять ее симпатии, стараться быть с нею единодушным во всем, было настолько приятно ему, что он пытался находить удовольствие в вещах, которые она любила, и ему нравилось не только подражать ее привычкам, но также усваивать ее мнения, нравилось тем сильнее, что, не имея никаких корней в его собственном интеллекте, эти привычки и эти мнения напоминали ему только его любовь, ради которой он предпочел их своим собственным. Если он снова шел на «Сержа Панина», если он искал случаев, когда оркестром дирижировал Оливье Метра, то это объяснялось удовольствием быть посвященным во все любимые помыслы Одетты, чувствовать себя причастным всем ее вкусам. Прелесть, которою обладали любимые ею произведения или места, приближая его к ней, казалась ему более таинственной, чем прелесть, внутренно присущая самым прекрасным картинам или пейзажам, пленявшим его, но не напоминавшим ему Одетту. К тому же, забросив мало-помалу свои юношеские убеждения и позволив скептицизму светского человека проникнуть даже и в них, он думал теперь (или, по крайней мере, так давно уже стал думать, что у него сложилась привычка говорить в таком духе), что предметы, которыми мы эстетически восхищаемся, не заключают в себе никакой абсолютной ценности, но что все тут зависит от эпохи, общественного класса, все сводится к модам, из коих самые вульгарные, вполне равноценны тем, что считаются самыми изысканными. И так как он считал, что важность, придаваемая Одеттой получению пригласительного билета на вернисаж, сама по себе не была более смешной, чем удовольствие, которое он сам испытывал когда-то, завтракая у принца Уэльского, то ему не казалось также, что выражаемое ею восхищение Монте-Карло или Риги было более неразумно, чем его собственное любование Голландией, которая в ее представлениях была безобразной, и Версалем, который она находила невыносимо скучным. Поэтому он лишал себя удовольствия посещать эти места, утешаясь мыслью, что ради нее и ради любви к ней он не желает испытывать и любить ничего такого, чего не испытывала и не любила она.

Как и все, что окружало Одетту и являлось в некотором роде только средством видеть ее, разговаривать с нею, Сван любил общество Вердюренов. Так как на фоне всех развлечений, обедов, музыкальных вечеров, игр, костюмированных ужинов, поездок за город, посещений театра, даже изредка даваемых для «скучных» «больших вечеров», всегда было присутствие Одетты, лицезрение Одетты, разговор с Одеттой, — бесценный подарок, который Вердюрены делали Свану, приглашая его к себе, — то у них, в их «кружке», он проводил время с большим удовольствием, чем где-либо в другом месте, и пытался приписать этому кружку подлинные достоинства, так что воображал даже, будто и по собственному желанию он посещал бы его всю жизнь. Никогда не решаясь открыто признаться себе, из боязни усомниться в истинности своих слов, в том, что он всегда будет любить Одетту, он по крайней мере пытался предположить, что всегда будет посещать Вердюренов (предположение это a p_r_i_o_r_i вызывало меньше принципиальных возражений со стороны его рассудка) и вследствие этого и впредь каждый вечер будет встречаться с Одеттой; это не было, может быть, вполне равнозначно тому, что он останется навсегда влюбленным в Одетту, но в настоящее время, когда он любил ее, думать, что он никогда не перестанет встречаться с ней, было все, чего он желал. «Какая очаровательная атмосфера! — говорил он себе. — Жизнь, которую ведут там, в сущности и есть настоящая жизнь. Насколько все они интеллигентнее, насколько у всех них больше художественного вкуса, чем у представителей великосветского общества. Несмотря на несколько преувеличенные свои восторги, немножко смешные, как искренно любит г-жа Вердюрен живопись, музыку! Какая страсть к произведениям искусства, какое желание доставить удовольствие художникам! Ее представления о великосветском обществе не вполне правильны; но ведь и представления этого общества о художественных кругах столь же неправильны. Может быть, я не предъявляю особенно высоких требований к разговорам в дружеском кругу, но я нахожу полное удовлетворение в беседах с Котаром, несмотря на все его пристрастие к дурацким каламбурам. Да и относительно художника можно сказать, что, хотя его претензия поражать парадоксами в достаточной степени неприятна, зато это один из самых тонких умов, какие я когда-либо встречал. А главное, там чувствуешь себя совершенно свободно, делаешь что хочешь; никакой принужденности, никаких церемоний. Сколько добродушия и веселости расточается каждый день в этом салоне! Положительно, за самыми редкими исключениями, я больше никуда не стану ходить. С каждым днем у меня будет все больше упрочиваться эта привычка, и весь остаток своей жизни я буду проводить в их обществе».

И так как достоинства, которые он считал внутренне присущими Вердюренам, были в действительности не больше чем отражением на них наслаждения, вкушаемого в их присутствии его любовью к Одетте, то по мере роста его наслаждения достоинства эти делались все более значительными, все более глубокими, все более насущными. Так как г-жа Вердюрен давала иногда Свану то, что одно только могло составить его счастье; так как на вечере, когда он чувствовал себя расстроенным, видя, что Одетта разговаривает с одним из гостей больше, чем с другими, и когда, в припадке раздражения, он не хотел брать на себя инициативу приглашения ее ехать домой вместе, г-жа Вердюрен вносила мир и радость в его душу, спросив невзначай: «Одетта, вы поедете вместе с г-ном Сваном, не правда ли?» — так как, когда, с приближением лета, он начал с беспокойством задавать себе вопрос, не уедет ли Одетта куда-нибудь без него, будет ли он по-прежнему иметь возможность ежедневно видеться с нею, г-жа Вердюрен пригласила их обоих провести лето вместе с нею в деревне, — то Сван, позволив признательности и личному интересу незаметно проникнуть в свой рассудок и окрасить свои мысли, дошел до того, что объявил г-жу Вердюрен женщиной благородной и великодушной. Если кто-нибудь из его старых товарищей по Луврской школе заговаривал с ним об изысканных или выдающихся художниках, он отвечал ему: «В сто раз выше я ставлю Вердюренов!» И затем, с торжественностью, совершенно несвойственной ему раньше: «Это великодушные люди, а великодушие является, в сущности, единственной вещью, имеющей значение, единственной вещью, сообщающей нам изысканность здесь, на земле. Видишь ли, есть только два класса людей:

великодушные и все остальные; и я достиг возраста, когда нужно окончательно остановиться на чем-нибудь, раз навсегда решить, кого мы хотим любить и кого мы хотим презирать, держаться тех, кого мы любим, и не расставаться с ними больше до самой смерти, чтобы наверстать время, зря потерянное с остальными. Так вот, — продолжал он с тем легким волнением, которое мы испытываем, когда, даже не отдавая себе ясного отчета, высказываем какое-нибудь утверждение не потому, что оно истинно, но потому, что нам приятно высказывать его и мы слышим его в собственных устах так, точно оно исходило бы от кого-нибудь другого, — жребий брошен! Впредь я буду любить одни только великодушные сердца и буду жить только в атмосфере великодушия. Ты спрашиваешь меня, действительно ли г-жа Вердюрен женщина интеллигентная. Могу уверить тебя, что она дала мне доказательства большого благородства сердца, большого душевного величия, которых, ты сам понимаешь, нельзя достигнуть без соответствующего величия ума. Вне всякого сомнения, у нее глубокая художественная культура. Но, может быть, не в этом отношении она наиболее удивительна; каждый малейший поступок — утонченно-любезный, изысканно-любезный, — совершённый ею ради меня, каждый ее акт дружеского внимания, каждый ее жест, такой простой и в то же время такой возвышенный, обнаруживают более глубокое понимание сущности вещей, чем все ваши философские трактаты».

Ему следовало бы, однако, вспомнить, что среди старых друзей его родителей были люди столь же простые, как и Вердюрены, что многие из товарищей его юности так же страстно любили искусство, что у некоторых его знакомых было такое же «большое сердце» и что, тем не менее, с тех пор как он высказался в пользу простоты, искусств и великодушия, он совершенно перестал видеться с ними. Эти люди не были знакомы с Одеттой, а если бы были, то никогда бы не стали знакомить с нею Свана.

Таким образом, вряд ли в кружке Вердюренов был хотя бы один «верный», который любил бы их или считал, что любит, так сердечно, как Сван. И все же, когда г-н Вердюрен сказал, что Сван ему не нравится, он не только выразил свои собственные чувства, но бессознательно угадал также чувства своей жены. Несомненно, любовь Свана к Одетте была слишком интимна для того, чтобы он мог ежедневно посвящать г-жу Вердюрен в ее подробности; несомненно, самая сдержанность, с какой он пользовался гостеприимством Вердюренов, часто не приходя на обед к ним по причине, о которой они не имели никакого представления и которая, по их мнению, заключалась в его нежелании отклонить приглашение каких-нибудь «скучных людей»; несомненно также, постепенно совершаемое Вердюренами открытие его блестящего положения в свете, несмотря на все принятые им предосторожности сохранить его в тайне от них, — несомненно, все это содействовало их раздражению против него. Но настоящая причина этого раздражения была другая. Заключалась она в том, что Вердюрены очень быстро почувствовали в нем закрытый, непроницаемый для них уголок, в котором он продолжал молчаливо держаться того мнения, что княгиня де Саган не была «чудной» и шутки Котара не были смешны; — почувствовали, несмотря на его неизменную любезность по отношению к ним и безропотное принятие их догматов, что они не в силах навязать ему эти догматы, всецело обратить его в свою веру, чего никогда еще не приходилось встречать ни у одного из членов кружка. Они простили бы ему посещение «скучных» (которым к тому же, в глубине своего сердца, он в тысячу раз предпочитал Вердюренов и весь их «кружок»), если бы он согласился открыто отречься от них в присутствии «верных». Но они скоро поняли, что им никогда не удастся вырвать у него это отречение.

Как не похож на Свана был «новенький», которого Одетта попросила разрешения пригласить к Вердюренам, хотя сама встречалась с ним всего несколько раз, «новенький», на которого Вердюрены возлагали большие надежды, — граф де Форшвиль! (К великому удивлению «верных», он оказался родным шурином Саньета: старенький архивариус держался так скромно, что члены кружка Вердюренов всегда считали его занимающим более низкое общественное положение по сравнению с ними и никак не предполагали, что он человек богатый и даже довольно знатный.) Конечно, Форшвиль был с головы до ног «пшют», тогда как Сван таковым не был; конечно, ему никогда бы не пришло в голову поместить, как это делал теперь Сван, кружок Вердюренов выше всех других кружков. Но он лишен был природной деликатности, препятствовавшей Свану присоединяться к слишком очевидно ложным критическим суждениям г-жи Вердюрен по адресу знакомых ему лиц. Что касается претенциозных и вульгарных тирад, произносимых иногда художником, и острот коммивояжера, отпускаемых Котаром, то в то время как Сван, искренно любивший художника и доктора, легко прощал их, но не имел мужества и лицемерия им рукоплескать, Форшвиль, напротив, по своему умственному уровню был человеком, способным прийти в самый шумный восторг от выпадов художника, не понимая, впрочем, их смысла, и искренно наслаждаться остроумием доктора. Уже первый обед у Вердюренов, на котором присутствовал Форшвиль, ярко оттенил все различия между ними, вывел наружу душевные качества Свана и ускорил его опалу.

На этом обеде был, кроме постоянных гостей, профессор Сорбонны Бришо, который познакомился с г-ном и г-жой Вердюрен где-то на водах и охотно приходил бы к ним чаще, если бы его университетские обязанности и вообще научные занятия оставляли ему больше свободного времени. Ибо он обладал тем любопытством, той любовью к наблюдениям над жизнью, которые, в соединении с известным скептицизмом по отношению к предмету их научной работы, сообщают некоторым людям высокой культуры, занимающимся самыми разнообразными профессиями, — врачам, не верящим в медицину, преподавателям лицеев, не верящим в пользу переводов на латинский, — репутацию умов широких, блестящих и даже выдающихся. Рассуждая в салоне г-жи Вердюрен на философские или исторические темы, он любил выбирать поясняющие примеры из области самых злободневных событий прежде всего потому, что считал эти научные дисциплины не более чем подготовкой к жизни и воображал, будто находит в «маленьком клане» практическое осуществление того, что до сих пор было известно ему только из книг, а затем, может быть, также и потому, что, будучи смолоду воспитан в почтении к некоторым темам и бессознательно сохранив это почтение и до сего дня, он полагал, будто сбрасывает университетскую тогу, позволяя себе по отношению к этим темам непринужденность — или то, что он принимал за непринужденность потому лишь, что продолжал оставаться облеченным в свою тогу.

В самом начале обеда, когда г-н де Форшвиль, сидевший по правую руку от г-жи Вердюрен, которая ради «новенького» произвела большие расходы на туалет, говорил ей: «Как оригинальна эта белая материя», — доктор, ни на минуту не спускавший глаз с графа — настолько его снедало любопытство познакомиться поближе с представителем той диковинной породы людей, что сопровождают свою фамилию приставкой «де», — и искавший случая привлечь его внимание и войти с ним в более непосредственное соприкосновение, подхватил на лету слово «blanche» (белая) и, уткнувшись в тарелку, произнес: «Blanche? Бланка Кастильская?» — затем, не поднимая головы, бросил украдкой направо и налево, неуверенный, но самодовольный взгляд. В то время как Сван своим мучительным и тщетным усилием выдавить улыбку дал понять, что находит каламбур дурацким, Форшвиль показал сразу и то, что он способен оценить по достоинству его тонкость, и то, что он умеет вести себя в обществе, удерживая в должных границах веселье, искренность которого обворожила г-жу Вердюрен.

— Что вы скажете об этом ученом? — обратилась она к Форшвилю. — Двух минут с ним нельзя разговаривать серьезно. Вы так разговариваете и с вашими пациентами в больнице? — продолжала она, обращаясь к доктору. — Им совсем не скучно, в таком случае. Вижу, что и мне придется проситься к вам в больницу!

— Если я правильно расслышал, доктор назвал имя этой, простите за выражение, старой ведьмы — Бланки Кастильской. Разве я не прав, сударыня? — спросил Бришо г-жу Вердюрен, которая, вся задыхаясь, зажмурила глаза и поспешно закрыла лицо руками; по временам из-под пальцев у нее вырывались заглушённые взвизгивания.

— Боже мой, сударыня, я вовсе не хочу оскорблять слух почтительно настроенных душ, если таковые есть за этим столом sub rosa… Я признаю, что наша несказуемая афинская — о, бесконечно афинская! — республика могла бы почтить в лице этой обскурантки из дома Капетингов первого нашего префекта полиции, первого сторонника «энергичных» мероприятий. Да, да, дорогой хозяин, это так, — повторил он своим звонким голосом, отчеканивавшим каждый слог, в ответ на сделанную г-ном Вердюреном попытку возражать. — Летопись Сен-Дени, достоверность сведений которой мы не можем оспаривать, не оставляет никакого сомнения на этот счет. Нельзя представить себе более подходящую покровительницу для утратившего религиозную веру пролетариата, чем эта мать святого, которому она, впрочем, показала совсем не святые дела, как говорит Сюжер, а также святой Бернар; у нее каждый получал по заслугам.

— Кто этот господин? — спросил Форшвиль у г-жи Вердюрен. — Он производит впечатление большого авторитета.

— Как! Вы не знаете знаменитого Бришо? Он известен во всей Европе.

— Ах, это Брешо! — воскликнул Форшвиль, плохо расслышавший фамилию. — Вы расскажете мне о нем подробно, — продолжал он, вытаращив глаза на знаменитость. — Всегда бывает интересно обедать с выдающимся человеком. Какое же, однако, изысканное общество у вас за столом! Можно быть уверенным, что в нашем доме не знают, что такое скука.

— Вы знаете, самое главное здесь, — скромно заметила г-жа Вердюрен, — то, что каждый чувствует себя непринужденно. Каждый говорит что ему вздумается, и разговор брызжет фейерверком. Сегодня Бришо не представляет ничего особенного; но раз мне случилось видеть его здесь прямо ослепительным; положительно, хотелось броситься перед ним на колени. У других же, представьте, он больше не Бришо, все остроумие его пропадает, вам приходится вытягивать из него слова, он делается даже скучным.

— Как это любопытно! — отвечал Форшвиль с искусно разыгранным изумлением.

Остроумие, подобное остроумию Бришо, было бы сочтено крайней пошлостью в кругах, где Сван вращался в дни своей молодости, несмотря на то что оно было вполне совместимо с высокими умственными способностями. А мощному и хорошо тренированному уму профессора, вероятно, позавидовал бы не один из представителей светского общества, которых Сван находил в достаточной мере остроумными. Но эти светские люди в заключение так прочно насадили в нем свои вкусы и свои отвращения, — по крайней мере, во всем, что касается светской жизни, включая и те ее стороны, которые принадлежат, собственно, области ума и духовной культуры, например разговор, — что Сван не мог найти в остротах Бришо ничего, кроме педантизма, вульгарности и тошнотворной непристойности. Кроме того, привыкнув к хорошим манерам в обществе, он был шокирован грубым казарменным тоном, каким этот профессор-солдафон обращался к каждому из присутствующих. И, наконец, каплей, переполнившей чашу и заставившей его утратить всю свою снисходительность и выдержку, была, может быть, любезность, так обильно расточаемая г-жой Вердюрен по адресу этого Форшвиля, которого Одетта, по какой-то непонятной своей прихоти, вздумала ввести в дом. Чувствуя некоторую неловкость по отношению к Свану, она спросила его вскоре по приезде к Вердюренам:

— Как вы находите приглашенного мною гостя?

И Сван, впервые заметив, что Форшвиль, с которым он давно был знаком, может нравиться женщине и является довольно красивым мужчиной, ответил: «Препротивный!» Конечно, у него не было и мысли ревновать Одетту, но он не чувствовал себя теперь так хорошо, как обыкновенно, и когда Бришо, начав рассказывать историю матери Бланки Кастильской, которая «целые годы жила с Генрихом Плантагенетом, прежде чем вышла за него замуж», захотел побудить Свана попросить его продолжать, обратившись к нему: «Не правда ли, мосье Сван?» — тем фамильярно-грубоватым тоном, каким мы обращаемся к неотесанному мужику, нисходя до его умственного уровня, или к старому служаке, желая придать ему храбрости, то Сван уничтожил весь эффект Бришо, к великому гневу хозяйки дома, попросив у профессора извинения за то, что он проявил так мало интереса к Бланке Кастильской: все его внимание было поглощено вопросом, который он собирался задать художнику. Дело в том, что этот последний был в тот день на выставке другого, недавно скончавшегося, художника, друга г-жи Вердюрен, и Сван хотел узнать от него (ибо он ценил его вкус), действительно ли в последних работах покойника было нечто большее, чем виртуозность, так поражавшая публику уже на прежних его выставках.

— В этом отношении мастерство его было поразительно, но этот род искусства не кажется мне, как говорится, очень «возвышенным», — с улыбкой сказал Сван.

— Возвышенным… до высоты учреждения! — перебил его Котар, с комической торжественностью воздев руки.

Весь стол покатился со смеху.

— Ну, не говорила ли я вам, что с ним и двух минут нельзя остаться серьезным, — обратилась г-жа Вердюрен к Форшвилю. — Когда вы меньше всего ожидаете, он вдруг преподносит вам вот этакую шуточку.

Но от ее внимания не ускользнуло, что Сван, и притом один только Сван, не смеялся. Ему было не особенно приятно, что Котар поднял его на смех в присутствии Форшвиля. А тут еще художник, вместо того чтобы дать Свану интересный ответ, что он, вероятно, сделал бы, если бы находился с ним наедине, предпочел вызвать дешевый восторг у остальных сотрапезников, сострив насчет мастерства покойного мэтра.

— Я подошел совсем близко к одной из его картин, — сказал он, — чтобы рассмотреть, как это сделано; я уткнулся в нее носом. Как бы не так! Вы ни за что не определите, чем это сделано: клеем, мылом, сургучом, солнечным светом, хлебным мякишем или дерьмом!

— И дюжина делает единицу! — воскликнул доктор с некоторым опозданием, так что никто не понял соли его замечания.

— Такое впечатление, точно его картины сделаны из ничего, — продолжал художник, — так же невозможно открыть трюк, как в «Ночном дозоре» или в «Регентшах», и кисть еще увереннее, чем у Рембрандта или у Гальса. Там есть все и ничего, готов побожиться вам!

И, подобно певцам, которые, взяв самую высокую ноту, какая только в их средствах, продолжают оставшуюся часть арии фальцетом piano, художник ограничился тем, что стал бормотать с улыбкой, как если бы действительно красота этой живописи заключала в себе нечто необыкновенно забавное:

— Отлично пахнет, вам ударяет в голову, у вас дух захватывает, мурашки бегут по телу, — и ни малейшего средства разгадать, как это сделано; колдовство какое-то, трюк, чудо, — тут он громко расхохотался. — Это даже нечестно! — Затем, сделав паузу и торжественно подняв голову, он заключил низким басом, стараясь по возможности придать своему голосу гармоничность: — И это так лояльно!

За исключением моментов, когда художник сказал: "сильнее, чем «Ночной дозор», — богохульство, вызвавшее протест у г-жи Вердюрен, считавшей «Ночной дозор» наряду с «Девятой» и «Самофракией» величайшими шедеврами, когда-либо совданными искусством, — и: «сделано… дерьмом», — слова, после которых Форшвиль поспешно обвел взглядом сидевших за столом и, убедившись, что все «в порядке», искривил губы жеманной и одобрительной улыбкой, — все присутствовавшие (кроме Свана) не отрывали от него восхищенных глаз.

— Я положительно любуюсь им, когда он закусывает вот так удила! — воскликнула, когда он окончил, г-жа Вердюрен, в восторге от того, что застольный разговор сделался таким оживленным в день первого визита в дом г-на де Форшвиля. — Ну, а ты почему же продолжаешь сидеть болваном, разиня рот? — накинулась она вдруг на мужа. — Ты ведь знаешь, что он может прекрасно говорить, когда захочет. Можно подумать, будто он в первый раз слушает вас, — обратилась она к художнику. — Если бы вы видели его в то время, как вы говорили: он прямо пил ваши слова. Завтра он наизусть повторит нам все, что вы сказали, не пропустив ни одного слова.

— Нет, я совсем не шутил! — запротестовал художник, восхищенный успехом своей речи. — У вас такой вид, будто вы думаете, что я вам все наврал, пустил вам пыль в глаза; отлично, я поведу вас, чтобы вы сами посмотрели, и вы скажете тогда, преувеличил ли я: бьюсь об заклад, что вы вернетесь в еще большем восторге, чем я!

— Но мы нисколько не думаем, что вы преувеличиваете, мы хотим только, чтобы вы кушали и чтобы мой муж тоже кушал; положите г-ну Бишу еще камбалы, разве вы не видите, что она у него совсем простыла? Мы никуда не торопимся, вы подаете так, точно в доме пожар; подождите немного, вы не предложили салат.

Г-жа Котар, отличавшаяся скромностью и редко открывавшая рот, умела, однако, найти должное самообладание, когда счастливое вдохновение посылало ей на уста подходящее слово. Она чувствовала, что оно будет иметь успех, это сообщало ей уверенность, и она вступала в разговор не столько для того, чтобы блеснуть, сколько для того, чтобы быть полезной карьере мужа. Вот почему она подхватила слово «салат», только что произнесенное г-жой Вердюрен.

— Ведь это не японский салат? — сказала она вполголоса, обращаясь к Одетте.

Восхищенная и смущенная удачно сказанным словечком и смелостью, с какой она сделала таким образом тонкий, но прозрачный намек на новую пьесу Дюма, пользовавшуюся в городе успехом, она залилась очаровательным смехом простушки, не очень громким, но таким неудержимым, что несколько мгновений не могла совладать с собой.

— Кто эта дама? Она дьявольски остроумна, — спросил Форшвиль.

— Это еще пустяки. Вот мы покажем вам ее, если вы все пожалуете к нам обедать в пятницу.

— Вы сочтете меня ужасной провинциалкой, сударь, — сказала г-жа Котар Свану, — но, представьте, я еще не видела этой пресловутой «Франсильон», о которой все так трубят. Доктор уже был на ней (я припоминаю даже, он мне сказал, что ему доставило огромное удовольствие провести вечер с вами), и я должна сознаться, что нахожу неразумным заставлять его тратить деньги на билеты и идти в театр вместе со мной, раз он уже видел эту пьесу. Конечно, никогда не приходится жалеть о вечере, проведенном во Французской Комедии, там всегда так хорошо играют, но так как у нас есть очень милые друзья, — (г-жа Котар редко называла собственные имена; считая это более «изысканным», она ограничивалась выражениями «наши друзья», «моя приятельница», и произносила эти слова неестественным тоном с важным видом лица, называющего фамилии только в тех случаях, когда оно желает), — которые часто имеют ложи и любезно приглашают нас на все новые пьесы, стоящие того, чтобы их посмотреть, то я вполне уверена, что рано или поздно увижу «Франсильон» и составлю о ней свое мнение. Должна, однако, признаться, что чувствую себя в довольно глупом положении, ибо, куда я ни прихожу, везде, понятно, только и говорят, что об этом злосчастном японском салате. Все эти разговоры начинают даже немного утомлять, — прибавила она, видя, что Сван проявляет гораздо меньший интерес, чем она рассчитывала, к столь животрепещущей теме. — Впрочем, нужно признаться, что пьеса эта дает иногда повод для очень забавных шуток. У меня есть приятельница, большая чудачка, хотя очень хорошенькая женщина, пользующаяся большим успехом в обществе, всюду бывающая; она рассказывает, что заставила свою кухарку готовить этот японский салат, кладя в него все то, о чем Александр Дюма-сын говорит в своей пьесе. Она как-то пригласила к себе несколько знакомых отведать этот салат. К сожалению, я не была в числе избранных. Но она подробно рассказала нам об этом в ближайший свой «день»; по-видимому, получилось нечто ужасно противное, все мы хохотали до слез. Но, знаете, тут все зависит от того, как рассказать, — нерешительно заметила г-жа Котар, видя, что Сван сохраняет серьезный вид.

И, предположив, что это объясняется, может быть, его равнодушием к «Франсильон», она продолжала:

— Мне почему-то кажется, что я буду разочарована. Не думаю, чтобы эта пьеса могла сравниться с «Сержем Паниным», которого обожает г-жа де Креси. Вот это настоящая пьеса: такая глубокая, вызывает у вас столько размышлений; но давать рецепт салата на сцене Французской Комедии! Между тем как «Серж Панин»! Впрочем; все, что выходит из-под пера Жоржа Онэ, всегда так хорошо написано. Не знаю, видели ли вы «Железоделательного заводчика», которого я ставлю еще выше, чем «Сержа Панина».

— Извините меня, — иронически ответил ей Сван, — но я должен признаться вам, что оба эти шедевра почти в равной мере оставляют меня равнодушным.

— Правда? Что же вы ставите им в упрек? И это ваше окончательное мнение? Может быть, вы находите эти вещи слишком грустными? Впрочем, как я постоянно говорю, никогда не следует спорить относительно романов и театральных пьес. Каждый видит вещи по-своему, и то, что вселяет вам крайнее отвращение, я, может быть, люблю больше всего. — Тут ее перебил Форшвиль, обратившийся с вопросом к Свану. В то время, как г-жа Котар говорила о «Франсильон», Форшвиль выразил г-же Вердюрен свое восхищение тем, что он назвал маленьким «спичем» художника.

— У вашего друга такая легкость слова, такая память! — сказал он г-же Вердюрен, когда художник окончил. — Редко мне приходилось встречать что-либо подобное. Черт возьми! Хотел бы я обладать такими способностями. Из него вышел бы первоклассный проповедник. Можно сказать, что вместе с г-ном Брешо у вас два отменных номера за сегодняшним обедом; мне кажется даже, что как оратор художник заткнет, пожалуй, за пояс профессора. У него речь течет естественнее, не так книжно. Правда, попутно он употребляет немножко реалистические слова, но сейчас это как раз модно; мне не часто случалось видеть, чтобы человек так ловко держал плевательницу, как мы выражались в полку, где, между прочим, у меня был товарищ, которого как раз ваш гость немножко напоминает мне. По поводу чего угодно — затрудняюсь даже назвать вам что-нибудь — ну хоть бы по поводу вот этой рюмки он мог болтать часами; нет, не по поводу этой рюмки, — я привел вам глупый пример, — но по поводу, скажем, битвы под Ватерлоо или чего-нибудь другого в этом роде он преподносил вам попутно вещи, какие никогда бы не пришли вам в голову. Да, ведь Сван служил в этом самом полку; он должен знать его.

— Вы часто видите господина Свана? — спросила г-жа Вердюрен.

— Увы, нет! — отвечал г-н де Форшвиль; чтобы легче снискать благосклонность Одетты, он был любезен со Сваном и решил воспользоваться этим случаем и польстить ему, заговорить о его аристократических знакомствах, но заговорить как светский человек, благодушно-критическим тоном, не делая при этом такого вида, точно он поздравляет его с каким-то нечаянным успехом: — Не правда ли, Сван? Я никогда вас не вижу. Но как же прикажете с ним видеться? Это животное вечно сидит то у Ла Тремуй, то у де Лом, то еще у кого-нибудь!.. — Обвинение тем более неосновательное, что уже в течение года Сван почти нигде не бывал, кроме Вердюренов.

Однако имена лиц, с которыми Вердюрены не были знакомы, встречались ими неодобрительным молчанием. Г-н Вердюрен, опасаясь тягостного впечатления, которое эти фамилии «скучных», особенно произнесенные так бестактно перед лицом всех «верных», должны произвести на его жену, украдкой бросал на нее беспокойный и озабоченный взгляд. Он увидел тогда, что г-жа Вердюрен, в своем твердом намерении не считаться, не входить ни в какое соприкосновение с новостью, которая только что была сообщена ей, в своем непреклонном решении оставаться не только немой, но еще и глухой, как мы притворяемся глухими, когда провинившийся перед нами друг пытается ввернуть в разговор какое-нибудь извинение, выслушать которое беспрекословно значило бы принять его, или когда в нашем присутствии произносят запретное имя нашего заклятого врага, — увидел, что г-жа Вердюрен, опасаясь, как бы молчание ее не произвело впечатления попустительства, и желая придать ему вид бессмысленного молчания неодушевленных предметов, вдруг сделала лицо свое совершенно безжизненным, совершенно неподвижным; ее выпуклый лоб был теперь не больше, чем превосходная гипсовая модель, куда имя этих Ла Тремуй, у которых вечно пропадал Сван, никоим образом не могло проникнуть; ее чуть сморщенный нос позволял увидеть две темные щелочки, вылепленные, казалось, в точном соответствии с жизнью. Казалось, что ее полуоткрытый рот вот-вот заговорит. Это был, однако, только восковой слепок, только гипсовая маска, только макет для памятника, только бюст для выставки во Дворце промышленности, перед которым, наверное, останавливалась бы публика, с восхищением взирая на мастерство, с каким скульптору удалось сообщить почти папскую величественность белизне и суровости камня при изображении непререкаемого достоинства Вердюренов в противовес достоинству Ла Тремуй и де Лом, с которыми они вполне могли потягаться, так же как и со всеми вообще «скучными» людьми, какие только существуют на свете. Но мрамор в заключение оживился и дал понять, что нужно быть совсем небрезгливым, посещая эти семьи, где жена вечно пьяна, а муж настолько невежествен, что говорит «колидор» вместо «коридор».

— Пусть меня озолотят, но я никогда не позволю, чтобы нога этих господ переступила порог моего дома, — заключила г-жа Вердюрен, окинув Свана величественным взором.

Конечно, она не ожидала от него безусловной капитуляции, слепого подражания святой простоте тетки пианиста, разразившейся восклицанием:

— Подите ж вы! Удивительно, как это находятся люди, решающиеся ходить к ним; ей-богу, мне было бы страшно: всяко может случиться! Как это люди могут быть неразборчивы, чтобы бегать за ними?

Но мог же он, по крайней мере, ответить, подобно Форшвилю: «Черт побери, ведь она все же герцогиня; есть еще люди, на которых титул производит впечатление», — что дало бы возможность г-же Вердюрен воскликнуть: «Ну, и пусть их на здоровье!» Вместо этого Сван удовольствовался улыбкой с видом, ясно показывавшим, что он никак не может принять всерьез столь нелепое заявление.

Г-н Вердюрен, продолжавший украдкой бросать на жену беспокойные взгляды, с грустью видел и как нельзя лучше понимал, что она пылает гневом великого инквизитора, сознающего свое бессилие искоренить ересь; и вот, в надежде принудить Свана к отречению (ибо мужество, с каким человек высказывает свое мнение, всегда кажется расчетом и трусостью в глазах тех, к кому это мнение обращено), г-н Вердюрен спросил его:

— Скажите откровенно ваше мнение; будьте спокойны, мы им не передадим.

Сван ответил:

— Нет, я бываю там совсем не из страха перед герцогиней (если вы говорите о Ла Тремуй). Смею уверить вас, что все ходят к ней с удовольствием. Не скажу, чтобы она была «глубокой», — (он произнес слово «глубокий» как если бы оно означало что-либо смешное, ибо речь его продолжала сохранять те умственные привычки, которые его душевное обновление, отмеченное вспыхнувшей вдруг любовью к музыке, на время в нем убило, — теперь он выражал иногда свои мнения с горячностью), — но я искренно уверяю вас, что она очень интеллигентна, а муж ее человек чрезвычайно начитанный. Это обаятельные люди.

Тут г-жа Вердюрен, чувствуя, что одна эта измена навсегда отнимет у нее возможность утвердить полное единомыслие в кружке, не в силах была сдержаться; взбешенная упрямством негодяя, не видевшего, какое страдание причиняют ей его слова, она в сердцах крикнула:

— Находите их разобаятельными, но, пожалуйста, не говорите этого нам!

— Все зависит от того, что вы называете интеллигентностью, — сказал Форшвиль, тоже пожелавший блеснуть. — Ну-ка, Сван, что вы понимаете под интеллигентностью?

— Вот именно! — вскричала Одетта. — Это как раз одна из тех вещей, о которых я прошу его поговорить, но он всегда отказывается.

— Но…-- запротестовал Сван.

— Какая дичь! — воскликнула Одетта.

— Рябчик или куропатка? — спросил доктор.

— Для вас, — продолжал Форшвиль, — интеллигентность — это светская болтовня, это лица, умеющие пробраться в великосветские салоны?

— Кончайте ваше жаркое, нужно убирать тарелки, — резко сказала г-жа Вердюрен Саньету, который, погрузившись в размышления, забыл о еде. И, может быть, несколько устыдившись взятого ею тона: — Не торопитесь, у вас есть еще время; я сказала вам это только чтобы не задерживать других.

— Есть довольно любопытное определение интеллигентности, — начал Бришо, громко отчеканивая слоги, — у этого милого анархиста Фенелона…

— Слушайте! — обратилась г-жа Вердюрен к Форшвилю и к доктору. — Он сейчас сообщит нам определение интеллигентности Фенелона; это интересно; не всегда представляется случай услышать такие вещи.

Но Бришо ожидал, чтобы Сван дал раньше свое определение. Сван, однако, молчал и, уклонившись таким образом от ответа, разрушил весь эффект блестящего словесного состязания, которым г-жа Вердюрен собиралась уже угостить Форшвиля.

— Вот так же и со мной! — капризно-недовольным тоном сказала Одетта. — Я очень рада, что не меня одну он не удостаивает ответа, считает неспособной понять его.

— Скажите, эти Ла Тремуй, изображенные нам г-жой Вердюрен в таком непрезентабельном виде, — спросил Бришо, энергично отчеканивая слова, — являются потомками тех важных господ, с которыми, по ее признанию, была так счастлива познакомиться наша поклонница знати, почтеннейшая мадам де Севинье, на том основании, что это знакомство было полезно ее крестьянам? Правда, у маркизы была и другая причина, являвшаяся для нее, вероятно, более существенной: будучи прирожденной писательницей, она вечно была озабочена поисками колоритного материала. И в дневнике, который она регулярно посылала своей дочери, г-жа де Ла Тремуй, хорошо осведомленная благодаря своим связям, изображается особой, делающей иностранную политику.

— О, нет, нет! Я уверена, что это только однофамильцы, — заявила г-жа Вердюрен, пришедшая в совершенное отчаяние.

Саньет, который, торопливо вручив метрдотелю свою еще полную тарелку, снова погрузился в молчаливые размышления, наконец очнулся и со смехом стал рассказывать, как ему случилось однажды обедать вместе с герцогом де Ла Тремуй и как на этом обеде он вполне убедился в его невежестве: герцог не знал даже, что Жорж Санд псевдоним женщины. Сван, чувствовавший искреннее расположение к Саньету, счел своим долгом сообщить ему несколько фактов относительно образованности герцога, доказывавших, что подобное невежество с его стороны есть вещь совершенно невозможная; но вдруг он замолчал: он понял, что Саньет вовсе не нуждался в этих доказательствах и отлично знал, что вся рассказанная им история есть чистейшая фантазия по той простой причине, что только сейчас он выдумал ее. Превосходный человек страдал оттого, что Вердюрены всегда находили его таким скучным; и так как он сознавал, что был на этом обеде еще более бесцветным, чем обыкновенно, то решил хоть под конец обеда сделать попытку развеселить общество. Он сдался так быстро, имел такой несчастный вид после крушения задуманного им эффекта и ответил Свану таким испуганным тоном, умолявшим не настаивать на отныне совершенно бесполезном опровержении: «Да, да, вы правы: во всяком случае, даже если мною была допущена ошибка, это не преступление, надеюсь», что Свану страшно захотелось утешить его, сказать, что его анекдот совершенно истинен и необыкновенно занимателен. Внимательно слушавший их доктор подумал было, что-теперь самый подходящий момент сказать «Se non e vero…», но он не был достаточно уверен, правильно ли он запомнил слова, и боялся напутать. После обеда Форшвиль подошел к доктору.

— Она, должно быть, была недурна, мадам Вердюрен; к тому же она женщина, с которой можно разговаривать, — для меня это все. Конечно, она начинает немного расползаться. Но мадам де Креси — вот это, я вам доложу, штучка, она знает, что к чему. Ах, разрази меня гром, сразу видно, что у нее американский глаз, да! Мы говорим о мадам де Креси, — пояснил он г-ну Вердюрену, когда тот подошел к ним, посасывая трубку. — Я полагаю, что как женское тело…

— Я предпочел бы иметь в постели это тело, а не раскат грома, — торопливо произнес Котар, уже в течение нескольких секунд напрасно ожидавший, когда же Форшвиль переведет дух, чтобы вставить эту затасканную остроту, — для которой, он боялся, не окажется подходящего повода, если тема разговора изменится; он проговорил ее с той чрезмерной непринужденностью и уверенностью, которой мы часто пытаемся прикрыть холодность и легкое волнение, неизбежно сопровождающие затверженные слова. Форшвиль знал эту остроту, понял ее и рассмеялся. Что же касается г-на Вердюрена, то он не поскупился на веселость, ибо с недавних пор нашел способ выражать ее, не похожий, правда, на способ, практиковавшийся его женой, но столь же простой и столь же ясный. Едва только он начинал судорожно подергивать головой и плечами, как человек, надсаживающийся от хохота, так тотчас же закашливался, словно поперхнувшись дымом своей трубки. И, не выпуская ее изо рта, он мог до бесконечности притворно задыхаться от неудержимого веселья. Так г-н и г-жа Вердюрен (которая, слушая в это время художника, что-то рассказывавшего ей в другом конце комнаты, закатывала глаза перед тем как уткнуться лицом в ладони) похожи были на две театральные маски, олицетворявшие веселье, каждая по-своему.

Г-н Вердюрен поступил, впрочем, очень благоразумно, не вынув изо рта трубки, ибо Котар, почувствовавший потребность на минуту отлучиться из комнаты, произнес вполголоса недавно услышанную им остроту, которую он неизменно повторял каждый раз, когда ему нужно было сходить в кабинет уединения: «Мне нужно на минутку повидаться с герцогом Омальским», так что приступ кашля г-на Вердюрена возобновился с еще большей силой.

— Послушай, вынь трубку изо рта, ведь ты задохнешься, если будешь делать такие усилия сдерживать смех, — озабоченно сказала г-жа Вердюрен, начавшая обносить гостей ликерами.

— Какой обаятельный человек ваш муж, его остроумия хватит на четверых! — обратился Форшвиль к г-же Котар. — Благодарю вас, благодарю вас. Такой старый солдат, как я, никогда не откажется от рюмочки..

— Г-н де Форшвиль находит Одетту очаровательной, — сказал Вердюрен жене.

— Вы знаете, она очень хотела бы позавтракать как-нибудь вместе с вами. Мы это устроим, только, пожалуйста, ни слова об этом Свану. Вы знаете, он всегда немножко портит настроение. Понятно, отсюда не следует, что вы не должны приходить к нам обедать; мы надеемся видеть вас очень часто. Скоро станет тепло, и мы часто будем кушать на открытом воздухе. Вам не покажется очень скучным иногда скромно пообедать с нами в Булонском лесу? Отлично, отлично, это будет очень мило… Да вы никак собираетесь сидеть сегодня без дела, молодой человек! — воскликнула она вдруг, обращаясь к юному пианисту, чтобы щегольнуть перед «новеньким» такого калибра, как Форшвиль, и своим уменьем сказать острое словцо, и своей тиранической властью над «верными».

— Г-н де Форшвиль только что говорил мне ужасные вещи о тебе, — сказала г-жа Котар мужу, когда тот возвратился в гостиную.

Доктор, все еще занятый мыслью о знатном происхождении Форшвиля, овладевшей его умом с самого начала обеда, обратился к нему со следующими словами:

— Я лечу в настоящее время одну баронессу, баронессу Путбус; ведь Путбусы участвовали в Крестовых походах, не правда ли? У них есть где-то в Померании озеро, величиною как десять площадей Согласия. Я лечу ее от сухой подагры; она очаровательная женщина. Г-жа Вердюрен как будто тоже знакома с ней.

Это заявление позволило Форшвилю, когда он снова остался наедине с г-жой Котар, дополнить благоприятное суждение, составившееся у него относительно ее мужа:

— И, кроме того, он интересный человек; видно, что он знает свет. Ах, эти доктора! Всегда им бывает известно столько интимных подробностей о людях.

— Вам угодно, чтобы я сыграл фразу из сонаты для г-на Свана? — спросил пианист.

— Что, черт возьми, это может означать? Не «Serpent a sonates», надеюсь! — воскликнул г-н де Форшвиль, рассчитывая произвести эффект.

Но доктор Котар, никогда не слышавший этого каламбура, не понял его и вообразил, что Форшвиль ошибся. Он быстро подошел к нему и поправил.

— Нет, нет, говорят не «Serpent a sonates», но «Serpent a sonnettes», — произнес он горячим, нетерпеливым и торжествующим тоном.

Форшвиль разъяснил ему смысл каламбура. Доктор покраснел.

— Не правда ли, это неплохо, доктор?

— О, я давным-давно знал это, — ответил Котар.

Тут они замолчали; возвещенная переливчатыми скрипичными тремоло, прикрывавшими ее появление дрожащими протяжными нотами на две октавы выше, — и подобно миниатюрному силуэту идущей в долине женщины, замеченному нами в гористой местности, в двухстах футах ниже нас, по ту сторону с виду неподвижного, но головокружительно низвергающегося водопада, — стала обрисовываться коротенькая фраза, далекая, грациозная, огражденная непрестанно волнующимся прозрачным, нескончаемым звуковым занавесом. И Сван в самой интимной глубине своего сердца обратился к ней, как к единственному существу, которому он доверял тайну своей любви, как к подруге Одетты, которая, наверное, посоветовала бы ему не обращать внимания на этого Форшвиля.

— Ах, вы приехали слишком поздно, — сказала г-жа Вердюрен в ответ на приветствие одного «верного», которого она пригласила только к вечеру, — Бришо был у нас сейчас бесподобен, воплощенное красноречие! Но он уехал. Не правда ли, господин Сван? Я думаю, вы в первый раз встречаетесь с ним, — сказала она с целью подчеркнуть, что именно ей Сван обязан знакомством с ученым. — Не правда ли, он прелестен, наш Бришо?

Сван вежливо поклонился.

— Нет? Он не заинтересовал вас? — сухо спросила г-жа Вердюрен.

— Нет, почему же, мадам, очень, я в восторге от него. Он только, пожалуй, немножко категорически высказывает свои суждения и немножко шумен, на мой вкус. Хотелось бы, чтобы иногда он высказывался с большей осторожностью, с большей мягкостью, но чувствуется, что у него много знаний, и в целом он производит впечатление очень симпатичного человека. Разошлись очень поздно. Первыми словами Котара жене были:

— Редко случалось мне видеть г-жу Вердюрен в таком ударе, как сегодня вечером.

— Что такое, собственно, эта мадам Вердюрен? Сводня? — спросил Форшвиль у художника, которому предложил отправиться домой вместе.

Одетта с сожалением смотрела, как он уходил; она не посмела отказать Свану проводить ее, но была в дурном настроении в экипаже и, когда он спросил, можно ли войти к ней, отвечала: «Разумеется», нетерпеливо пожав плечами.

Когда все гости разошлись, г-жа Вердюрен сказала мужу:

— Обратил ты внимание, каким дурацким смехом смеялся Сван, когда мы говорили о г-же Ла Тремуй?

Она заметила, что, произнося фамилию этой дамы, Сван и Форшвиль несколько раз опускали частицу «де». Не сомневаясь, что это было сделано ими намеренно, с целью показать отсутствие почтительного преклонения перед титулами, г-жа Вердюрен желала бы подражать их независимому отношению к герцогине, но она не уловила в точности, какой грамматической формой должна выражаться эта независимость. И так как ошибочные обороты речи брали у нее верх над республиканской непримиримостью, то ей все еще невольно хотелось сказать «де Ла Тремуй» или, скорее, сделав сокращение в духе шансонеток или надписей под карикатурами, затушевывавших частицу «де», — «д’Ла Тремуй», но она вовремя спохватилась и сказала: «госпожа Ла Тремуй». «Г_е_р_ц_о_г_и_н_я, как говорит Сван», — прибавила она с иронической улыбкой, показывавшей, что она только цитирует его слова, но не берет на себя ни малейшей ответственности за столь ребяческое и смешное величание.

— Доложу тебе, что я нашла его непроходимым дураком.

Г-н Вердюрен поддержал ее:

— Он неискренен, всегда лукавит, всегда виляет. Всегда хочет устроить так, чтобы и овцы были целы и волки сыты. Полная противоположность Форшвилю. Вот это человек, говорящий вам в глаза то, что он думает. Вам это или нравится, или не нравится. Совсем не то, что этот господин, который вечно ни рыба ни мясо. Впрочем, Одетта как будто отдает решительное предпочтение Форшвилю, и я вполне одобряю ее. И к тому же, если Сван пытается разыгрывать перед нами роль светского человека, поборника герцогинь, то Форшвиль сам, по крайней мере, имеет титул; он всегда остается графом де Форшвиль, — деликатно заключил он свою речь, как если бы, будучи хорошо знаком с историей этого титула, он самым тщательным образом взвешивал его относительную ценность.

— Доложу тебе, — продолжала г-жа Вердюрен, — что он счел нужным направить несколько ядовитых и в достаточной мере нелепых замечаний по адресу Бришо. Понятное дело, раз он видел, что Бришо окружен любовью и уважением в нашем доме, то это было сделано с целью задеть нас, испортить наш обед. Знаю я таких: сердечные друзья семьи, ругающие вас на чем свет, едва только за ними закрылась дверь вашего дома.

— Но ведь я же всегда говорил это, — сказал в ответ г-н Вердюрен, — это просто неудачник; ничтожество, которое завидует всему, что обладает какой-нибудь значительностью.

В действительности ни один из «верных» не отличался большей благожелательностью к Вердюренам, чем Сван; но все они предусмотрительно сдабривали свое злословие какими-нибудь общеизвестными остротами, небольшой дозой душевной теплоты и сердечного участия; между тем как малейшая сдержанность, которую позволял себе Сван, не замаскированная в такие условные формулы, как: «Конечно, я не хочу сказать ничего дурного» (Сван гнушался унизить себя до них), казалась Вердюренам вероломством. Есть прекрасные оригинальные писатели, малейшая вольность которых возмущает публику, потому что они пренебрегли польстить ее вкусам и состряпать для нее общие места, к которым публика привыкла; точно такая же манера Свана приводила в негодование г-на Вердюрена. Как и у этих писателей, новизна языка была качеством, вселявшим подозрение, будто весь он наполнен черными намерениями.

Сван ничего не знал еще о немилости, грозившей ему со стороны Вердюренов, и продолжал видеть все их смешные ужимки в самом розовом свете, через призму своей любви.

Свидания с Одеттой, по крайней мере в большинстве случаев, происходили у него только по вечерам; дневными посещениями он боялся утомить ее; но ему все же хотелось непрестанно занимать ее мысли, и каждую минуту он старался найти повод привлечь к себе ее внимание, но так, чтобы это было приятно ей. Если его пленяли на витрине цветочного или ювелирного магазина цветочный куст или украшение из драгоценных камней, он тотчас решал послать их Одетте, воображая, что удовольствие, доставленное ему ими, будет испытано также и ею, что оно усилит ее нежные чувства к нему; и он приказывал немедленно отнести их на улицу Ла-Перуз, чтобы ускорить минуту, когда, благодаря вручению ей этого подарка, он почувствует себя как бы находящимся подле нее. Особенно хотелось ему, чтобы этот подарок был получен ею до ухода из дому, так, чтобы ее признательность обеспечила ему более нежную встречу, когда он увидит ее у Вердюренов, или, может быть, даже, кто знает? — если хозяин магазина выполнит его поручение с достаточной расторопностью — побудила ее прислать ему до обеда письмо, а то и лично посетить его, сделать ему неожиданный визит, в знак благодарности. Как в прежние времена, когда притворно негодующими письмами он вызывал у Одетты прилив особенной нежности, так теперь, пробудив в ней благодарность, он пытался извлечь из нее самые интимные частицы ее чувства, которые она никогда еще не открывала ему.

Часто бывали у нее денежные затруднения, и тогда, теснимая кредиторами, она просила Свана выручить ее. Он бывал счастлив помочь ей, как бывал счастлив сделать все, что могло укрепить в Одетте представление о его любви к ней или просто о его влиянии, о пользе, какую он способен был принести ей. Конечно, если бы в начале их знакомства кто-нибудь сказал ему: «твое положение — вот что привлекает ее», и в настоящее время: «только ради твоих денег она любит тебя», — он не поверил бы этому, да, впрочем, и не почувствовал бы большого негодования при мысли, что, в глазах его знакомых, она привязана к нему — они соединены друг с другом — такими мощными силами, как снобизм или деньги. Но если бы даже он допустил такую возможность, ему, пожалуй, не причинило бы никакого страдания открытие, что любовь к нему Одетты основывается на вещи более длительной, чем нежные чувства или привлекательные качества, которые она могла найти у него: на соображениях выгоды, — выгоды, которая навсегда предотвратит наступление дня, когда у нее могло бы возникнуть желание порвать с ним. В данную минуту, осыпая ее подарками, оказывая ей всевозможные услуги, он мог положиться на преимущества, не содержащиеся в его личности, в его уме, мог отказаться от изнурительных усилий делать привлекательным себя самого. И это наслаждение быть влюбленным, жить одной только любовью, реальностью, в которой он иногда сомневался, еще больше повышалось в его глазах благодаря значительным, в общем, деньгам, которые ему приходилось платить за него, в качестве любителя нематериальных ощущений, — вроде того, как люди, сомневающиеся, действительно ли зрелище моря и шум морских волн способны доставить им наслаждение, приобретают в этом уверенность, как равно и в высоком благородстве и полнейшем бескорыстии своих чувств, уплачивая по сто франков в день за комнату в отеле, из которой можно наблюдать это зрелище и слышать этот шум.

Однажды размышления такого рода привели ему на память время, когда кто-то охарактеризовал ему Одетту как женщину, живущую на содержании, и он снова позабавился сопоставлением этого странного персонажа: женщины, живущей на содержании, — отливавшего радужными цветами сплава каких-то неведомых дьявольских качеств, украшенного, словно одно из видений Гюстава Моро, ядовитыми цветами вперемежку с драгоценными камнями, — и Одетты, на лице которой он подмечал выражение тех же самых чувств жалости к несчастным, возмущения несправедливостью, благодарности за оказываемые ей услуги, какие он наблюдал когда-то на лице своей матери и на лицах своих друзей, — Одетты, так часто касавшейся в своих разговорах вещей, известных ему как нельзя лучше, его коллекций, его комнаты, его старого слуги, банкира, у которого он держал свои бумаги; тут мысль о банкире напомнила ему, что скоро он должен будет обратиться к нему за деньгами. В самом деле, если в текущем месяце он не окажет Одетте такой щедрой помощи в ее материальных затруднениях, какая была оказана им в минувшем месяце, когда он подарил ей пять тысяч франков, и если не поднесет ей бриллиантового ожерелья, о котором она так мечтала, то убудет ее восхищение его щедростью, убавится ее признательность, наполнявшая его таким счастьем, и он рискует даже посеять в ней мысль, что сама его любовь к ней, как она может заключить об этом по большей скромности ее внешних проявлений, пошла на ущерб. Тогда он вдруг спросил себя, не есть ли это как раз то, что называют «содержанием» женщины (как если бы понятие «содержания» могло быть действительно построено не из таинственных элементов распутства, а из самых повседневных мелочей его интимной жизни, вроде, например, тысячефранкового кредитного билета, такого простого и обыденного, разорванного и подклеенного, который его камердинер, оплатив его счета и внеся деньги за квартиру, запер в ящик старого письменного стола, откуда Сван достал его и послал Одетте, вместе с четырьмя другими такими же билетами), и нельзя ли приложить к Одетте, с тех пор как он познакомился с нею (ибо ни на одну секунду он не допускал, чтобы она могла раньше брать деньги от кого-нибудь другого), этот так, по его мнению, несовместимый с нею эпитет: «содержанка». Он не способен был исследовать эту мысль глубже, потому что приступ умственной лени, которая у него была наследственной и периодически посещала его, приводя часто к роковым последствиям, потушил в этот миг в его мозгу всякий свет с такой быстротой, с какой впоследствии, когда повсюду было проведено электрическое освещение, можно было выключить электричество в целом доме. Мысль его одно мгновение брела ощупью в потемках, он снял очки, вытер стекла, провел рукою по глазам и увидел свет только оказавшись лицом к лицу с совсем другой мыслью, именно, что ему нужно постараться послать Одетте в ближайший месяц шесть или семь тысяч франков вместо пяти, просто для того, чтобы сделать ей сюрприз и обрадовать ее.

В те вечера, когда Сван не оставался у себя дома в ожидании часа встречи с Одеттой у Вердюренов или, вернее, в одном из излюбленных Вердюренами ресторанов на открытом воздухе: в Булонском лесу и особенно в Сен-Клу, он шел обедать в один из тех элегантных домов, где был когда-то завсегдатаем. Он не хотел терять связей с людьми, которые — как знать? — может быть когда-нибудь окажутся полезными Одетте и благодаря которым ему и теперь часто удавалось доставлять ей удовольствие. К тому же, так давно приобретенная им привычка к светскому обществу, к роскоши поселила в нем, наряду с презрительным отношением к этому миру, острую потребность в нем, так что в тот момент, когда самые скромные квартирки стали казаться ему совершенно равноценными пышным княжеским дворцам, чувства его настолько свыклись с этими дворцами, что ему было несколько не по себе, когда он находился в обстановке среднего буржуазного дома. Он относился совершенно одинаково — до такой степени одинаково, что они никогда не поверили бы этому, — к мелким чиновникам, приглашавшим его на танцевальные вечера (лестница Д, пятый этаж, площадка налево), и к принцессе Пармской, задававшей самые блестящие балы в Париже; но он не получал впечатления, что находится действительно на балу, помещаясь с отцами семейства в спальне хозяйки дома, и вид умывальников, прикрытых салфетками, и кроватей, превращенных в раздевальные, на парадные одеяла которых сваливались пальто и шляпы, действовал на него приблизительно так, как может подействовать в настоящее время на людей, уже два десятка лет привыкших к электрическому освещению, запах коптящей лампы или чадящего ночника. Когда он обедал в городе, то приказывал закладывать лошадей в половине восьмого; переодеваясь, он все время думал об Одетте, так что не чувствовал себя в одиночестве, ибо постоянная мысль об Одетте сообщала минутам, когда он находился вдали от нее, то же самое своеобразное очарование, какое было присуще минутам, проведенным в ее обществе. Он садился в экипаж, но чувствовал, что вслед за ним туда вскакивает его мысль и усаживается у него на коленях, как балованное животное, которое водят с собой повсюду и которое будет сидеть подле него за обеденным столом, оставаясь не замеченным соседями. Он гладил и ласкал свою мысль, согревался ее теплом и, засовывая в петличку букетик голубков, ощущал некоторую томность, отдавался во власть нервной дрожи, щекотавшей ему шею и нос и совсем для него новой. Чувствуя себя с некоторых пор нездоровым и печально настроенным, особенно после того как Одетта познакомила Форшвиля с Вердюренами, Сван хотел бы съездить в деревню немного отдохнуть. Но он не мог набраться мужества покинуть Париж хотя бы на один день, в то время как Одетта оставалась там. На дворе было жарко; стояли самые прекрасные весенние дни. Напрасно колесил он по каменному городу, отправляясь с визитами в закупоренные особняки: перед глазами у него непрестанно стоял принадлежавший ему парк под Комбре, где с четырех часов дня, не доходя до рассадника спаржи, благодаря ветерку, веявшему с полей Мезеглиза, можно было наслаждаться в тени грабовой беседки или на берегу пруда, опоясанного лентой незабудок и сабельника, предвечерней свежестью, и где вокруг обеденного стола протягивались выращенные его садовником кусты смородины и розы.

После обеда, если свидание в Булонском лесу или в Сен-Клу было назначено рано, Сван, встав из-за стола, уезжал так поспешно — особенно, когда собирался дождь и можно было опасаться, что «верные» разойдутся раньше обычного, — что однажды принцесса де Лом (у которой обедали поздно, и Сван уходил еще до кофе, чтобы успеть встретиться с Вердюренами на острове в Булонском лесу) заметила:

— Право, если бы Свану было на тридцать лет больше и он страдал недержанием мочи, то его поспешный уход можно было бы извинить. Но все же он издевается над обществом.

Он говорил себе, что очарование весны, которым он не может насладиться в Комбре, будет им найдено, по крайней мере, на Лебедином острове или в Сен-Клу. Но так как он мог думать только об Одетте, то не знал даже, ощутил ли он запах листьев и светила ли луна. Появление его приветствовалось коротенькой фразой из сонаты, исполнявшейся в саду на ресторанном рояле. Если рояля в саду не оказывалось, то Вердюрены принимали все меры, чтобы он был туда доставлен из кабинетов или из общей залы; объяснялось это вовсе не тем, что Сван снова вошел к ним в милость, ничуть. Но мысль организовать затейливое развлечение для кого-нибудь, даже для человека, которого они не любили, вызывала у них, во время необходимых приготовлений, мимолетные и неглубокие чувства симпатии и сердечности. Иногда он говорил себе, что вот проходит еще один весенний вечер, и принуждал себя взглянуть на деревья, на небо. Но возбуждение, в которое приводило его присутствие Одетты, а также легкий озноб, не покидавший его с некоторых пор, лишали его спокойствия и душевного равновесия, этого необходимого фона для восприятия впечатлений, доставляемых нам природой.

Однажды, приняв приглашение Вердюренов пообедать вместе с ними, Сван заявил за столом, что на следующий день ему необходимо быть на банкете, устраиваемом группой его старых товарищей: в ответ на это заявление Одетта воскликнула во всеуслышание, в присутствии Форшвиля, который был теперь одним из «верных», в присутствии художника, в присутствии Котара:

— Да, я знаю, что у вас завтра банкет; я увижу вас, значит, только у себя, но приходите не очень поздно.

Хотя Сван никогда еще не относился сколько-нибудь подозрительно к знакам дружеского внимания Одетты, обращенным к тому или другому из «верных», но ему было очень приятно, когда она признавалась таким образом при всех, со спокойным бесстыдством, в их ежедневных вечерних свиданиях, в его привилегированном положении возле нее, то есть в том, что ему оказывается предпочтение. Конечно, Сван часто сознавал, что Одетта ни в какой мере не была женщиной замечательной; и верховная власть, которой он располагал над существом, стоявшим столь бесконечно ниже его, не содержала в себе ничего сколько-нибудь лестного, так что ею не стоило хвастать перед «верными»; однако, с той поры, как он заметил, что многим мужчинам Одетта казалась женщиной обольстительной и желанной, обаяние, заключенное для них в ее теле, пробудило в нем мучительную потребность добиться безраздельной власти над нею, подчинить себе самые сокровенные движения ее сердца. И он начал придавать огромное значение минутам, проведенным у нее вечером, когда он усаживал ее себе на колени, заставлял говорить, что она думает о той или другой вещи, — когда перебирал те единственные земные блага, обладание которыми было ему еще дорого. Вот почему после этого обеда он отвел Одетту в сторону и стал горячо благодарить ее, стараясь показать ей размерами своей признательности, какие огромные наслаждения она способна была доставить ему; самым высшим из этих наслаждений было оградить его на время, пока будет длиться его любовь и он будет уязвимым в этом отношении, от приступов ревности.

Когда он покинул на другой день банкет, шел проливной дождь, а между тем в его распоряжении была одна только виктория; кто-то из друзей предложил отвезти его домой в закрытом экипаже, и так как Одетта самым фактом его приглашения к себе вселила в него уверенность, что она никого не ожидает, то он мог бы с душевным удовлетворением и спокойным сердцем возвратиться домой спать, вместо того чтобы ехать, таким образом, под дождем в виктории. Но вдруг Одетта, увидя, что он недостаточно дорожит своим правом проводить с нею всегда, без единого исключения, конец вечера, перестанет уделять ему эти поздние часы как раз в то время, когда они будут особенно необходимы ему?

Он приехал к ней после одиннадцати часов, и в ответ на извинение, что он не мог вырваться раньше, Одетта стала жаловаться, что действительно сейчас очень поздно, гроза вызвала у нее недомогание, головную боль; она объявила, что не позволит ему оставаться больше получаса и в двенадцать часов выпроводит вон; вскоре она почувствовала усталость и захотела спать.

— Значит, сегодня не будет катлей? — спросил он. — А я так рассчитывал на одну хорошую маленькую катлею.

Но она ответила немного раздражительным и нервным тоном:

— Нет, дорогой, не нужно сегодня катлей; разве ты не видишь, что я больна?

— Может быть, тебе от этого станет лучше, но, впрочем, я не настаиваю.

Она попросила его потушить свет перед уходом; он задернул занавески у ее кровати и удалился. Но когда он возвратился домой, ему вдруг пришло в голову, что, может быть, Одетта ожидала кого-нибудь сегодня вечером, что она только притворилась усталой и попросила его потушить свет только для того, чтобы внушить мысль, будто она собирается спать, что тотчас по его уходе она вновь зажгла огонь и впустила того, кто должен был провести с нею ночь. Он взглянул на часы. Прошло уже почти полтора часа с тех пор, как он покинул ее; он вышел из дому, взял извозчика и велел ему остановиться у самого ее дома, в переулке, перпендикулярном той улице, куда выходила задняя часть ее дома и откуда он стучал иногда в окно ее спальни, чтобы она вышла ему открыть; он сошел с экипажа; было совершенно пустынно и темно в этом квартале; едва только сделав несколько шагов, он очутился у самого ее дома. Посреди ряда тускло блестевших окон, за которыми свет давно уже был погашен, он увидел только одно, откуда изливался — сквозь щели ставень, как бы выжимавших из него таинственный золотистый сок, — свет, который наполнял комнату и столько раз, едва только он издали замечал его, дойдя до этой улицы, радовал его сердце и возвещал ему: «она там и ожидает тебя», и который теперь терзал его, говоря ему: «она там с тем, кого она ожидала». Он хотел узнать, с кем именно; прокрался вдоль стены до окна, но не мог ничего увидеть между косыми полосами решетчатых ставень; расслышал только в тишине ночи ночные звуки разговора. Как он страдал при виде этого света, в золотистой атмосфере которого двигалась по ту сторону наглухо закрытого окна невидимая омерзительная парочка, при звуках доносившихся до него голосов, выдававших присутствие того, кто проник туда после его ухода, лживость Одетты и наслаждения, которые в этот миг она вкушала с незнакомцем!

И все же он был доволен тем, что пришел: душевная мука, вынудившая его бежать из дому, потеряв неопределенность, потеряла также и остроту — теперь, когда другая жизнь Одетты, над которой впервые в этот миг для его бессильных взоров внезапно приоткрылась завеса, была вот здесь, рядом, так что он почти прикасался к ней, ярко освещенная лампой, в не сознаваемом ею плену у этой комнаты, куда, если он захочет, он может проникнуть и захватить ее врасплох; или, скорее, он постучит в ставню, как он часто делал это, когда приходил очень поздно; таким образом, Одетта будет осведомлена, по крайней мере, что ему все известно, что он видел свет и слышал разговор; и он, минуту тому назад представлявший ее себе насмехавшейся над ним, радовавшейся вместе с другим тому, как ловко ей удалось провести его, — он видел теперь, как, продолжая пребывать в своем заблуждении, они сами были проведены и пойманы в западню не кем иным, как им, Сваном, который, по их мнению, был за версту отсюда, между тем как он находился здесь, своей собственной особой, и, знал уже, что сейчас постучит в ставню. И, может быть, то почти приятное ощущение, которое он испытывал в настоящий момент, было совсем не успокоением сомнения, не облегчением боли: может быть, оно было удовольствием чисто интеллектуального порядка. Если с тех пор, как он стал влюбленным, вещи вновь приобрели для него до некоторой степени привлекательность, которую он находил в них когда-то, но только в тех случаях, когда они бывали освещены мыслью, воспоминанием об Одетте, то теперь ревность оживляла в нем другую способность его любознательной юности: страсть к истине, но истине, тоже помещавшейся между ним и его любовницей, получавшей свой свет только от нее, истине чисто личной, единственным объектом которой, бесконечно драгоценным и почти лишенным субъективной окраски в своей абсолютной красоте, были поступки Одетты, ее знакомства, ее планы, ее прошлое. Во всякий другой период его жизни повседневные поступки и слова какого-нибудь лица всегда казались Свану лишенными значения; если ему передавались сплетни о таких вещах, он пропускал их мимо ушей, а когда слушал их, то интерес к ним проявляла только самая низменная, самая вульгарная часть его ума; в такие минуты он явственно ощущал свою посредственность. Но в этом странном периоде любви личность другого человека приобретает такую необыкновенную глубину, что любопытство по отношению к самым мелким подробностям повседневных занятий какой-то заурядной женщины, пробуждение которого он теперь чувствовал в себе, было тем самым любопытством, с каким он изучал когда-то историю. И все поступки, которых он устыдился бы до сих пор: выслеживание под окном, а завтра — кто знает? — может быть, искусно заданные вопросы каким-нибудь случайным свидетелям, подкуп слуг, подслушивание у дверей, — казались ему теперь, подобно расшифрованию текстов, сопоставлению показаний и интерпретации старинных памятников, только методами научного исследования, обладающими бесспорной логической ценностью и вполне позволительными при отыскании истины.

Собираясь уже стукнуть в ставню, он почувствовал приступ стыда при мысли, что Одетта узнает о его подозрениях, о его возвращении, о его стоянии под окном на улице. Она часто говорила ему о том, как противны ей ревнивые мужчины, выслеживающие любовники. Поступок, который он собирался совершить, был крайне бестактным, и отныне она навсегда возненавидит его, между тем как сейчас, в настоящую минуту, покуда он еще не постучал, она, может быть, даже его обманывая, любит его. Сколь часто возможное счастье приносится таким образом в жертву нетерпеливо требуемому немедленному наслаждению. Но желание знать истину было сильнее и показалось ему более благородным. Он был уверен, что за этим изборожденным световыми полосками окном, — как за тисненным золотом переплетом одной из тех драгоценных рукописей, к самому художественному богатству которых обращающийся к ним ученый не в силах отнестись равнодушно, — можно прочесть какие-то важные события, за точное восстановление которых он отдал бы жизнь. Он испытывал страстное желание знать до глубины души волновавшую его истину, заключенную в этом единственном, летучем и драгоценном списке, на этой просвечивающей странице, такой прекрасной, так согретой жизненным теплом. И к тому же преимущество, которое он чувствовал — которое так жадно хотел чувствовать — над ними, заключалось, может быть, не столько в знании, сколько в возможности показать им, что он знает. Он стал на цыпочки. Стукнул. Его не услышали; он стукнул еще раз, сильнее; разговор оборвался. Мужской голос — он напряг слух, чтобы различить, кому из известных ему знакомых Одетты он мог принадлежать, — спросил:

— Кто там?

Ему не удалось разобрать. Он стукнул еще раз. Окно открылось, затем открылись ставни. Теперь было поздно идти на попятный, и так как сейчас она узнает все, то, чтобы не показаться слишком несчастным, слишком ревнивым и любопытным, он крикнул небрежным и веселым тоном:

— Не беспокойтесь, я проходил мимо, увидел свет и захотел узнать, лучше ли вам.

Он взглянул. Перед ним в окне стояли два старика, один из них с лампой в руке; и тогда он увидел комнату, комнату незнакомую. Привыкнув во время поздних своих посещений Одетты узнавать ее окно по тому признаку, что из всех похожих окон оно одно только было освещено, он ошибся и постучал в следующее окно, принадлежавшее соседнему дому. Кое-как извинившись, он удалился и поспешил домой, обрадованный тем, что удовлетворение его любопытства не нанесло их любви никакого ущерба и что, после столь продолжительной симуляции некоторого равнодушия к Одетте, он не дал ей, проявлением ревности, доказательства чрезмерной любви к ней, доказательства, навсегда освобождающего любовника, который получает его, от обязанности любить достаточно сильно.
Он ничего не сказал ей об этом злоключении, сам даже перестал думать о нем. Но по временам мысли его, блуждая, встречали на своем пути не замеченное ими воспоминание, задевали его, погружали глубже, и Сван внезапно чувствовал глухую боль. Боль эта была как бы физической, ибо мысль Свана была бессильна облегчить ее; но хорошо, если бы она была только физической, ибо физическая боль независима от мысли, мысль может сосредоточиться на ней, констатировать, что она уменьшилась, что она на мгновение прекратилась! Его же боль мысль воссоздавала, воссоздавала простым припоминанием ее. Решение не думать о ней само было мыслью о ней, само заставляло страдать от нее. И когда, в разговоре с друзьями, он забывал свою боль, вдруг чье-нибудь случайное слово искажало ему лицо, как оно искажается у раненого, когда чья-нибудь неловкая рука неосторожно прикасается к больному месту. Покидая Одетту, он бывал счастлив, чувствовал спокойствие, вспоминал насмешливые улыбки, с какими она говорила о том или другом из их знакомых, и улыбки нежные, обращенные к нему; вспоминал тяжесть ее головы, которую она выводила из положения равновесия и наклоняла, роняла, почти против воли, на его губы, как сделала это впервые в экипаже; вспоминал томные взгляды, которые она бросала на него, находясь в его объятиях и то и дело зябко прижимаясь к его плечу своей склонившейся головой.

Но тотчас его ревность, словно она была тенью его любви, рисовала ему двойника этой новой улыбки, которою она приветствовала его не далее как сегодня вечером — и которая теперь, напротив, насмехалась над Сваном и была полна любовью к другому, — этого наклона головы, но в сторону других губ, и всех знаков нежности, выказанных ею к нему и даримых теперь другому. И все сладостные воспоминания, которые он уносил от нее, являлись как бы эскизами, набросками (подобно тем, что представляет декоратор), позволявшими Свану составить себе представление об исступленных или замирающих позах, которые она могла принимать в чужих объятиях. Доходило до того, что он начинал сожалеть о каждом наслаждении, которое он вкушал с нею, о каждой придуманной им ласке, в сладости которой он имел неблагоразумие ей признаваться, о каждой прелести, которую он открывал в ней, ибо он знал, что мгновение спустя они обогатят новыми орудиями его пытку.

Пытка эта делалась еще более жестокой, когда Сван припоминал одно беглое выражение, впервые подмеченное им несколько дней тому назад в глазах Одетты. Это было после обеда, у Вердюренов. Оттого ли, что Форшвиль, почувствовав, в какой у них немилости Саньет, его зять, решил избрать его своей мишенью и блеснуть перед ними на его счет, оттого ли, что он был раздражен неудачным замечанием, которое Саньет сделал ему, хотя это замечание прошло не замеченным остальными гостями, не понимавшими, какой оскорбительный намек оно могло заключать в себе, тем более что Саньет произнес его без всякой задней мысли, оттого ли, наконец, что с некоторых пор Форшвиль искал повода выпроводить из дома человека, который знал о нем слишком много и был настолько деликатен и благороден, что в иные минуты он чувствовал себя смущенным одним только его присутствием, — во всяком случае, он ответил на это неудачное замечание Саньета так грубо, начав пересыпать свои слова оскорблениями и все более подзадориваемый, по мере того как он кричал громче, испуганным и страдальческим видом, а также мольбами своей жертвы, что несчастный Саньет, спросив у г-жи Вердюрен, может ли он оставаться, и не получив ответа, удалился, невнятно бормоча извинения, со слезами на глазах. Одетта безучастно созерцала всю эту сцену, но когда дверь за Саньетом закрылась, она, так сказать, понизила на несколько ступенек обычное выражение своего лица, чтобы, в смысле пошлости, оказаться на уровне Форшвиля; в глазах ее блеснула лукавая улыбка, одобрявшая дерзкую выходку Форшвиля и проникнутая ироническим сожалением по отношению к его злополучной жертве; она бросила на Форшвиля взгляд соучастницы в преступлении, так явственно говоривший: «Ну, с ним теперь покончено, или я ничего в этом не понимаю. Обратили вы внимание на его пристыженный вид? Он плакал навзрыд», — что Форшвиль, встретив этот взгляд, мгновенно отрезвел от гнева, или симуляции гнева, которым он еще пылал, улыбнулся и ответил:

— Ему стоило только быть любезным, и он находился бы еще здесь; хороший урок может быть полезным в любом возрасте.

Однажды, выйдя после завтрака сделать визит какому-то своему знакомому и не застав его дома, Сван, никогда не бывавший у Одетты в этот час, вздумал навестить ее, зная, что она всегда проводит это время дома, отдыхая после завтрака или занимаясь писанием писем в ожидании чая; ему очень хотелось на минутку повидать ее, если это ее не побеспокоит. Швейцар сказал ему, что она, вероятно, дома; он позвонил, ему показалось, что он услышал шум, услышал шаги, но ему не открыли. Расстроенный, раздраженный, он отправился на уличку, куда выходил другой фасад дома, и стал под окном спальни Одетты; занавески мешали ему что-либо разглядеть; он громко постучал в окно, стал кричать; никто не открыл ему. Он увидел, что начинает привлекать к себе внимание соседей, и ушел, думая, что, в конце концов, он, может быть, ошибся, когда ему послышался шум шагов; но подозрения до такой степени заполнили его мысли, что он не мог думать ни о чем другом. Через час он возвратился к ней. Он застал ее дома; она сказала ему, что была у себя, когда он звонил, но спала; колокольчик разбудил ее, она догадалась, что это был Сван, побежала встретить его, но он уже ушел. Она, конечно, слышала стук в окно. Сван сразу обнаружил в этом рассказе обрывки подлинного факта, которыми утешаются захваченные врасплох лжецы, вводя их в состав выдуманного ими ложного факта, в уверенности, что они без затруднения могут быть включены туда и сообщить всему их рассказу правдоподобность. Конечно, когда Одетта совершала поступок, которого она не хотела открывать, она всячески старалась поглубже затаить его в себе. Но едва только она оказывалась в присутствии того, кому она хотела солгать, так тотчас ее охватывало беспокойство, все мысли ее путались, всякая изобретательность и сообразительность бывала парализована, она находила у себя в голове одну только пустоту; между тем нужно было что-то сказать, и в пределах ее достижения оказывался как раз тот факт, что она хотела скрыть и который, будучи истинным, один только оставался в ее распоряжении. Она отрывала от него небольшой кусочек, сам по себе не имевший никакого значения, говоря себе, что, в конце концов, это наилучший выход, так как рассказанная ею подробность — подлинная и, следовательно, таит в себе меньше опасностей, чем подробность ложная. «Это, по крайней мере, правда, — говорила она себе, — правда всегда лучше; он может собрать справки, и убедится, что это правда; эта подробность, во всяком случае, меня не выдаст». Она ошибалась; эта подробность выдавала ее; она не отдавала себе отчета, что у этой подлинной подробности были углы, которые умещались только в смежные куски подлинного факта, откуда она произвольно вырвала ее, — углы, которые, каковы бы ни были вымышленные подробности, среди коих она помещала ее, всегда способны были выдать своими торчащими концами и незаполненными пустотами, что настоящее место этой подлинной подробности было отнюдь не среди них. «Она признаётся, что слышала мой звонок, затем стук, и угадала, что это я; она желала видеть меня, — говорил себе Сван. — Но все это не вяжется с тем фактом, что она меня не впустила».

Он, однако, не привлек ее внимания к этому противоречию, ибо думал, что, предоставленная себе самой, Одетта выскажет, может быть, какую-нибудь ложь, которая послужит ему слабой уликой истины; она говорила, — он не перебивал ее, жадно и благоговейно собирал эти терзавшие его слова, все время лившиеся из ее уст, чувствуя (и правильно чувствуя, ибо, говоря ему их, она все время прятала за ними истину), что, подобно завесе перед святилищем, они хранят смутный отпечаток, намечают неясные очертания этой бесконечно драгоценной и, увы, не поддающейся открытию истины: того, что она делала сегодня, в три часа, когда он пытался проникнуть к ней, — истины, от которой он никогда не будет владеть ничем, кроме этих лживых, неразборчивых и божественных следов, и которая не существовала больше нигде, кроме скрытной памяти этого существа, созерцавшего ее в совершеннейшем неведении ее ценности, но ни за что бы не согласившегося открыть ее ему. Конечно, временами он сильно сомневался, чтобы повседневные занятия Одетты способны были возбудить сами по себе особенно жгучий интерес и чтобы отношения, которые она могла иметь с другими мужчинами, излучали — естественно, постоянно и обязательно для всякого мыслящего существа — болезненную печаль, способную довести до лихорадочного бреда о самоубийстве. В такие минуты он отдавал себе отчет, что этот интерес, эта печаль существовали только в нем, подобно болезни, и что когда болезнь эта будет вылечена, то поступки Одетты, поцелуи, даримые ею, снова станут такими же безобидными, как поцелуи стольких других женщин. Но сознание, что источник мучительного любопытства, с каким он относился теперь к ним, заключается только в нем самом, было недостаточно для того, чтобы заставить его признать неразумными отношение к этому любопытству, как к вещи важной, и затрату огромных усилий для его удовлетворения. Дело в том, что Сван приближался к тому возрасту, философия которого — подкрепляемая философией эпохи, а также среды, окружавшей Свана в течение большей части его жизни, круга лиц, группировавшихся вокруг принцессы де Лом, где считалось установленным, что человек тем умнее, чем больше он сомневается во всем, и где неоспоримой реальностью признавались только вкусы каждого, — являлась уже не философией юноши, но философией позитивной, почти медицинской, свойственной людям, которые, вместо вынесения наружу предметов своих стремлений, пытаются выделить из уже прожитых ими годов некоторый отстоявшийся осадок привычек и страстей, рассматривают их как характерные и неизменные свойства своей личности и прилагают самые решительные усилия к тому, чтобы избранный ими род жизни мог прежде всего принести им удовлетворение. Сван находил благоразумным считаться в своей жизни с муками, причинявшимися ему незнанием того, что делала Одетта, совершенно так же, как он относился внимательно к обострению своей экземы, вызывавшемуся влажным климатом; находил благоразумным предусматривать в своем бюджете расходование значительной суммы на получение сведений относительно времяпрепровождения Одетты, без каковых он чувствовал бы себя несчастным, совершенно так же, как он оставлял ее на другие свои прихоти, удовлетворение которых, он знал, может доставить ему удовольствие — по крайней мере, в то время, когда он еще не был влюблен, — например, на коллекционирование или на хорошую кухню.

Когда он хотел проститься с Одеттой и ехать домой, она стала упрашивать его посидеть еще немного и даже удержала Свана силой, схватив его за руку в тот момент, как он собирался открыть дверь и выйти. Но он не придал этому значения, ибо неизбежно бывает так, что из множества жестов, реплик и других мелочей, наполняющих разговор, мы оставляем без внимания (не замечая в них ничего такого, на чем стоило бы останавливаться) те, что скрывают в себе истину, ощупью разыскиваемую нашими подозрениями, и останавливаемся, напротив, на таких, которые не таят в себе ровно ничего. Она все время повторяла ему: «Какая жалость, ты никогда не приходишь ко мне днем, и единственный раз, когда это случилось, я не увидела тебя». Он хорошо знал, что она не настолько была влюблена в него, чтобы выражать ему слишком живое сожаление по случаю неудачи его визита, но так как она была добра, всегда расположена доставить ему удовольствие и часто печалилась, когда вызывала у него досаду, то он нашел вполне естественным, что она опечалилась и в этом случае, лишив его удовольствия провести час в ее обществе, удовольствия очень большого, не для нее, правда, но для него. Впрочем, это было весьма малосущественным обстоятельством, и не оно послужило причиной того, что скорбное выражение, не сходившее с ее лица, в заключение поразило его. Она напоминала ему таким образом больше, чем когда-либо, женские лица автора «Весны». У нее был в эту минуту их поникший и удрученный вид, вследствие которого они кажутся изнемогающими под непосильным для них бременем какого-то горя, между тем как они просто дают поиграть младенцу Иисусу гранатом или смотрят, как Моисей наливает воду в каменный желоб. Он уже видел однажды на лице ее такую печаль, но не знал, когда именно. И вдруг вспомнил: это было, когда Одетта лгала г-же Вердюрен на другой день после того обеда, на котором она не присутствовала будто бы под предлогом нездоровья, а на самом деле потому, что проводила время наедине со Сваном. Конечно, будь она даже самой совестливой женщиной, она едва ли могла чувствовать угрызения по поводу столь невинной лжи. Но Одетте случалось говорить и гораздо менее невинную ложь с целью помешать открытиям, которые могли поставить ее в весьма неприятное положение по отношению к тем или другим из ее знакомых. Вот почему, когда она лгала, охваченная страхом, чувствуя себя слабо вооруженной для защиты, неуверенная в успехе, то ей очень хотелось плакать от усталости, как плачут иногда невыспавшиеся дети. Кроме того, она знала, что ложь ее обыкновенно тяжело оскорбляла человека, которому она лгала и в полной власти которого могла оказаться, если лгала плохо. Поэтому она чувствовала себя в его присутствии униженной и виноватой. И когда ей случалось говорить незначительную ложь по поводу несоблюдения какой-нибудь мелкой светской условности, то в силу ассоциации ощущений и воспоминаний она испытывала неприятное чувство переутомления и раскаяния в совершенном дурном поступке.

Какую же уничижительную ложь плела она теперь Свану, ложь, являвшуюся причиной этого скорбного взгляда, этого жалобного голоса, казалось, изнемогавших от производимых ею над собой усилий и просивших пощады? У него было впечатление, что она силится скрыть от него не только правду по поводу происшедшего сегодня днем события, но нечто более существенное, нечто, может быть, еще не случившееся, но готовое случиться каждую минуту и способное пролить свет и на сегодняшнее событие. В этот момент раздался звон колокольчика. Одетта продолжала говорить без умолку, но слова ее превратились в сплошной стон: ее сокрушение по поводу того, что она не увидела Свана днем, не открыла ему, обратилось в подлинное отчаяние.

Послышался шум закрываемой входной двери, и с улицы донесся звук экипажа, как если бы кто-то уезжал — по всей вероятности, тот, кого Сван не должен был встречать, — после того, как ему было сказано, что Одетты нет дома. Тогда, увидев, что одним только своим приходом в необычный час он произвел такое смятение, расстроил столько вещей, о существовании которых он не должен был знать, которые она желала скрыть от него, он почувствовал упадок духа, почти отчаяние. Но так как он любил Одетту, так как он привык обращать к ней все свои помыслы, то жалость, которою он должен был наполниться к себе самому, он почувствовал только к ней и пробормотал: «Бедняжка!» Когда он наконец простился с ней, она взяла несколько писем, лежавших на столе, и спросила, не может ли он сдать их на почту. Он взял их и, возвратившись домой, заметил, что письма остались у него. Тогда он снова вышел на улицу, отправился на почту, вынул их из кармана и, прежде чем опустить в ящик, взглянул на адреса. Все они были написаны разным поставщикам, за исключением одного — письма к Форшвилю. Он держал его в руке. Говорил себе: «Если я увижу, что там внутри, то узнаю, как она называет его, что она говорит ему, есть ли действительно что-нибудь между ними. Может быть даже, не заглянув в него, я совершаю неделикатность по отношению к Одетте, ибо это единственный способ избавиться от подозрения, может быть совсем неосновательного, но, во всяком случае, способного причинить ей страдание и которое уже ничем не может быть рассеяно после того, как письмо будет опущено в ящик».

Сван покинул почту и возвратился домой, оставив в кармане это последнее письмо. Он зажег свечу и приблизил к ней конверт, который не посмел вскрыть. Сначала ему не удалось разобрать ничего, но конверт был тонкий, и, прижимая его к плотному листу почтовой бумаги, лежавшей внутри, он мог прочесть несколько последних слов. Это была весьма холодная заключительная формула. Если бы не он заглянул в письмо, адресованное Форшвилю, а Форшвиль прочел бы письмо, обращенное к Свану, то он мог бы увидеть совсем другие слова, гораздо более нежные. Он крепко держал листок почтовой бумаги, танцевавший в конверте большего формата, чем он, затем, подвигая его большим пальцем, он стал подводить одну за другою его строчки под ту часть конверта, где не было подкладки, сквозь которую только и можно было что-нибудь разобрать.

Несмотря на такой прием, буквы были видны недостаточно отчетливо. Впрочем, это было и неважно, потому что ему все же удалось разобрать, что речь там идет о каком-то совершенно незначительном событии, не имевшем никакого отношения к любви; Одетта писала что-то по поводу своего дяди. Сван ясно разобрал начало строчки: «Я принуждена была», но не понимал, что именно Одетта принуждена была сделать, как вдруг одно слово, которое он не мог сначала расшифровать, ясно обрисовалось перед ним и осветило смысл целой фразы: «Я принуждена была впустить, это был мой дядя». Впустить! Значит, Форшвиль был у нее, когда Сван звонился, и она выпроводила его, откуда и шум, который он слышал.

Тогда он прочел все письмо; в конце она извинялась за свое столь бесцеремонное обращение с Форшвилем и писала ему, что он забыл у нее папиросы, — буквально то же самое, что писала Свану после одного из первых его визитов. Но Свану она прибавила: «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно». В письме к Форшвилю не было этого добавления; там не было ни одного намека, дававшего основание предположить наличность какой-либо интриги между ними. К тому же, по правде говоря, Форшвиль был тут обманут гораздо больше, чем он сам, потому что Одетта послала это письмо, с тем чтобы уверить его, будто посетителем был ее дядя. Таким образом, выходило, что именно он, Сван, был человеком, с которым она считалась и ради которого спровадила другого. И все же, если между Одеттой и Форшвилем ничего не было, то почему ей было не впустить его сразу, почему она говорила: «Я должна была открыть, это был мой дядя». Должна? Если она не сделала ничего дурного в этот момент, то как вообще Форшвилю могло прийти в голову, что она не должна впускать к себе никого? Опечаленный, растерянный, и все же счастливый, Сван сидел некоторое время перед этим конвертом, который Одетта без колебания вручила ему: так безусловно доверяла она его деликатности; через прозрачное окошечко в этом конверте открывался ему, вместе с тайной происшествия, в которую он отчаялся когда-нибудь проникнуть, кусочек жизни Одетты, словно сквозь узенькую светлую щелочку, прорезанную в самом неведомом. И его ревность обрадовалась этому открытию, как если бы она была независимым существом, эгоистическим, жадно пожиравшим все, что способно было питать ее, хотя бы насчет самого Свана. Пищи же у нее было теперь вдоволь, и Сван каждый день мог вновь испытывать беспокойство относительно визитов, которые Одетта принимала около пяти часов, мог разузнавать, где находится Форшвиль в этот час. Ибо любовь Свана к Одетте продолжала сохранять характер, с самого начала наложенный на нее неведением, в котором он пребывал относительно времяпрепровождения Одетты, а также умственной ленью, мешавшей ему восполнить неизвестное воображением. Сначала он не ревновал всей жизни Одетты, но только те моменты ее, когда какое-нибудь обстоятельство, может быть даже неверно им истолкованное, приводило его к предположению, что Одетта, пожалуй, обманывает его. Его ревность, подобно спруту, выпускающему сначала одно свое щупальце, затем другое, затем третье, прочно присасывалась к одному определенному моменту — к пяти часам вечера, — затем к другому, затем к третьему. Но Сван не умел измышлять страданий. Все они сводились к воспоминаниям, все были увековечением страдания, пришедшего к нему извне.

Но этим путем страдания приходили к нему в изобилии. Он хотел разлучить Одетту с Форшвилем, увезти ее на несколько дней на юг. Но ему казалось, что она явится предметом желания всех мужчин, находившихся в гостинице, и что сама она желает их. И вот Сван, который искал когда-то во время путешествия новых людей, посещаемых публикой мест, теперь обратился в нелюдима, бежал общества, как если бы оно жестоко оскорбило его. И как же ему было не сделаться мизантропом, если во всяком мужчине он видел возможного любовника Одетты? Так ревность еще больше, чем страстное и радостное желание, которое он чувствовал сначала к Одетте, меняла характер Свана и делала совершенно неузнаваемыми, в глазах окружающих, даже внешние проявления этого характера.

Через месяц после прочтения письма Одетты к Форшвилю Сван отправился на обед, который Вердюрены давали в Булонском лесу. Когда все уже собирались расходиться, он обратил внимание на секретные переговоры между г-жой Вердюрен и некоторыми из ее гостей и расслышал, как пианисту напоминали непременно принять участие в завтрашней поездке в Шату; между тем он, Сван, не получил на нее приглашения.

Вердюрены все время говорили вполголоса, неопределенными фразами, но художник, вероятно по рассеянности, воскликнул:

— Не нужно никакого освещения, пусть он играет «Лунную сонату» в темноте, чтобы ничем не отвлекалось внимание.

Г-жа Вердюрен, увидя, что Сван стоит в двух шагах, приняла то выражение, когда желание заставить говорящего замолчать и в то же время сохранить в глазах слушающего невинный вид выливается в деланную беззаботность взгляда, где искорка, свидетельствующая о том, что вы являетесь соумышленником в заговоре, маскируется улыбками простачка, — выражение, которое неизменно появляется у нас, когда мы замечаем чью-нибудь оплошность, и сразу выдает ее если не тому, кто ее совершил, то, во всяком случае, тому, в присутствии кого ее не следовало совершать. На лице Одетты вдруг изобразилось отчаяние человека, отказывающегося продолжать борьбу с сокрушительными невзгодами жизни, и Сван с тоскою принялся считать минуты, отделявшие его от момента, когда, покинув этот ресторан, он получит возможность, по дороге домой вместе с нею, потребовать у нее объяснения, добиться от нее либо отказа от завтрашней поездки в Шату, либо получения у Вердюренов приглашения также и для него, и успокоить в ее объятиях мучившую его тоску. Наконец велено было подавать экипажи. Г-жа Вердюрен сказала Свану:

— До свиданья, надеюсь, до скорого, не правда ли? — стараясь быть как можно более любезной и принужденно улыбаясь, чтобы отвлечь его внимание от мысли, почему она не сказала ему, как делала это всегда до сих пор: «Значит, завтра увидимся в Шату, а послезавтра у меня?»

Г-н и г-жа Вердюрен пригласили в свой экипаж Форшвиля; экипаж Свана стоял поодаль, и он ожидал, когда они тронутся, чтобы предложить Одетте ехать вместе с ним.

— Одетта, мы возьмем вас, — сказала г-жа Вердюрен, — у нас найдется маленькое местечко для вас рядом с г-ном де Форшвилем.

— Благодарю вас, г-жа Вердюрен, — отвечала Одетта.

— Как! А я рассчитывал, что вы поедете со мной, — воскликнул Сван, отбросив прочь всякое притворство, потому что дверца была открыта, секунды сосчитаны, и в своем теперешнем состоянии он не мог возвратиться домой без нее.

— Но г-жа Вердюрен просила меня…

— В чем дело? Вы можете отлично ехать один; мы уже столько раз предоставляли вам ее, — сказала г-жа Вердюрен.

— Но мне нужно сказать одну важную вещь г-же де Креси.

— Так что же? Вы ей напишите…

— До свидания, — сказала Одетта, подавая ему руку.

Он попытался улыбнуться, но вид у него был самый несчастный.

— Как тебе нравятся выходки, которые Сван позволяет теперь с нами? — обратилась г-жа Вердюрен к мужу, когда они возвратились домой. — Я боялась, что он съест меня за то, что мы предложили отвезти Одетту. Это положительно неприлично! Ведь этак может дойти до того, что он станет утверждать, будто мы держим дом свиданий! Не понимаю, как Одетта терпит подобные манеры. У него положительно такой вид, точно он каждую минуту заявляет: вы принадлежите мне! Я откровенно скажу Одетте, что я думаю об этом, надеюсь, она меня поймет.

И через минуту прибавила в бешенстве:

— Нет, подумайте только, какой паршивец! — бессознательно употребляя и, может быть, повинуясь той же темной потребности оправдать себя — подобно Франсуазе в Комбре, когда цыпленок не хотел издыхать, — слова, вырывающиеся у крестьянина при виде предсмертных судорог безобидного животного, когда он убивает его.

Когда экипаж г-жи Вердюрен тронулся и подкатил экипаж Свана, то кучер Реми, взглянув на Свана, спросил, не болен ли он, или не случилось ли какого несчастья.

Сван отослал его; он не хотел ехать и пошел домой пешком по Булонскому лесу. Он громко разговаривал сам с собой тем же немного деланным тоном, каким расписывал до сих пор прелести «маленького клана» и превозносил великодушие Вердюренов. Но подобно тому, как речи, улыбки, поцелуи Одетты стали ненавистны ему в такой же мере, в какой раньше он находил их прелестными, если они были обращены не к нему, а к другим, так и салон Вердюренов, недавно еще казавшийся ему интересным, дышавшим неподдельной любовью к искусству и даже своего рода моральным благородством, теперь, когда Одетта собиралась встречать там, любить без стеснения, не его, а другого, обнажал перед ним все свои смешные стороны, всю свою глупость, все свое постыдное ничтожество.

Он с отвращением рисовал себе картину завтрашнего вечера в Шату. «Прежде всего, что за идея: отправиться в Шату! Точно лавочники после закрытия магазина! Положительно, эти люди живые воплощения буржуазного духа; не может быть, чтобы они действительно существовали; это, должно быть, персонажи из какой-нибудь комедии Лабиша!»

Там будут Котары, вероятно также Бришо. «Что может быть смешнее и уродливее, чем жизнь этих человечков, цепляющихся вот так друг за друга. Они вообразят себя буквально потерянными, ей-богу вообразят, если не соберутся завтра все вместе в Шату!» Увы! там будет также художник, художник, любивший «устраивать свадьбы», и он пригласит Форшвиля посетить, вместе с Одеттой, его мастерскую. Он видел Одетту в слишком шикарном для этой загородной прогулки туалете, «ибо она так вульгарна, а главное, бедная крошка, ужасно глупа!!».

Он слышал шутки, которые г-жа Вердюрен будет отпускать после обеда; кто бы из скучных ни являлся их мишенью, шутки эти всегда забавляли его, потому что он видел, как они смешат Одетту, как она смеется вместе с ним, почти что в нем. Теперь же он чувствовал, что г-жа Вердюрен, вероятно, заставит смеяться Одетту над ним. «Какое вонючее веселье! — говорил он, придавая губам выражение такого сильного отвращения, что эта гримаса напрягала даже его шейные мускулы и воротничок вонзался ему в тело. — И как только существо, созданное по образу Божию, может находить смешным эти тошнотворные остроты? Всякий сколько-нибудь чувствительный нос с омерзением отвернулся бы, чтобы не задохнуться в этом зловонии. Кажется положительно невероятным, чтобы разумное существо было не способно понять, что, позволяя себе улыбку по отношению к себе подобному существу, лояльно протянувшему ему руку, оно погружается в болото, откуда, даже при самых лучших намерениях, больше невозможно его вытащить. Я стою слишком высоко над ямой, где барахтается и шумит вся эта мразь, чтобы меня могли запачкать грязные шуточки какой-то Вердюрен! — воскликнул он, откидывая назад голову и гордо выпрямляя туловище. — Бог свидетель, что я искренно хотел вытащить Одетту из этой помойной ямы и окружить ее более свежим и более чистым воздухом. Но человеческое терпение имеет границы, и мое готово истощиться», — заключил он, как если бы эта священная миссия вырвать Одетту из атмосферы язвительных насмешек существовала уже давно, а не возникла всего несколько минут тому назад, и он взял ее на себя только после того, как подумал, что насмешки г-жи Вердюрен направлены, может быть, на него самого и имеют целью отдалить от него Одетту.

Он видел пианиста, готового играть «Лунную сонату», и гримасы г-жи Вердюрен в предвосхищении нервного потрясения, будто бы причиняемого ей музыкой Бетховена. «Дура, лгунья! — воскликнул он. — И этакое чучело воображает, будто оно любит И_с_к_у_с_с_т_в_о!» Она скажет Одетте, предварительно ловко отпустив несколько хвалебных словечек по адресу Форшвиля, как она часто отпускала их по его собственному адресу: «Вы ведь дадите местечко подле себя г-ну де Форшвилю…» «В темноте! Проклятая сводня!..» Он называл «сводней» также музыку, заставлявшую их сидеть молча, мечтать вместе, заглядывать друг другу в глаза, пожимать друг другу руку. Он находил вполне справедливым суровое отношение к искусствам Платона, Боссюэ и старого французского воспитания.

Словом, жизнь, которую вели у Вердюренов и которую он так часто называл «настоящей жизнью», казалась ему теперь наихудшей из всех, а их «кружок» составленным из последних отбросов общества. «Поистине, — говорил он, — это самая нижняя ступень социальной лестницы, девятый круг Дантова ада. Нет никакого сомнения, что величественные стихи флорентийца относятся к Вердюренам! Когда начинаешь думать обо всем этом, то приходишь к убеждению, что люди общества — как их ни ругают, они все же стоят бесконечно выше этой банды хулиганов — обнаруживают глубокую мудрость, отказываясь водить знакомство с ними и даже пачкать свои пальцы прикосновением к ним. Какая прозорливость в этом N_o_l_i m_e t_a_n_g_e_r_e Сен-Жерменского предместья». Он давно покинул аллеи Булонского леса и подходил уже к своему дому, но все еще, опьяненный своим горем и неискренним возбуждением, которое все больше и больше подогревалось фальшивой интонацией и искусственной звучностью его голоса, продолжал громко ораторствовать в тишине ночи: «У светских людей есть свои недостатки, и никто не знает их лучше, чем я; но, в конце концов, это все же люди, с которыми вещи известного рода невозможны. Та элегантная женщина, с которой я был знаком, далека от совершенства, но, в конце концов, она все же в глубине души является деликатной, лояльной в своем поведении, так что ни при каких условиях не была бы способна на вероломство, ее душевные качества вырыли бы пропасть между нею и такой мегерой, как Вердюрен. Вердюрен! Что за фамилия! О, можно сказать, что они совершенны, что они прекрасны в своем роде! Да, давно уже следовало прекратить общение с этими подонками, с этой мразью!»

Но — как добродетели, которые еще час тому назад он приписывал Вердюренам, даже если бы Вердюрены действительно обладали ими, но не оказывали содействия и не покровительствовали его любви, были недостаточны, чтобы вызвать у Свана горячее умиление их великодушием, умиление, источником которого, даже когда оно возбуждалось посредством других лиц, могла быть одна только Одетта, — так и порочность, будь она даже подлинной, которую он находил сейчас у Вердюренов, была бы бессильна, если бы они не пригласили Одетту с Форшвилем и без него, дать волю его негодованию и заставить его клеймить их «подонками и мразью». И, несомненно, голос Свана обнаружил больше искренности, чем сам он, поскольку голос этот соглашался произнести слова, полные отвращения к Вердюренам и их кружку и радости по случаю разрыва с ними, только деланным, риторическим тоном, как если бы они были выбраны им скорее для утоления его гнева, чем для точного выражения его мыслей. В самом деле, мысли эти, в то время как он негодовал и бранился, заняты были, вероятно, хотя он и не сознавал этого, совсем другим предметом, потому что, едва только придя домой и закрыв за собой дверь подъезда, он вдруг хлопнул себя по лбу и снова выбежал на улицу, воскликнув на этот раз своим естественным голосом: «Мне кажется, я придумал способ добиться приглашения на завтрашний обед в Шату!» Но способ этот оказался, вероятно, плохим, потому что Сван не получил приглашения. Доктор Котар, который, по случаю поездки в провинцию на консилиум к одному серьезному больному, не видел Вердюренов несколько дней н не мог быть в Шату, сказал на другой день после этого обеда, садясь за стол;

— Неужели мы не увидим сегодня Свана? Его действительно можно назвать личным другом…

— Надеюсь, что нет! — воскликнула г-жа Вердюрен. — Сохрани нас от него Бог, — он так убийственно скучен, глуп и невоспитан.

При этих словах на лице Котара изобразилось крайнее изумление, соединенное с полной покорностью, как если бы он услышал истину, противоречившую всем его доселешним убеждениям, но обладавшую непререкаемой очевидностью; испуганно уткнувшись носом в тарелку, он ограничился тем, что протянул: «А-а-а-а-а!», последовательно пройдя, — в отступательном движении, выполненном им в полном порядке, по нисходящей гамме, — все ноты, заключенные в диапазоне его голоса. С тех пор у Вердюренов не было больше речи о Сване.

Таким образом, салон этот, соединивший Свана и Одетту, стал препятствием для их свиданий. Она не говорила ему больше, как в первые времена их любви: «Во всяком случае, мы увидимся завтра вечером: у Вердюренов ужин», — но: «Нам нельзя будет увидеться завтра вечером у Вердюренов ужин». Или же Вердюрены приглашали ее с собой в Комическую Оперу посмотреть «Ночь Клеопатры», и Сван читал тогда в глазах Одетты страх, как бы он не вздумал ее упрашивать не ходить туда, еще недавно, когда выражение этого страха пробегало по лицу его любовницы, он не мог удержаться от того, чтобы не расцеловать ее, теперь же оно приводило его в негодование. «Я вовсе не сержусь, однако, — уверял он себя, — видя, как она рвется порыться в навозной куче этой ужасной музыки. Я опечален, не за себя конечно, но за нее; опечален мыслью, что, прожив более шести месяцев в ежедневном общении со мной, она оказалась не способной перевоспитать себя настолько, чтобы проникнуться отвращением к Виктору Массе! Или хотя бы настолько, чтобы понять, что есть вечера, когда женщина, мало-мальски чуткая, должна уметь отказаться от удовольствия, если ее просят об этом. У нее должно было найтись столько такта, чтобы сказать: „я не пойду“, хотя бы из простой деликатности, если от этого ответа зависит окончательное мнение о ее душевных качествах». И, убедив себя в том, будто он желает удержать Одетту в тот вечер подле себя, не пустив ее в Комическую Оперу, только для того, чтобы составить себе более благоприятное суждение о ее духовной ценности, Сван обратился и к ней с теми же доводами, обнаружив при этом такую же неискренность, как и в его обращении к самому себе, и даже, может быть, большую, ибо при этом он повиновался также желанию задеть ее самолюбие.

— Клянусь тебе, — говорил он Одетте за несколько мгновений до того, как она должна была отправиться в театр, — что, обращаясь к тебе с просьбой не ходить туда, я от души желал бы, будь я эгоистом, услышать от тебя отказ, так как сегодня вечером у меня тысяча дел и я окажусь в весьма затруднительном положении, я буду недоволен, если, вопреки всякому ожиданию, ты мне ответишь, что не пойдешь в театр. Но мои занятия, мои удовольствия — не всё: я должен думать и о тебе. Может наступить день, когда, увидя меня навсегда разлученным с тобой, ты вправе будешь упрекнуть меня за то, что в решительную минуту я тебя не предостерег, — в минуту, когда, я чувствую это, у меня готово сложиться о тебе одно из тех суровых суждений, с которыми любовь не в силах долго бороться. Видишь ли, «Ночь Клеопатры» (какое название!) не имеет в данном случае ровно никакого значения. Но мне важно знать, действительно ли ты принадлежишь к числу женщин, стоящих на самом низком уровне умственного развития и даже лишенных всякой прелести, к числу тех презренных созданий, которые не способны отказаться от удовольствия. В самом деле, если ты такая, то как возможно любить тебя, ведь ты тогда даже не личность, не индивидуальность, пусть даже несовершенная, но, по крайней мере, способная совершенствоваться. Ты бесформенная вода, текущая в направлении любого склона, беспамятная и не способная к простейшим умозаключениям рыба, которая во время своего пребывания в аквариуме сто раз в день толкается о стеклянные стенки, постоянно принимая их за воду. Понимаешь ли ты, что твой ответ, я не скажу, разумеется, немедленно убьет мою любовь к тебе, но он сделает тебя в моих глазах менее привлекательной, если я приду к убеждению, что у тебя нет личности, что ты занимаешь самую низкую ступень на лестнице живых существ и не способна подняться ни на вершок выше? Ясное дело, я предпочел бы не придавать этому никакого значения и попросил тебя отказаться от «Ночи Клеопатры» (раз уж ты вынуждаешь меня пачкать губы этим гнусным названием) в надежде, что ты все же туда пойдешь. Но, решив серьезно отнестись к твоему поведению, решив вывести из твоего ответа такие важные следствия, я нашел более корректным предупредить тебя об этом".

Во время этой речи Одетта стала обнаруживать признаки все растущего волнения и беспокойства. Не схватывая смысла рассуждений Свана, она понимала все же, что их можно отнести к разряду так называемых «тирад», сцен упреков или упрашивания, из которых давнишняя привычка к поведению мужчин позволяла ей, не придавая большого значения их словам, заключать, что они бы их не произнесли, если бы не были влюблены, и что с момента, когда они стали влюбленными, повиноваться им излишне, так как непослушание только усилит их любовь. Вот почему она выслушала бы Свана с самым невозмутимым спокойствием, если бы не видела, что время проходит и что, затянись этот разговор хоть немного, она, как это было замечено ею с нежной, упрямой и смущенной улыбкой, «безусловно опоздает на увертюру!».

В других случаях он говорил ей, что вещью, которая скорее всякой другой способна будет погубить его любовь к ней, является ее нежелание отучиться от лжи. "Даже просто с точки зрения кокетства, — увещевал он ее, — разве не можешь ты понять, насколько ты теряешь свою привлекательность, опускаясь до лжи? Сколько проступков могла бы ты искупить, откровенно сознавшись в них! Положительно ты гораздо глупее «некультурнее, чем я предполагал!» Но напрасно Сван приводил ей таким образом доводы в пользу несостоятельности лжи; доводы эти могли бы опровергнуть некоторую логическую систему лжи, но у Одетты такой системы не было; она довольствовалась тем, что утаивала от Свана свои поступки во всех случаях, когда желала, чтобы Сван о них не знал. Таким образом, ложь была для нее уловкой, к которой она прибегала в частных случаях; и единственным мотивом, определявшим, должна ли она солгать или же сказать правду, было тоже частное, случайное обстоятельство, именно: большая или меньшая вероятность того, что Сван обнаружит, сказала ли она неправду.

В физическом отношении она переживала неблагоприятную пору: полнела; скорбное выражение, составлявшее ее прелесть, изумленный и мечтательный взор, так характерный для нее прежде, казалось, исчезли вместе с ранней молодостью. Таким образом, она сделалась особенно дорогой Свану как раз в тот момент, когда он стал находить ее явно подурневшей. Он подолгу смотрел на нее, стараясь вновь уловить прелесть, которую когда-то в ней подметил, однако старания его оставались безуспешными. Но он знал, что под этой новой оболочкой скрывается все та же Одетта, все то же непостоянное существо, неуловимое и лукавое, и этого знания Свану было достаточно, чтобы с прежней страстностью пытаться ее пленить. Затем он смотрел на ее фотографии, снятые два года тому назад, вспоминал, как она была хороша. И это немного утешало его в страданиях, претерпеваемых им из-за нее.

Когда Вердюрены увозили ее с собой в Сен-Жермен, в Шату, в Мелан, то, в случае хорошей погоды, они часто предлагали гостям переночевать там и возвратиться домой только на следующий день. Г-жа Вердюрен старалась успокоить пианиста, тетка которого оставалась в Париже.

— Она будет только рада отделаться от вас на один день. Да и с какой стати ей беспокоиться, ведь она знает, что вы с нами? К тому же ответственность за все я беру на себя.

Но если ее увещания не увенчивались успехом, то г-н Вердюрен отправлялся на телеграф или нанимал посыльного и спрашивал у «верных», не хотят ли они дать знать о себе своим друзьям или родным. В таких случаях Одетта благодарила его и говорила, что ей некому посылать телеграмму, так как она раз навсегда заявила Свану, что переписка с ним на виду у всех будет ее компрометировать. Иногда она отлучалась таким образом на несколько дней, если Вердюрены увозили ее в Дре взглянуть на гробницы Орлеанов или в Компьень полюбоваться, по совету художника, солнечными закатами в лесу и затем прокатиться до замка Пьерфон.

«Подумать только: она могла бы осмотреть действительно художественные памятники со мной — человеком, изучавшим архитектуру в течение десяти лет и постоянно осаждаемым просьбами людей с тонким вкусом сопровождать их в Бове или в Сен-Лу-де-Но, между тем как я так хотел бы поехать туда с нею наедине; и вместо этого она едет с невеждами, с грубыми скотами, восторгаться окаменевшими испражнениями Луи-Филиппа и Виолле-ле-Дюка! Мне кажется, что для этого не нужно быть эрудитом в искусстве и что даже человек, не обладающий особенно тонким обонянием, не избрал бы для загородной поездки отхожие места и не стал бы наслаждаться благоуханием экскрементов».

Но когда она уезжала в Дре или в Пьерфон, — не позволяя ему — увы! — появиться там, в свою очередь, как бы случайно, потому что это, как она говорила, «произвело бы самое скверное впечатление», — он погружался в самый упоительный из всех романов — в железнодорожный указатель, дававший ему средства встретиться с нею там днем, вечером и даже сейчас, утром! Средства? Больше, чем средства: позволение, право встретиться с нею. В самом деле, указатель, да и сами поезда предназначались ведь не для собак. Если публика оповещалась, путем печатных объявлений, что в восемь часов утра в Пьерфон отправляется поезд, прибывающий туда в десять часов, то, значит, поездка в Пьерфон поступок законный, для совершения которого позволение Одетты излишне; к тому же поступок, который мог быть совершен не из желания встретиться с Одеттой, а по соображениям совсем другого рода: совершают же его ежедневно лица, не имеющие никакого представления об Одетте, и лиц этих такое количество, что ради них не убыточно пускать поезда.

Итак, она не имеет никакого права помешать ему отправиться в Пьерфон, если он этого пожелает! И вот он как раз и чувствовал такое желание, и несомненно поехал бы туда, даже не будучи знакомым с Одеттой. Давно уже хотелось ему составить себе более точное представление о реставрационных работах Виолле-ле-Дюка. Вдобавок стояла такая жаркая погода; положительно, он испытывал непреодолимое желание прогуляться по Компьенскому лесу.

Ужасно неприятно, что она запретила ему появляться как раз в том месте, которое так манит его к себе сегодня. Сегодня! Если он поедет туда, не считаясь с ее запрещением, он может увидеться с ней с_е_г_о_д_н_я же! Но если, встретив в Пьерфоне какого-нибудь случайного знакомого, Одетта радостно воскликнет: «Как, вы здесь!» — и попросит его зайти к ней в отель, где она остановилась с Вердюренами, — встретив там, напротив, его, Свана, она рассердится, будет жаловаться, что ее преследуют, будет меньше любить его, может быть даже с гневом отвернется при виде его. «Значит, мне нельзя больше совершать загородные поездки!» — скажет она ему по возвращении, между тем как на самом деле это он не вправе больше выезжать за город!

Вдруг Свана осенила мысль: ведь он может поехать в Компьень и в Пьерфон, не создавая впечатления, будто целью этой поездки является встреча с Одеттой, если попросит одного своего друга, маркиза де Форестель, у которого невдалеке оттуда был замок, пригласить его к себе. Маркиз, которому он сообщил свой проект, утаив, однако, руководившие им соображения, был вне себя от радости: ему крайне польстило то, что Сван согласился наконец, впервые за пятнадцать лет, посетить его владения, и так как Сван, по его словам, не хотел остановиться у него, то г-н де Форестель взял с него обещание, по крайней мере, совершать в течение нескольких дней совместные прогулки и экскурсии по окрестностям. Сван уже воображал себя там в обществе г-на де Форестель. Даже перед тем как увидеть там Одетту, даже если ему не удастся увидеть ее там, каким все же будет счастьем ступать на эту землю, где, не зная в точности ее местопребывания в тот или другой момент, он повсюду будет чувствовать трепетную возможность внезапного ее появления: на дворе замка, ставшего прекрасным для него, потому что он решил посетить его ради нее; на любой улице города, казавшегося ему теперь романтичным; на каждой лесной дороге, розовевшей от глубоких и нежных закатов; — бесчисленных попеременных убежищах, куда всюду одновременно укрывалось, в неопределенной вездесущности своих надежд, его счастливое скитальческое сердце, распавшееся на множество частей. «Прежде всего, — скажет он г-ну де Форестель, — примем меры, чтобы не встретиться с Одеттой и с Вердюренами. Я сейчас узнал, что как раз сегодня они находятся в Пьерфоне. Довольно с меня того, что я вижусь с ними в Париже; едва ли стоило покидать город лишь для того, чтобы, ступив шаг, оказаться лицом к лицу с этими господами». И другу его будет непонятно, почему, приехав туда, он двадцать раз переменит планы, заглянет в рестораны всех компьенских отелей, не решаясь остановить свой выбор ни на одном из них, между тем как в них не было и следа Вердюренов, и, производя такое впечатление, точно он ищет то, чего, по его словам, он всячески стремился бежать, да и действительно бежал бы, если бы их нашел, так как, столкнись Сван с маленькой «группой», он с преувеличенной торопливостью удалился бы, довольный тем, что заметил Одетту и что Одетта заметила его, и особенно тем, что он сделал бы при этом вид, будто нисколько ею не интересуется. Но нет, она сразу догадается, что лишь ради нее он приехал туда. И когда г-н де Форестель заходил за ним и уже нужно было ехать на поезд, он говорил ему: «Увы, я не могу ехать сегодня в Пьерфон; сегодня там Одетта». И, несмотря ни на что, Сван был счастлив от сознания, что если ему, единственному из всех смертных, возбранялось ехать в этот день в Пьерфон, то, значит, он действительно был для Одетты человеком, отличным от всех других людей, ее любовником, и, значит, этот единственно его касавшийся запрет пользоваться всем принадлежащим правом свободного передвижения был лишь одной из форм его рабства, его любви, которая была ему так дорога. Положительно, лучше было не рисковать ссорой с ней, потерпеть, подождать ее возвращения. По целым дням сидел он, склонившись над картой Компьенского леса, как если бы это была карта С_т_р_а_н_ы Л_ю_б_в_и; окружал себя фотографиями пьерфонского замка. Едва только занимался день ее возможного возвращения, как он снова раскрывал указатель, высчитывал, с каким поездом она должна приехать и какие поезда еще оставались в ее распоряжении, если она задержится. Он не отлучался из дому, боясь, как бы во время его отлучки не пришла телеграмма, не ложился, на случай, если бы, приехав с последним поездом, Одетта вздумала, в виде сюрприза, посетить его среди ночи. Как раз в это мгновение у подъезда раздавался звонок; ему казалось, что ей слишком долго не открывают, он хотел разбудить швейцара, высовывался из окна, чтобы окликнуть Одетту, если это была она, потому что, несмотря на распоряжения, которые он раз десять отдавал, самолично спускаясь для этого вниз, ей способны были сказать, что его нет дома. Но звонивший оказывался всего лишь возвратившимся домой слугой. Он различал непрестанный шум проезжавших по улице экипажей, на который раньше никогда не обращал внимания. Он слышал каждый из этих экипажей еще издали, слышал, как они приближались, проезжали, не останавливаясь, мимо его ворот и везли куда-то дальше весть, не предназначавшуюся для него. Он ждал всю ночь, совершенно напрасно, потому что Вердюрены вернулись раньше предположенного и Одетта находилась в Париже уже с полудня; ей не пришло в голову известить его об этом; не зная, как убить время, она провела вечер одна в театре, давно уже пришла домой, легла в постель и мирно спала.

Дело в том, что она вовсе даже не подумала о нем. И подобные минуты, когда она забывала даже о существовании Свана, приносили Одетте больше пользы, сильнее привязывали к ней Свана, чем все ее кокетство. Ибо Сван пребывал вследствие этого в том мучительном возбуждении, которое оказалось уже однажды достаточно могущественным, чтобы вывести наружу его любовь в ночь, когда он не застал Одетту у Вердюренов и искал ее по всему Парижу. И у него не было, как у меня в Комбре в моем детстве, счастливых дневных часов, во время которых забываются воскресающие по вечерам страдания. Днем Сван не видел Одетты; и по временам он говорил себе, что позволять такой хорошенькой женщине ходить одной по Парижу было столь же легкомысленно, как оставлять шкатулку с драгоценностями посреди улицы. И он разражался негодованием на всех прохожих, как если бы все они были ворами и грабителями. Но их коллективное бесформенное лицо ускользало от его воображения и не давало поэтому пищи для его ревности. Усилие представить это лицо утомляло мысль Свана, он проводил рукой по глазам и восклицал: «Боже, помоги мне» — подобно людям, которые, истощив свои силы в бесплодных попытках разрешить проблему реальности внешнего мира или бессмертия души, находят успокоение для своего усталого мозга в иррациональном акте веры. Но мысль об отсутствующей неизменно примешивалась к самым заурядным действиям повседневной жизни Свана — к завтраку, к чтению получаемых писем, к прогулкам, к отходу ко сну, — примешивалась в виде печали, овладевавшей им при совершении этих действий в одиночестве, подобно тем инициалам Филибера Красивого, которые Маргарита Австрийская, в знак печали по нем, всюду переплела с собственными инициалами в построенной ею церкви в Бру. Иногда, не желая сидеть дома, он шел завтракать в один соседний ресторан, где когда-то любил бывать из-за хорошей кухни и куда теперь направлялся лишь в силу одного из тех мистических и нелепых соображений, которые принято называть романическими: ресторан этот (он существует и сейчас) носил то же название, что и улица, на которой жила Одетта: Л_а-П_е_р_у_з. Иногда, после кратковременной поездки за город, проходило несколько дней, прежде чем она вспоминала о нем и давала ему знать о своем возвращении в Париж. И в таких случаях она говорила ему, просто и непринужденно, — не делая, как раньше, попыток прикрыться из предосторожности, на всякий случай, маленьким кусочком истины, — что она приехала только сию минуту, с утренним поездом. Слова эти были ложью, по крайней мере, для Одетты; они не вязались с действительностью, — у них не было, как в том случае, если бы они являлись правдой, точки опоры в воспоминании о ее прибытии на вокзал; ей даже мешал наглядно представить себе то, о чем она говорила, противоречащий образ совсем других поступков, совершенных ею в момент, когда, по ее словам, она выходила из поезда. Но в уме Свана, напротив, слова эти, не встречая никакого препятствия, как бы отвердевали и приобретали нерушимость истины, столь несомненной, что если бы кто-нибудь из его друзей сказал ему, что он приехал с этим поездом и не видел Одетты, то Сван остался бы в убеждении, что его друг напутал и приехал в другой день или час, так как слова его не совпадали со словами Одетты. Слова последней показались бы ему лживыми только в том случае, если бы он уже заранее относился к ним с недоверием. Предварительное подозрение было необходимым условием зарождения в нем мысли о ее лживости. Оно было, впрочем, также условием достаточным. Тогда все, что говорила Одетта, казалось ему подозрительным. Она называла какое-нибудь имя; ясно, что оно было именем одного из ее любовников; если такое предположение отливалось в определенную форму, он целые недели предавался отчаянию; однажды он даже вошел в сношения с осведомительным агентством с целью узнать адрес и род занятий неизвестного соперника, который не давал ему спокойно вздохнуть до тех пор, пока не уехал из Парижа, и который, как выяснилось впоследствии, был дядей Одетты, умершим двадцать лет тому назад.

Хотя обыкновенно она не позволяла ему встречаться с нею в публичных местах, боясь, как бы это не вызвало разговоров, все же случалось, что на каком-нибудь вечере, куда они оба бывали приглашены, — у Форшвиля, у художника или на благотворительном балу в одном из министерств, — он оказывался в одной комнате с ней. Он видел ее, но не решался остаться из страха рассердить ее, создав впечатление, будто он подсматривает за удовольствиями, которые она получала в обществе других и которые — в то время как он в одиночестве возвращался домой и ложился спать с той тоской, какую пришлось испытать мне самому несколько лет спустя, в те вечера, когда он приходил обедать к нам в Комбре, — казались ему безграничными, потому что он не видел их конца. Один или два раза он изведал на таких вечерах те радости, которые можно было бы назвать (если бы они не начинались с бурного потрясения, приходящего на смену внезапно прекратившейся тревоги) тихими радостями, потому что они состоят в успокоении ума: как-то он на минутку показался на рауте у художника и собирался уже уходить; он оставлял там Одетту, превратившуюся в какую-то блестящую незнакомку, окруженную людьми, которым ее взгляды и ее веселье, не предназначавшиеся для него, казалось, говорили о каком-то огромном наслаждении, ожидавшем ее там или в другом месте (может быть, на балу Б_е_с_п_о_р_я_д_о_ч_н_ы_х; он содрогался при одной мысли, что она может пойти туда сегодня) и вызывавшем у Свана еще более острый приступ ревности, чем даже физическая близость, потому что ему стоило большего труда представить его себе; он открывал уже дверь ателье, как вдруг услышал обращенные к нему следующие слова (которые, отсекая от праздника этот так страшивший его конец, обращали его, при ретроспективном на него взгляде, в невинное развлечение, делали возвращение Одетты, еще мгновение тому назад казавшееся непостижимым и страшным, милым и до мелочей знакомым, так как она будет сидеть рядом с ним, в его экипаже, подобно кусочку его повседневной жизни, лишенная чрезмерного блеска и веселости, — показывали, что это был только маскарадный костюм, в который она нарядилась на несколько мгновений для него, а вовсе не ради каких-то таинственных наслаждений, — костюм, уже начавший утомлять ее) — следующие слова, брошенные ему Одеттой, когда он переступал уже порог: «Не можете ли вы подождать меня пять минут? Я сейчас ухожу; поедемте вместе, вы меня проводите».

Правда, однажды Форшвиль пожелал, чтобы его отвезли домой в то же время, но когда, подъехав к воротам дома Одетты, он попросил у нее позволения войти, Одетта ответила ему, указывая на Свана: «Ах, все зависит от этого господина, спросите его. Ну хорошо, войдите на минутку, если хотите, но ненадолго, потому что, предупреждаю вас, он любит разговаривать со мной спокойно, и ему не очень нравится, если во время его посещений у меня кто-нибудь бывает. Ах, если бы вы знали этого человека так, как я! Не правда ли, m_y l_o_v_e, никто, кроме меня, не знает вас как следует?»

И Сван был, может быть, еще более тронут тем, что она обращалась к нему таким образом, в присутствии Форшвиля, не только со словами нежности, предпочтения, но также с некоторыми критическими замечаниями вроде: «Я уверена, что вы не ответили еще вашим друзьям относительно обеда с ними в воскресенье. Не ходите на него, если не желаете, но будьте, во всяком случае, вежливы», или: «Вы бы, по крайней мере, оставили здесь ваш этюд о Вермере, чтобы немножко поработать над ним завтра. Какой лентяй! О, я заставлю вас работать, увидите!» — показывавшими, что Одетта находится в курсе его светской жизни и его литературных работ, что они действительно живут общей жизнью. И, говоря так, она обращала к нему улыбку, в глубине которой он читал, что вся она принадлежит ему.

И в такие минуты, в то время как она делала им оранжад, вдруг — как это бывает с плохо прилаженным рефлектором, бросающим сначала кругом предмета, на стену, большие причудливые тени, которые затем пропадают, сливаясь в один четко очерченный силуэт, — все страшные и тревожные представления, слагавшиеся у него об Одетте, истаивали, собираясь в пленительном теле, стоявшем перед глазами Свана. Вдруг ему начинало казаться, что этот час, проведенный у Одетты, при свете лампы, не являлся, может быть, часом искусственным, слаженным специально для него (с целью замаскировать ту страшную и сладостную вещь, о которой он беспрестанно думал, не будучи в состоянии отчетливо представить себе ее: час подлинной жизни Одетты, жизни Одетты, когда его не было здесь), с театральной бутафорией и картонными фруктами, но был, пожалуй, всамделишным часом Одетты; что и в том случае, если бы его здесь не было, она пододвинула бы Форшвилю то же самое кресло и налила бы ему не неведомое какое-то питье, но тот же самый оранжад, каким она угощала сейчас их обоих; что мир, в котором обитала Одетта, не был тем жутким и сверхъестественным миром, куда он неизменно помещал ее, сидя у себя дома, миром, существовавшим, может быть, только в его воображении, — но реальным миром, не излучавшим никакой специфической печали, включавшим в свой состав вот этот стол, за который он может сейчас сесть и писать, и вот этот напиток, который ему позволено будет отведать, все эти предметы, созерцавшиеся им не только с огромным любопытством и удивлением, но и с благодарностью, ибо если, поглощая в себя его фантастические мечты, они освобождали его от наваждения, то сами они зато от этого обогащались; они являли собой осязательное воплощение его фантазии и возбуждали интерес его ума; они приобретали рельефные очертания перед его глазами и в то же время успокаивали его сердце. Ах, если бы судьба позволила ему жить под одной кровлей с Одеттой и ее дом был также и его домом; если бы, спрашивая у лакея, что будет подано к завтраку, он услышал в ответ меню Одетты; если бы в тех случаях, когда Одетта пожелала бы прогуляться утром по авеню Булонского леса, он по обязанности примерного мужа должен был, хотя бы даже у него не было никакой охоты выходить из дому, провожать ее, нести ее пальто, когда ей станет жарко; а вечером, после обеда, когда она пожелала бы остаться дома в домашнем платье, если бы он вынужден был находиться подле нее и делать то, о чем она его попросит! Как в этом случае преобразились бы все мелочи жизни Свана, казавшиеся ему обыкновенно столь унылыми, какую приобрели бы они, напротив, составляя в то же самое время часть жизни Одетты, — подобно этой лампе, этому оранжаду, этому креслу, овеянным столькими мечтаниями, материализовавшим столько желаний, — какую приобрели бы они, вплоть до интимных своих подробностей, преизбыточную сладость, таинственную плотность!

И все же он склонен был предполагать, что столь желанный ему мир и покой окажутся малоблагоприятной атмосферой для его любви. Когда Одетта перестанет быть для него существом всегда отсутствующим, страстно желанным, воображаемым; когда его к ней чувство не будет больше тем самым таинственным волнением, которое вызывала в нем фраза сонаты, но обратится в прочную привязанность и признательность; когда между ними установятся нормальные отношения, которые положат конец его сумасшествию и его тоске; — тогда акты повседневной жизни Одетты, вероятно, покажутся ему малоинтересными сами по себе — как в него не раз уже закрадывалось подозрение, что они таковыми были, например, в день, когда он прочел через конверт ее письмо к Форшвилю. Исследуя свой недуг с научной объективностью, как если бы он привил его себе с целью изучить его природу, Сван приходил к убеждению, что, когда он выздоровеет, поступки Одетты станут ему безразличны. Но сейчас, пребывая в своем болезненном состоянии, он, по правде говоря, страшился такого выздоровления как смерти, и оно в самом деле было бы смертью всего, чем он был в настоящее время.

После таких спокойных вечеров подозрения Свана рассеивались; он благословлял Одетту, и на другой день, рано утром, посылал ей самые драгоценные подарки, потому что любезность, оказанная ему накануне, вызывала либо благодарность его, либо желание увидеть ее повторение, либо пароксизм любви, нуждавшейся в каком-нибудь выходе.

Но в другие дни страдания его возобновлялись; он воображал, будто Одетта — любовница Форшвиля и будто, когда оба они видели, из ландо Вердюренов, в Булонском лесу, накануне пикника в Шату, на который Свана не пригласили, как, с выражением отчаяния на лице, замеченным даже его кучером, он тщетно упрашивал ее ехать домой вместе с ним и затем ушел, одинокий, раздавленный, — Одетта, привлекая к нему внимание Форшвиля и говоря ему: «Взгляните — как он взбешен!» — бросила на Форшвиля тот же блестящий, насмешливый, косвенный и лукавый взгляд, который он подметил у нее в день, когда Форшвиль выгнал Саньета из дома Вердюренов.

В такие минуты Сван ненавидел ее. «Какой же я, однако, осел, — говорил он себе, — я оплачиваю наслаждения, получаемые от нее другими! Ей все же следовало бы вести себя осторожнее и не слишком пересаливать, потому что я вовсе перестану делать ей подарки. Во всяком случае, откажемся покамест от дополнительных подношений! Подумать только: не далее как вчера, когда она выразила желание побывать на театральном сезоне в Байрейте, я имел глупость предложить ей нанять в окрестностях, для нас двоих, один из красивых замков короля баварского. К счастью, она не очень обрадовалась; она не сказала еще ни да, ни нет; будем надеяться, что она откажется, праведный Боже! В течение двух недель слушать Вагнера с женщиной, которая смыслит в вагнеровской музыке как свинья в апельсинах, — веселенькая перспектива!» И так как его ненависть, подобно его любви, испытывала потребность выйти наружу и проявиться в каком-нибудь действии, то он с наслаждением рисовал все более и более мрачные картины, ибо, благодаря изменам, приписываемым Одетте, он проникался к ней все большим отвращением и мог бы, если бы она действительно — как он пытался убедить себя — оказалась виновной, иметь повод наказать ее и утолить таким образом свое нараставшее бешенство. Он дошел до того, что стал ожидать письма от нее, в котором она попросит денег на наем этого замка подле Байрейта, предупреждая, однако, что ему нельзя будет приехать туда, так как она пообещала Форшвилю и Вердюренам пригласить их. Ах, как хотелось ему, чтобы у нее хватило духу совершить эту наглость! С какой радостью отказал бы он ей, написал ей язвительный ответ, выражения которого он тщательно подбирал и произносил вслух, как если бы воображаемое письмо было действительно им получено.

И вот, это случилось не далее как на следующий день. Она написала ему, что Вердюрены и их друзья выразили желание посмотреть вагнеровские оперы и что, если он будет так добр и пришлет ей денег, то она сможет наконец, после того как столько раз бывала у них в доме, в свою очередь пригласить их к себе. О нем она не говорила ни слова; само собой подразумевалось, что присутствие Вердюренов в Байрейте исключало его появление там.

Итак, Сван получал возможность отправить ей этот страшный ответ, каждое слово которого он с такой тщательностью взвесил накануне, не смея надеяться, что он когда-нибудь ему пригодится. Увы! Он ясно сознавал, что с деньгами, которые у нее были или которые она легко могла бы достать, Одетта все же будет в состоянии нанять в Байрейте помещение, раз она этого захочет, — Одетта, не способная отличить Баха от Клаписона! Но ей придется вести более скромный образ жизни. Она лишена будет возможности, как в том случае, если бы он послал ей несколько тысячефранковых билетов, устраивать каждый вечер в занятом ею замке изысканные ужины, после которых ей, может быть, придет блажь (очень возможно, что до сих пор она никогда еще не помышляла об этом) упасть в объятия Форшвиля. И потом, во всяком случае, эта проклятая поездка будет совершена не за его, Свана, счет! Ах, если бы он мог помешать ей, если бы она вывихнула себе ногу накануне отъезда, если бы кучер экипажа, который повезет ее на вокзал, согласился, хотя бы за самую большую плату, завезти ее в такое место, где она оставалась бы некоторое, время в заключении, — эта вероломная женщина, с глазами, искрящимися улыбкой сочувствия, обращенной к Форшвилю, каковой Одетта стала для Свана за последние сорок восемь часов.

Но никогда она не сохраняла этого обличья надолго; по прошествии нескольких дней искрящийся улыбкой лукавый взгляд терял свой блеск и свою двусмысленность, образ ненавистной Одетты, говорившей Форшвилю: «Как он взбешен!» — начинал бледнеть, изглаживаться. Затем мало-помалу вновь появлялось и вставало перед ним, в мягком сиянии, лицо другой Одетты, также обращавшейся с улыбкой к Форшвилю, но улыбкой, в которой для Свана была одна только нежность, когда она говорила: «Не оставайтесь долго, потому что этот господин не любит, чтобы ко мне приходили гости, когда ему хочется побыть со мной. Ах, если бы вы знали этого человека так, как я его знаю!» — той улыбкой, с которой она благодарила Свана за какое-нибудь проявление его деликатности, так высоко ценившейся ею, за какой-нибудь совет, испрошенный ею у него в одну из тех трудных минут, когда она доверяла только ему.

Тогда он спрашивал у этой второй Одетты, как мог он написать ей столь оскорбительное письмо, на которое до сих пор она, несомненно, не считала его способным и которое должно было низвести его с высокого, исключительного положения, завоеванного им в ее глазах добротой, деликатностью. Он станет ей менее дорог, ибо именно за эти его качества, которых она не находила ни у Форшвиля, ни у других мужчин, она его любила. За эти качества Одетта так часто была мила с ним; и хотя это милое ее отношение Сван не ставил ни во что в минуту ревности, потому что оно не было знаком желания и являлось доказательством скорее привязанности, чем любви, однако он вновь начинал сознавать его важность по мере того, как само собой наступавшее успокоение его подозрений, часто ускоряемое чтением книг по искусству или беседой с другом, делало страсть его менее требовательной по части ответного чувства.

Теперь, когда, качнувшись в эту сторону, Одетта естественно возвращалась в положение, из которого ревность Свана на мгновение ее вывела, когда она становилась под тем углом зрения, в котором он находил ее прелестной, Сван рисовал ее себе исполненной нежности, с выражением согласия во взгляде, и такой красивой, что он не в силах был не протянуть к ней губы, как если бы она действительно находилась перед ним и он мог ее поцеловать; и он чувствовал столько признательности к ней за этот чарующий и милый взгляд, словно она подарила его им в действительности, а не только в воображении, пожелавшем дать удовлетворение его желанию.

Сколько неприятностей причинил он, должно быть, ей! Конечно, он находил веские основания для своей досады на нее, но они были бы недостаточны, чтобы вызвать в нем эту досаду, если бы он не любил ее так сильно. Разве не бывал он столь же серьезно обижен на других женщин, которым тем не менее он охотно оказал бы сегодня любую услугу, не чувствуя против них никакого раздражения, потому что не любил их больше? Если ему суждено будет когда-нибудь испытать то же равнодушие по отношению к Одетте, он поймет, что одна лишь его ревность заставляла его находить что-то жестокое, непростительное в этом желании — в сущности, таком естественном, порожденном несколько ребяческими чувствами, а также некоторой душевной деликатностью: — иметь возможность, когда представлялся случай, отплатить Вердюренам за их гостеприимство, играть роль хозяйки дома.

Он возвращался к этой точке зрения — противоположной точке зрения его любви и его ревности и на которую он становился иногда в силу своего рода умственного беспристрастия и чтобы принять во внимание различные возможности, — откуда он пытался составить суждение об Одетте так, как если бы он не любил ее, как если бы она была для него женщиной, подобной всем прочим, как если бы жизнь Одетты не была в минуты, когда он не наблюдал ее, какой-то иной, не ткалась тайком от него, не содержала в себе замыслов, направленных против него.

Зачем предполагать, что она будет предаваться там с Форшвилем или с другими упоительным наслаждениям, которых никогда не испытывала с ним и которые одна лишь его ревность сочинила с начала до конца? Если бы случилось, что Форшвиль подумал о нем в Байрейте, то эти мысли могли бы быть только такими, какие они были у него в Париже, то есть Сван должен был представиться ему человеком, игравшим важную роль в жизни Одетты, человеком, которому он обязан будет уступить место, если они встретятся в ее доме. Если Форшвиль и Одетта восторжествуют, поехав туда вопреки его желанию, то не кто иной, как он, Сван, окажется виновником их торжества, благодаря своим тщетным попыткам помешать этой поездке, между тем как, если он одобрит ее проект, в пользу которого к тому же можно привести достаточно веские основания, то создастся впечатление, что она находится там по его совету, у нее будет чувство, что это он послал и устроил ее там, и за удовольствие, которое она получит, оказав гостеприимство людям, столько раз принимавшим ее у себя, она будет признательна ему, Свану.

И если — вместо того чтобы отпускать ее таким образом, поссорившись с ней, не повидавшись с ней на прощанье, — он пошлет ей денег, поощрит ее к этой поездке и позаботится сделать ее приятной, то она примчится к нему, радостная, признательная, и он насладится счастьем видеть ее, счастьем, которого он не испытывал уже почти целую неделю и которое ничто не могло заменить ему. Ибо как только Сван мог представить ее себе без отвращения, он снова видел благосклонность в ее улыбке, и как только желание вырвать ее из общества воображаемого соперника переставало присоединяться ревностью к его любви, эта любовь вновь становилась по преимуществу смакованием ощущений, доставляемых ему присутствием Одетты, наслаждением, которое он получал, восхищаясь ею как зрелищем, исследуя как явление природы зарождение ее взглядов, формирование ее улыбок, звучание интонаций ее голоса. И это ни с чем не сравнимое наслаждение мало-помалу создало в нем потребность Одетты, которую она одна способна была утолить своим присутствием или своими письмами, потребность почти столь же бескорыстную, почти столь же художественную, столь же ненормальную, как другая потребность, характерная для этого нового периода жизни Свана, когда сухость и скудость предшествующих лет сменилась своего рода духовной преизбыточностью, причем он так же мало знал, чему он обязан этим нежданным обогащением своей унылой жизни, как мало знает об этом лицо слабого здоровья, которое вдруг начинает крепнуть, полнеть и некоторое время кажется на пути к полному выздоровлению, — другая потребность, развивавшаяся в нем также вне всякой связи с видимыми, материальными явлениями, потребность слушать музыку и учиться понимать ее.

Таким образом, в силу химического процесса своей болезни, соткав ревность из элементов своей любви, Сван вновь начинал проникаться нежностью, жалостью к Одетте. Она вновь становилась прежней Одеттой, пленительной и милой. Он чувствовал угрызения совести за суровое обращение с ней. Он хотел, чтобы она пришла к нему, а предварительно хотел доставить ей какое-нибудь удовольствие, чтобы видеть, как признательность меняет ее лицо и моделирует ее улыбку.

Вот почему Одетта, уверенная в том, что он придет к ней через несколько дней такой же нежный и покорный, как и раньше, и будет предлагать ей примириться, привыкла к этому и больше не боялась ему не понравиться, не боялась даже сердить его и, когда это было для нее удобно, отказывала ему в ласках, которыми он больше всего дорожил.

Быть может, она не сознавала, насколько искренним бывал он с ней во время ссоры, когда говорил, что не пришлет ей денег и будет стараться причинить ей всякие неприятности. Быть может, не сознавала она также, насколько искренним бывал он, если не с ней, то по крайней мере с самим собой, в других случаях, когда, в интересах прочности их связи, желая показать Одетте, что он способен обойтись без нее, что разрыв между ними всегда возможен, решал не посещать ее в течение некоторого времени.

Иногда проходило несколько дней, и она не причиняла ему никакой новой неприятности; и так как он знал, что в ближайшие свои визиты к ней он не получит особенно большого удовольствия, но гораздо вероятнее новое огорчение, и это огорчение положит конец состоянию покоя, в котором он пребывал, то писал ей, что очень занят и не сможет увидеть ее в назначенные дни. Тем временем письмо от нее, разошедшееся с его письмом, просило его как раз об отсрочке свидания. Он задавался вопросом, что под этим кроется; его подозрения, его терзания возобновлялись. В состоянии возбуждения, вновь овладевавшего им, он больше не способен был выполнить обязательство, принятое им прежде, в состоянии относительного спокойствия; он мчался к ней и требовал разрешения видеть ее все последующие дни. И даже если она не писала ему первая, если она только отвечала ему, этого было достаточно, чтобы сделать для него невыносимым существование без нее. Ибо, вопреки всем расчетам Свана, согласие Одетты в корне меняло его положение. Подобно всем обладателям какого-нибудь сокровища, Сван, желая узнать, что случится, если он перестанет на мгновение обладать им, устранял его из своего сознания, оставляя все прочее в прежнем состоянии. Однако выпадение одной какой-нибудь части из целого есть не простое выпадение, частичный пробел, оно влечет за собой ниспровержение всех прочих частей, приводит к новому состоянию, которое невозможно предвидеть на основании прежнего.

Но в других случаях, — когда Одетта собиралась уехать куда-нибудь из Парижа, — бывало, напротив, и так, что после пустяковой ссоры, для которой Сван придумывал искусственный предлог, он решался не писать ей и не встречаться с ней до ее возвращения, придавая таким образом обыкновенной разлуке, большая часть которой была неизбежной вследствие самого факта ее поездки, видимость (и ожидая от нее благотворных результатов) серьезной размолвки, которую она примет, может быть, за окончательную; он только начинал эту разлуку немного раньше, чем полагалось. Сван уже представлял себе, как Одетта встревожилась, опечалилась, не видя его, не получая от него писем, и этот образ, успокаивая его ревность, позволял ему легче примириться с мыслью не видеть ее. Конечно, временами, благодаря чрезмерной продолжительности трехнедельного срока добровольной разлуки, он каким-то уголком своего сознания, куда загнала ее его решимость, с удовольствием останавливался на мысли, как он вновь увидит Одетту по ее возвращении; но он проявлял, при этом так мало нетерпения, что начинал себя спрашивать, не удвоить ли ему, по собственному почину, продолжительность так легко дававшегося воздержания. Оно длилось покамест всего только три дня, срок гораздо более краткий, чем те сроки, что ему часто случалось проводить, не видя Одетты и не назначая заранее, как в настоящем случае, их продолжительности. И все же, глядишь, то легкая досада, то физическое недомогание — побуждая его рассматривать настоящий момент как момент исключительный, не подчинявшийся правилам, когда само благоразумие позволило бы воспользоваться благотворным действием наслаждения и дать отдых (пока не представится случай более разумного применения ее усилия) чрезмерно напряженной воле, — отсрочивали приведение в действие его волевого аппарата и тот переставал оказывать свое сдерживающее влияние; или даже и того менее: достаточно было вспомнить, что он не спросил у Одетты, решила ли она уже относительно цвета, в какой хотела выкрасить свой экипаж, или, по поводу помещения своих денег, — какие она желала приобрести акции: обыкновенные или привилегированные (было очень хорошо показать ей, что он может обойтись без встречи с нею, но если, в результате его решения, экипаж придется перекрашивать или акции не будут приносить дивиденда, хорошую услугу окажет он ей), — и внезапно, подобно растянутой резинке, которую отпускают, или подобно воздуху под колоколом воздушного насоса, когда открывают кран, мысль о свидании с ней одним прыжком возвращалась из отдаленного уголка, где она пребывала, в поле ясного сознания, становилась непосредственно осуществимой возможностью.

Она возвращалась, таким образом, не встречая дальнейшего сопротивления и к тому же настолько непреодолимая, что Свану стоило гораздо меньшего труда ожидать конца двухнедельного срока, в течение которого он должен был оставаться разлученным с Одеттой, чем усидеть дома десять минут, нужных кучеру для того, чтобы заложить экипаж, который отвезет его к ней, — эти десять минут, когда приступы нетерпения то и дело чередовались в нем с приливами исступленной радости, с которой он тысячу раз возвращался, чтобы расточить ей весь запас своей нежности, к мысли о предстоящем свидании с Одеттой, так неожиданно, в момент, когда он считал ее совсем недосягаемой, снова оказывавшейся подле него, в самом центре его сознания. Дело в том, что мысль эта не встречала больше препятствия в желании немедленно дать ей отпор; его уже не было у Свана с той минуты, как, доказав себе, — так, по крайней мере, он думал, — что ему не стоит никакого труда дать этот отпор, он не видел больше ничего предосудительного в том, чтобы отложить на будущее время опыт разлуки, ибо был теперь уверен в своей способности осуществить его когда угодно. Кроме того, мысль о свидании с Одеттой возвращалась к нему в соблазнительном наряде новизны, наделенная вирулентностью — свойствами, стертыми было привычкой, но теперь почерпавшими новую силу в его воздержании — не трехдневном, но двухнедельном (ибо продолжительность его должна измеряться наперед назначенным сроком его); и то, что до тех пор было бы заурядным удовольствием, которым без труда можно было бы пожертвовать, обращалось теперь в неожиданное счастье, которому мы бессильны противиться. И наконец, мысль эта приукрашивалась неведением, в котором пребывал Сван, относительно того, что Одетта могла подумать, даже, может быть, сделать, не видя с его стороны ни малейших признаков жизни; таким образом, предстоящая встреча была упоительным откровением какой-то почти незнакомой ему Одетты.

Но подобно тому, как Одетта считала, что отказ его в присылке денег был только притворством, так же точно она видела лишь пустой предлог в расспросах Свана насчет окраски ее экипажа или приобретения ценных бумаг. Ибо она не воспроизводила последовательных фаз его кризисов и, составляя себе представление о них, не делала никакой попытки понять их механизм, а принимала в расчет только то, что ей было известно наперед: их необходимое, неминуемое и всегда тожественное окончание. Представление неполное, — но тем более глубокое, может быть, — если судить о нем с точки зрения Свана, который несомненно нашел бы, что Одетта не понимает его, вроде того как морфинист или чахоточный — убежденные, что помехой к выздоровлению послужили первому — какое-нибудь внешнее событие, приключившееся в момент, когда он уже готов был освободиться от своей застарелой привычки, второму — случайное недомогание в момент, когда он стал наконец поправляться, — чувствуют себя не понятыми врачом, не придающим такого большого значения этим мнимым случайностям, являющимся, по мнению врача, попросту маскарадным костюмом, в который облачились, чтобы снова стать ощутимыми для его пациентов, порок одного и болезнь другого, на самом деле ни на секунду не перестававшие роковым образом тяготеть над ними в то время, как они тешили себя мечтами о нормальном образе жизни или о выздоровлении. И действительно, любовь Свана дошла до той точки, когда врач или, в случае некоторых болезней, самый смелый хирург спрашивают себя, разумно ли, или даже вообще возможно ли, освободить больного от его порока или избавить от его болезни.

Конечно, у Свана не было непосредственного сознания размеров этой любви. Когда он пытался определить их, то любовь его казалась ему иногда уменьшенной, сведенной почти к нулю; так, в иные дни к нему возвращались равнодушие и даже почти отвращение, которые внушали ему перед тем, как он полюбил Одетту, ее выразительные черты, ее блеклая кожа. «Положительно, я делаю большой шаг вперед, — говорил он себе на другой день. — Правду сказать, я не получил вчера почти никакого удовольствия, лежа с ней в кровати; престранная вещь: я нашел ее почти безобразной». Он, несомненно, был искренен, но его любовь вышла далеко за пределы физического желания. Самая личность Одетты не занимала в ней больше значительного места. Когда взгляд его встречал на столе фотографию Одетты или когда она сама приходила к нему в гости, он с трудом отожествлял ее лицо, живое или же изображенное на бристоле, с непрекращавшейся болезненной тревогой, обитавшей в нем. Он говорил себе почти с изумлением: «Это она!» — как воскликнули бы мы, если бы нам показали оторванную от нас и вынесенную наружу нашу болезнь, в которой мы не нашли бы никакого сходства с нашими действительными страданиями. «Она?» — спрашивал он себя, желая понять, что это такое; ибо тайна личности, твердят постоянно, есть нечто похожее на любовь и на смерть, скорее, чем на расплывчатые наши представления болезней, — нечто такое, что мы должны исследовать очень глубоко из страха, как бы сущность ее не ускользнула от нас. И эта болезнь, каковой была любовь Свана, до такой степени разрослась, так тесно переплелась со всеми привычками Свана, со всеми его действиями, с его мыслями, с его здоровьем, с его сном, с его жизнью, даже с тем, чего он желал для себя после смерти, так всецело слилась с ним воедино, что ее нельзя было бы исторгнуть из него, не подвергнув почти полному разрушению всего его существа; как говорят хирурги, любовь его не выдержала бы теперь операции.

Благодаря этой любви Сван до такой степени отрешился от всех своих интересов, что, появляясь изредка в свете, — он думал, что его аристократические знакомства, подобно элегантной оправе, которую Одетта, впрочем, не была способна оценить по достоинству, могут несколько повысить его собственную цену в глазах Одетты (и он был бы, пожалуй, прав, если бы они не опорочивались его злосчастной любовью, которая обесценивала для Одетты все, к чему он ни прикасался, ибо как будто объявляла все это менее важным, чем она сама), — испытывал там, одновременно с тоской находиться в местах и среди людей, ей неизвестных, то чисто эстетическое наслаждение, которое он получил бы, читая роман или рассматривая картину, где изображены развлечения праздного класса, вроде того как у себя дома он с таким же удовольствием наблюдал исправный ход домашнего хозяйства, элегантность своего гардероба и ливрей своих слуг, хорошее помещение своих капиталов, с каким читал у Сен-Симона, одного из любимых своих авторов, описание «механики» повседневной версальской жизни, меню г-жи де Ментенон или крайней скупости и широкого образа жизни Люлли. В слабой степени; поскольку его отрешенность не была все же абсолютной, причиной этого нового наслаждения, которым упивался теперь Сван, была возможность погрузиться на мгновение в немногие части своего существа, оставшиеся почти не затронутыми его любовью и его терзаниями. В этом отношении личность, которой наделяла его моя двоюродная бабушка: «Сван-сын», отличная от его более индивидуальной личности: «Шарль Сван», — была личностью, в которой он чувствовал себя теперь наиболее привольно. Однажды, по случаю дня рождения принцессы Пармской (а также потому, что дама эта часто могла косвенным образом быть полезной Одетте, предоставляя ей билеты на спектакли-гала и торжественные годовщины), он решил послать ей корзинку фруктов и, не зная хорошо, где и как приобрести их, поручил это дело одной кузине своей матери, которая, обрадовавшись возможности оказать ему услугу, написала ему, что фрукты были взяты ею не в одном месте, но виноград у Крапота, чьей специальностью он был, земляника у Жоре, груши у Шеве, державшего наилучшие сорта, и т. д., и что «каждая ягода была мной тщательно осмотрена и обследована». И действительно, по благодарности принцессы он способен был составить представление об аромате земляники и нежности груш. Но особенно слова: «Каждая ягода была мной тщательно осмотрена и обследована» — были целительным бальзамом, пролитым на его душевные раны, поскольку они уносили его сознание в область, которую он посещал редко, несмотря на то, что она принадлежала ему по праву, как наследнику богатой и почтенной буржуазной семьи, где из поколения в поколение передавались — и всегда были к его услугам, стоило ему пожелать, — знание хороших фирм и искусство умело сделать покупку.

Действительно, он по большей части так основательно забывал о своем звании «Свана-сына», что, приобретая его вновь на мгновение, не мог не ощущать сравнительно острого удовольствия, будучи крайне пресыщен другими доступными ему удовольствиями; и хотя любезность буржуа, для которых он по-прежнему оставался «Сваном-сыном», была менее живой, чем любезность аристократии (но, впрочем, более лестной, так как у представителей буржуазии она неотделима от уважения), все же письмо от какого-нибудь высочества, какие бы княжеские развлечения оно ни предлагало ему, не способно было доставить ему такого удовольствия, как письмо, в котором его просили быть шафером или даже простым гостем на свадьбе в семье кого-нибудь из старых друзей его родителей, частью продолжавших поддерживать с ним близкие сношения, — как, например, мой дедушка, пригласивший его год тому назад на свадьбу моей матери, — частью же едва знакомых с ним, но все же считавших своей непременной обязанностью быть учтивыми с сыном, с достойным наследником покойного г-на Свана.

Но вследствие старинной дружбы, связывавшей его со светскими людьми, они тоже в известной степени составляли часть его дома, его хозяйственного обихода, его семейной жизни. Мысленно обозревая своих фешенебельных друзей, он чувствовал себя окруженным такой же внешней поддержкой, таким же комфортом, как при обозрении земельных угодий, столового серебра и столового белья, перешедших к нему от родителей. И мысль, что в случае его внезапной болезни, которая прикует его к постели, камердинер его инстинктивно побежит известить герцога Шартрского, принца Реймского, герцога Люксембургского и барона де Шарлюс, приносила ему тоже утешение, какое приносила нашей старой Франсуазе уверенность, что она будет похоронена в ее собственных тонких простынях, помеченных ее инициалами, ни разу не штопанных (или заштопанных так искусно, что эта штопка давала лишь более высокое представление о терпении и мастерстве белошвейки), в саване, от постоянных мыслей о котором она получала чувство известного удовлетворения если не своим благосостоянием, то, по крайней мере, своим достоинством. Но главным образом, — так как во всех своих поступках и мыслях, имевших отношение к Одетте, Сван постоянно находился под властью и руководством смутного чувства, что хотя он, может быть, и не менее дорог ей, но, во всяком случае, менее приятен, чем любой самый скучный из «верных» завсегдатаев салона Вердюренов, — мысленно переносясь в общество, где он был образцом человека изысканного, которого всячески старались залучить и при отсутствии которого все бывали опечалены, он вновь начинал верить в существование какой-то более счастливой жизни, начинал ощущать почти вкус к ней, как это случается с больным, в течение месяцев прикованным к постели и соблюдающим строгую диету, когда он находит в газете меню официального завтрака или объявление о морском рейсе вокруг Сицилии. Если он бывал принужден извиняться перед своими великосветскими друзьями за то, что их не посещает, то, разговаривая с Одеттой, он пытался, напротив, найти извинение своим посещениям. Все же он ее посещал (спрашивая себя в конце месяца, достаточно ли будет — так как он, может быть, несколько злоупотребил ее терпением и бывал у нее слишком часто — послать ей четыре тысячи франков) и для каждого визита находил какой-нибудь предлог: поднесение подарка, сообщение ей сведений, которые она желала получить, встреча с г-ном де Шарлюс, направлявшимся к ней и потребовавшим, чтобы Сван его проводил. Когда же предлога не было, он просил г-на де Шарлюс поскорее пойти к ней и сказать, как бы вскользь, во время разговора, будто он, Шарлюс, вспомнил об одной неотложной вещи, которую должен передать Свану, и поэтому не будет ли она любезна послать за Сваном и попросить его немедленно приехать к ней; но чаще всего Сван тщетно ожидал такого приглашения, и г-н де Шарлюс сообщал ему вечером, что его уловка не привела к желательному результату. Таким образом, не говоря уже о том, что Одетта теперь часто уезжала из Парижа, она очень редко видела его, даже находясь в Париже; и если в те времена, когда она его любила, она говорила ему: «Я всегда свободна» и «Какое мне дело до того, что будут говорить обо мне другие?» — теперь, каждый раз, когда он хотел повидать ее, Одетта ссылалась на приличия или выдумывала, будто она занята. Когда он говорил о своем желании пойти на благотворительный праздник, на вернисаж, на премьеру, где должна была присутствовать Одетта, она заявляла, что он, видно, хочет выставить напоказ их связь и обращается с ней как с девкой. Дошло до того, что Свану стало грозить полное запрещение встречаться с нею в публичных местах; чтобы избежать этой опасности, Сван, знавший, что Одетта знакома и очень дружна с моим двоюродным дядей Адольфом, другом которого был он сам, пришел однажды в его квартирку на улице Бельшас попросить старика оказать влияние на Одетту. Разговаривая со Сваном о моем дяде, Одетта всегда напускала на себя поэтический вид и заявляла: «Ах, он нисколько не похож на тебя! Дружба его ко мне так прекрасна, так огромна, так возвышенна. Он не принадлежит к числу людей, которые так мало уважают меня, что готовы показываться со мною во всех публичных местах». Сван почувствовал поэтому замешательство и не знал, каким тоном следует ему самому заговорить об Одетте с моим дядей. Он начал с априорного допущения превосходства Одетты, с аксиомы о ее сверхчеловеческой серафичности, с заявления о недоказуемости ее добродетелей, понятие которых не может быть выведено из опыта. «Я хочу поговорить с вами о ней. Вы, дорогой Адольф, вы знаете, какая возвышенная женщина, какое восхитительное существо, какой ангел наша Одетта. Но вы знаете также, что такое парижская жизнь. Не все видят Одетту в том свете, в каком видим ее мы с вами. И вот, находятся люди, считающие, будто я играю несколько смешную роль; поэтому она не позволяет встречаться с нею на улице, в театре. Она относится к вам с таким доверием; не могли бы вы сказать ей несколько слов в мою защиту, уверить ее, что она преувеличивает вред, который может причинить ей мой шапочный поклон на улице?» Дядя посоветовал Свану некоторое время не видеться с Одеттой, сказав, что от этого она его лишь больше полюбит. Одетте же порекомендовал позволить Свану встречаться с нею всюду, где он пожелает. Через несколько дней Одетта сообщила Свану о только что испытанном разочаровании; она открыла, что мой дядя ничем не отличается от всех вообще мужчин: сейчас только он пытался овладеть ею силой. Она успокоила Свана, который в первую минуту хотел вызвать дядю на дуэль; но все же при встрече с ним Сван отказался подать ему руку. Сван тем более сожалел об этой ссоре с дядей Адольфом, что надеялся в одну из следующих встреч поговорить с ним вполне откровенно, сделать попытку пролить с его помощью свет на некоторые слухи относительно образа жизни, который Одетта вела когда-то в Ницце. Дело в том, что мой дядя Адольф проводил там обыкновенно зиму, и у Свана возникло предположение, не там ли познакомился он с Одеттой. Несколько слов, вырвавшихся у одного из его знакомых в его присутствии, по поводу человека, который был, по-видимому, любовником Одетты, крайне взволновали Свана. Но едва только он узнавал вещи, которые, до того как они стали ему известны, повергли бы его в ужас и он счел бы их совершенно невероятными, — как эти вещи навсегда спаивались с его печалью, он принимал их и не способен был бы понять, каким образом они могли бы не существовать. Однако каждая из таких вещей прибавляла неизгладимый штрих к мысленно нарисованному им портрету его любовницы. Однажды ему показалось даже, будто он способен усвоить мысль, что легкое поведение Одетты, в котором он никогда бы не заподозрил ее, известно очень многим и что во времена, когда Одетта проводила в Бадене и в Ницце по нескольку месяцев, она стяжала себе широкую известность в качестве модной кокотки. Он пытался снова сблизиться с некоторыми прожигателями жизни, чтобы порасспросить их, — но те были осведомлены о его знакомстве с Одеттой; к тому же он боялся снова заронить в них мысль о ней, навести их на ее след. Но если до сих пор ему ничто не могло бы показаться столь скучным и бесцветным, как подробности космополитической жизни Бадена или Ниццы, то теперь, — получив сведения, что Одетта вела, может быть, когда-то веселую жизнь в этих модных курортах, причем для него навсегда отрезана была возможность узнать, объяснялось ли это только нуждой в деньгах, которой, благодаря его щедрости, она больше не испытывает, или же капризами темперамента, которые в любую минуту могли снова появиться у нее, — он наклонялся в бессильной, слепой и головокружительной тоске над бездонной пропастью, поглотившей первые годы Септенната, когда элегантное общество проводило зиму на Английском бульваре в Ницце, а лето под тенью баденских лип, и находил в этом времени мрачную, но великолепную глубину, ту глубину, какой мог бы наделить его поэт; и Сван вложил бы в воссоздание мелких подробностей тогдашней повседневной хроники средиземноморского побережья, если бы это могло помочь ему понять некоторые ускользавшие от него особенности улыбки или взглядов Одетты — таких, однако, открытых и простых, — больше страстности, чем любитель искусства, копающийся в флорентийских документах XV века с целью глубже проникнуть в душу «Примаверы», прекрасной «Ванны» или «Венеры» Боттичелли. Часто, не говоря ей ни слова, он задумчиво смотрел на нее; тогда она замечала ему: «Какой у тебя грустный вид!» Еще сравнительно недавно от убеждения, что она прекрасный человек, похожа на лучших женщин, каких ему случалось знать, Сван перешел к убеждению, что она всегда жила у кого-нибудь на содержании; но иногда, путем обратного процесса, он снова переносился мыслью от Одетты де Креси, особы, может быть, чересчур хорошо знакомой гулякам, волокитам, к этому лицу, выражение которого бывало иногда таким милым, к этой столь отзывчивой душе. Он спрашивал себя: «Экая, в самом деле, важность, что в Ницце всякий знал, кто такая Одетта де Креси? Подобные репутации, даже если они действительно существуют, всегда основаны на суждениях других людей»; он думал, что эта легенда — хотя бы она была подлинной — являлась чем-то внешним по отношению к Одетте, не коренилась в ней подобно некоей личности, неотделимой от нее и зловредной; думал, что существо, которому может быть и случалось сбиваться с пути, является женщиной с добрыми глазами, с сердцем, полным жалости ко всякому страданию, с послушным телом, которое он держал, которое он сжимал в своих объятиях и трогал пальцами, женщиной, которой он, может быть, завладеет когда-нибудь всецело, если ему удастся сделать себя необходимым ей. Она сидела подле него, часто усталая, с лицом, на мгновение терявшим выражение лихорадочной и радостной озабоченности неизвестными Свану делами, причинявшими ему страдание; она откидывала руками волосы — ее лоб, все ее лицо становились, казалось, крупнее; тогда вдруг какая-нибудь простая человеческая мысль, какое-нибудь доброе чувство, как они появляются у каждого из нас, когда в минуты покоя или сосредоточенности мы бываем предоставлены самим себе, начинали струиться из ее глаз, подобно золотому лучу. И тотчас все ее лицо освещалось, как серенький пейзаж с нависшими облаками, когда они вдруг рассеиваются и все кругом преображается в момент солнечного заката. Жизнь, наполнявшую в такие минуты Одетту, и даже будущее, которое она, казалось, мечтательно созерцала тогда, Сван мог бы разделить с ней; нечистое возбуждение, казалось, вовсе не оставило в них осадка. Как ни редки стали такие мгновения, они все же не проходили бесследно. При помощи воспоминания Сван связывал эти обрывки, упразднял промежутки, отливал как бы из золота добрую и умиротворенную Одетту, ради которой он пошел впоследствии (как читатель увидит во второй части этого произведения) на большие жертвы, каких другая Одетта никогда бы не добилась от него. Но как редки были эти мгновения, как мало видел он ее теперь! Даже что касается их вечерних свиданий, она лишь в самую последнюю минуту сообщала ему, может ли она его принять, так как, считая, что Сван всегда будет свободен, она хотела сначала удостовериться, не собирается ли к ней кто-нибудь другой. Она говорила, будто ей необходимо подождать получения одного крайне важного для нее ответа; и если, даже после того как Одетта позволяла Свану прийти к ней, какие-нибудь знакомые приглашали ее среди вечера поехать с ними в театр или в ресторан, она радостно соглашалась и начинала торопливо переодеваться. По мере того как туалет Одетты подходил к концу, каждое совершаемое ею движение приближало Свана к моменту вынужденной разлуки с нею, к моменту, когда она умчится в неудержимом порыве; и при виде того, как она, наконец совсем готовая, в последний раз погружала в зеркало внимательные и блестящие от возбуждения взоры, слегка подмазывала губы, прикрепляла прядь волос на лбу и просила подать свое небесно-голубое шелковое манто с золотыми кисточками, Сван делался таким печальным, что Одетта не могла сдержать досадливого движения и говорила: «Вот как ты благодаришь меня за то, что я позволила тебе оставаться до самой последней минуты! А я-то думала, что ты ценишь мою любезность. Хорошо, будем знать в другой раз!» Иногда, рискуя рассердить ее, он решал выведать, куда она пошла, и мечтал даже о заключении соглашения с Форшвилем, который был способен, может быть, дать ему необходимые сведения. Впрочем, когда он знал, с кем она проводит вечер, то почти всегда мог бы отыскать среди своих знакомых кого-нибудь, кому, хотя бы косвенным образом, был известен человек, с которым она вышла, и от кого он легко мог бы получить то или другое нужное ему сведение. И посылая кому-нибудь из своих друзей письмо с просьбой попытаться пролить свет на то или другое обстоятельство, он чувствовал успокоение, так как переставал терзаться вопросами, на которые не было ответа, и возлагал на другого труд произвести разведку. Нужно сказать, впрочем, что Сван не далеко уходил вперед, получая просимые им сведения. Знание факта не всегда позволяет нам предотвратить его, но, по крайней мере, вещи, которые мы знаем, мы держим если не в наших руках, то, во всяком случае, в нашем уме, где мы располагаем их как нам угодно, что дает нам иллюзию некоторой власти над ними. Он бывал очень рад, когда Одетта проводила время с г-ном де Шарлюс. Сван знал, что между г-ном де Шарлюс и Одеттой не может произойти ничего неприятного, что г-н де Шарлюс бывал где-нибудь с ней лишь из дружбы к нему и что он откровенно расскажет ему все, что она делала. Иногда она столь категорически объявляла Свану, что ей никак невозможно принять его в определенный день, и придавала, казалось, такое значение своему выходу, что Сван положительно настаивал на том, чтобы г-н де Шарлюс был свободен и мог провожать ее. На следующий день, не решаясь беспокоить г-на де Шарлюс слишком обстоятельными расспросами, он принуждал его, делая вид, будто плохо понял его первые ответы, прибавлять к своему рассказу все новые и новые подробности и после каждой из них испытывал все большее облегчение, ибо очень скоро выяснялось, что весь вечер Одетта провела в самых невинных развлечениях. «Но каким же образом, мой милый Меме, я хорошенько не понимаю… ведь не прямо от нее вы отправились в музей Гревен? Вы сначала зашли в какое-нибудь другое место? Нет? Как это странно! Вы не можете себе представить, как вы смешите меня, милый Меме. Что за странная идея пришла ей в голову пойти потом в Ша Нуар, ведь это ее идея, конечно… Нет? Ваша? Ужасно курьезно. В конце концов, это неплохая идея: у нее, должно быть, было там много знакомых? Нет? Она ни с кем не разговаривала? Удивительно. Значит, вы оставались весь вечер совершенно одни? Я отсюда вижу, как вы сидели вдвоем рядышком. Вы очень милы, дорогой Меме; я очень люблю вас». Сван испытывал облегчение. Для этого измученного человека, которому в разговоре со знакомыми, ничего не знавшими о его любви и не встречавшими поэтому внимания со стороны Свана, случалось слышать иногда фразы (вроде, например, такой: «Вчера я видел г-жу де Креси; она была с каким-то незнакомым мне господином»), которые тотчас застывали в его сердце, отвердевали как сталактиты, не трогались с места, ранили и разрывали сердце, — какими сладкими, напротив, были слова: «Она никого там не знала, она ни с кем не разговаривала». Как свободно циркулировали они в нем, какие они были текучие, воздушные, легко вдыхаемые! И все же, спустя несколько мгновений, он говорил себе, что Одетта, должно быть, находит его очень уж скучным, если она предпочла эти удовольствия его обществу. И хотя их ничтожность успокаивала его, она в то же время причиняла ему боль, словно измена. Даже когда он не мог узнать, куда она ходила, ему достаточно было бы, чтоб успокоить охватывавшую его в такие минуты тоску, от которой присутствие Одетты, сладкое чувство находиться подле нее были единственным лекарством (лекарством, продолжительное употребление которого, подобно многим другим лекарствам, обостряло болезнь, но по крайней мере приносило минутное облегчение), — ему достаточно было бы позволения Одетты оставаться у нее во время ее отсутствия, ожидать ее возвращения, в благодатном мире которого растопились бы часы, которые какое-то наваждение, какое-то колдовство заставляли его воображать непохожими на другие часы. Но она ему не позволяла; Сван возвращался домой; по дороге он принуждал себя строить различные планы, переставал думать об Одетте; ему удавалось даже, раздеваясь, настроить свои мысли на довольно веселый лад; с легким сердцем, исполненный намерения пойти завтра взглянуть на какое-нибудь любимое произведение искусства, ложился он в постель и гасил свет; но едва только, приготовляясь заснуть, переставал производить над собой усилие, которого он даже не сознавал, настолько оно стало для него привычным, как в то же мгновение ледяная дрожь пробегала по его телу и он разражался рыданиями. Он даже не пытался выяснить их причину, вытирал глаза и со смехом говорил себе: «Вот так славно, я становлюсь неврастеником!» Потом он уже не мог прогнать изнурительную мысль, что завтра ему снова придется разузнавать, чем была занята Одетта, пускаться на всевозможные уловки, чтобы добиться от нее свидания. Эта перспектива безостановочной, однообразной, безрезультатной деятельности была для него так мучительна, что однажды, заметив у себя на животе опухоль, он положительно обрадовался при мысли, что эта опухоль может быть смертельна, что ему не придется больше ни о чем заботиться, что отныне болезнь будет управлять им, обратит его в свою игрушку, пока не придет близкая уже смерть. И действительно, если в этот период ему часто случалось, не признаваясь себе в этом, желать смерти, то объяснялось это потребностью избавиться не столько от мучительности испытываемых страданий, сколько от монотонности производимых усилий.

И все же ему хотелось дожить до того времени, когда он перестанет любить ее, когда ей незачем будет лгать ему и он сможет наконец узнать, отдавалась ли она Форшвилю в день, когда он приходил к ней и ему не открыли. Впрочем, часто возникало у него подозрение, что она любит кого-то другого, и тогда он переставал задаваться вопросом о Форшвиле, вопрос этот делался для него почти безразличным, вроде того как новые формы продолжающей развиваться болезни на мгновение словно освобождают нас от ее прежних форм. Бывали даже дни, когда он вовсе не мучился подозрениями. Он считал себя выздоровевшим. Но на следующее утро, просыпаясь, он чувствовал на том же месте ту же боль, ощущение которой как бы растворилось у него накануне в потоке инородных впечатлений. Но боль не тронулась с места. И даже именно острота этой боли была причиной пробуждения Свана.

Так как Одетта ни слова не говорила ему об этих столь важных вещах, отнимавших у нее столько времени каждый день (хотя он достаточно пожил, чтобы знать, что все они не что иное, как наслаждения), то он не способен был подолгу сосредоточивать свою мысль на них, представить их себе наглядно; мозг его работал впустую; тогда он проводил пальцем по своим усталым векам, словно протирая стекла очков, и совершенно переставал думать. Все же из этой неведомой области время от времени всплывали и вновь представали ему кое-какие занятия Одетты, неопределенно связываемые ею с ее обязанностями по отношению к отдаленным родственникам или старым друзьям, которые, будучи единственными людьми, чаще всего являвшимися, по ее словам, помехой для ее свиданий с ним, составляли в глазах Свана как бы постоянную, неустранимую раму жизни Одетты. Тон, каким она говорила ему время от времени: «В день, когда я пойду со своей подругой в Ипподром», был настолько характерен, что если, чувствуя себя больным и подумав: «Может быть, Одетта будет настолько добра и придет ко мне», Сван вдруг вспоминал о том, что был как раз помянутый ею день, то он с грустью произносил: «Ах, нет, совершенно бесполезно просить ее навестить меня! Как это раньше мне не пришло в голову: ведь сегодня она собирается со своей подругой в Ипподром. Ограничим круг своих желаний областью достижимого; незачем тратить попусту время на предложения неприемлемые, которые, наперед можно сказать, будут отвергнуты». И эта выпадавшая на долю Одетты обязанность идти в Ипподром, перед которой Сван безропотно склонялся, казалась ему непреложной не только сама по себе: присущий ей характер необходимости сообщал как бы позволительность и законность всему, что находилось в близком или отдаленном отношении к ней. Если какой-нибудь прохожий отвешивал Одетте на улице поклон, пробуждавший ревность у Свана, и в ответ на его расспросы она ссылалась на связь, существовавшую между незнакомцем и одной из двух или трех своих великих обязанностей, говорила ему, например: «Это господин, сидевший в ложе моей подруги, с которой я хожу в Ипподром», — то такое объяснение успокаивало подозрения Свана, находившего как нельзя более естественным, что подруга Одетты приглашает в свою ложу в Ипподроме еще и других лиц, кроме Одетты, но он никогда не пытался или ему никогда не удавалось представить их себе наглядно. Ах, как ему хотелось познакомиться с подругой Одетты, посещавшей Ипподром, как ему хотелось, чтобы она приглашала его туда вместе с Одеттой! Как охотно он бы пожертвовал всеми своими знакомыми ради любого лица, часто встречавшегося с Одеттой, хотя бы это была маникюрша или продавщица из магазина! Он готов был пойти для них на большие расходы, чем для королев. Разве они не снабдили бы его, раскрыв ему то, что они знали о жизни Одетты, единственно радикальным средством, способным подействовать успокоительно на его страдания? С какой радостью проводил бы он целые дни у кого-нибудь из этих маленьких людей, с которыми Одетта поддерживала сношения либо по практическим соображениям, либо в силу подлинно присущей ей простоты! Как охотно он навсегда бы переселился в пятый этаж какого-нибудь грязного, но вожделенного дома, куда Одетта никогда не брала его с собой и где, живи он там с какой-нибудь удалившейся от дел белошвейкой, за любовника которой он охотно выдавал бы себя, Одетта его бы навещала почти ежедневно. В этих почти пролетарских кварталах какой скромный, унизительный даже, но сладостный, но насыщенный покоем и счастьем образ жизни согласился бы он вести неопределенное время.

Иногда случалось также, что, встретив Свана, Одетта замечала подходившего к ней незнакомого Свану человека, и тогда он мог различить на лице ее ту печаль, какая была на нем в день, когда его не впустили к Одетте, так как она принимала Форшвиля. Но это бывало редко, — ибо теперь, в дни, когда, несмотря на все свои дела и боязнь, как бы о ней не стали дурно говорить, она соглашалась дать свидание Свану, господствовавшим в ней тоном была самоуверенность: резкий контраст — может быть, бессознательный реванш за волнение и робость или естественная реакция на эти чувства, которые в первое время их знакомства она испытывала в его присутствии и даже вдали от него — то время, когда первыми словами ее письма к нему были: «Дорогой друг, рука моя так дрожит, что я едва в состоянии писать» --(так, по крайней мере, казалось ей, и в некоторой степени волнение это было, вероятно, искренним, потому что в противном случае ей нечего было бы преувеличивать). Сван ей тогда нравился. Наша рука дрожит только в тех случаях, когда мы боимся за себя или за тех, кого мы любим. Когда наше счастье не зависит больше от них, какое спокойствие, какую непринужденность, какую смелость чувствуем мы, находясь подле них! Разговаривая со Сваном, обращаясь к нему в письмах, она не употребляла больше тех слов, при помощи которых пыталась создать себе иллюзию, будто он принадлежит ей, не пользовалась то и дело местоимением «мой»: «Вы мое сокровище; это аромат нашей дружбы, я свято храню его», не говорила о будущем, о самой смерти, как о вещи, как о событии общем для них обоих. В те времена, что бы он ни говорил ей, она отвечала с восхищением: «О, вы никогда не будете похожи на всех!» С любовью глядя на его продолговатую, немного плешивую голову, о которой люди, знавшие успех Свана у женщин, говорили: «Нельзя сказать, конечно, что он безукоризненно красив, но он шикарен: этот апломб, этот монокль, эта улыбка!» — и, больше, может быть, любопытствуя узнать, что он за человек, чем желая стать его любовницей, Одетта вздыхала:

— Если бы я могла разгадать, что таится в этой голове!

Теперь же на всякое слово Свана она отвечала иногда раздраженным, иногда снисходительным тоном:

— Ах, никогда ты не будешь такой, как все!

Смотря теперь на его голову, которая лишь немного постарела от забот (но о которой все теперь думали, в силу бессознательного умозаключения, позволяющего открыть замысел музыкальной пьесы по прочтении ее программы или «фамильное сходство» ребенка при знакомстве с его родными: «Нельзя сказать, конечно, что он безобразен, но он смешон: этот апломб, этот монокль, эта улыбка!» — рисуя предвзятым воображением невещественную грань, отделявшую расстоянием в несколько месяцев голову счастливого любовника от головы рогоносца), она говорила:

— Ах, если бы я могла изменить тебя, вложить рассудительность в эту голову!

Всегда готовый верить в осуществимость своих чаяний, Сван, в случаях, когда обращение с ним Одетты оставляло место для сомнения, с жадностью набрасывался на эти слова:

— Ты можешь, стоит тебе только захотеть! — говорил он ей.

И он старался убедить ее, что внести мир в его душу, руководить им, побуждать его к работе является благородной задачей, которой так жаждали посвятить свои силы столько знакомых ему женщин, хотя, истины ради, следует заметить, что всякая попытка со стороны этих женщин отдаться исполнению столь благородной задачи показалась бы Свану бесцеремонным и несносным посягательством на его свободу. «Если бы она не любила меня немножко, — говорил он себе, — то не выразила бы желания переделать меня. Чтобы переделать меня, ей придется чаще встречаться со мной». Таким образом, в этом ее упреке, обращенном к нему, он находил доказательство ее интереса, ее любви, может быть; и действительно, она уделяла ему теперь так мало этой любви, что в качестве ее проявлений он принужден был рассматривать запреты Одетты делать то-то и то-то. Однажды она заявила ему, что ей не нравится его кучер, который, по ее мнению, возбуждал Свана против нее и, во всяком случае, не выказывал той исполнительности и почтения по отношению к приказаниям Свана, как она желала бы. Она чувствовала, что Сван жаждет услышать ее слова: «Не бери его, когда приезжаешь ко мне», как жаждал бы получить ее поцелуй. Поэтому, будучи раз в хорошем настроении, она это сказала; он был растроган. Вечером, разговаривая с г-ном де Шарлюс, беседа с которым была ему особенно приятна, потому что он мог говорить об Одетте открыто (а теперь самые незначительные замечания Свана, даже в разговоре с лицами, которые ее совсем не знали, всегда так или иначе относились к ней), Сван сказал:

— Мне кажется, что она все же любит меня, — она так мила со мной, — то, что я делаю, ей далеко не безразлично.

И если, направляясь к ней, Сван приглашал подвезти в своем экипаже кого-нибудь из друзей, которому было по пути, и слышал удивленный вопрос спутника:

— Как, на козлах у тебя не Лоредан? — с какой меланхолической радостью он отвечал ему:

— Конечно, нет! Должен тебе сказать, что я не могу брать Лоредана, когда езжу на улицу Ла-Перуз. Одетта не любит, чтобы я брал Лоредана, она находит его неподходящим для меня. Что поделаешь: женщины всегда женщины. Я знаю, что она пришла бы в ярость, увидев его. Да, да! Стоит мне только взять Реми, она мне закатит такую сцену!

Эта новая манера — равнодушие, небрежность, раздражительность, — усвоенная теперь Одеттой в обращении со Сваном, конечно, причиняла ему страдания; но он не сознавал их теперь; так как охлаждение Одетты к нему совершалось постепенно, день за днем, тогда мог бы измерить глубину наступившей перемены только путем наглядного сопоставления того, чем стала она сегодня, с тем, чем была она сначала. Между тем эта перемена была его глубокой, его тайной раной, причинявшей ему боль и днем и ночью, и каждый раз, когда Сван чувствовал, что мысли его слишком близко подходят к ней, он поспешно направлял их в другую сторону из страха, как бы они не разбередили ее. Он часто неопределенно говорил себе; «Было время, когда Одетта любила меня больше», но никогда не рисовал себе наглядно картину этого времени. Подобно тому, как в его кабинете стоял комод, который он всячески старался не помещать в поле своего зрения, который он оставлял далеко в стороне, входя в кабинет и покидая его, потому что в одном из ящиков этого комода были заперты хризантемы, подаренные ему Одеттой в один из первых вечеров, когда он отвез ее домой в своем экипаже, и письма, где она говорила ему: «Почему не забыли вы также свое сердце? Я ни за что не позволила бы вам взять его обратно» — и: «В любой час дня и ночи, когда вы захотите видеть меня, дайте мне знать и располагайте мной как вам угодно», — так же точно и в сердце его было место, к которому он никогда не позволял приближаться своим мыслям, заставлял их, когда бывало нужно, обходить это место окольным путем каких-нибудь длинных рассуждений, так, чтобы они по возможности не задели его: место, в котором жило воспоминание о счастливых днях.

Все же эти столь тщательные меры предосторожности полетели прахом на одном великосветском собрании.

Это случилось у маркизы де Сент-Эверт на последнем из данных ею в том сезоне музыкальных вечеров, куда она пригласила артистов, впоследствии выступавших в ее благотворительных концертах. К Свану, который все хотел побывать на предшествовавших вечерах маркизы, да никак не мог собраться, зашел, в то время как он переодевался, чтобы идти на этот вечер, барон де Шарлюс, предложивший ему отправиться к маркизе вместе, если в его обществе Свану будет не так скучно, если он будет чувствовать себя не так одиноко. Но Сван ответил:

— Вы не можете представить, какое удовольствие и бы получил в вашем обществе. Но еще большее удовольствие вы доставите мне, если пойдете сейчас к Одетте. Вы знаете, какое превосходное влияние вы на нее оказываете. Я думаю, что сегодня она никуда не собирается, разве только к портнихе, и, наверное, будет очень польщена, если вы согласитесь ее проводить. Во всяком случае, сейчас вы застанете ее дома. Постарайтесь ее развлечь и убедить быть рассудительной. Если можно, устройте что-нибудь на завтра, что-нибудь такое, что доставило бы ей удовольствие и в чем мы могли бы принять участие все трое. Постарайтесь также порасспросить ее относительно наступающего лета; может быть, у нее есть какие-нибудь желания: она хочет, скажем, прокатиться в яхте, и тогда мы совершили бы эту прогулку втроем, или что-нибудь другое в этом роде? Сегодня вечером вряд ли мне придется ее увидеть; все же, если бы вам удалось внушить ей такое желание, вам стоит только послать мне несколько строчек, до двенадцати часов — к г-же де Сент-Эверт, после двенадцати — сюда. Благодарю вас за все, что вы делаете для меня, вы знаете, как я вас люблю!

Барон обещал Свану сделать желательный для него визит, проводив его предварительно до подъезда особняка Сент-Эверт, куда Сван подкатил, успокоенный мыслью, что г-н де Шарлюс проведет вечер на улице Ла-Перуз, но в состоянии меланхолического равнодушия к окружающему, поскольку оно не касалось Одетты, и в частности к обстановке и этикету барского особняка, — состоянии, сообщавшем этим вещам особую прелесть, которую приобретает всякая вещь, переставая быть целью наших желаний и открывая нам подлинное свое лицо. Сойдя с экипажа, на первом плане пышной декорации домашней жизни хозяев, выставляемой напоказ гостям в дни парадных приемов, когда вкладывается столько заботливости в выдержанность костюмов и обстановки, Сван с удовольствием увидел наследников бальзаковских «тигров» — «грумов» — обыкновенно сопровождающих своих барынь во время прогулок — дежуривших в цилиндрах и ботфортах у подъезда или перед конюшнями, словно садовники, расставленные у входа в барские цветники. Всегда присущая Свану склонность искать сходство между живыми существами и музейными портретами по-прежнему живо ощущалась им, но приобрела еще большие размах и широту: вся светская жизнь в целом, теперь, когда он отошел от нее, представлялась ему рядом музейных картин. В вестибюле, — куда когда-то, в то время как он был светским человеком, он входил в пальто, чтобы выйти оттуда во фраке, не замечая, однако, окружающего, так как мысль его в течение нескольких мгновений пребывания там либо оставалась еще на празднике, который он только что покинул, либо перенеслась уже на праздник, на который он направлялся, — впервые обратил он внимание на потревоженную неожиданным приездом запоздалого гостя великолепную, рассыпавшуюся по углам, праздную свору огромных выездных лакеев, дремавших там и сям на скамейках и сундуках; при его появлении все они, подняв кверху свои остроконечные благородные профили борзых, встали и кружком столпились около него. Один из них, особенно свирепый с виду и не лишенный сходства с палачом на некоторых картинах Возрождения, изображающих пытки или казнь, подошел к Свану с неумолимым выражением лица, чтобы принять его пальто и шляпу. Но суровость его стального взгляда уравновешивалась мягкостью его нитяных перчаток, так что, подходя к Свану, он свидетельствовал, казалось, полнейшее презрение к его личности и величайшее внимание к его шляпе. Он взял ее с заботливостью, которой точность его движений сообщала нечто педантичное, и бережностью, которую его огромная физическая сила делала почти трогательной. Затем он передал шляпу одному из своих подручных, новенькому и робкому, от ужаса метавшему во все стороны яростные взгляды и выказывавшему то возбуждение, каким бывает охвачен дикий зверь в первые часы своего пленения.

В нескольких шагах стоял в мечтательной позе статный детина, неподвижный, скульптурный, ненужный, как тот чисто декоративный воин, которого можно видеть на изображающих крайнее смятение картинах Мантеньи; опершись на щит, воин этот мечтает о чем-то, между тем как рядом идет горячая схватка, кровавая сеча; оторванный от группы своих товарищей, теснившихся вокруг Свана, одинокий лакей решил, казалось, остаться столь же безучастным к этой сцене, на которую он рассеянно взирал своими жестокими зелеными глазами, как если бы он видел избиение младенцев или мучение святого Иакова. Он, казалось, принадлежал к исчезнувшей расе — а может быть, и вовсе нигде не существовавшей, кроме запрестольного образа в Сан-Зено и фресок в капелле Эремитани, где Сван познакомился с нею и где она и до сих пор о чем-то грезит, — происшедшей от оплодотворения античной статуи каким-нибудь падуанским натурщиком Мантеньи или саксонцем Альбрехта Дюрера. И его рыжие локоны, завитые природой, но умащенные брильянтином, рассыпались широкими прядями, как мы видим это на греческой скульптуре, которую усердно изучал мантуанский художник и которая, хотя в ее произведениях изображен только человек, умеет все же извлечь из простых человеческих форм богатства столь разнообразные и как бы заимствованные из всей живой природы, что какая-нибудь шевелюра, своей волнистой лоснящейся поверхностью и похожими на птичьи клювы прядями или пышным тройным венцом наложенных одна на другую кос напоминает сразу и пучок водорослей, и голубиный выводок, и венок из гиацинтов, и кольца змеи.

Другие лакеи, столь же исполинского роста, стояли на ступеньках монументальной лестницы, которая, благодаря их декоративным фигурам и мраморной неподвижности, достойна была, подобно лестнице Дворца дожей, носить название Лестницы гигантов и на которую Сван вступал теперь, опечаленный мыслью, что Одетта никогда не поднималась по ней. Ах, с какой радостью карабкался бы он, напротив, по темной, зловонной и головоломной лестнице бывшей портнихи; как бы он был счастлив платить дороже, чем за еженедельный абонемент ложи на авансцене Оперы, за право проводить в ее квартирке на пятом этаже те вечера, когда Одетта бывала у нее, и даже другие дни, чтобы иметь возможность говорить об Одетте, жить с людьми, которых она обыкновенно видела, когда его не было там, и которые по этой причине, казалось, таили в себе какую-то более реальную, более недоступную и более таинственную частицу жизни его любовницы, чем все то, что было ему известно о ней! Между тем как на загаженной и желанной лестнице прежней портнихи (так как в доме не было другой, черной лестницы) по вечерам можно было видеть перед каждой дверью, на соломенном половике, пустой и грязный бидон для молока, приготовленный для молочника, который зайдет сюда утром, — на великолепной и презренной лестнице, по которой Сван поднимался в этот момент, по обеим ее сторонам, на различных высотах, перед каждым углублением, образуемым в стене окном швейцарской или дверью в жилые комнаты, в качестве представителей домовой челяди, действиями которой они руководили, и свидетельствуя от ее лица почтение гостям, привратник, дворецкий, буфетчик (почтенные люди, которые пользовались в остальные дни недели известной независимостью в своих владениях, обедали у себя как мелкие лавочники и могли перейти завтра на службу к модному врачу или богатому промышленнику), — внимательно следя за точным выполнением инструкций, данных им перед тем, как они облечены были в блестящую ливрею, которую они надевали лишь изредка и в которой чувствовали себя несколько стеснительно, — стояли каждый в аркаде своей двери, словно святые в нишах, и помпезная роскошь их наряда умерялась простонародным добродушием их лиц; и огромный швейцар, одетый как церковный педель, ударял булавой о каменные плиты при появлении каждого нового гостя. Поднявшись по лестнице на самый верх в сопровождении лакея с испитым лицом и жидкой косицей собранных на затылке волос, как у причетника Гойи или стряпчего в пьесах из старой французской жизни, Сван прошел мимо конторки с сидевшими за ней перед большими книгами, подобно нотариусам, лакеями, которые при его приближении встали и записали его фамилию. Он пересек затем маленький вестибюль, который — подобно комнатам, убранным хозяевами дома так, чтобы служить обрамлением для одного-единственного художественного произведения (по имени которого они и называются), и умышленно оставляемым пустыми и не заполненными ничем другим, — когда Сван вошел в него, явил ему — словно редкостную какую-нибудь статую Бенвенуто Челлини, изображающую воина, стоящего на сторожевом посту, — молодого лакея, со слегка наклоненным вперед корпусом, вздымавшего над красным нагрудником еще более красное лицо, откуда источались потоки пламени, робости и рвения; лакей этот, вперив в обюссоновские шпалеры, прикрывавшие вход в салон, откуда доносились звуки музыки, яростный, бдительный, обезумевший взор, с невозмутимостью и бесстрашием солдата или с не знающей сомнений верой — словно аллегория тревоги, воплощение расторопности, напоминание надвигающегося грозного часа — подстерегал, казалось, — ангел или вахтенный — с дозорной башни замка или с колокольни готического собора появление неприятеля или наступление Страшного суда. Теперь Свану осталось только войти в концертный зал, двери которого были распахнуты перед ним камердинером с цепью, отвесившим Свану низкий поклон, как если бы он вручал ему ключи завоеванного города. Но Сван думал о доме, в котором он мог бы находиться в этот самый момент, если бы Одетта дала ему позволение, и воспоминание о мельком замеченном пустом бидоне для молока на соломенном половике сжало ему сердце.

Сван очень быстро вновь сознал степень мужского безобразия, когда, по ту сторону обюссоновской шпалеры, зрелище слуг сменилось зрелищем находившихся в зале гостей. Но даже это безобразие мужских лиц, в большинстве так хорошо ему знакомых, казалось ему новым с тех пор, как черты их, — перестав быть для него знаками, практически полезными для опознания того или другого из них, до настоящего времени представлявшего просто известное количество удовольствий, которых следовало добиваться, неприятностей, которых нужно было избегать, внимания, которое необходимо было оказать, — расположились в чисто эстетическом порядке, как совокупность определенных линий и поверхностей. И вот у этих людей, которыми Сван оказался окруженным со всех сторон, даже монокли, которые многие из них носили (и которые в прежнее время, самое большее, позволили бы Свану сказать, что такой-то носит монокль), — даже монокли, перестав служить теперь обозначением определенной привычки, одинаковой у всех, поразили его своей индивидуальной особенностью у каждого. Может быть, оттого, что он смотрел теперь на генерала де Фробервиль и на маркиза де Бреоте, разговаривавших друг с другом у входа в зал, только как на две человеческие фигуры, изображенные на картине, тогда как долгое время они были для него полезными друзьями, давшими ему рекомендацию для вступления в число членов Жокей-клуба, и секундантами на его дуэлях, — монокль генерала, на его вульгарном, покрытом шрамами и торжественном лице, вонзавшийся ему как осколок гранаты прямо в лоб, ослеплявший его и делавший одноглазым, словно циклопа, показался Свану уродливой раной, которой, может быть, следовало гордиться, но которую неприлично было выставлять напоказ, между тем как к моноклю г-на де Бреоте, который тот надевал для большего парада, вместе с перчатками gris perle, складным цилиндром и белым галстуком, взамен домашних очков (как это делал сам Сван), когда шел на вечер, приклеен был на оборотной его стороне, подобно естественнонаучному препарату под микроскопом, бесконечно маленький зрачок, светившийся любезностью и непрестанно улыбавшийся высоте потолков, красоте праздника, интересной программе и превосходному качеству прохладительных.

— Ура, вы здесь! Целую вечность вас нигде не было видно, — обратился к Свану генерал; затем, заметив его осунувшееся лицо и заключив, что, может быть, тяжелая болезнь держала его вдали от общества, прибавил: — Знаете, вы хорошо выглядите! — в то время как г-н де Бреоте обращался с вопросом: «Дорогой мой, неужели и вы здесь? Что могло привлечь вас сюда?» — к одному светскому романисту, который только что вставил себе в глаз монокль, единственное свое орудие психологических исследований и беспощадного анализа, и, грассируя, ответил ему с видом значительным и таинственным:

— Набьюдаю.

Монокль маркиза де Форестель был миниатюрный, без оправы, и, заставляя щуриться в непрестанных и мучительных усилиях глаз, куда он врастал, как излишний хрящ, присутствие которого там необъяснимо, а вещество редкостно, сообщал лицу маркиза меланхолически-тонкое выражение и внушал женщинам представление, что он способен сильно страдать от любви. Но монокль г-на де Сен-Канде, окруженный, как Сатурн, огромным кольцом, был центром тяжести его лица, все части которого каждую минуту располагались в соответствии с ним, а трепещущий красный нос и саркастические толстые губы старались при помощи своих гримас быть на уровне беглого огня остроумия, которым сверкал стеклянный диск, с удовольствием видевший, что его предпочитают самым прекрасным глазам в мире шикарные и развратные молодые женщины, которых он заставлял мечтать о извращенных наслаждениях и утонченном сладострастии; а находившийся позади него г-н де Паланси, который, со своей огромной головой карпа и круглыми выпученными глазами, медленно лавировал посреди течения собравшейся на праздник толпы, то и дело разжимая свои массивные челюсти, как бы в поисках нужного ему направления, производил такое впечатление, точно он переносит с собой лишь случайный и, может быть, чисто символический кусок стеклянной стенки своего аквариума, часть, долженствующую играть роль целого и напомнившую Свану, большому поклоннику падуанских Добродетелей и Пороков Джотто, фигуру Несправедливости, рядом с которой густолиственная ветка вызывает представление о лесах, где укрыта ее берлога.

По настоянию г-жи де Сент-Эверт и желая послушать арию из «Орфея», исполнявшуюся на флейте, Сван прошел вперед и занял место в углу, где, к несчастью, все поле его зрения было заполнено двумя перезрелыми дамами, сидевшими одна подле другой, маркизой де Камбремер и виконтессой де Франкто, которые, будучи родственницами, проводили время на вечерах, держа в руках сумки и сопровождаемые дочерьми, в поисках друг за другом, словно на вокзале, и успокаивались лишь после того, когда им удавалось найти и удержать за собой, положив веера или носовые платки, два смежных стула; г-жа де Камбремер, имевшая весьма мало знакомых, была очень счастлива найти себе спутницу; что же касается г-жи де Франкто, которая, напротив, все свое время проводила в обществе, то та считала признаком утонченной элегантности и оригинальности показывать всем своим фешенебельным знакомым, что она предпочитает им какую-то безвестную провинциальную даму, на том основании, что ее связывали с ней общие воспоминания детства. Исполненный меланхолической иронии, Сван наблюдал за тем, как они слушают интермеццо для рояля («Святой Франциск, проповедующий птицам» Листа), исполнявшееся вслед за арией для флейты, и следят за головокружительной игрой виртуоза: г-жа де Франкто с беспокойством, выпучив от страха глаза, как если бы клавиши, по которым с таким проворством бегали пальцы пианиста, были рядом трапеций, откуда он мог свалиться с высоты восьмидесяти метров, и по временам бросая на свою соседку изумленный и недоверчивый взгляд, обозначавший: «Это непостижимо; я никак не могла предположить, чтобы человек способен был делать это»; г-жа де Камбремер — с видом женщины, получившей солидное музыкальное образование, отбивая такт головой, обращенной в маятник метронома, амплитуда и частота колебаний которого от одного плеча к другому (сопровождаемых тем взглядом человека, отчаявшегося в своих силах и отдавшегося на волю судьбы, какой вызывают у нас жестокие страдания, с которыми мы не можем и не пытаемся больше справиться, как бы говоря: «Ничего не могу поделать!») настолько возросли, что то и дело она зацепляла бриллиантовыми серьгами за кружева на плечах своего платья и вынуждена была поправлять гроздь черного винограда, прикрепленную к ее волосам, что не оказывало, впрочем, никакого влияния на непрерывно возраставшую скорость движения ее головы. По другую сторону г-жи де Франкто, но немного впереди ее, сидела маркиза де Галлардон, поглощенная излюбленной своей мыслью о родстве с Германтами, окружавшем ее в глазах общества и в ее собственных ореолом знатности, но наполнявшем ее также некоторым стыдом, так как самые блестящие представители этого рода держались несколько в стороне от нее, оттого ли, что она была особа скучная, оттого ли, что она была злобная, оттого ли, что принадлежала к младшей ветви рода, а может быть, и вовсе без всякой причины. Когда она находилась подле лица незнакомого, как в настоящую минуту подле г-жи де Франкто, то страдала оттого, что ее мысль о родстве с Германтами не могла изливаться наружу в форме видимых букв, вроде тех, что на мозаиках византийских церквей, помещенные одна под другой, пишут вертикальной колонной, рядом с изображением какого-нибудь святого, слова, которые он должен произносить. Она размышляла в этот момент о том, что ни разу не получила ни приглашения, ни визита от своей молоденькой кузины, принцессы де Лом, за все шесть лет, что та была замужем. Эта мысль наполняла ее гневом, но также гордостью; ибо лицам, удивлявшимся, почему ее никогда не видно у г-жи де Лом, она настолько привыкла объяснять свое воздержание от посещения этого салона риском встречи с принцессой Матильдой, — чего никогда бы не простила ей ее ультралегитимистская семья, — что в заключение сама стала верить, будто это и была действительная причина, в силу которой она не бывала у своей юной кузины. Правда, она вспоминала, что несколько раз спрашивала г-жу де Лом, как бы им встретиться, но вспоминала весьма неотчетливо, и к тому же более чем достаточно нейтрализовала это несколько унизительное воспоминание ворчанием: «В конце концов, не мне же, в самом деле, совершать первый шаг, — я на двадцать лет старше ее». Подкрепленная в своем убеждении этими произнесенными про себя словами, она гордо откидывала назад плечи, так что они отделялись от ее бюста и лежавшая на них почти горизонтально голова напоминала «приставную» голову фазана, которого подают на стол во всем его пышном оперении. Нельзя сказать, чтобы это сходство с фазаном объяснялось у нее природными данными, так как особа она была малорослая, мужеподобная и коренастая; но постоянно получаемые ею обиды и постоянные неудачи выпрямили ее, уподобив тем деревьям, что, выросши в неудобном положении, на самом краю пропасти, для сохранения равновесия принуждены бывают откинуться назад. Обязанная для утешения в своем неполном равенстве с остальными Германтами беспрестанно уверять себя, будто она мало видится с ними вследствие непреклонности своих принципов и своей гордости, маркиза де Галлардон в конце концов настолько прониклась этим убеждением, что оно изменило самую ее внешность и сообщило ей своего рода представительность, являвшуюся в глазах буржуазии признаком «породы» и зажигавшую иногда мимолетным желанием пресыщенный взгляд старых клубных завсегдатаев. Если бы кто вздумал подвергнуть разговор г-жи де Галлардон тому анализу, который, отмечая большую или меньшую частоту повторения каждого термина, позволяет найти ключ шифрованного языка, то такой исследователь сразу заметил бы, что ни одно выражение, даже из числа самых употребительных, не попадается в нем так часто, как выражения: «у моих кузенов Германтов», «у моей тетки герцогини Германтской», «здоровье Эльзеара герцога Германтского», «бенуар моей кузины герцогини Германтской». Когда ей называли какую-нибудь знаменитость, она отвечала, что, не будучи знакома с нею лично, сотню раз встречала ее у своей тетки герцогини Германтской, но отвечала тоном столь ледяным и голосом столь глухим, что собеседнику ее сразу становилось ясно, в какой степени ее незнакомство с знаменитостью обусловлено теми самыми упорными и неискоренимыми принципами, в силу которых плечи ее были откинуты назад, как если бы эти принципы были станком, на котором заставляют нас растягиваться преподаватели гимнастики с целью развития нашей грудной клетки.

Между тем принцесса де Лом, которой не ожидали у г-жи де Сент-Эверт, как раз в эту минуту появилась в зале. Желая показать, что в салоне, куда она заглядывала лишь в виде снисхождения, ей вовсе чуждо стремление дать почувствовать превосходство своего ранга, она поджимала плечи даже в тех местах, где вовсе не было толпы, сквозь которую ей приходилось бы продираться, и никому не нужно было давать дорогу; она нарочно становилась в сторонке, с таким видом, точно там и было ее настоящее место, как король, который становится в очередь у театральной кассы в тех случаях, когда власти не предупреждены о его приходе; и, ограничивая поле своего зрения — чтобы не создалось впечатления, будто она афиширует свое присутствие и требует оказания ей внимания, — разглядыванием рисунка на ковре или на собственной юбке, она не садилась и заняла место, которое показалось ей самым скромным (и откуда, она уверена была, восхищенное восклицание г-жи де Сент-Эверт вскоре извлечет ее, как только ее присутствие будет замечено маркизой), рядом с г-жой де Камбремер, с которой она не была знакома. Она внимательно наблюдала телодвижения и мимику своей соседки-меломанки, но не подражала ей. Нельзя сказать, чтобы, согласившись провести пять минут в салоне Сент-Эверт, принцесса де Лом не желала — так как акт вежливости, совершаемый ею по отношению к хозяйке дома, был бы от этого оценен вдвойне — показать себя наивозможно более любезной. Но она питала природное отвращение к тому, что называла «преувеличениями», и всегда стремилась показать, что она «не должна» отдаваться во власть эмоций, которые не вязались с «тоном» кружка, где она вращалась, но проявление которых у других всегда производило на нее известное впечатление, в силу того духа подражания, родственного робости, какой рождается у наиболее самоуверенных людей, когда они попадают в новую среду, хотя бы низшую. Она начала спрашивать себя, не является ли эта жестикуляция необходимым следствием исполнявшейся музыкальной пьесы, которая была, может быть, в корне отличной от всей слышанной ею до сих пор музыки, и не служит ли воздержание от этой жестикуляции свидетельством непонимания музыки и актом невежливости по отношению к хозяйке дома; в результате она решила пойти на компромисс и стала попеременно выражать эти противоречащие друг другу чувства, то просто поправляя сползающие наплечники своего платья или укрепляя в белокурых своих волосах, усыпанных бриллиантами, шарики из коралла или розовой эмали, создававшие ей простую и прелестную прическу, и с холодным любопытством наблюдая при этом свою пылкую соседку, то отбивая веером в течение нескольких мгновений такт, но — чтобы подчеркнуть свою независимость — такт, не совпадавший с тактом пианиста. Когда пианист закончил пьесу Листа и начал прелюд Шопена, г-жа де Камбремер взглянула на г-жу де Франкто с умильной улыбкой, выражавшей удовлетворение компетентного судьи и намекавшей на интимные воспоминания. Еще в юности научилась она ласкать эти длинные, извилистые как лебединая шея, фразы Шопена, такие свободные, такие гибкие, такие осязаемые, сразу же начинающие искать себе место где-то в стороне и совсем вдали от своего исходного направления, совсем вдали от пункта, которого, как можно было надеяться, они в заключение достигнут, и забавлявшиеся этими прихотливыми блужданиями лишь для того, чтобы вернуться назад и с большей уверенностью — сделав поворот более рассчитанный, с большей четкостью, как удар по хрустальному бокалу, который зазвенит так резко; что вы готовы вскрикнуть, — поразить вас в самое сердце. Живя в провинции, в семье, имевшей мало знакомых, редко получая приглашение на балы, она упивалась в одиночестве старой помещичьей усадьбы музыкой Шопена, то замедляя, то бешено ускоряя темп танца всех этих воображаемых пар, сплетая их в венок как цветы, покидая на мгновение бал, чтобы послушать шелест ветра в елях на берегу озера, и замечая вдруг появление тонкого юноши, гораздо меньше похожего на все, о чем она когда-нибудь грезила, чем самый романтичный земной любовник, — тонкого юноши, с немного певучим, странным и фальшивым голосом, в белых перчатках. Но сейчас старомодная красота этой музыки как будто вновь приобретала свежесть. Утратив в течение нескольких последних лет уважение знатоков, она утратила также свои достоинства и свою прелесть, и даже люди с дурным вкусом стали получать от нее весьма умеренное удовольствие, в котором они неохотно признавались. Г-жа де Камбремер украдкой осмотрелась кругом. Она знала, что ее молоденькая невестка (с большим почтением относившаяся к своей новой семье, исключая образование, в котором эрудиция ее простиралась до знания гармонии и греческого языка) презирает Шопена и чувствует себя больной, когда слышит его музыку. Но, убедившись, что она находится вне поля зрения этой вагнерианки, сидевшей несколько поодаль в группе своих сверстниц, г-жа де Камбремер отдалась во власть сладких впечатлений. Принцесса де Лом тоже ощущала их. Не будучи от природы музыкальной, она брала, пятнадцать лет тому назад, уроки у одной преподавательницы музыки из Сен-Жерменского предместья, женщины очень одаренной, впавшей на старости в нищету и в возрасте семидесяти лет снова начавшей давать уроки дочерям и внучкам своих прежних учениц. Эта дама давно умерла. Но ее манера, ее красивый тон оживали иногда под пальцами ее учениц, даже тех, которые в остальных отношениях были совершенной посредственностью, забросили музыку и почти никогда не открывали рояля. Таким образом, г-жа де Лом могла покачивать головой, вполне сознательно совершая это движение и правильно оценивая манеру, в которой пианист играл этот прелюд, известный ей наизусть. Конец начатой фразы сам собой зазвучал на ее устах. И она прошептала: «Это всегда прелестно», протянув букву с, что было признаком утонченности, и звук этот так романтически пощекотал ее губы, словно лепестки красивого цветка, что она инстинктивно сообщила соответственное выражение своим глазам, на мгновение засветив их сентиментальным и томным взглядом. Тем временем г-жа де Галлардон рассуждала сама с собой о том, как досадно, что ей так редко представляется случай встречаться с принцессой де Лом, ибо она решила проучить ее, не ответив на ее поклон. Она не знала, что ее кузина находится рядом. Движение головы г-жи де Франкто открыло принцессу ее взорам. Она тотчас же сорвалась с места и устремилась к ней, расталкивая всех находившихся на пути; но, решив хранить надменный и ледяной вид, долженствовавший напоминать всем, что она не хочет водить знакомство с особой, у которой всегда можно оказаться лицом к лицу с принцессой Матильдой и по отношению к которой она не обязана была делать первый шаг, ибо не была ее «сверстницей», маркиза де Галлардон пожелала все же смягчить это впечатление надменности и сдержанности каким-нибудь незначительным замечанием, которое оправдало бы ее выступление и принудило бы принцессу вступить с ней в разговор; вот почему, добравшись до своей кузины, г-жа де Галлардон, с суровым выражением лица, протянув руку точно по принуждению, сказала ей: «Как себя чувствует твой муж?» — таким озабоченным тоном, как если бы принц был тяжело болен. Принцесса, разразившись смехом, который был у нее особенный и имел двоякое назначение: показывать окружающим, что она над кем-то потешается, и в то же время делать ее более красивой, поскольку черты ее лица собирались при этом вокруг оживленного рта и блестящего взгляда, — отвечала:

— Как нельзя лучше!

И снова засмеялась. Тогда, резко выпрямившись и приняв еще более холодный вид, как если бы она продолжала беспокоиться о состоянии здоровья принца, г-жа де Галлардон сказала кузине:

— Ориана, — (при этом слове г-жа де Лом судивленным и насмешливым видом взглянула на невидимого третьего собеседника, которого она, казалось, призывала в свидетели того, что никогда не давала г-же де Галлардон права называть ее по имени), — я бы очень хотела, чтобы ты на минутку заглянула ко мне завтра вечером послушать квинтет с кларнетом Моцарта. Мне любопытно услышать твое мнение.

Казалось, что она не столько обращается с приглашением, сколько просит об услуге и желает узнать мнение принцессы о квинтете Моцарта совершенно так же, как если бы речь шла о блюде, состряпанном новой кухаркой, о талантах которой ей было бы крайне ценно услышать мнение тонкого гастронома.

— Но я хорошо знаю этот квинтет и могу сказать тебе уже сейчас… что он мне нравится!

— Ты знаешь, мой муж не совсем здоров, у него печень… он был бы очень рад тебя увидеть, — продолжала г-жа де Галлардон, обращая теперь появление принцессы на своем вечере в акт любви к ближнему.

Принцесса не любила говорить знакомым, что она не хочет ходить к ним в гости. Каждый день она выражала в письмах свое сожаление, что ей не удалось побывать — вследствие неожиданного визита свекрови, вследствие приглашения зятя, вследствие спектакля в Опере, вследствие поездки за город — на вечере, куда она вовсе и не собиралась пойти. Она доставляла таким образом многим людям удовольствие думать, будто находится в самых близких отношениях с ними, охотно пришла бы к ним, не помешай ей какие-нибудь скучные обязанности принцессы, которые им весьма лестно было видеть в качестве соперников их вечера. Кроме того, принадлежа к кружку Германтов — где удержалось кое-что от живого остроумия, очищенного от общих мест и условных чувств, которое восходит к Мериме и последнее свое выражение нашло в комедиях Мелака и Галеви, — она применяла его формулы даже к своим общественным отношениям, подчиняла им все, вплоть до характера своей учтивости, всегда старалась быть положительной, точной, близкой к неприглядной истине. Она не тратила много слов, чтобы выразить хозяйке дома свое горячее желание побывать на ее вечере, а находила более любезным перечислить ей несколько мелких обстоятельств, от которых будет зависеть, сможет ли она посетить этот вечер, или же нет.

— Послушай, вот что я тебе скажу, — ответила она г-же де Галлардон, — завтра вечером я должна пойти к одной своей приятельнице, которая уже целую вечность пристает ко мне назначить точно день моего визита. Если она пригласит нас потом в театр, то при всем моем желании мне не удастся заглянуть к тебе; но если мы останемся у нее, то, так как мне известно, что кроме нас, у нее никого больше не будет, я постараюсь удрать.

— Скажи, видала ты своего друга, г-на Свана?

— Нет! Прелесть моя, Шарль! Я и не знала, что он здесь. Где он? Постараюсь привлечь к себе его внимание.

— Забавно, что он ходит даже к мамаше Сент-Эверт, — продолжала г-жа де Галлардон. — О, я знаю, что он человек очень умный, — прибавила она, подразумевая под этим: большой интриган, — но это все равно; вообразить только: еврей в качестве завсегдатая сестры и невестки двух архиепископов!

— К стыду своему, признаюсь, что я нисколько не шокирована, — ответила принцесса де Лом.

— Я знаю, что он крещеный и что его отец и даже дед были крещеными. Но говорят, что крещеные евреи еще ревностнее преданы своей религии, чем остальные, что это одно только притворство; как по-твоему, правда это?

— Я совершенно не осведомлена в этом вопросе.

Пианист, который должен был сыграть две вещи Шопена, закончив прелюд, тотчас же перешел к полонезу. Но после того, как г-жа де Галлардон сообщила своей кузине о присутствии Свана, г-жа де Лом не уделила бы ни малейшего внимания самому Шопену, если бы он вдруг воскрес и стал играть все свои произведения подряд. Она принадлежала к той половине человечества, у которой ненасытное любопытство, существующее у другой половины к людям ей незнакомым, замещено неослабным вниманием к людям ей известным. Как это можно сказать относительно многих обитательниц Сен-Жерменского предместья, присутствие в комнате, где она находилась, какого-нибудь члена ее кружка, даже если ей нечего было сказать ему, целиком поглощало все ее внимание, так что она уже ничего больше не видела и не слышала. Начиная с этого момента, в надежде привлечь к себе взгляд Свана, принцесса (подобно прирученной белой мыши, которой протягивают кусочек сахару и затем снова убирают его) только и делала, что поворачивала свое лицо, наполненное тысячей знаков соучастия, лишенных всякой связи с чувствами, которыми проникнут полонез Шопена, в направлении, где стоял Сван, и если последний менял место, соответственно перемещала свою магнетическую улыбку.

— Ориана, не сердись на меня, — продолжала г-жа де Галлардон, которая не в силах была удержаться и жертвовала светским честолюбием и надеждой ослепить однажды весь Париж, ради темного и затаенного непосредственного удовольствия сказать какую-нибудь неприятность, — есть лица, утверждающие, будто этот г-н Сван — субъект, которого невозможно принимать у себя в доме; правда ли это?

— Но… ведь ты хорошо должна знать, что это правда, — отвечала принцесса де Лом, — ведь ты двадцать раз приглашала его, и он ни разу к тебе не пришел.

И, уколов таким образом кузину, она снова залилась смехом, который привел в негодование лиц, слушавших музыку, но привлек внимание г-жи де Сент-Эверт, из вежливости сидевшей подле рояля и лишь теперь заметившей принцессу. Г-жа де Сент-Эверт в тем большей степени была восхищена присутствием г-жи де Лом, что думала, будто та находится еще в Германте, ухаживая там за больным свекром.

— Как, принцесса, вы здесь?

— Да, я забралась в уголок и слушала прекрасные вещи.

— Неужели вы здесь уже давно?

— Да, очень давно, но время пролетело так быстро; оно казалось мне долгим лишь когда я думала, что нахожусь вдали от вас.

Г-жа де Сент-Эверт предложила принцессе свое кресло, но та ответила:

— Нет, нет, ни за что! Зачем! Мне всюду хорошо.

И, намеренно остановив свой выбор, чтобы показать всем простоту великосветской дамы, на низеньком стуле без спинки, заявила:

— Вот этот пуф — все, что мне нужно. На нем мне придется держаться прямо. Боже мой, я все время произвожу шум; все, наверное, бранят меня на чем свет.

Тем временем пианист удвоил скорость, и музыкальная эмоция меломанов достигла апогея; лакей обносил гостей прохладительными, звеня ложечками, а г-жа де Сент-Эверт, как это повторялось каждую неделю, делала ему знаки удалиться, которых он никогда не замечал. Одна из присутствующих, новобрачная, которой внушили, что молодая женщина никогда не должна иметь скучающего вида, насильственно улыбалась и искала глазами хозяйку дома, чтобы взглядом засвидетельствовать свою признательность за то, что та «подумала о ней», устраивая такой роскошный праздник. Все же, хотя и не с таким ужасом, как г-жа де Франкто, и она не без тревоги следила за игрой пианиста; но предметом этой тревоги был не сам пианист, а рояль, так как свеча, стоявшая на нем и сотрясавшаяся при каждом f_o_r_t_i_s_s_i_m_o, грозила если не поджечь бумажный абажур, то, во всяком случае, закапать стеарином палисандровое дерево. В заключение она не выдержала и, взбежав по двум ступенькам на эстраду, где стоял рояль, бросилась снять розетку со свечи. Но едва только она протянула руку, как прозвучал последний аккорд и пианист встал. Тем не менее смелая инициатива, проявленная этой молодой женщиной, и последовавшее замешательство пианиста и ее собственное произвели в общем благоприятное впечатление.

— Вы видели, принцесса, что сделала сейчас эта особа? — спросил генерал де Фробервиль, подошедший поздороваться к г-же де Лом, когда г-жа де Сент-Эверт на минутку покинула ее. — Странно, не правда ли? Это одна из исполнительниц?

— Нет, это г-жа де Камбремер-младшая, — небрежно ответила принцесса, и затем продолжала, оживившись: — Я вам только повторяю то, что сию минуту сама услышала; не имею ни малейшего понятия, кто такой сказал, сзади меня, что они соседи г-жи де Сент-Эверт по имению, но я не думаю, чтобы кто-нибудь их знал. Это, должно быть, «родственники из деревни»! Впрочем, не знаю, как вы себя чувствуете в блестящем обществе, собравшемся здесь, ибо мне самой совершенно неизвестны имена всех этих диковинных персонажей. Как, по-вашему, проводят они время, когда не присутствуют на вечерах у г-жи де Сент-Эверт? По-видимому, она заказала их вместе с музыкантами, стульями и прохладительными у каких-нибудь «универсальных поставщиков». Согласитесь, что они великолепны. Неужели у нее хватает мужества нанимать всех этих статистов каждую неделю? Быть не может!

— Но ведь Камбремеры почтенный старинный род, — возразил генерал.

— Что из того, что он старинный? — сухо ответила принцесса. — Во всяком случае, это нечто н_е_б_л_а_г_о_з_в_у_ч_н_о_е, — прибавила она, произнеся особенным тоном слово *неблагозвучный*, как если бы оно стояло в кавычках, — маленькая слабость, свойственная кружку Германтов.

— Вы находите? Но она прехорошенькая, — сказал генерал, не спускавший глаз с г-жи де Камбремер. — Вы не разделяете моего мнения, принцесса?

— Она слишком суется вперед; я нахожу, что для такой молодой женщины это некрасиво, ибо, мне кажется, особа эта мне не сверстница, — ответила г-жа де Лом (выражение это было употребительно и у Галлардон и у Германтов).

Затем, видя, что г-н де Фробервиль продолжает смотреть на г-жу де Камбремер, принцесса прибавила, отчасти со злости на молодую женщину, отчасти из любезности к генералу:

— Некрасиво… по отношению к ее мужу! Жалею, что я не знакома с ней; она произвела на вас такое сильное впечатление; я бы вас ей представила, — сказала принцесса, которая, вероятно, не сделала бы ничего подобного, если бы была знакома с молодой женщиной. — Теперь же я должна проститься с вами, потому что сегодня день рождения одной моей приятельницы и я иду поздравить ее, — сказала она просто и искренно, низводя блестящее светское собрание, на которое она направлялась, к скромным размерам скучного церемониала, где, однако, присутствие ее было обязательно и в нем содержалось нечто трогательное. — К тому же я должна встретиться там с Базеном, который, в то время как я нахожусь здесь, пошел к своим друзьям — мне кажется, вы тоже знакомы с ними — называются они так же, как и мост: князья Иенские.

— Сначала так называлась славная победа, принцесса, — сказал генерал. — Ничего не поделаешь, для такого старого вояки, как я, — продолжал он, снимая монокль, чтобы протереть его, с таким видом, точно он менял перевязку на ране, причем принцесса инстинктивно отвела глаза в сторону, — знать императорской эпохи есть, разумеется, нечто совсем иное, но, в конце концов, какова бы она ни была, она прекрасна в своем роде; все это люди, сражавшиеся действительно как герои.

— Уверяю вас, что я питаю глубочайшее уважение к героям, — ответила принцесса слегка ироническим тоном. — Я не хожу с Базеном к этой княгине Иенской по совсем другой причине — просто потому, что я с ней не знакома. Базен знает их, он их очень любит. Ах нет, тут совсем не то, что вы предполагаете, тут нет и намека на флирт — я не имею никаких поводов протестовать! Впрочем, что толку от моих протестов! — сказала она с ноткой меланхолии в голосе, ибо всем было известно, что сразу после женитьбы на своей очаровательной кузине принц де Лом начал систематически ей изменять. — Во всяком случае, здесь не то; это люди, с которыми он давно знаком, ему приятно бывать у них в доме, и я решительно ничего не имею против этих посещений. Довольно с меня его описаний обстановки этого дома… Можете себе представить: вся мебель у них в стиле а_м_п_и_р!

— Это так естественно, принцесса: ведь она перешла к ним по наследству от дедушки.

— Я вам не возражаю, однако это не делает ее менее безобразной. Я вполне допускаю, что не все могут быть обладателями красивых вещей; но зачем же держать в своем доме вещи уродливые? Что поделаешь: по-моему, нет ничего более пошлого, более мещанского, чем этот ужасный стиль, эти комоды, украшенные лебедиными головами, точно ванны!

— Но, насколько мне известно, у них есть также отличные вещи, например, знаменитый мозаичный стол, на котором был подписан договор…

— Боже мой, да я ведь нисколько не возражаю, что у них есть вещи интересные с исторической точки зрения! Но эти вещи не могут быть красивы… потому что они ужасны! У меня самой достаточно таких вещей, полученных Базеном по наследству от Монтескью. Только они свалены на чердаках в Германте, где их никто не видит. Но, в конце концов, все это неважно; я помчалась бы к ним вместе с Базеном; я согласилась бы видеть их посреди всех их сфинксов и всей их меди, если бы я была знакома с ними, но… я с ними незнакома! Когда я была маленькая, мне всегда говорили, что неприлично ходить в гости к незнакомым, — сказала она послушно-серьезным тоном маленькой девочки. — Я веду себя так, как меня научили. Разве вы не представляете, какую гримасу состроили бы эти почтенные люди, если бы к ним в дом вдруг ворвалась совершенно незнакомая особа? Они бы приняли меня очень нелюбезно!

И из кокетства она сделала еще более обворожительную улыбку, которую вызвало у нее это предположение, сообщив своим голубым глазам, устремленным на генерала, нежное и мечтательное выражение.

— Помилуйте, принцесса! Вы отлично знаете, что они обезумели бы от радости…

— Почему? Нет, — с крайней живостью перебила она генерала, оттого ли, что не желала подать виду, будто ей известно ее положение — положение одной из самых высокопоставленных дам во Франции, или же от удовольствия, доставленного ей словами генерала. — Почему? Откуда вы знаете? Может быть, это было бы для них самой неприятной вещью, какую только можно себе представить. Не знаю, но если судить по себе, то мне так скучно видеться даже с знакомыми людьми, что, боюсь, если бы пришлось встречаться еще и с незнакомыми, хотя бы г_е_р_о_я_м_и, я бы совсем сошла с ума. К тому же, за исключением тех случаев, когда речь идет о старых друзьях, вроде вас, генерал, — друзьях, с которыми мы знакомы совершенно независимо от их военных заслуг, я, признаться, совсем не нахожу, чтобы г_е_р_о_и_з_м был очень подходящим качеством для светского человека. Часто мне совсем не весело даже давать обеды, а тут еще предлагать руку какому-нибудь Спартаку, идя к столу!.. Нет, нет, никогда не пошлю я приглашение Верцингеториксу, даже если за столом у меня случится тринадцать человек. Я лучше приберегу его для больших вечеров. А так как я их не даю…

— Ах, принцесса, недаром вы принадлежите к роду Германтов! Вы так и блещете остроумием Германтов!

— Боже мой, все говорят об остроумии Г_е_р_м_а_н_т_о_в, но я никогда не могла понять, почему. Вы, значит, знаете и д_р_у_г_и_х, у кого оно есть? — звонко и весело расхохоталась принцесса, разлив по всем чертам своего лица оживление, засветив, воспламенив глаза свои лучистым солнцем радости, которую способны были вызвать у нее только речи, хотя бы произнесенные ею самой, восхвалявшие ее остроумие или ее красоту. — Взгляните, вон Сван здоровается с вашей Камбремер; он там… подле мамаши Сент-Эверт; неужели вы его не видите? Попросите его познакомить вас. Да поскорее, он как будто собирается уходить!

— Вы обратили внимание, какой у него ужасный вид? — спросил генерал.

— Милый Шарль! Ах, наконец-то он подходит; а я думала было уже, что он не хочет меня видеть!

Сван очень любил принцессу де Лом; кроме того, вид ее напоминал ему Германт, поместье в окрестностях Комбре, и всю эту столь милую его сердцу сторону, которую он перестал посещать, чтобы не удаляться от Одетты. С непринужденной манерой артиста и человека галантного, при помощи которой он умел нравиться принцессе и которую инстинктивно усваивал, когда на мгновение вновь погружался в столь привычную для него когда-то среду, — и желая, с другой стороны, для собственного удовлетворения, выразить одолевавшую его тоску по деревне.

— Ах! — воскликнул он, так размеряя силу своего голоса, чтобы быть услышанным и г-жой де Сент-Эверт, к которой он обращался, и г-жой де Лом, для которой он говорил, — вот наша прелестная принцесса! Смотрите, она нарочно приехала из Германта послушать «Святого Франциска, проповедующего птицам» Листа, и она успела только, подобно хорошенькой синичке, клюнуть несколько ягодок шиповника и боярышника и украсить ими свою головку; на ней блестят еще капельки росы да белые кристаллы инея, от которого, должно быть, мерзнет там, в Германте, герцогиня. Это очень идет вам, дорогая принцесса.

— Как! Принцесса нарочно приехала из Германта? Но это слишком! Я не знала; я смущена, — наивно воскликнула г-жа де Сент-Эверт, мало привыкшая к манере Свана говорить. И продолжала, рассматривая прическу принцессы: — Да, да, вы правы; это похоже… как бы это сказать, не на каштаны, нет, — о, это очаровательная идея, но как принцесса могла знать мою программу? Музыканты не сообщили ее даже мне самой.

Сван, привыкший говорить женщине, с которой бывал галантным, тонкие комплименты, непонятные для большинства светских людей, не принадлежавших к его кружку, не счел нужным разъяснять г-же де Сент-Эверт, что речь его имеет метафорический характер. Что касается принцессы, то она звонко расхохоталась, потому что ум Свана высоко ценился в ее кружке, а также потому, что всякий обращенный к ней комплимент находила утонченно-изысканным и страшно смешным.

— В самом деле? Я восхищена, Шарль, если мои ягодки шиповника и боярышника вам нравятся. Но, скажите мне, почему вы кланяетесь этой Камбремер, разве вы тоже ее сосед по имению?

Г-жа де Сент-Эверт, увидя, что принцесса очень довольна разговором со Сваном, покинула их.

— Но вы сами ее соседка, принцесса!

— Я! В таком случае, у этих людей имения повсюду! Как бы я хотела быть на их месте!

— Нет, соседка не Камбремеров, но родственников этой молодой женщины. Ее девичья фамилия Легранден, и она часто приезжала в Комбре. Не знаю, известно ли вам, что вы — графиня Комбрейская и что капитул должен платить вам оброк.

— Не знаю, что должен платить мне капитул, но знаю, что мне самой приходится платиться сотней франков ежегодно в пользу кюре, повинность, без которой я бы отлично обошлась. Однако, нужно признаться, что у этих Камбремеров довольно странная фамилия. Она кончается где нужно, но кончается некрасиво! — со смехом сказала принцесса.

— Начинается она тоже не слишком благозвучно, — сказал Сван.

— В самом деле, это двойное сокращение! — Кто-то очень сердитый и очень щепетильный не посмел закончить первое слово.

— Но он не мог все же удержаться от того, чтобы начать второе, поэтому лучше было бы, если бы он закончил первое и разделался с ним. Мы очень мило каламбурим, дорогой мой Шарль, но как прискорбно, что я совсем не встречаюсь теперь с вами, — продолжала принцесса ластящимся тоном, — я так люблю разговаривать с вами. Вы вообразите, мне бы не удалось даже растолковать этому идиоту Фробервилю, насколько смешна фамилия Камбремер. Согласитесь, что жизнь ужасная вещь. Только встречаясь и разговаривая с вами я перестаю скучать.

Конечно, это была неправда. Но у Свана и у принцессы была одинаковая манера смотреть на житейские мелочи, следствием которой — если только не причиной — было большое сходство оборотов речи и даже произношения. Это сходство не поражало потому только, что звуки голоса обоих были как нельзя более различны. Но если слушателю удавалось мысленно отвлечь от слов Свана их звуковой тембр и усы, сквозь которые они проходили, то он убеждался, что они составляли те же фразы, те же обороты, что были вообще свойственны Кружку Германтов. Что касается вопросов существенных, то идеи Свана и принцессы не имели ни одной точки соприкосновения. Но с тех пор, как Сван погрузился в меланхолию и постоянно ощущал ту нервную дрожь, которая свойственна человеку, готовому расплакаться, он испытывал ту же болезненную потребность говорить о своей печали, какую испытывает убийца говорить о совершенном им преступлении. Услышав заявление принцессы, что жизнь вещь ужасная, он наполнился таким умилением, точно она сказала ему об Одетте.

— О, да! Жизнь вещь ужасная. Нам нужно чаще встречаться, дорогая принцесса. Самым милым вашим качеством является то, что вы серьезны. Мы провели бы с вами прелестный вечер.

— Я в этом уверена; почему бы вам не приехать в Германт? Моя свекровь безумно бы вам обрадовалась. Говорят, местность там очень скучная, но, признаюсь, в ней есть для меня какая-то прелесть; я терпеть не могу ж_и_в_о_п_и_с_н_ы_х уголков.

— Я вполне согласен с вами, это восхитительные места, — отвечал Сван. — Они даже слишком прекрасны, прелесть их слишком живо ощущается мной в настоящее время; эти места созданы, чтобы быть в них счастливым. Потому, может быть, я и жил в них, но все в них так много говорит мне. Как только повеет ветерок и начинают волноваться хлеба, мне кажется, что сейчас кто-то должен появиться, что сейчас я получу какую-то весть; и эти домики на берегу реки… я был бы там совсем несчастным!

— Милый Шарль, будьте начеку; меня заметила эта ужасная Рампильон; спрячьте меня куда-нибудь и напомните мне скорее, что там произошло у нее; я путаю: она выдала замуж свою дочь или женила своего любовника, положительно я забыла; может быть, произошло и то и другое… сразу! Ах нет, вспомнила: она развелась со своим князем… сделайте вид, будто вы разговариваете со мной, чтобы эта Вероника не подошла приглашать меня на обед. Впрочем, я удираю. Послушайте, дорогой Шарль, раз уж я встретилась с вами, то не разрешите ли вы похитить вас и увезти к принцессе Пармской, которая будет так рада увидеть вас, и Базен тоже; он должен там встретиться со мной. Если бы не известия о вас, которые иногда приносит Меме… Ведь я совсем не вижу вас теперь!

Сван отказался; предупредив г-на де Шарлюс, что от г-жи де Сент-Эверт он возвратится прямо домой, он боялся, благодаря визиту к принцессе Пармской, упустить письмо и все время надеялся, что еще в течение вечера письмо это будет подано ему лакеем или что он, может быть, найдет его у своего консьержа.

— Бедный Сван, — говорила в тот же вечер г-жа де Лом своему мужу, — он по-прежнему мил, но у него совсем несчастный вид. Вы сами увидите, так как он обещал прийти к нам обедать в один из ближайших дней. Я считаю положительно нелепым, чтобы мужчина его ума страдал из-за подобной особы, которая вдобавок неинтересна, так как все говорят, что она идиотка, — заключила она с мудростью людей не влюбленных, полагающих, что человек умный вправе быть несчастным только из-за особы, достойной его; это все равно, как если бы мы удивлялись, как это люди опускаются до заболевания холерой, отдавая себя во власть столь миниатюрного существа, как коховская запятая.

Сван хотел уже идти домой, но, в то время как он направлялся к выходу; генерал де Фробервиль поймал его и попросил познакомить с г-жой де Камбремер, так что ему пришлось возвратиться и искать молодую женщину.

— А вы знаете, Сван, я предпочел бы быть мужем этой женщины, чем быть зарубленным дикарями; что вы на это скажете?

Эти слова «быть зарубленным дикарями» больно вонзились в сердце Свана; тотчас же он почувствовал потребность продолжать разговор с генералом.

— Да, — сказал он ему, — сколько прекрасных жизней было загублено таким образом!.. Ну, хотя бы, например… этот мореплаватель, останки которого были привезены Дюмон д’Урвилем, Ла Перуз…-- (Сван сразу наполнился счастьем, как если бы он заговорил об Одетте.) — Прекрасный он был человек и очень меня интересует, этот Ла Перуз, — прибавил он с меланхолическим видом.

— О да, конечно, Ла Перуз, — сказал генерал. — Это очень известное имя. В честь его названа улица.

— Вы знаете кого-нибудь на улице Ла-Перуз? — спросил Сван в крайнем возбуждении.

— Только г-жу де Шанливо, сестру этого славного парня Шоспьера. Несколько дней тому назад она дала очень милый вечер со спектаклем. Этот салон станет очень элегантным, вот увидите!

— Ах, она живет на улице Ла-Перуз! Это симпатично; я очень люблю эту улицу, она такая мрачная.

— Что вы говорите! Вы, вероятно, давно там не бывали; сейчас она совсем не мрачная, весь этот квартал теперь перестраивается.

Когда Сван представил наконец г-на де Фробервиля г-же де Камбремер-младшей, то эта последняя, так как она слышала впервые фамилию генерала, изобразила на лице своем радостную и удивленную улыбку, какой приветствовала бы его в том случае, если бы в ее присутствии никогда не произносили другой фамилии; ибо, не будучи знакомой со всеми друзьями своей новой семьи, она принимала каждое лицо, которое ей представляли, за одного из таких друзей, и, думая, что она выказывает большой такт тем, что делает вид, будто столько слышала о нем после своего замужества, она нерешительно протягивала руку, желая показать таким образом привитую ей воспитанием сдержанность, которую ей приходилось преодолевать, и в то же время невольную симпатию, с торжеством бравшую верх над сдержанностью. Вследствие этого родители ее мужа, которых она и до сих пор считала самыми блестящими представителями французской знати, объявили ее ангелом; тем более, что, давая согласие на женитьбу своего сына на ней, они предпочитали делать вид, будто ценят главным образом привлекательность ее душевных качеств, а вовсе не ее большое приданое.

— Сразу видно, что вы музыкантша в душе, сударыня, — сказал ей генерал, намекая на инцидент с колпачком для свечки.

Тем временем концерт возобновился и Сван увидел, что ему не уйти теперь до конца нового номера программы. Ему было очень тяжело оставаться взаперти среди этих людей, глупость и уродство которых поражали его тем более болезненно, что, не зная о его любви, неспособные, если бы даже они о ней знали, проявить к ней интерес и отнестись к ней иначе чем с улыбкой, как к ребячеству, или с сожалением, как к безрассудству, люди эти побуждали Свана представлять ее себе в виде некоего субъективного состояния, существовавшего только для него и чья реальность не подтверждалась ему ничем извне; он страдал особенно сильно, до такой степени, что самый звук инструментов вызывал в нем желание кричать, от необходимости продолжать свое заточение в этом месте, куда Одетта никогда не придет, где никто, где ничто ее не знает, где не было ни малейших знаков ее присутствия.

Но вдруг она как бы вошла, и это появление причинило Свану такую мучительную боль, что он должен был поднести руку к сердцу. Дело в том, что скрипка взяла ряд высоких нот и остановилась на них как бы выжидании, ожидании, во время которого она не переставала тянуть эти ноты с таким исступлением, словно она уже заметила приближение предмета своего ожидания, с таким отчаянным усилием, словно желала во что бы то ни стало дотянуть до его прибытия, встретить его, перед тем как изнемочь, напрячь последний остаток своих сил и еще мгновение держать дорогу открытой перед гостем, чтобы он мог войти, вроде того, как мы держим открытой дверь, которая, в противном случае, затворилась бы. И прежде чем Сван успел сообразить и сказать себе: «Это фраза из сонаты Вентейля, не будем слушать!» — все его воспоминания о времени, когда Одетта была влюблена в него, — воспоминания, которые до этого момента ему удавалось держать невидимыми в глубинах своего существа, — обманутые этим нежданным лучом из давней поры любви, чье солнце, казалось им, снова взошло, встрепенулись, во мгновение ока взлетели на поверхность его сознания и стали исступленно петь ему, без малейшей жалости к его теперешним мучениям, позабытые гимны счастья. Вместо отвлеченных выражений: «время, когда я был счастлив», «время, когда я был любим», которые он часто употреблял до сих пор, не слишком от этого страдая, ибо его рассудок вкладывал в них одни только фиктивные выдержки из прошлого, ничего не сохранявшие из него, он вновь обрел теперь все, что навеки утвердила в нем своеобразная и летучая сущность утраченного им счастья; все оно предстало ему: снежно-белые, курчавые лепестки хризантемы, которую она бросила в его экипаж и которую он вез домой, прижав к губам, адрес «Золотого дома», выдавленный на письме, в котором он прочел: «Рука моя так дрожит, когда я пишу вам», — ее морщившиеся брови, когда она говорила ему с умоляющим видом: «Когда же вы подадите весть о себе? О, если бы мне пришлось ждать не очень долго!» — он ощутил запах щипцов парикмахера, причесывавшего его в то время, как Лоредан отправлялся за маленькой работницей, услышал раскаты грома и шум дождя, который так часто шел в ту весну, увидел свои возвращения домой в виктории холодными ясными ночами при свете луны, — все петли умственных привычек, впечатлений погоды, чувственных ощущений, раскинувших над целым рядом недель однородную сеть, которою тело его оказывалось теперь вновь прочно опутанным. В то время он удовлетворял сладострастное любопытство, познавая наслаждения людей, живущих одной только любовью. Ему казалось тогда, что он может остановиться на этом, что ему не придется познать также ее горестей; какой малостью была теперь для него прелесть Одетты по сравнению с мрачным ужасом, простиравшимся вокруг нее, как туманный венец вокруг солнца, — по сравнению с безумной тоской, проистекавшей от невозможности знать каждое мгновение дня и ночи, что она делает, невозможности обладать ею везде и всегда! Увы, он вспомнил тон, каким Одетта воскликнула: «Но я могу видеть вас в любое время; я всегда свободна!» — та самая Одетта, которая теперь никогда не была свободна! — вспомнил интерес, любопытство, проявленные ею к его жизни, ее страстное желание, чтобы он сделал ей одолжение — нежелательное в те времена, напротив, для него, поскольку оно вносило расстройство в привычный порядок его дня, — позволил ей проникнуть в его рабочий кабинет; вспомнил, как ей пришлось его упрашивать, чтобы он дал согласие ввести себя в салон Вердюренов; вспомнил, сколько раз, когда он разрешил ей приходить к себе один раз в месяц, понадобилось ей твердить, прежде чем он дал уломать себя, каким для нее будет счастьем привычка видеться с ним ежедневно, о которой она так мечтала, между тем как ему привычка эта казалась докучным беспокойством; как переменились с тех пор их роли: она наполнилась к этой привычке отвращением и окончательно порвала с ней, для него же она стала неутолимой, мучительной потребностью! Он и не подозревал, какая правда заключена была в его словах, когда, в их третью встречу, на повторный ее вопрос: «Но почему вы не позволяете мне приходить к вам чаще?» — он со смехом галантно отвечал: «Страшусь несчастной любви». Теперь — увы! — ей хотя и случалось иногда писать Свану из ресторана или из гостиницы на бумаге с печатным адресом этих заведений, но письма эти были словно огненные, они жгли его сердце. «Написано из отеля Вуймон? Чего ради она ходила туда? С кем? Что там произошло?» Сван вспомнил газовые фонари, гасившиеся на Итальянском бульваре, когда он встретил ее, потеряв уже всякую надежду, среди блуждающих теней той памятной ночью, которая показалась ему почти сверхъестественной и которая действительно — ночь из той поры, когда ему не приходилось даже задаваться вопросом, не причинит ли он ей неудовольствия своими поисками, встречей с ней, настолько он уверен был, что у нее нет большей радости, чем увидеть его я вместе вернуться домой, — принадлежала к какому-то таинственному миру, куда навеки нет возврата, после того как ворота его закрылись. И Сван заметил какого-то бедняка, неподвижно застывшего в созерцании этого воскресшего счастья, — бедняк, которого он сразу не узнал и который наполнил его поэтому такой жалостью, что он вынужден был опустить голову из страха, как бы кто не увидел навернувшиеся ему на глаза слезы. Этот бедняк был он сам.

Когда он это понял, жалость его исчезла, зато он наполнился теперь ревностью к своему другому «я», которое она любила, ревностью к тем людям, о которых он часто говорил себе, не слишком от этого страдая: «может быть, она их любит», — теперь, когда бесформенная идея любви, в которой нет никакой любви, сменилась в нем лепестками хризантемы н штемпелем «Золотого дома», до краев переполненных любовью. Затем страдание его стало нестерпимым, он провел рукой по лбу, уронил монокль и протер стекло. И несомненно, если бы он увидел себя в эту минуту, то присоединил бы к коллекции моноклей, замеченных им в зале, также и монокль, убранный им, как докучная мысль, и с запотевшей поверхности которого он пытался стереть носовым платком свои заботы.

В звуках скрипки — если не глядеть на инструмент и, следовательно, быть лишенным возможности относить слышимое к зрительному образу, видоизменяющему характер звучания, — есть тембры столь родственные тембрам иных контральто, что у слушателя создается иллюзия, будто в концерте участвует певица. Он поднимает глаза и видит только деревянные резонаторы, драгоценные, как китайские шкатулки, но по временам все еще бывает обманут обольстительным зовом сирены; иногда ему кажется также, будто он слышит плененного духа, который бьется в глубине затейливой шкатулки, заколдованной и трепетной, как дьявол, погруженный в чашу со святой водой; иногда также в воздухе как бы реет некое чистое и неземное существо, распространяя кругом невидимую благостную весть.

Казалось, что музыканты не столько играли коротенькую фразу, сколько творили обряд, без соблюдения которого она не могла появиться, и производили заклинания, необходимые, чтобы добиться и продлить на несколько мгновений чудо ее появления, ибо Сван, не способный в последнее время воспринимать ее, словно она принадлежала к миру ультрафиолетовых лучей, и испытывавший как бы освежающее действие некоей метаморфозы в минуты слепоты, поражавшей его, когда он приближался к ней, — Сван ощущал теперь ее присутствие, подобно присутствию богини покровительницы и свидетельницы его любви, нарядившейся в костюм этих звуков, чтобы можно было подойти к нему в толпе, отвести его в сторону и поговорить с ним наедине. И в то время, как она проносилась, легкая, миротворящая и струившаяся благоуханием, говоря ему то, что она должна была сказать, и каждое слово которой он бережно подбирал, сожалея, что они улетают так быстро, Сван невольно протягивал губы, как бы желая поцеловать на лету это гармоничное ускользающее существо. Он не чувствовал себя больше отверженным и одиноким, ибо, обращаясь к нему, она нашептывала ему об Одетте. У него больше не было, как когда-то, впечатления, что коротенькая фраза не знает его и Одетты. Ведь так часто она была свидетельницей их радостей! Правда, часто она предупреждала его также о хрупкости этих радостей. Но если в те далекие времена он чуял страдание в ее улыбке, в ее кристально-ясном и разочарованном напеве, то сейчас находил в ней скорее грациозную и почти радостную покорность судьбе. Об этих горестях, о которых она намекала ему когда-то и которые с улыбкой увлекала с собой в своем неровном и стремительном беге, так что они не задевали его, — об этих горестях, которые стали теперь его собственными, и он лишен был надежды когда-нибудь от них избавиться, она, казалось, говорила ему, как некогда о его счастье: «Что все это? Все это такая малость!» И мысль Свана впервые обратилась, в порыве жалости и нежности, к этому Вентейлю, этому неведомому благородному брату, которому тоже пришлось, должно быть, много страдать? чем могла быть его жизнь? Из глубины какого горя почерпнул он эту божественную силу, эту безграничную творческую мощь? Когда о ничтожестве его страданий говорила ему коротенькая фраза, Сван находил сладость в той самой мудрости, которая сейчас только показалась ему невыносимой, когда он читал ее на лицах равнодушных людей, смотревших на его любовь как на незначительное приключение. Дело в том, что коротенькая фраза, каково бы ни было ее мнение о скоротечности этих душевных состояний, видела в них, в противоположность всем этим людям, не нечто менее серьезное, чем события повседневной жизни, но, напротив, нечто безмерно возвышавшееся над повседневной жизнью, нечто единственно только и заслуживавшее художественного выражения. Очарование интимного страдания — вот что пыталась она воспроизвести, воссоздать, вплоть до сокровенной его сущности, которая, однако, по природе своей непередаваема и кажется легковесной всякому, кроме того, кто сам его ощущает, — коротенькая фраза пленила эту сущность, сделала ее видимой. И она исполнила это с таким совершенством, что заставляла всех присутствовавших в зале слушателей — если только они обладали некоторой музыкальностью — признать ценность выраженного ею очарования и ощутить его божественную сладость, хотя бы впоследствии они не узнали его в действительной жизни, в каждой индивидуальной любви, которая будет протекать на их глазах. Конечно, форма, в которой фраза воплотила это очарование, не поддавалась рассудочному анализу. Но уже больше года, с тех пор как внезапно вспыхнувшая в нем и по временам, по крайней мере, ощущавшаяся любовь к музыке открыла ему множество богатств его собственной души, Сван рассматривал музыкальные мотивы как подлинные идеи, потусторонние, иного порядка, идеи, покрытые мраком, непознаваемые, непроницаемые для рассудка, но тем не менее явственно отличные друг от друга, обладающие неравной ценностью и неравным значением. Когда, после вечера у Вердюренов, многократно вслушиваясь в коротенькую фразу, он попытался разобраться, почему она окружала, окутывала его словно благоуханием, словно лаской, то убедился, что это впечатление зябкой и съеженной нежности обусловлено ничтожностью интервалов между пятью составлявшими ее нотами и постоянным повторением двух из них; но он отлично понимал, что рассуждает, таким образом, не о самой фразе, но о некоторых простых величинах, которыми рассудок его, для удобства, подменил таинственную сущность, воспринятую им, еще до его знакомства с Вердюренами, на том вечере, где он впервые услышал сонату. Он знал, что самое воспоминание о звуках рояля еще больше искажало перспективу, в которой размещались его музыкальные представления, знал, что поле, открытое музыканту, вовсе не жалкая клавиатура из семи нот, но клавиатура необъятная, еще почти вовсе неведомая, где лишь там и сям, отделенные густым непроницаемым мраком, несколько клавишей нежности, страсти, мужества, ясности и мира, составляющие эту клавиатуру наряду с миллионами других, — каждая столь же отличная от прочих, как один космос отличен от другого, — были открыты немногими великими художниками; пробуждая в нас эмоции, соответствующие найденным ими темам, художники эти помогают нам обнаружить, какое не подозреваемое нами богатство, какое разнообразие таит в себе черная, непроницаемая и обескураживающая ночь нашей души, которую мы принимаем обыкновенно за пустоту и небытие. Вентейль был одним из таких художников. И в его коротенькой фразе, несмотря на то что для рассудка она представляла темную поверхность, чувствовалось содержимое столь плотное, столь точно выраженное, которому она сообщала силу столь новую, столь оригинальную, что всякий услышавший ее хранил ее в себе наравне с рассудочными понятиями. Сван обращался к ней как к концепции любви и счастья, особенности и своеобразие которой он знал так же хорошо и так же непосредственно, как знал их относительно «Принцессы Клевской» и «Рене», когда эти слова всплывали в его памяти. Даже когда он не думал о коротенькой фразе, она существовала в уме его в скрытом состоянии таким же способом, как некоторые другие наши понятия, лишенные материального эквивалента, вроде понятий света, звука, перспективы, чувственного наслаждения, этих богатых сокровищ, которыми сверкает и украшается наш внутренний мир. Может быть, мы их утратим, может быть, они изгладятся, если мы возвратимся в небытие. Но пока мы живем, мы так же не можем привести себя в состояние, при котором мы их не знали бы, как не можем сделать это по отношению к реальным предметам, как не можем, например, сомневаться в свете лампы, которую зажигают перед преображенными предметами нашей комнаты, откуда исчезло самое воспоминание темноты. Таким путем фраза Вентейля, подобно какой-нибудь теме «Тристана», тоже представляющей некоторое наше приобретение в области чувства, сочеталась с нашим смертным жребием, приобрела какие-то человеческие черты, в достаточной степени трогательные. Участь ее сплелась отныне с судьбами нашей души, чьим украшением, из числа наиболее своеобразных, наиболее ярко выраженных, она являлась. Быть может, истина — небытие, и наши грезы не обладают реальным существованием, но в таком случае мы чувствуем, что и эти музыкальные фразы, эти понятия, существующие по отношению к нашим грезам, тоже суть ничто. Мы погибнем, но эти божественные пленницы являются нашими заложницами, которые разделят нашу участь. И смерть с ними будет менее горькой, менее бесславной, может быть, даже менее вероятной.

Таким образом, Сван не совершал ошибки, веря в реальное существование фразы Вентейля. Очеловеченная, с этой точки зрения, она все же принадлежала к разряду существ сверхъестественных, которых мы никогда не видели, но которые, несмотря на это, мы с восхищением узнаем, когда какому-нибудь исследователю незримого случается приманить одно из них, низвести с божественных сфер, куда он имеет доступ, и заставить в течение нескольких мгновений проблистать перед нами. Как раз так и поступил Вентейль с коротенькой фразой. Сван чувствовал, что роль композитора была здесь самая скромная: он лишь снял с нее, с помощью музыкальных инструментов, покрывало, сделал ее видимой, почтительно воспроизвел ее очертания рукой столь любящей, столь осторожной, столь бережной и столь уверенной, что звучность менялась каждое мгновение, затухая для изображения полутени, вновь оживляясь, когда нужно было точно передать какой-нибудь более смелый изгиб. И доказательством правоты Свана, верившего в реальное существование этой фразы, было то, что всякий любитель музыки, обладавший сколько-нибудь тонким чутьем, сразу же заметил бы плутовство, если бы Вентейль, не обладая столь острым зрением и столь уверенной рукой, вздумал маскировать — прибавляя там и сям штрихи своего собственного изобретения — недостатки своего зрения и промахи своей руки.

Фраза исчезла. Сван знал, что она вновь появится в конце последнего такта, после длинного пассажа, который пианист г-жи Вердюрен всегда опускал. Этот пассаж содержал удивительные мысли, которых Сван не уловил при первом слушании сонаты и которые он теперь воспринимал, как если бы они скинули, в раздевальной его памяти, однообразные маскарадные костюмы новизны. Сван слушал разбросанные в разных местах темы, которые войдут в композицию фразы, как посылки в необходимый вывод силлогизма; он присутствовал при тайне ее рождения. «О, дерзновение, столь же гениальное, может быть, — восклицал он про себя, — как дерзновение Лавуазье или Ампера, это дерзновение Вентейля, экспериментирующего, открывающего тайные законы неведомой силы, правящего по неисследованной области к единственной возможной цели невидимой запряжкой, которой он доверился и которую никогда не будет в состоянии разглядеть!» Как прекрасен был диалог между скрипкой и роялем в начале последнего пассажа, который слушал теперь Сван! Отсутствие человеческих слов не только не давало простора воображению, как можно было бы предположить, но вовсе исключало его; никогда членораздельная речь не обладала такой непреложной необходимостью, никогда не знала она так точно поставленных вопросов, таких прозрачно ясных ответов. Сначала раздалась одинокая жалоба рояля, словно жалоба птицы, покинутой своей подругой; скрипка услышала ее, ответила ей, словно с соседнего дерева. Происходило это как бы на заре мира, когда не было еще ничего, кроме этой пары, на земле, или, вернее, в этом огражденном отовсюду мире, так построенном логикой его творца, что двое существ навсегда останутся там в одиночестве: в мире сонаты Вентейля. Была ли то птица, была ли то не сложившаяся еще душа коротенькой фразы, была ли то невидимая, изливавшаяся в жалобе фея, чьи стоны слышал рояль и бережно их передавал? Крики ее так участились, что скрипачу пришлось ускорить движение смычка, чтобы успеть их подхватывать. Чудесная птица! Скрипач, казалось, хотел зачаровать ее, приручить, пленить. Уже она проникла в его душу, уже коротенькая фраза, призванная к жизни, потрясала, словно тело медиума, подлинно «одержимое» тело скрипача. Сван знал, что фраза прозвучит еще раз. И личность его настолько раздвоилась, что ожидание неминуемого мгновения, когда он окажется лицом к лицу с фразой, вырвало из груди его одно из рыданий, исторгаемых у нас обыкновенно красивым стихом или печальной новостью, не в тех случаях, когда мы бываем одни, но когда сообщаем их другу, в котором мы воспринимаем себя в отражении, как третье лицо, чья эмоция, вероятно, его растрогает. Она вновь появилась, но на этот раз лишь для того, чтобы повиснуть в воздухе и покрасоваться одно только мгновение, словно застыв в неподвижности, и вслед за тем истаять. Поэтому Сван не терял ни секунды из драгоценного времени, в течение которого она длилась. Она реяла в пространстве, как мыльный пузырь, не успевший еще лопнуть. Так радуга, блеск которой слабеет, — никнет, затем оправляется и, перед тем как погаснуть, вспыхивает на миг небывалыми огнями; к двум цветам, которые фраза позволяла до сих пор различить, она прибавила другие переливчатые тона, все оттенки спектра, и все они звучно пели. Сван не решался пошевелиться, и ему хотелось заставить сидеть спокойно всех присутствовавших в зале, как если бы малейшее движение могло разрушить магическое очарование, сверхъестественное, упоительное и хрупкое, которое каждое мгновение готово было рассеяться. Но никто и не помышлял нарушить спокойствие. Несказуемое признание одинокого отсутствующего художника, может быть мертвеца (Сван не знал, был ли Вентейль еще жив), излучавшееся из ритуальных действий двух этих иерофантов, обладало достаточной силой, чтобы держать в напряженном состоянии внимание трехсот человек, и обращало эту эстраду, где была таким образом призвана к бытию чья-то душа, в один из благороднейших алтарей, на которых когда-либо было совершено таинственное священнодействие. Это впечатление было настолько сильно, что, хотя в первое мгновение после того, как фраза наконец отзвучала и слышались только ее отрывки в следующих темах, уже занявших ее место, Сван был раздражен поведением графини де Монтерьянде, славившейся своей недалекостью, которая, еще до окончания сонаты, наклонилась к нему, чтобы поделиться своими впечатлениями; он не мог, однако, удержаться от улыбки при ее обращении к нему и даже, может быть, нашел в ее словах некоторый глубокий смысл, не подозреваемый ею самой. Восхищенная виртуозностью исполнителей, графиня воскликнула, обращаясь к Свану: «Это изумительно! Я никогда не видела ничего более потрясающего…» Но желание быть безукоризненно точной заставило ее исправить свое первое утверждение, и она сделала оговорку: «…ничего более потрясающего… кроме вращающихся столиков!»

После этого вечера Сван понял, что чувство, которое Одетта питала к нему, никогда не возродится, что его надежды на счастье не сбудутся. И если в иные дни она бывала еще случайно мила и нежна с ним, если она оказывала ему иногда внимание, то он отмечал эти видимые и обманчивые знаки возврата нежности с той умиленной и скептической заботливостью, с той безнадежностью, какая свойственна бывает людям, которые, ухаживая за неизлечимо больным другом в последние дни его жизни, сообщают, точно факты драгоценной важности: «Вчера он самостоятельно проверил свои счета и даже исправил сделанную нами ошибку; он с аппетитом скушал яйцо; и если он хорошо переварит его, мы попробуем дать ему завтра котлету», — хотя они знают, что эти факты лишены всякого значения накануне неизбежной смерти. Конечно, Сван был уверен, что, живи он теперь вдали от Одетты, он в конце концов проникся бы равнодушием к ней, так что был бы доволен, если бы она навсегда покинула Париж; у него хватило бы мужества остаться; но у него не хватало мужества уехать.

Он часто подумывал об этом. Теперь, когда он снова засел за работу о Вермере, ему хотелось съездить хотя бы на несколько дней в Гаагу, в Дрезден, в Брауншвейг. Он убежден был, что «Туалет Дианы», купленный Моритсюи на распродаже у Гольдшмидта, в качестве картины Николая Маэса, был на самом деле картиной Вермера. И ему хотелось изучить картину на месте, чтобы подкрепить свое убеждение. Но покинуть Париж в то время, как Одетта была там, и даже когда она уезжала куда-нибудь, — ибо в новых местах, где ощущения наши не притуплены привычкой, мы со свежей силой испытываем старую боль — было для него проектом столь жестоким, что он находил в себе силу непрестанно думать о нем только потому, что знал о своей решимости никогда не приводить его в исполнение. Но во время сна намерение путешествовать иногда вновь оживало в нем (он забывал тогда, что это путешествие было для него невозможно), и во сне оно осуществлялось. Однажды ему приснилось, что он уезжает на целый год; наклонившись из окна вагона к какому-то юноше, стоявшему на платформе и со слезами на глазах прощавшемуся с ним, Сван пытался убедить этого юношу уехать вместе с ним. Когда поезд тронулся, подступившая к сердцу тоска разбудила его, он вспомнил, что никуда не едет, что будет видеть Одетту сегодня, завтра и почти каждый день. Тогда, еще весь взволнованный своим сновидением, он благословлял судьбу за стечение обстоятельств, делавшее его независимым, позволявшее ему оставаться недалеко от Одетты и даже получать разрешение изредка встречаться с нею; и, мысленно обозревая все эти преимущества: свое общественное положение, — свое богатство, в котором часто она слишком нуждалась, чтобы решиться пойти на разрыв (по слухам, у нее была даже задняя мысль женить его на себе), — дружбу с г-ном де Шарлюс (хотя последнему, по правде говоря, никогда не удавалось добиться для него особенно больших милостей от Одетты, но дружба эта давала Свану сладкое чувство уверенности, что Одетта постоянно слышит лестные речи о нем от их общего друга, к которому она относилась с таким уважением), — и даже свой ум, способности которого он употреблял каждый день исключительно на изобретение новых способов сделать свое присутствие если не приятным, то, по крайней мере, необходимым для Одетты, — мысленно перебирая все эти преимущества, он подумал, что сталось бы с ним, если бы их у него не было; подумал, что если бы, подобно множеству людей, он был беден, скромен, лишен источников существования, вынужден принять любую работу или если бы он был связан с родными, с женой, то ему пришлось бы, может быть, покинуть Одетту, — подумал, что сон этот, ужас которого был еще так близок, мог оказаться правдой, и сказал себе: «Мы не сознаем своего счастья. Мы никогда не бываем столь несчастны, как нам кажется». Но, вспомнив, что такое существование длится уже несколько лет, что, самое большее, он может надеяться на его продление до самой смерти, что он жертвует своими занятиями, своими удовольствиями, своими друзьями, словом, всей своей жизнью, ради каждодневного ожидания встречи с женщиной, которая не могла принести ему никакого счастья, — он задался вопросом, не обманывается ли он; не повредили ли ему обстоятельства, благоприятствовавшие его связи и мешавшие разрыву с Одеттой; не являлось ли желанным событие, относительно которого он так обрадовался, что оно случилось только во сне: его отъезд; и он сказал себе: «Мы не сознаем своего несчастья; мы никогда не бываем столь счастливы, как нам кажется».

Иногда он надеялся, что она безболезненно погибнет от какого-нибудь несчастного случая, так как по целым дням, с утра до вечера, она бегала по городу, пребывала в сутолоке, переходила оживленные улицы. И так как она возвращалась здоровая и невредимая, то он восхищался крепостью и ловкостью человеческого тела, которое, будучи непрестанно окружено опасностями (опасностями бесчисленными, как казалось Свану, ибо его собственное тайное желание воздвигли их на ее пути), способно избегать их и позволяет таким образом людям ежедневно и почти безнаказанно подвизаться на поприще лжи, гоняться за наслаждением. И Сван чувствовал сердечную симпатию к Магомету II, чей портрет кисти Беллини он так любил, — тому Магомету II, который, заметив, что он безумно влюбляется в одну из своих жен, заколол ее кинжалом, с целью, как простодушно сообщает его венецианский биограф, вновь обрести свободу духа. Затем он негодовал на себя за эти эгоистические мысли, и ему казалось, что испытанные им терзания не заслуживают никакой жалости, если сам он так мало дорожит жизнью Одетты.

Но раз уж он был не способен разлучиться с нею навсегда, то ему нужно было, по крайней мере, устроить так, чтобы видеть ее непрестанно, — тогда боль его мало-помалу унялась бы и его любовь, может быть, угасла бы. И с момента, как она выразила желание никогда не покидать Париж, он тоже исполнился желанием, чтобы она никогда не покидала его. Так как, во всяком случае, он знал, что она надолго отлучалась из Парижа один только раз в году — в августе и сентябре, то мог заранее изгнать из представления об этой отлучке горькую мысль об ее отъезде навеки, мысль, которую он носил в себе как мысль абстрактную и которая, будучи составлена из ряда дней, в точности похожих на теперешние, проплывала в его уме, холодная и прозрачная, омрачая его, правда, некоторой печалью, но не причиняя ему особенно острого страдания. Но достаточно было Одетте промолвить одно только слово, и это абстрактное будущее, эта бесцветная, свободно текущая река вдруг застывала, превращалась в глыбу льда, отвердевала, замерзала до дна, и Сван чувствовал себя наполненным какой-то огромной тяжелой массой, давившей на внутренние стенки его существа с такой силой, что оно готово было рассыпаться на куски; весь этот эффект обусловливался тем, что Одетта сказала Свану вскользь, с лукавой улыбкой наблюдая его: «Форшвиль отправляется на Троицу в очень приятное путешествие. Он едет в Египет!» — и Сван тотчас понимал, что это означало: «На Троицу я еду с Форшвилем в Египет». И действительно, если несколько дней спустя Сван говорил ей: «Кстати, по поводу этой поездки, которую, по твоим словам, ты собираешься совершить с Форшвилем», — она беспечно отвечала ему: «Да, мой милый, мы уезжаем девятнадцатого, мы пришлем тебе открытку с видом пирамид». Тогда он принимал твердое решение выяснить наконец, не любовница ли она Форшвиля, поставить ей вопрос ребром. Он знал, что, будучи суеверной, она не способна на некоторые клятвопреступления, и, кроме того, удерживавший его до сих пор страх рассердить Одетту своими расспросами, вызвать в ней неприязнь к себе, перестал существовать теперь, когда он потерял всякую надежду быть когда-нибудь любимым.

Однажды он получил анонимное письмо, сообщавшее ему, что Одетта была любовницей множества мужчин (в их числе были названы: Форшвиль, г-н де Бреоте и художник) и женщин и что она часто посещала дома свиданий. Он терзался от мысли, что среди его друзей находится человек, способный прислать ему такое письмо (ибо по некоторым подробностям можно было заключить, что автор его был хорошо знаком с интимной жизнью Свана). Он старался доискаться, кто бы это мог быть. Но он никогда не мог представить себе неизвестных ему поступков других людей, если эти поступки не имели видимой связи с их речами. И когда он хотел выяснить, не следует ли ему поместить неведомую область, где мог родиться этот низкий поступок, под видимыми чертами характера г-на де Шарлюс, г-на де Лом, г-на д’Орсан, то — так как никто из них никогда не одобрял, в разговорах со Сваном, анонимных писем и так как все их суждения по этому поводу предполагали, что они относились к таким письмам с порицанием, — он не нашел никаких разумных основании связать гнусный поступок с характером одного из этих лиц скорее, чем с характером двух остальных. Г-н де Шарлюс был человек несколько эксцентричный, но по существу добрый и отзывчивый; г-н де Лом отличался некоторой сухостью, но это была натура здоровая и прямая. Что касается г-на д’Орсан, то Сван никогда не встречал человека, который, даже в самых печальных обстоятельствах, приходил бы к нему с более сердечным словом, действовал бы более деликатно и более умело. Эта черта была у него выражена настолько ярко, что Сван не способен был понять не совсем красивую роль, обыкновенно приписывавшуюся ему по отношению к одной богатой женщине; каждый раз, когда Сван думал о г-не д’Орсан, он бывал вынужден оставлять в стороне эту дурную его репутацию, как несовместимую со столь несомненными свидетельствами душевного благородства. Одно мгновение Сван почувствовал, что ум его мутится, и он стал думать о других вещах, чтобы таким образом хоть немного прояснить мысль. Затем он собрался с мужеством и вновь стал размышлять об анонимном письме. Но, не будучи в состоянии заподозрить кого-либо в частности, он вынужден был направить свои подозрения на всех. Да, конечно, г-н де Шарлюс любил его, сердце у него было доброе. Но это был неврастеник; завтра он, возможно, расплачется, узнав, что Сван болен; сегодня же, в припадке ревности, гнева, под влиянием внезапно осенившей его мысли, он вполне сознательно мог сделать ему зло. В сущности, эта порода людей самая негодная. Конечно, принц де Лом любит Свана гораздо меньше, чем г-н де Шарлюс. Но как раз поэтому он далеко не так на него обидчив; кроме того, это, несомненно, натура холодная, одинаково не способная и на низкие и на благородные поступки. Сван сокрушался, что за всю свою жизнь он умел привязаться только к подобным людям. Затем он приходил к выводу, что качеством, препятствующим людям делать зло своему ближнему, является доброта и что, в сущности, он может отвечать взаимностью только натурам, подобным его собственной, каковой была, в отношении сердечности, натура г-на де Шарлюс. Одна мысль причинить Свану такое огорчение возмутила бы его. Но когда имеешь дело с человеком недостаточно тонким, принадлежащим к другой породе, каковым был принц де Лом, то как предвидеть поступки, на которые его могут толкнуть мотивы совсем иного рода? Обладать добрым сердцем — это все, а сердце у г-на де Шарлюс было доброе. Г-н д’Орсан тоже не лишен был доброты, и его сердечные, но недостаточно близкие отношения со Сваном, созданные удовольствием, которое они, думая обо всем одинаково, получали от беседы друг с другом, носили более спокойный характер, чем экзальтированная любовь г-на де Шарлюс, способного на любую горячую выходку, как дружелюбную, так и враждебную. Если существовал на земле человек, со стороны которого Сван всегда мог рассчитывать на понимание и деликатно выраженную любовь, то таким человеком был г-н д’Орсан. Да, но его сомнительный образ жизни? Сван жалел, что никогда не придавал значения таким слухам и часто в шутку говорил, будто нигде не испытывает он с такой живостью чувств симпатии и уважения, как в обществе какого-нибудь мерзавца. "Недаром же, — думал он теперь, — люди искони судят ближнего по его поступкам. Важны одни только поступки, а вовсе не то, что мы говорим и что думаем. Пусть Шарлюс и де Лом обладают известными недостатками, все же они порядочные люди. У Орсана, может быть, нет этих недостатков, но его нельзя назвать порядочным человеком. И ему ничего не стоило лишний раз поступить непорядочно. Затем подозрения Свана направились на Реми, который, правда, мог, самое большее, внушить идею этого письма, но одно время Свану казалось, что он напал на верный след. Прежде всего, у Лоредана были причины сердиться на Одетту. Затем, как не предположить, что наши слуги, занимающие низшее положение по сравнению с нами, да еще прибавляющие к нашему состоянию и нашим недостаткам воображаемые богатства и пороки, за которые они нам завидуют и презирают нас, будут фатально приведены к поступкам, вызывающим отвращение в людях нашего круга? Подозрения его пали также на моего дедушку. Разве не получал от него Сван неизменный отказ каждый раз, когда просил его оказать какую-нибудь услугу? К тому же, с точки зрения своих буржуазных предрассудков, старик мог считать, что действует для блага Свана. Сван заподозрил еще Бергота, художника, Вердюренов, лишний раз воздав при этом хвалу мудрости светских людей, не желающих знаться с художественными кругами, где такие вещи всегда возможны и рассматриваются даже, пожалуй, как тонкие штуки; но он вспомнил также прямодушие этой богемы и сопоставил его с сомнительными маневрами, почти что мошенничеством, на которое нередко толкают аристократию недостаток денег, жажда роскоши, вкус к извращенным удовольствиям. Так или иначе, это анонимное письмо доказывало, что в числе его знакомых есть человек, способный на самый грязный поступок, но Сван не видел оснований, почему этот грязный поступок должен скрываться скорее в недоступных для посторонних глаз душевных глубинах человека нежно любящего, а не натуры холодной, — художника, а не дельца, — барина, а не слуги. Какой критерий положить в основу суждения о людях? В конце концов, он не мог поручиться ни за одного из своих знакомых: каждый из них был способен на бесчестный поступок. Что же: ему следует порвать со всеми? Мысли его затуманились; два или три раза провел он рукой полбу, протер носовым платком стекла своих очков, и, придя к выводу, что лица, посещавшие г-на де Шарлюс, принца де Лом и других, были, в конце концов, ничем не хуже его самого, он усмотрел в этом доказательство если не их неспособности к бесчестным поступкам, то, по крайней мере, того, что посещение людей, являющихся, может быть, способными на такие поступки, принадлежит к числу жизненных необходимостей, с которыми каждый должен мириться. И он продолжал пожимать руку всем своим друзьям, на которых пало его подозрение, но с некоторой сдержанностью, памятуя, что они, может быть, пытались причинить ему неприятность. Что же касается самого содержания письма, то он не придал ему ни малейшего значения, ибо ни одно из формулированных в нем обвинений против Одетты не имело и тени правдоподобия. Подобно большинству людей, Сван был ленив умом и не отличался изобретательностью. Он отлично знал, в качестве отвлеченной истины, что человеческая жизнь изобилует контрастами, но когда дело касалось какого-нибудь конкретного человека, то всю неизвестную ему часть его жизни он воображал совершенно тожественной части ему известной. Он представлял себе то, о чем ему умалчивали, на основании того, что ему сообщали. Если Одетта находилась подле него и разговор их касался чьего-либо неделикатного поступка или неделикатно выраженного чувства, то она резко осуждала их во имя тех же самых моральных принципов, которые всегда провозглашались родными Свана и которым сам он оставался верен; затем она поправляла цветы, выпивала чашку чаю, проявляла интерес к работам Свана. Вот почему Сван распространял эти привычки на всю остальную жизнь Одетты, он повторял эти жесты, когда хотел представить себе часы, в течение которых она находилась вдали от него. Если бы ему описали ее такой, как она есть, вернее, какой была с ним так долго, но в обществе другого мужчины, он испытал бы боль, ибо образ этот показался бы ему правдоподобным. Но предположить, что она ходит к сводням, предается оргиям с другими женщинами, ведет беспутную жизнь самых презренных отребьев общества, — какой бессмысленный вздор, осуществление которого, благодарение Богу, делают совершенно невозможным воображаемые хризантемы, ежедневное чаепитие, благородное негодование на порок! И лишь изредка он давал понять Одетте, что, по злобе своей, посторонние люди рассказывают ему все, что она делает; и, упомянув в разговоре какую-нибудь незначительную, но истинную подробность, случайно дошедшую до его сведения, как если бы она была лишь небольшим кусочком, невольно сорвавшимся с его языка, кусочком из числа многих других, в совокупности своей дававших связную картину жизни Одетты, которую он хранил в своем уме? — Сван внушал ей предположение, будто он осведомлен о вещах, которых на самом деле не знал, и о которых даже не подозревал, ибо если он часто заклинал Одетту не извращать фактов, то это объяснялось лишь его желанием, хотя бы даже бессознательным, добиться от Одетты всей правды о ее жизни. Несомненно, как Сван уверял Одетту, он ценил искренность, но ценил ее как сводню, могущую держать его в курсе повседневной жизни его любовницы. Таким образом, любовь его к искренности, не будучи бескорыстной, не содействовала его нравственному улучшению. Так высоко ценимая им истина была истиной, которую сообщила бы ему Одетта; но сам он, чтобы добиться от нее этой истины, не боялся прибегать к лжи, той самой лжи, которую неустанно изображал Одетте как порок, неизбежно ведущий к нравственному разложению человеческой души. В общем, он лгал не меньше Одетты, потому что, будучи несчастнее ее, он был ничуть не меньшим эгоистом. И Одетта, слушая, как Сван рассказывает ей таким образом, что она делала, смотрела на него недоверчиво и, на всякий случай, негодующе, чтобы не казаться униженной и не краснеть за свои поступки.

Однажды, находясь в периоде относительно продолжительного спокойствия, на какое он вообще был теперь способен, не испытывая приступов ревности, он согласился провести вечер в театре с принцессой де Лом. Когда он раскрыл газету, чтобы посмотреть, что будут играть, то название: «Мраморные девушки» Теодора Барьера так болезненно поразило его, что он отшатнулся и выронил из рук газету. Как бы освещенное огнями рампы и помещенное в другую обстановку, слово *мрамор*, которое он утратил способность отчетливо различать, настолько часто оно мелькало у него перед глазами в печатных текстах, вдруг снова стало видимым и тотчас напомнило ему старый рассказ Одетты о посещении ею С_а_л_о_н_а во Дворце промышленности вместе с г-жой Вердюрен, которая ей сказала: «Берегись, я найду способ растопить тебя, ты не мраморная». Одетта уверила его, что это была простая шутка, и он не придал ее рассказу никакого значения. Но он питал тогда больше доверия к Одетте, чем в настоящее время. Между тем анонимное письмо говорило как раз о любви такого рода. Не решаясь снова взглянуть в газету, он раскрыл ее, перевернул страницу, чтобы не видеть больше слов: «Мраморные девушки», и начал машинально читать известия из провинции. Разразился шторм в Ла-Манше и произвел разрушения в Дьеппе, в Кабуре, в Безвале. Вдруг он снова в ужасе отшатнулся.

Имя Безваль напомнило ему имя другой местности в той же области, Безвиль, соединенное при помощи тире еще с одним именем — Бреоте, которое он часто видел на географических картах; только впервые он обратил внимание, что это было также имя его друга, г-на де Бреоте, которого анонимное письмо упоминало в числе любовников Одетты. В конце концов, что касается г-на де Бреоте, в этом не было ничего невероятного; но положительно невозможно было заподозрить Одетту в физическом общении с г-жой Вердюрен. Из того, что Одетта иногда лгала, нельзя было заключить, что она никогда не говорила правду, и в словах, которыми она обменялась с г-жой Вердюрен и которые сама она передала Свану, он узнал те пустые, но опасные шуточки, которые часто, вследствие своей житейской неопытности и неискушенности в пороке, произносят женщины (выдавая тем самым свою невинность), менее всего способные — как, например, Одетта — воспламениться чувственным желанием к другой женщине. Между тем как, напротив, негодование, с каким она отвергла подозрения, которые сама же на мгновение невольно заронила в нем своим рассказом, как нельзя лучше гармонировало со всем, что ему было известно о вкусах и темпераменте его любовницы. Но в эту минуту, в силу одного из озарений ревности, аналогичного озарениям, открывающим поэту или ученому, обладавшим до тех пор лишь несколькими рифмами и отрывочными наблюдениями, образ или закон, которые сообщат их произведениям силу и мастерство, Сван впервые вспомнил одну фразу, сказанную ему Одеттой года два тому назад: «О, г-жа Вердюрен в настоящее время ни о чем и слышать не хочет, кроме меня! У меня любовь с ней, она целует меня! хочет, чтобы я всюду разъезжала с ней, хочет, чтобы я говорила ей *ты»*. Будучи далек тогда от предположения, будто фраза эта содержит в себе какую-либо связь, с переданными Одеттой пошлыми замечаниями, предназначенными для создания атмосферы порока, он увидел в ней лишь доказательство теплых дружеских чувств. Теперь же воспоминание об этих нежностях г-жи Вердюрен вдруг ассоциировалось у него с воспоминанием об Одеттиных разговорах дурного тона. Он не мог больше мысленно разграничить то и другое и видел их перемешанными также в действительности, причем нежности сообщали некоторую серьезность и значительность шуткам, которые, в свою очередь, лишали нежности невинного характера. Он пошел к Одетте. Сел поодаль от нее. Не решался ее поцеловать, не зная, любовь или гнев пробудит в ней, пробудит в нем самом поцелуй. Он молчал, видя, как умирает их любовь. Вдруг он принял решение.

— Одетта, душа моя, — начал он, — я знаю, что я гнусен, но мне необходимо задать тебе несколько вопросов. Помнишь, какая мысль возникла у меня однажды по поводу твоих отношений с г-жой Вердюрен? Скажи мне, правда это? С ней или с какой-нибудь другой женщиной?

Она покачала головой, поджав губы, — движение, которое мы обыкновенно делаем, когда, в ответ на чье-нибудь приглашение: «Вы пойдете посмотреть на кавалькаду? Вы будете на обозрении?» — мы хотим сказать, что не пойдем, что нам будет скучно. Но это покачивание головой, выражающее, таким образом, отказ от нашего участия в каком-нибудь еще не наступившем событии, вносит, по этой самой причине, некоторую неуверенность в отрицание нашего участия в событии прошедшем. Больше того: оно вызывает представление *лишь* о соображениях приличия, а вовсе не о принципаальном порицании, не о нравственной недопустимости. Когда Сван увидел этот знак Одетты, отрицавший его предположение, он понял, что в нем нет ничего невероятного.

— Я ведь говорила тебе; ты отлично знаешь, — прибавила она с видом раздраженным и обиженным,

— Да, я знаю; но вполне ли ты в этом уверена? Не говори мне: «Ты отлично знаешь», а скажи: «Я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной».

Она повторила, как заученный урок, тоном ироническим и как бы желая, чтобы ее оставили в покое:

— Я никогда не делала подобных вещей ни с одной женщиной.

— Можешь ты поклясться мне на твоем образке Лагетской Богоматери?

Сван знал, что Одетта никогда не принесет ложной клятвы на этом образке.

— Боже, как ты мучишь меня, — воскликнула она, делая движение всем телом, точно желая освободиться от петли этого вопроса. — Ты с неба свалился? Что с тобой сегодня? Ты как будто поставил себе целью, чтобы я возненавидела тебя, прокляла тебя. Я хотела было восстановить дружеские отношения между нами, быть милой с тобой, как в прежние хорошие времена, и вот твоя благодарность!

Однако, не выпуская ее, как хирург, который ожидает конца спазмы, заставившей его прервать на время операцию, но ни в коем случае не отказаться от нее:

— Ты глубоко заблуждаешься, Одетта, предполагая, будто я хоть капельку сержусь на тебя, — сказал он мягко убедительным и фальшивым тоном. — Я некогда не говорю тебе о том, чего я не знаю, и я знаю всегда гораздо больше, чем говорю. Но ты одна способна смягчить, если сознаешься, вещи, наполняющие меня ненавистью к тебе, если я о них узнаю только от других. Причиной моего гнева на тебя является вовсе не твое поведение — я все прощаю тебе, потому что люблю тебя, — но твоя лживость, твоя бессмысленная лживость, принуждающая тебя упорствовать в отрицании вещей, мне известных. Но каким образом хочешь ты, чтобы я продолжал тебя любить, когда я слышу, как ты утверждаешь, клянешься мне в вещи, которая является заведомой ложью? Одетта, не продолжай этого мгновения, являющегося пыткой для нас обоих. Если ты хочешь покончить со всем этим сразу, ты навсегда будешь избавлена от неприятного тебе допроса. Поклянись мне на твоем образке, скажи да или нет, делала ты когда-нибудь эти вещи.

— Но откуда же я знаю? — вскричала она в бешенстве. — Может быть, очень давно, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, может быть, два или три раза.

Сван предусмотрел все возможности. Действительность есть, следовательно, нечто, не имеющее никакого отношения к возможностям, как нанесенный нам удар кинжалом не имеет никакого отношения к медленному движению облаков над нашей головой, ибо эти слова «два или три раза» как бы вонзились живой раной в его сердце. В самом деле, какая странная вещь: эти слова «два или три раза», простые слова, слова, прозвучавшие в пространстве на некотором расстоянии от Свана, оказались способными до такой степени поразить его сердце, как если бы они действительно коснулись его, могли сделать Свана больным, словно принятый яд. Невольно вспомнились Свану слова, услышанные им у г-жи Сент-Эверт: «Я никогда не видела ничего более потрясающего, кроме вращающихся столиков». Испытываемое им страдание не имело никакого сходства с тем, что рисовало ему воображение. Не только потому, что и в часы самого крайнего недоверия к ней он все же редко воображал такое глубокое проникновение в нее зла, но еще и потому, что, даже когда он воображал себе это проникновение, оно оставалось неопределенным, расплывчатым, не соединялось с тем беспредельным ужасом, который излучался из слов «может быть, два или три раза», лишено было своеобразной жестокости, настолько же отличавшейся от всего, что было ему известно, как болезнь, которой мы бываем поражены в первый раз. И все же эта Одетта, являвшаяся источником всего этого зла, была ему не менее дорога, напротив, стала более драгоценной, как если бы, по мере роста его страдания, росло также благотворное действие успокоительного противоядия, которым обладала одна только эта женщина. Он хотел окружить ее большими заботами, как мы делаем это по отношению к болезни, когда вдруг обнаруживаем ее серьезность. Он хотел, чтобы ужасная вещь, которую, по ее словам, она сделала «два или три раза», не могла больше повториться. Для этого ему необходимо было неусыпно наблюдать за Одеттой. Часто можно слышать, что, указывая своему другу недостатки его любовницы, мы лишь укрепляем его привязанность к ней, потому что он не придает никакой веры нашим словам; но если он поверит нам, привязанность его возрастет в несравненно большей степени. Но, спрашивал себя Сван, как уберечь ее от зла? Он мог, пожалуй, оградить ее от общения с определенной женщиной, но ведь женщин много, и Сван понял, какое безумие нашло на него, когда, не застав Одетты в памятный вечер у Вердюренов, он воспламенился никогда не осуществимым желанием обладать другим существом. К счастью для Свана, под массой новых страданий, нахлынувших в его душу как орды варваров, в существе его залегала некоторая естественная основа, более древняя, более мягкая, совершавшая молчаливую работу, вроде той, что совершают клеточки раненого органа, немедленно приступающие к восстановлению поврежденных тканей, или мышцы парализованного члена, стремящиеся по-прежнему производить присущие им движения. Эти более древние, более автохтонные обитатели его души на мгновение поглотили все силы Свана на ту подсознательную восстановительную работу, которая сообщает иллюзию покоя выздоравливающему или подвергшемуся операции больному. На этот раз ослабление напряжения, обусловленное истощением, имело место, вопреки обыкновению, не столько в мозгу Свана, сколько в его сердце. Но все, однажды испытанное нами в жизни, стремится повториться вновь, и, подобно издыхающему животному, вздрагивающему в конвульсии, когда агония, казалось, уже окончена, сердце Свана, пощаженное на одно только мгновение, вновь было поражено свежей раной, нанесенной ему стихийно возвратившимся прежним страданием. Он вспомнил те залитые лунным светом вечера, когда, растянувшись в виктории, отвозившей его на улицу Ла-Перуз, он сладострастно взращивал в себе эмоции влюбленного, не ведая, какой отравленный плод они неизбежно должны будут принести. Но все эти мысли длились у него в течение одной только секунды, времени, какое ему нужно было для того, чтобы поднести руку к сердцу, перевести дух и изобразить на лице улыбку, долженствовавшую замаскировать его муку. Уже он вновь начал задавать вопросы. Ибо его ревность, принявшая на себя тягостную обязанность, от которой отказался бы злейший его враг, — поразить его сокрушительным ударом, насильственно познакомить его с самым жестоким страданием, какое он когда-либо испытывал, — его ревность не считала, что чаша страданий выпита им до дна, и пыталась нанести ему еще более глубокую рану. Подобно злому демону, ревность вдохновляла Свана и толкала его к гибели. Если пытка его не стала с самого начала безысходной, то это случилось не по его воле, а лишь благодаря Одетте.

— Дорогуша, — снова обратился он к ней, — теперь с этим покончено навсегда; скажи, это было с лицом, которое я знаю?

— Нет, клянусь тебе; к тому же, мне кажется, я преувеличила, у меня никогда дело так далеко не заходило.

Он улыбнулся и продолжал:

— Как тебе угодно. Все это пустяки, но жаль, что ты не можешь назвать мне имени. Если бы я мог наглядно представить себе лицо, это избавило бы меня от вечных мыслей о нем. Я говорю тебе в твоих интересах, чтобы не приставать к тебе больше с расспросами. Наглядное представление вещей действует так успокоительно. Ужаснее всего, когда мы теряемся в неопределенных догадках. Но ты была уже так мила со мной; я не хочу утомлять тебя. От всего сердца благодарю тебя за сделанное тобой для меня добро. С этим покончено. Одно только слово: как давно это было?

— О, Шарль, ты совсем замучил меня. Все это было давным-давно. Я никогда потом об этом не думала. Ты положительно хочешь снова отдать меня во власть этих мыслей. Ты преуспеешь, — подпустила она ему шпильку, не сознавая неуместности этих слов.

— Я хотел знать только, было ли это до нашего знакомства или после. Ведь это такой естественный вопрос. Это происходило здесь, в этой комнате? Не можешь ли ты точно указать мне какой-нибудь вечер, так, чтобы я вспомнил, что я делал в то время? Ведь ты же отлично понимаешь всю невероятность предположения, будто ты позабыла, с кем это у тебя случилось, Одетта, любовь моя.

— Право же, я не знаю; кажется, что в Булонском лесу однажды вечером, когда ты приехал за нами на Остров.. Да, ты обедал в тот день у принцессы де Лом, — сказала она, обрадовавшись, что может сообщить точную подробность, свидетельствовавшую о ее правдивости. — За соседним столиком сидела женщина, с которой я уже очень давно не виделась. Она обратилась ко мне: «Пойдемте за скалу, полюбуемся озером, освещенным луной». Но я громко зевнула и ответила: «Нет, я устала, мне и здесь хорошо». Она стала уверять, что никогда озеро не было так красиво освещено луной. Я сказала ей: «Знаем мы эти сказки!» Я отлично видела, чего ей хотелось.

Одетта рассказала этот эпизод почти со смехом, оттого ли, что он казался ей как нельзя более естественным, оттого ли, что она думала уменьшить таким образом его значение, или же, наконец, желая придать себе таким образом больше смелости. Но, взглянув на лицо Свана, она изменила тон:

— Жестокий! Тебе доставляет удовольствие мучить меня, принуждать меня лгать только для того, чтобы ты оставил меня в покое.

Этот второй удар, нанесенный Свану, был еще более тяжким, чем первый. Никогда не предполагал он, что это случилось так недавно, почти на его глазах, лишь по наивности его ничего не заметивших, случилось не в неведомом ему прошлом, но в один из вечеров, который он отлично помнил, который он провел с Одеттой, который, казалось ему, он знал во всех подробностях и который приобретал теперь, ретроспективно, какой-то издевательский и жестокий характер; посреди него вдруг разверзалась зияющая пропасть — это мгновение на Острове в Булонском лесу. Не отличаясь большим умом, Одетта пленяла естественностью. Она рассказала и промимировала сцену с такой непосредственностью, что Сван, у которого захватило дух, ясно видел все: зевоту Одетты, место за скалой… Он слышал ее — веселый, увы! — ответ: «Знаем мы эти сказки!» Он чувствовал, что она больше ничего не скажет ему сегодня, что в настоящий момент ему нечего рассчитывать на дальнейшие разоблачения. Помолчав, он сказал ей:

— Бедняжка, извини меня — я сознаю, что делаю тебе больно; но теперь кончено. Больше я никогда не буду думать об этом.

Но она видела, что глаза его по-прежнему сосредоточены на вещах, которых он не знал, и на прошлом их любви, однообразном и сладостном в его памяти, поскольку оно было расплывчатым, том прошлом, которое разрывала теперь, как ножевая рана, минута на Острове в Лесу, при лунном свете, в то время как он обедал у принцессы де Лом. Но в нем так прочно укоренилась привычка находить жизнь интересной — восхищаться любопытными открытиями, которые можно было производить в ней, — что, даже испытывая страдание, которое, казалось ему, он не способен будет вынести долгое время, Сван говорил себе: «Жизнь поистине изумительна и таит в себе столько неожиданностей; по-видимому, порок вещь гораздо более распространенная, чем мы думаем. Вот женщина, к которой я питал столько доверия, которая кажется такой простой, такой порядочной; если она и не отличалась строгими нравами, то все же производила впечатление нормальной и здоровой в своих вкусах и наклонностях. Получив чудовищный извет, я подвергаю ее допросу, и то немногое, в чем она сознается, разоблачает гораздо больше, чем я мог когда-либо подозревать». Но он не в силах был ограничиться этими бесстрастными замечаниями. Он пытался точно определить ценность ее рассказа, чтобы выяснить, часто ли она делала подобные вещи и способна ли делать их вновь. Он повторял сказанные Одеттой слова: «Я отлично видела, чего ей хотелось», «Два или три раза», «Знаем мы эти сказки!» — но они всплывали в памяти Свана не безоружные: каждое из них держало нож и наносило им новый удар. Подобно больному, который не в силах удержаться от совершения каждую минуту движения, причиняющего ему боль, он то и дело повторял себе слова: «Мне и здесь хорошо», «Знаем мы эти сказки!» — но боль была так мучительна, что ему пришлось остановиться. Он поражался, что действия, к которым до сих пор он относился всегда легко, с улыбкой, теперь стали для него серьезными и тяжелыми, как болезнь, могущая иметь роковой исход. Он знал многих женщин, которых мог бы попросить следить за Одеттой. Но можно ли было рассчитывать, что они станут на его новую точку зрения и откажутся от точки зрения, которая так долго была ему свойственна, которая всегда руководила им в его галантных похождениях? Разве не скажут они ему со смехом: «Гадкий ревнивец, во что бы то ни стало желающий лишить других наслаждения». Какая пропасть, внезапно разверзшаяся, стремительно увлекла его (того самого Свана, который в прежнее время получал от своей любви к Одетте лишь самые утонченные наслаждения) в этот новый круг ада, откуда он не видел никакого выхода? Бедная Одетта! Он не проклинал ее. Вина ее была невелика. Разве не рассказывали ему, что еще почти ребенком она была продана в Ницце собственной матерью одному богатому англичанину. Но какая мучительная истина открывалась теперь для него в этих строках «Дневника поэта» Альфреда де Виньи, которые раньше он читал совершенно равнодушно: «Мужчина, воспламеняющийся страстью к женщине, должен спросить себя: „Кем она окружена? Какова была ее прошлая жизнь?“ Все его будущее счастье зависит от ответа на эти вопросы». Сван поражался, что простые фразы, мысленно произнесенные им, вроде: «Знаем мы эти сказки!» — или: «Я отлично видела, чего ей хотелось», — могли причинять ему такую боль. Но он понимал, что то, что казалось ему простыми фразами, было на самом деле кусками остова, на котором держалось и каждую минуту могло стать для него ощутимым мучение, испытанное им во время рассказа Одетты. Ибо он вновь испытывал теперь это же самое мучение. Что толку было в том, что теперь он знал, — и даже, с течением времени, понемногу забывал, простил, — каждый раз, когда он повторял себе ее слова, прежнее мучение воссоздавало его таким, как он был до признания Одетты: ничего не знающим, доверчивым; безжалостная ревность вновь ставила его, чтобы больнее поразить признанием Одетты, в положение человека, еще не знающего правды; прошло несколько месяцев, а этот старый рассказ по-прежнему потрясал его, как неожиданное открытие. Он поражался страшной воссозидающей силе своей памяти. Лишь ослабление этой производительницы, плодородие которой уменьшается с возрастом, способно было вселить в него надежду на облегчение его страданий. Но когда способность причинять ему страдание, присущая словам Одетты, как бы несколько истощалась, вдруг одно из ее слов, на которых внимание Свана до сих пор меньше останавливалось, слово почти новое, приходило на смену тех, что он часто повторял, и поражало его со свежей силой. Воспоминание о вечере, когда он обедал у принцессы де Лом, было мучительно, но оно являлось не более чем центром его мучений. Мучения эти смутно излучались кругом на все смежные дни. И какого бы пункта он ни касался в своих воспоминаниях о лете, когда Вердюрены так часто обедали на Острове в Булонском лесу, все они причиняли ему боль. Боль столь нестерпимую, что мало-помалу любопытство, возбуждавшееся в нем ревностью, было нейтрализовано страхом новых мучений, которым он подверг бы себя, удовлетворяя это любопытство. Он отдавал себе отчет, что весь период жизни Одетты до ее знакомства с ним, период, который он никогда не пытался наглядно представить себе, являлся не абстрактным протяжением, неопределенно рисовавшимся ему, но состоял из ряда определенных лет, наполненных конкретными событиями. Однако он не собирал о них более обстоятельных сведений, боясь, как бы это бесцветное, текучее и выносимое прошлое не приобрело осязательного поганого тела, индивидуального дьявольского лица. Как и раньше, он не делал попыток узнать его, но теперь уже не вследствие умственной лени, а из страха причинить себе страдание. Он надеялся, что наступит наконец день, когда он в силах будет слышать слова «Остров в Булонском лесу», «принцесса де Лом», не ощущая больше терзаний, и находил неблагоразумным требовать от Одетты произнесения новых слов, названий мест и упоминания различных событий, которые вновь пробудили бы в нем в другой форме едва только утихнувшую боль.

Но часто сама Одетта, помимо своей воли, не отдавая себе отчета в том, что она делает, разоблачала ему вещи, которых он не знал, которые страшился теперь узнать; в самом деле, Одетта не имела никакого представления о размерах пропасти, вырытой пороком между ее реальной жизнью и жизнью относительно невинной, созданной воображением Свана, которую, как и теперь еще ему часто казалось, ведет его любовница: порочное существо, неизменно надевающее на себя личину добродетели в присутствии людей, от которых ему хочется скрыть свои пороки, не располагает мерилом, с помощью которого оно могло бы отдать себе отчет, насколько эти пороки (чей непрерывный рост ускользает от его сознания) мало-помалу отвлекают его от нормального образа жизни. Сожительствуя в уме Одетты с представлениями поступков, которые она утаивала от Свана, другие ее поступки мало-помалу окрашивались в цвет поступков утаиваемых, заражались ими, так что она не способна была подметить в них ничего странного, и они не звучали фальшиво в той специфической обстановке, куда она их поместила; но когда она рассказывала о них Свану, тот ужасался; так явственно выдавали они атмосферу, которой были окружены. Однажды он попробовал, в неоскорбительной для нее форме, спросить Одетту, не имела ли она когда-нибудь дела со сводням��. По правде говоря, он был убежден, что Одетта была в этом неповинна; анонимное письмо поселило некоторое подозрение в его уме, но поселило чисто механически; подозрение это не встретило никакого доверия, но все же запало в него, и Сван, желая освободиться от чисто физического беспокойства, вызванного присутствием этого постороннего тела, попросил Одетту вырвать его с корнем. «Нет, дорогой, нет! Нельзя сказать, чтобы они не старались всячески завлечь меня, — продолжала она с улыбкой удовлетворенного тщеславия, не замечая совершенной неуместности этой улыбки в присутствии Свана. — Не далее как вчера одна из них целых два часа поджидала меня, предлагая, мне какие угодно деньги. По-видимому, какой-то посол сказал ей: „Я застрелюсь, если вы не приведете ее ко мне“. Ей сказали, что я уехала, но она все сидела и сидела, так что в заключение мне самой пришлось выйти и сказать ей, чтобы она убиралась. Хотелось бы мне, чтобы ты видел, какой прием оказала я ей; моя горничная, слышавшая все из соседней комнаты, передавала мне, что я заорала на весь дом: „Говорю вам, что я не желаю! Удивительная мысль пришла вам в голову, нечего сказать. Мне кажется, что я вольна делать, что мне нравится! Добро бы еще, я нуждалась в деньгах, тогда это было бы, пожалуй, понятно…“ Консьерж получил приказание не пускать ее больше; он скажет, что я уехала за город. Ах, как хотелось бы мне, чтобы ты был спрятан где-нибудь поблизости! Я уверена, что ты остался бы доволен, голубь мой. Ты видишь, что она все же хорошая, твоя маленькая Одетта, несмотря на все гадости, которые болтают о ней».

Таким образом, даже когда она сознавалась — как в данном случае — в поступках, которые, по ее мнению, стали ему известными, эти признания скорее служили для Свана отправным пунктом для новых подозрений, чем клали конец прежним сомнениям. Ибо признания Одетты никогда точно не соответствовали его подозрениям. Напрасно Одетта тщательно удаляла из своих рассказов все существенное — в какой-нибудь побочной детали всегда оставалось нечто такое, о чем Сван и не помышлял, что подавляло его неожиданностью и побуждало изменить представление о характере своей ревности. И он больше не в силах был забыть эти признания. Душа его носила их с собой, отбрасывала прочь, затем снова баюкала, как река трупы утопленников. И была насквозь отравлена ими.

Однажды Одетта рассказала ему о визите, сделанном ей Форшвилем в день праздника Париж-Мурсия. «Как, ты уже тогда была знакома с ним? Ах, да, конечно», — поправился он, чтобы не производить впечатления человека, ничего не знающего. И вдруг он вздрогнул при мысли, что в день этого праздника Париж-Мурсия, когда он получил от нее письмо, так бережно им хранимое, Одетта, может быть, завтракала с Форшвилем в «Золотом доме». Она поклялась ему, что нет. «Все же „Золотой дом“ напоминает мне об одном твоем уверении, которое, я знаю, было неправдой», — сказал он с целью напугать ее. «Да, я не была там в тот вечер, когда ты искал меня у Прево, а сказала тебе, что только что вышла оттуда», — ответила она (предположив, по выражению его лица, будто ему это известно) с решимостью, объяснявшейся не столько цинизмом, сколько робостью, боязнью рассердить Свана, которую из самолюбия она хотела скрыть, и, наконец, желанием показать, что она способна быть откровенной. Вот почему слова Одетты хлестнули его с меткостью и силой, присущими ударам палача, хотя они и не были жестокими, ибо Одетта произнесла их, не сознавая, какую боль причиняет Свану; она даже рассмеялась, правда, главным образом с той целью, чтобы не показаться униженной или смущенной. — «Да, это верно, я не была в „Золотом доме“; я шла тогда от Форшвиля. Я действительно была у Прево — я правду сказала тебе, — он встретил меня там и пригласил зайти взглянуть на его гравюры. Но в это время к нему кто-то пришел. Я сказала тебе, что иду из „Золотого дома“, так как боялась, что ты на меня рассердишься. Ведь, правда, это было мило с моей стороны? Предположим, что я была не права, но я, по крайней мере, откровенно признаюсь тебе в этом сейчас. Зачем бы мне понадобилось скрывать от тебя, что я завтракала с ним в день праздника Париж-Мурсия, если бы это была правда? Тем более, что в то время мы еще не были хорошо знакомы друг с другом, не правда ли, дорогой мой?» В ответ он только улыбнулся малодушной улыбкой человека, вдруг обессилевшего под действием этих уничтожающих слов. Значит, даже в месяцы, о которых он никогда не решался вспоминать, ибо они были преисполнены счастья, в те месяцы, когда она любила его, она уже лгала ему! И кроме этого момента (первого вечера, когда ими «свершена была катлея»), когда она сказала ему, что идет из «Золотого дома», сколько, должно быть, было других моментов, так же точно таивших в себе ложь, которой Сван совсем не подозревал. Он вспомнил, как она сказала однажды: «Мне стоит только сказать г-же Вердюрен, что было не готово мое платье или что мой кеб запоздал. Всегда есть способ вывернуться». Для него тоже, вероятно, сколько раз, когда она вскользь произносила эти слова, объяснявшие опоздание, оправдывавшие изменение часа свидания, они должны были маскировать, хотя он тогда вовсе и не подозревал об этом, какую-нибудь ее интрижку с другим, — другим, которому она говорила: «Мне стоит только сказать Свану, что было не готово мое платье, что мой кеб запоздал. Всегда есть способ вывернуться». И, обращаясь к самым сладким своим воспоминаниям, к самым безыскусственным словам, сказанным ему Одеттой в то золотое время, которым он верил, как словам Евангелия, к самым прозаическим ее действиям, о которых она рассказывала ему, к самым привычным для него местам: квартире ее портнихи, авеню Булонского леса, Ипподрому, Сван чувствовал возможность скрытого (замаскированного тем избытком времени, который, даже в наитщательнейше распределенных днях, оставляет некоторые свободные промежутки, некоторое незаполненное пространство, и может служить прибежищем для ряда утаиваемых нами поступков) проникновения туда лжи, пятнавшей все, что оставалось у него самого дорогого, его лучшие вечера, самое улицу Ла-Перуз, которую Одетта постоянно покидала не в те часы, что она называла ему; — повсюду распространявшей в известной степени тот мрачный ужас, что он ощутил, услышав ее признание относительно «Золотого дома», и, подобно нечистым тварям в «Разрушении Ниневии», разрушавшей, камень за камнем, все его прошлое… Если теперь он отворачивался каждый раз, когда в памяти его всплывало жестокое слово «Золотой дом», то это объяснялось уже не тем, что оно напоминало ему, как это случилось совсем еще недавно, на вечере у г-жи де Сент-Эверт, давно утраченное счастье, но тем, что с ним связывалось представление горя, которое он сейчас только осознал. Потом слова «Золотой дом» постигла та же участь, какая постигла слова «Остров в Булонском лесу»: они мало-помалу перестали причинять страдание Свану. Ибо мы ошибочно считаем нашу любовь и нашу ревность едиными, непрерывными, неделимыми чувствами. Они состоят из бесчисленных, сменяющих друг друга и разнородных чувств, каждое из которых мимолетно, но общая совокупность которых, благодаря непрерывному их чередованию, создает впечатление сплошности, иллюзию единства. Жизнь любви Свана, постоянство его ревности складывались из смерти, из непостоянства, из бесчисленных желаний, бесчисленных сомнений, предметом которых неизменно оставалась Одетта. Если бы он был надолго разлучен с ней, то умиравшие чувства не замещались бы в нем новыми. Но присутствие Одетты продолжало попеременно засевать сердце Свана то нежностью, то подозрениями.

В иные вечера она вдруг становилась благосклонна к нему, бесцеремонно заявляя при этом, что он должен сейчас же воспользоваться ее благосклонностью, так как возможно, что она не повторится целые годы; в таких случаях Свану приходилось немедленно отправляться к ней «свершать катлею», и это желание, которым она будто бы воспламенялась к нему, было так внезапно, так необъяснимо, так настоятельно, ласки, которые она расточала ему вслед за тем, были так демонстративны и так необычны, что эта грубая и неправдоподобная нежность причиняла Свану такую же боль, как какая-нибудь ее ложь или злобная выходка. Однажды вечером он пришел таким образом к ней, повинуясь её приказанию; когда она беспорядочно перемешивала поцелуи и страстные восклицания, составлявшие такой резкий контраст с ее обычной холодностью, Свану показалось вдруг, будто раздался шум: он встал, осмотрел все кругом, никого не нашел, но не имел мужества снова занять место подле нее; тогда, в припадке бешенства, Одетта разбила вазу и сказала Свану: «Никогда с тобой каши не сваришь!» Он так и остался в неуверенности, не спрятала ли она в комнате человека, в котором хотела вызвать муки ревности или распалить чувственность.

Иногда он заходил в дома свиданий в надежде узнать что-нибудь о ней, не решаясь, однако, назвать ее по имени. «У меня есть крошка, которая, наверное, вам понравится», — говорила хозяйка. И он проводил целый час в нудной беседе с какой-нибудь бедной девушкой, изумленной тем, что он не предпринимает ничего больше. Одна совсем молоденькая и хорошенькая сказала ему однажды: «Больше всего на свете мне бы хотелось найти друга, тогда он мог бы быть спокоен: я ни к кому бы больше не пошла». — «Так, по-твоему, возможно, чтобы женщина была тронута любовью к ней и никогда бы не изменяла своему любовнику?» — с напряженным любопытством спросил Сван. «Разумеется! Все зависит от характера!» Сван не мог удержаться от того, чтобы не говорить с этими девицами тем же тоном, какой понравился бы принцессе де Лом. Той, что искала друга, он сказал, улыбаясь: «Ты очень мила, у тебя голубые глаза совсем такого же цвета, как твой пояс». — «У вас тоже голубые манжеты». — «Какой милый разговор мы ведем, как он подходит к этому заведению! Тебе не скучно со мной, может быть, ты занята?» — «Нет, благодарю вас, я совсем свободна. Если бы мне было скучно с вами, я бы вам сказала. Напротив, мне очень нравится то, что вы говорите». — «Я очень польщен… Не правда ли, мы очень мило беседуем?» — обратился он к хозяйке, вошедшей к ним в комнату. «Ну да! Это как раз то, что я говорила себе: как они скромно ведут себя! Очень, очень мило! Ко мне приходят теперь поболтать. Намедни принц сказал, что здесь гораздо уютнее, чем с женой. По-видимому, теперь все светские женщины в этом роде; прямо скандал! Но я покидаю вас, простите мне мою бесцеремонность». И она оставила Свана с девушкой, у которой были голубые глаза. Но вскоре он сам поднялся и простился с ней. Она его не интересовала, потому что не была знакома с Одеттой.

Так как художник был болен, то доктор Котар порекомендовал ему морское путешествие; несколько «верных» выразили желание отправиться вместе с ним; Вердюренам показалась невыносимой перспектива остаться в одиночестве; они наняли яхту, затем приобрели ее, — таким образом, Одетта то и дело совершала прогулки по морю. Каждый раз, как она уезжала на сравнительно продолжительное время, Сван чувствовал, что начинает отрываться от нее, но это духовное расстояние находилось в строгом соответствии с расстоянием материальным: как только Сван узнавал, что Одетта возвратилась, он не мог удержаться от посещения ее. Однажды, когда они отправились, как думал каждый из участников поездки, всего только на месяц, — оттого ли, что на пути им встретилось много соблазнов, оттого ли, что г-н Вердюрен заранее ловко устроил все, чтобы доставить удовольствие жене, и стал раскрывать свои планы «верным» лишь понемногу, — во всяком случае, из Алжира они поехали в Тунис, затем в Италию, в Грецию, в Константинополь, в Малую Азию. Путешествие затянулось на целый год. Сван чувствовал себя совершенно спокойно и был почти счастлив. Хотя г-н Вердюрен всячески старался убедить пианиста и доктора Котара в том, что тетка первого и пациенты второго вовсе в них не нуждаются и что, во всяком случае, неблагоразумно заставлять г-жу Котар возвращаться в Париж, который, по словам г-жи Вердюрен, охвачен революцией, — ему все же пришлось отпустить их в Константинополе на свободу. К ним присоединился также художник. Однажды, вскоре по возвращении этих четырех путешественников, Сван, увидя омнибус с надписью «Люксембург», куда ему нужно было съездить, вскочил в него и оказался лицом к лицу с г-жой Котар, которая делала визиты к лицам, принимавшим в тот день, в полном параде, с пером на шляпе, в шелковом платье, с муфтой, зонтиком от солнца и от дождя, с сумочкой, наполненной визитными карточками, и в белых вычищенных перчатках. Украшенная этими знаками отличия, она, в сухую погоду, ходила пешком из одного дома в другой, если дома эти были расположены по соседству, но, отправляясь затем в другой квартал, пользовалась омнибусом с пересадочными билетами. В первые мгновения, перед тем как врожденная любезность женщины пробилась наружу сквозь чопорность жены почтенного врача, не будучи, к тому же, уверена, удобно ли ей заговорить со Сваном о Вердюренах, она совершенно непринужденно произнесла своим тягучим, нескладным, но не лишенным приятности голосом, по временам совершенно заглушавшимся громыханием омнибуса, отрывки речей из тех, что слышала и повторяла в двадцати пяти домах, которые успела сегодня обойти:

— Мне излишне обращаться с этим вопросом к вам, человеку, везде бывающему: видели ли вы у Мирлитонов портрет Машара, смотреть который стекается весь Париж? Что вы скажете о нем? К какому лагерю принадлежите вы: к тем, что одобряют, или к тем, что бранят? Во всех салонах только и разговоров, что о портрете Машара; не высказать своего мнения об этом портрете значит прослыть человеком не элегантным, невеждой, отсталым.

Когда Сван ответил, что не видел портрета, г-жа Котар испугалась, что наступила ему на больное место, принудив его к этому признанию:

— Прекрасно, прекрасно! Вы, по крайней мере, имеете мужество быть откровенным. Вы не считаете себя опозоренным тем, что не видели портрета Машара. Я нахожу, что это очень мило с вашей стороны. Сама я, однако, видела; мнения разделились, некоторые находят, что чересчур прилизано, похоже на взбитые сливки; но, по-моему, идеально. Понятное дело, она не похожа на синих и желтых женщин нашего друга Биша. Но я должна откровенно признаться вам — вы сочтете меня несколько старомодной, но я говорю то, что думаю, — я его не понимаю. Боже мой, я признаю все достоинства портрета моего мужа; к тому же в нем меньше вывертов, чем в других работах Биша; но зачем ему понадобилось украшать доктора синими усами? То ли дело Машар! Знаете, как раз муж моей приятельницы, к которой я сейчас еду (этому обстоятельству я обязана большим удовольствием находиться в вашем обществе), обещал ей, если он будет избран в академики (это один из коллег доктора), заказать ее портрет Машару. Ей будет чем любоваться! Другая моя приятельница уверяет, что она предпочитает Лелуара. Но в этих делах я полный профан и допускаю, что у Лелуара еще больше знаний, чем у Машара. Но я нахожу, что прежде всего мы вправе требовать от художника, особенно когда портрет стоит десять тысяч франков, чтобы было сходство, и притом приятное сходство.

Исчерпав эту тему, внушенную ей высотой пера на шляпе, монограммой на сумке с визитными карточками, маленьким номером, написанным чернилами на изнанке ее перчаток чистильщиком, и неуверенностью, удобно ли заговорить со Сваном о Вердюренах, г-жа Котар, видя, что до угла улицы Бонапарт, где кондуктор должен был остановить омнибус, еще далеко, вняла голосу сердца, советовавшему ей держать другие речи.

— У вас, должно быть, звенело в ушах, мосье, — сказала она ему, — во время путешествия, которое мы совершили с г-жой Вердюрен. Только о вас и была речь.

Сван был очень изумлен, так как думал, что его имя никогда не произносится теперь в присутствии Вердюренов.

— Ведь вы знаете, — продолжала г-жа Котар, — с нами была г-жа де Креси, так что это вполне понятно. Где бы ни была Одетта, она не может не заговорить о вас. И вы отлично знаете, что она рассказывает о вас совсем не плохие вещи. Как? Вы в этом сомневаетесь? — сказала она, увидя скептический жест Свана.

И, увлеченная искренностью своего убеждения, она продолжала, не вкладывая никакого дурного значения в слово, которое употребила только в том смысле, в каком мы употребляем его, когда говорим о любви, соединяющей двух друзей:

— Но ведь она о_б_о_ж_а_е_т вас! Ах, я бы никому не рекомендовала говорить дурно о вас в ее присутствии! Смельчак тотчас же был бы осажен! По любому поводу, например когда мы рассматривали какую-нибудь картину, она говорила: «Ах, если бы он был здесь, он мог бы с уверенностью сказать нам, подлинная она или нет. Никто не сравнится с ним в этом отношении». И каждую минуту она спрашивала: «Что бы он мог сейчас делать? Как бы мне хотелось, чтобы он сидел за своей работой! Ужасно жаль, такой одаренный парень и так ленив. — (Вы меня извините, не правда ли?) — Я ясно вижу его сейчас: он думает о нас, он спрашивает, где мы». Она сказала даже одно словечко, которое мне очень понравилось. Г-н Вердюрен спросил ее: «Каким, однако, образом можете вы видеть то, что он сейчас делает: ведь тысячи километров отделяют нас от него?» Тогда Одетта ответила: «Нет ничего невозможного для глаза искреннего друга». Нет, уверяю вас, я говорю все это вовсе не с тем, чтобы польстить вам; в лице Одетты вы имеете верного друга, какого не легко сыскать. Могу сказать вам, кроме того, если это вам неизвестно, что вы ее единственный друг. Сама г-жа Вердюрен в последний день, что мы проводили вместе, говорила мне (вы знаете, в такие минуты разговор льется как-то непринужденнее): «Я не говорю, что Одетта не любит нас, но все, что мы говорим ей, пустяки для нее по сравнению с тем, что сказал бы ей г-н Сван». Ах, Боже мой, кондуктор уже останавливает омнибус для меня, я так заболталась с вами, что чуть было не проехала улицы Бонапарт… Будьте так добры, скажите мне, ровно стоит мое перо?

И г-жа Котар вынула из муфты и протянула Свану руку в белой перчатке, уронив пересадочный билет и наполнив омнибус атмосферой «элегантной» жизни, смешанной с запахом свежевычищенной кожи. И Сван почувствовал прилив нежности к ней, а также к г-же Вердюрен (и даже к Одетте, ибо чувство, которое он испытывал к своей любовнице, будучи лишено мучительных оттенков, едва ли могло быть названо теперь любовью), в то время как умиленными глазами он наблюдал с площадки омнибуса, как г-жа Котар энергично зашагала по улице Бонапарт, с торчащим на шляпе пером, одной рукой подобрав юбку, а в другой держа зонтик и сумку с визитными карточками так, чтобы видна была ее монограмма, и предоставив муфте свободно болтаться у пояса.

Оживив болезненные чувства, которые Сван питал к Одетте, г-жа Котар оказалась лучшим врачом в этом случае, чем ее муж, ибо привила ему наряду с ними другие, нормальные чувства, такие, как благодарность, дружба, — чувства, которые должны были сообщить Одетте в сознании Свана большую человечность (сделать ее более похожей на других женщин, потому что и другие женщины тоже могли внушить ему эти чувства), должны были ускорить окончательное ее превращение в ту любимую спокойной любовью Одетту, которая увела его однажды к себе с вечеринки у художника и угощала его и Форшвиля оранжадом, — ту Одетту, подле которой, как Сван почувствовал тогда, он мог бы жить счастливо.

Во время *о*но, с ужасом думая о наступлении дня, когда угаснет его любовь к Одетте, Сван твердо решил проявить бдительность и, при первых признаках угасания своего чувства, уцепиться за него, удержать его во что бы то ни стало. Но теперь ослабление его любви сопровождалось ослаблением его желания оставаться влюбленным. Ибо мы не можем измениться, то есть стать другой личностью, по-прежнему продолжая повиноваться чувствам личности, которой больше нет. Иногда случайно замеченное им в газете имя человека, принадлежавшего, по его предположению, к числу любовников Одетты, вновь пробуждало его ревность. Но ревность эта бывала теперь очень слабой и, доказывая ему, что он не расстался еще окончательно с временем, когда ему приходилось столько страдать (хотя довелось также познать острые чувственные наслаждения), и что случайности жизненного пути еще позволят ему, может быть, увидеть украдкой и издали красоту того времени, — скорее приятно щекотала его, вроде того как угрюмому парижанину, покинувшему Венецию и возвращающемуся во Францию, последний москит доказывает, что Италия и лето остались еще не очень далеко позади. Но чаще всего, когда ему случалось делать усилие, если не для того, чтобы удержать этот столь своеобразный период его жизни, все дальше и дальше уходивший от него, то, по крайней мере, для того, чтобы мысленно нарисовать себе, покуда еще можно было, ясную его картину, он обнаруживал, что уже слишком поздно; ему хотелось бы взглянуть на эту любовь, все больше отделявшуюся от него, как мы смотрим на скрывающийся за горизонтом пейзаж; но так трудно бывает раздваиваться и правдиво представлять себе зрелище чувства, которым мы перестали обладать, что очень скоро мозг его затуманивался, он больше ничего не различал, отказывался от своей попытки, снимал очки и протирал стекла; и он говорил себе, что лучше, пожалуй, немного отдохнуть, что впоследствии у него будет еще достаточно времени, забивался в свой уголок, проникался ко всему равнодушием и погружался в оцепенение, словно сонный путешественник, нахлобучивающий шляпу на брови, чтобы вздремнуть в вагоне, который, он чувствует, все быстрее и быстрее уносит его далеко от мест, где он так долго жил и откуда обещал не уезжать, не послав им прощального взгляда. Совсем подобно этому путешественнику, просыпающемуся только во Франции, Сван, находя случайно какое-нибудь доказательство того, что Форшвиль был любовником Одетты, замечал, что оно не причиняет ему никакой боли, что любовь далека теперь от него, и сожалел, что от внимания его ускользнул момент, когда он расстался с нею навсегда. И подобно тому, как перед заключением Одетты впервые в свои объятия он попытался запечатлеть у себя в памяти лицо, которым так долго он любовался и которое впредь должно было измениться под влиянием воспоминания об этом первом поцелуе, так и теперь ему хотелось бы — мысленно по крайней мере — иметь возможность сказать последнее прости, пока она еще существовала, этой Одетте, внушившей ему любовь и ревность, этой Одетте, причинившей ему столько страданий, этой Одетте, которой он теперь никогда больше не увидит. Он ошибался. Ему довелось еще раз увидеть ее несколько недель спустя. Это произошло ночью, когда он спал, в сумеречном свете сновидения. Он совершал прогулку с г-жой Вердюрен, доктором Котаром, каким-то молодым человеком в феске, которого он никак не мог узнать, художником, Одеттой, Наполеоном III и моим дедушкой по дороге, тянувшейся вдоль моря по отвесному берегу и то взбиравшейся на высокую скалу, то сбегавшей почти к самой воде, так что им беспрестанно приходилось то подниматься, то спускаться; гуляющие, уже спустившиеся вниз, скрывались из вида тех, что еще поднимались в гору; догоравший день меркнул, и казалось, что сейчас надвинется непроглядная тьма. Порою волны дробились у самого берега, и Сван ощущал на своей щеке ледяные брызги. Одетта просила его вытереть их, но он не мог и чувствовал смущение в ее присутствии, как если бы он был в одной рубашке. Он надеялся, что в темноте это останется незамеченным, однако г-жа Вердюрен вперила в него удивленный взгляд и долго не спускала его, причем лицо ее стало менять форму, нос вытянулся и на верхней губе выросли большие усы. Он отвернулся, чтобы взглянуть на Одетту: щеки ее были бледны и усеяны красными пятнышками, черты лица вытянутые, изможденные; но она смотрела на него глазами полными нежности, готовыми оторваться и упасть на него, словно две крупные слезы, и Сван почувствовал такую любовь к ней, что ему захотелось немедленно увести ее с собой. Вдруг Одетта поднесла к глазам руку, взглянула на часики и сказала: «Мне нужно уходить». Она попрощалась со всеми совершенно одинаково, не отведя Свана в сторону, не сказав ему, где она увидится с ним вечером или на другой день. Он не посмел спросить ее об этом, ему хотелось последовать за ней, но пришлось, не оборачиваясь в ее сторону, с улыбкой отвечать на какой-то вопрос г-жи Вердюрен; сердце его отчаянно колотилось, он ненавидел теперь Одетту и с наслаждением выколол бы эти глаза, которые так исступленно любил минуту тому назад, искровянил бы эти безжизненные щеки. Он продолжал подниматься в гору с г-жой Вердюрен, то есть удаляться с каждым шагом от Одетты, спускавшейся вниз в противоположном направлении. Через секунду прошло много часов с тех пор, как она покинула его. Художник обратил внимание Свана на то, что Наполеон III скрылся сейчас же после ухода Одетты. «Наверное, у них было условлено, — прибавил он, — должно быть, они решили встретиться на берегу, у подошвы холма, но не хотели прощаться вместе, чтобы не вызвать толков. Она его любовница». Незнакомый молодой человек расплакался. Сван принялся утешать его. «В конце концов, она права, — сказал он молодому человеку, вытирая ему глаза и сняв с него феску, чтобы незнакомцу было удобнее. — Я сам десять раз советовал ей поступить таким образом. Стоит ли так печалиться? Этот человек, наверное, поймет ее». Так рассуждал Сван с самим собой, потому что молодой человек, которого он не мог сначала узнать, был тоже Сваном; подобно некоторым романистам, он распределил свою личность между двумя персонажами: тем, кому все это снилось, и молодым человеком в феске, которого он видел во сне.

Что касается Наполеона III, то причинами, побудившими его назвать этим именем Форшвиля, были: смутная ассоциация представлений, затем частичное изменение привычной физиономии графа и, наконец, широкая лента ордена Почетного легиона; в действительности, однако, в отношении всего, что он изображал и напоминал ему, персонаж, фигурировавший во сне, был конечно Форшвилем. Ибо из незаконченных и меняющихся образов уснувший Сван делал ложные обобщения, но исполнялся при этом такой творческой силы, что был способен воспроизвести самого себя при помощи простого акта разделения, как некоторые низшие организмы; теплота, ощущаемая им в собственной ладони, служила ему материалом для заполнения невещественности чужой руки, которую, казалось ему, он пожимает, а из чувств и впечатлений, еще не дошедших до его сознания, он мгновенно создавал сложные перипетии, которые логическим своим развитием способны были, в определенный момент сна Свана, поставить соответствующий персонаж в такое положение, что тот либо привлекал его любовь, либо пробуждал его. В одно мгновение надвинулась непроглядная тьма, раздался набат, заметались испуганные люди, спасавшиеся из объятых пламенем домов; Сван слышал шум дробившихся о берег волн и удары своего сердца, с такой же яростной силой тоскливо колотившегося в его груди. Вдруг скорость биений его сердца удвоилась, он почувствовал необъяснимую боль и тошноту; какой-то крестьянин, весь покрытый ожогами, прокричал ему, пробегая мимо: «Ступайте скорее, спросите Шарлюса, где Одетта проводит вечер со своим компаньоном. Он когда-то был близок с ней, и она ничего не скрывает от него. Это они устроили пожар». Это был его камердинер, пришедший разбудить его и говоривший ему:

— Барин, уже восемь часов, и парикмахер ждет. Я велел ему прийти через час.

Но слова эти, проникнув в волны сна, омывавшие Свана, достигли его сознания лишь подвергнувшись тому преломлению, которое обращает световой луч на дне сосуда с водой в маленькое солнце; равным образом звон колокольчика, раздавшийся за несколько мгновений до этого, принял в глубинах его сна размеры набатного звона и послужил причиной создания им сцены пожара. Между тем декорация, предстоявшая его взорам, разлетелась в прах, он открыл глаза, и до него в последний раз донесся шум морских волн, становившийся все глуше и отдаленнее. Он пощупал щеки. Они были сухие. И все же он явственно вспоминал ощущение холодной воды и вкус соли. Он встал, оделся. Он велел парикмахеру прийти пораньше, потому что написал накануне моему дедушке о своем намерении приехать на другой день в Комбре; намерение это возникло у Свана после того, как он узнал, что г-жа де Камбремер — урожденная м-ль Легранден — должна провести в городке несколько дней. Воспоминание прелести этого молоденького лица, ассоциировавшись с воспоминанием деревенской усадьбы, где он уже столько времени не был, показалось ему таким заманчивым, что он решился наконец покинуть Париж на несколько дней. Так как различные случайности, сталкивающие нас с определенными людьми, не совпадают с периодом, когда мы этих людей любим, но, выходя за его пределы, могут иметь место до начала нашей любви и повторяться после того, как она кончилась, то первые появления в нашей жизни существа, которому суждено впоследствии понравиться нам, приобретают ретроспективно в наших глазах значение предуведомления, предзнаменования. Таким именно способом Сван часто мысленно связывал с образом Одетты, встреченной им в театре, этот первый вечер, когда он не думал, что ему придется когда-нибудь снова увидеть ее; таким же способом вспоминал он теперь вечер у г-жи де Сент-Эверт, когда познакомил генерала де Фробервиль с г-жой де Камбремер. Интересы нашей жизни настолько многообразны, что одно и то же обстоятельство нередко закладывает основу еще не существующего счастья и в то же время отягчает терзающие нас страдания. И, конечно, это могло бы случиться со Сваном не только у г-жи де Сент-Эверт, но также и в другом месте. В самом деле, кто знает: может быть, находись он в тот вечер в другом месте, на его долю выпали бы другие радости и другие горести, которые впоследствии показались бы ему неизбежными. Но Сван был у г-жи де Сент-Эверт, и ему показалось неизбежным то, что произошло у нее; он очень склонен был видеть нечто провиденциальное в том факте, что он решился пойти на вечер г-жи де Сент-Эверт, ибо ум его, жаждавший восхищаться богатством проявляемой жизнью изобретательности и неспособный долго сосредоточиваться на трудном вопросе, например, на определении того, что было бы для него наиболее желательно, рассматривал страдания, испытанные им на вечере у маркизы, и не подозреваемые еще наслаждения, которые невидимо зарождались тогда, — и точное соответствие между которыми было слишком трудно установить, — как явления, связанные друг с другом неразрывной цепью.

Но через час после пробуждения, давая указания парикмахеру причесать его так, чтобы волосы не растрепались в вагоне, Сван снова стал размышлять над своим сном; он увидел так явственно, как если бы Одетта находилась подле него, ее бледное лицо, чересчур худосочные щеки, вытянутые черты, синяки под глазами, — все то, что — в течение непрерывно сменявших друг друга вспышек нежности, превративших его долгую любовь к Одетте в полное забвение первоначального впечатления, полученного им от нее, — он перестал замечать с первых дней их связи, к которым, без сомнения, во время сна возвратилась его память с целью возобновить точное представление ее облика. И со свойственной ему в былые дни грубостью, которая вновь стала появляться у него с тех пор, как он перестал быть несчастным, и на некоторое время понижала его нравственный уровень, он мысленно воскликнул: «Подумать только: я попусту расточил лучшие годы моей жизни, желал даже смерти, сходил с ума от любви к женщине, которая мне не нравилась, которая была не в моем вкусе!»

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ИМЕНА МЕСТНОСТЕЙ: ИМЯ

Среди комнат, образ которых чаще всего всплывал в моей памяти в ночи бессонницы, ни одна не отличалась в большей степени от комнат в Комбре, густо насыщенных зернистой, в цветочной пыльце, съедобной и богомольной атмосферой, чем комната в Гранд-отеле на Пляже, в Бальбеке, стены которой, покрытые эмалевой краской, служили вместилищем, подобно стенкам бассейна, где вода отливает синевой, какого-то особенного воздуха, чистого, лазурного, соленого. Баварский декоратор, которому поручено было убранство этого отеля, внес разнообразие в обстановку комнат, и в той, где поместился я, уставил вдоль трех стен, во всю их длину, ряд невысоких книжных шкафов со стеклянными дверцами, на поверхности которых, соответственно занимаемому ими месту и вследствие непредусмотренного устроителем закона отражения световых лучей, рисовался тот или другой кусок вечно меняющейся картины моря, так что эти стены оказались украшенными фризом из морских видов, прерывавшихся лишь полосками полированного красного дерева. В результате вся комната напоминала одну из тех спален-моделей, какие можно видеть на мебельных выставках «стиль модерн», где они бывают украшены произведениями искусства, подобранными с таким расчетом, чтобы радовать взор того, кто будет спать среди них, и чтобы сюжеты их находились в соответствии с характером местности, в которой расположено предназначенное для них жилище.

Ничто, однако, не отличалось в большей степени от этого реального Бальбека, чем Бальбек, о котором я часто мечтал в ненастные дни, когда ветер дул с такой силой, что Франсуаза, водившая меня гулять на Елисейские поля, приказывала мне держаться подальше от стен домов, чтобы не попасть под сорвавшуюся с крыши черепицу, и сокрушенно говорила о страшных опустошениях и кораблекрушениях, которые описывались в газетах. Моим заветнейшим желанием было увидеть бурю на море, прельщавшую меня не столько в качестве величественного зрелища, сколько в качестве явления, приоткрывающего подлинную жизнь природы; или, вернее, прекрасными зрелищами были для меня только те, которые, как я знал, не принадлежат к числу искусственно созданных для моего развлечения, но являются необходимыми, не поддающимися изменению, — крас*о*ты природы или великие произведения искусства. Я любопытствовал, я жаждал узнать лишь то, что считал более истинным, чем мое собственное «я», то, что имело для меня ценность некоторого раскрытия мысли великого художника или же силы и прелести природы, когда она бывает предоставлена самой себе, ограждена от всякого вмешательства человека. Как милый звук голоса нашей матери, воспроизведенный фонографом, не мог бы утешить нас в ее смерти, так и механическая имитация бури или иллюминованные каскады всемирной выставки оставили бы меня совершенно равнодушным. Я требовал также, для впечатления совершенной подлинности бури, чтобы морской берег, с которого я наблюдал бы ее, был естественным берегом, а не молом, недавно сооруженным муниципалитетом. Кроме того, природа, по всем чувствам, возбуждаемым ею во мне, казалась мне чем-то во всех отношениях противоположным механическим изобретениям человеческого ума. Чем меньше носила она следов человеческой деятельности, тем больше простора открывала для полета моей пылкой фантазии. И имя Б_а_л_ь_б_е_к, которое называл нам Легранден, запечатлелось в моем сознании как имя городка, расположенного «у мрачных морских берегов, славившихся многочисленными кораблекрушениями и ежегодно в течение шести месяцев окутанных саваном густых туманов и пеной волн».

«Там еще чувствуется под ногами, — говорил он нам, — гораздо сильнее даже, чем в Финистере — (хотя бы этот древнейший костяк земли загромождался в настоящее время отелями, не способными изменить его характер), — там чувствуется настоящий предел французской, европейской земли, старого мира. И это последняя стоянка рыбаков, похожих на всех рыбаков, живших с начала мира у порога незапамятно древнего царства морских туманов и ночных теней». Однажды, когда я заговорил в Комбре об этом бальбекском пляже со Сваном, чтобы узнать от него, действительно ли эта местность является наиболее подходящей для наблюдения штормов на море, он отвечал: «Да, мне кажется, я хорошо знаю Бальбек! Бальбекская церковь, построенная в XII и XIII столетиях, еще наполовину романская, является, может быть, наиболее любопытным образцом нормандской готики, но замечательнее всего, что там чувствуется влияние даже персидского искусства». И эти места, казавшиеся мне до сих пор не чем иным, как куском незапамятно древней природы, современной великим геологическим эпохам, — места, столь же далекие от истории человечества, как Океан или Большая Медведица, и населенные диким племенем рыбаков, для которого так же, как и для китов, не существовало средневековья, — приобрели в моих глазах еще большую прелесть, когда они вдруг представились мне вплетенными в ряд веков, пережившими эпоху романского стиля, когда я узнал, что готический трилистник пришел украсить в назначенный час также и эти дикие скалы, подобно тем нежным, но живучим растениям, которые с наступлением весны усеивают своими хрупкими звездочками снега полярных областей. И если готика приносила этим местам и этим людям недостававшую им определенность, то и они сообщали ей взамен известное своеобразие. Я пробовал мысленно нарисовать себе картину жизни этих рыбаков, представить себе робкие и неуклюжие попытки социальных отношений, которые они устанавливали там в средние века, скученные на узкой полоске земли, в преддверии ада, у подножия скал смерти; и готика казалась мне более живой теперь, когда, отделив ее от городов, где я всегда воображал ее до сих пор, я мог видеть, как в одном частном случае среди диких утесов она пустила корни, выросла и расцвела остроконечной колокольней. Меня повели в музей посмотреть репродукции самых прославленных статуй бальбекской церкви — кудрявых и курносых апостолов, деву Марию с портала — и от радости у меня дух захватило при мысли, что в один прекрасный день я буду иметь возможность увидеть их воочию на фоне извечного соленого тумана. И тогда, в бурные и полные уюта февральские вечера, ветер — навевая моему сердцу (где он гудел с неменьшей силой, чем в камине моей спальни) проект поездки в Бальбек — сливал мое желание видеть готическую архитектуру с желанием любоваться штормами на море.

Я хотел бы завтра же сесть в прекрасный щедрый поезд 1 ч. 22 м, поезд, часа отхода которого я никогда не мог видеть без сердечного трепета в объявлениях железнодорожных компаний и проспектах круговых путешествий: мне казалось, что в определенное мгновение каждого дня он проводит ослепительную борозду, таинственную грань, за пределами которой отклонившиеся от прямого пути часы вели, конечно, по-прежнему к вечеру, к утру следующего дня, но этот вечер и это утро пассажир увидит не в Париже, а в одном из городов, мимо которых проходит поезд, позволяя ему остановить свой выбор на одном из них; ибо он останавливался в Байе, Кутансе, Витр*е*, Кестамбере, Понт-Орсоне, Бальбеке, Ланьоне, Ламбале, Беноде*е*, Понт-Авене, Кемперл*е* и продолжал свой путь, великолепно нагруженный преподносимыми им мне именами, так что я не знал, какому мне следует отдать предпочтение, ибо не способен был пожертвовать ни одним из них. Но даже не ожидая завтрашнего поезда, я мог бы, если бы позволили мне родители, торопливо одеться и уехать сегодня же, так чтобы прибыть в Бальбек в момент, когда забрезжит рассвет над бушующим морем, от соленых брызг которого я укроюсь в церкви персидского стиля. Но с приближением пасхальных вакаций, когда мои родители обещали взять меня когда-нибудь в северную Италию, вдруг мечты эти о буре, всецело наполнявшие мое воображение, так что я не хотел видеть ничего, кроме все выше вздымавшихся волн, отовсюду набегавших на самый дикий, какой только можно представить себе, берег, подле крутых и морщинистых, словно старые утесы, церквей, с башен которых раздавался бы крик морских птиц, — вдруг мечты эти заменялись у меня совсем другой мечтой, затмевавшей их, отнимавшей у них всякую прелесть и исключавшей их, ибо они были противоположны ей и могли бы лишь ослабить ее действие, мечтой о весне, пестрой как восточный ковер, — не комбрейской, еще больно коловшей иголками свежих утренников, — но той, что покрывала уже лилиями и анемонами луга Фьезоле и окружала Флоренцию ослепительным золотым фоном, подобным фонам на картинах Фра Анжелико. С той поры для меня имели цену лишь солнечные лучи, запахи и краски; ибо изменение образов моей фантазии сопровождалось у меня изменением направления моих желаний и — с той внезапностью, как это бывает иногда в музыке, — полным изменением тона моей восприимчивости. Иногда же эта перемена моего настроения обусловливалась простым атмосферным колебанием, и мне не нужно было дожидаться смены времен года. Ведь часто весенний день забредает по ошибке в череду зимних дней; он мгновенно вызывает перед нами образ весны, мы начинаем жить весенними чувствами, исполняемся желанием весенних удовольствий; мечты, которым мы предавались, вдруг обрываются, и в испещренный вставками календарь Счастья преждевременно вставляется листок, вырванный из другой главы. Но вскоре — подобно тем явлениям природы, из которых мы можем извлечь для наших удобств или нашего здоровья лишь случайную и весьма ничтожную пользу, пока наука не подчинила их нашей власти и не вооружила нас средствами вызывать их по нашему желанию, не зависящими больше от покровительства и благоволения случая, — грезы мои об Атлантическом океане и об Италии перестали всецело зависеть от смены времен года и колебаний погоды. Чтобы оживить их в себе, мне стоило только произнести имена: Бальбек, Венеция, Флоренция, звуки которых мало-помалу впитали в себя все желание, внушенное мне соответственными местами. Даже когда мне случалось находить в книге имя Бальбек весной, этого было достаточно, чтобы пробудить во мне желание увидеть шторм на море и нормандскую готику; даже в бурный и ненастный день имена Флоренция или Венеция наполняли меня желанием солнца, лилий, Дворца дожей и церкви Санта-Мария-дель-Фиоре.

Но если имена эти навсегда поглотили в себе образ, составленный мной о соответствующих городах, то они подвергли его также глубокому изменению, подчинили его появление в моем сознании собственным законам; в результате они приукрасили его, но в то же время лишили всякого сходства с тем, чем могли быть в действительности города Нормандии или Тосканы, и, умножая радости, доставляемые мне вымыслом, усугубили разочарование, постигшее меня во время совершенных мною впоследствии путешествий. Они преувеличили значение представления, составленного мной о некоторых пунктах земной поверхности, сообщив им большее своеобразие и сделав их вследствие этого более реальными. Я представлял себе тогда города, пейзажи, старинные памятники искусства не как более или менее привлекательные картины, являвшиеся кусками однородного вещества, но каждый из них рисовался моему воображению как нечто неведомое, по существу отличное от всего прочего, как объект, которого жаждала моя душа и познание которого было бы для нее благодетельно. И еще несравненно более яркую индивидуальность приобретали они, будучи названы именами, именами, предназначенными только для них, такими же именами, какие носят люди. Слова рисуют нам ясные и привычные картинки вещей, вроде тех, что развешаны на стенах классных комнат, чтобы дать детям наглядное представление верстака, птицы, муравейника — вещей, похожих на любую другую вещь того же рода. Но имена рисуют смутную картину лиц — и городов, которые они приучают нас считать столь же индивидуальными, столь же единичными, как и лица, — картину, заимствующую от имен, от их сверкающей или мрачной звучности, цвет, которым она бывает однообразно окрашена, как те афиши, сплошь синие или сплошь красные, где, благодаря несовершенству способов репродукции или по прихоти рисовальщика, синие или красные не только небо и море, но также барки, церковь, прохожие. Имя П_а_р_м_а, одного из городов, где я больше всего желал побывать после того, как прочел «Чертозу», представлялось мне плотным, лоснящимся, лиловым и милым; поэтому, если бы мой собеседник завел со мной речь о каком-нибудь пармском доме, в котором мне предстояло поселиться, то он наполнил бы меня приятными мыслями о том, что я буду жить в доме плотном, лоснящемся, лиловом и милом, не имевшем ничего общего с домами других итальянских городов, ибо я воображал его себе лишь при помощи тяжелого слога имени Парма, где нет никакого движения воздуха, а также при помощи того стендалевского очарования и тех тонов фиалок, которыми я напитал его. И, думая о Флоренции, я представлял ее себе как город, напоенный чудесным благоуханием и похожий на венчик цветка, ибо она называлась городом лилий и собор ее — собором Богоматери в цветах. Что касается Бальбека, то это было одно из тех имен, на котором, как на старой нормандской посуде, хранящей цвет земли, послужившей для нее материалом, видно еще изображение какого-нибудь давно исчезнувшего обычая, феодального права, старинного вида местности, вышедшей из употребления манеры произношения, которая запечатлелась в форме причудливых слогов и которую я не сомневался найти там в неприкосновенности, даже у трактирщика, который подаст мне кофе с молоком по моем приезде и поведет к церкви показать бушующее перед ней море; этого трактирщика я мысленно наделял сварливой, торжественной и средневековой внешностью персонажа из фаблио.

Если бы здоровье мое поправилось и мои родители позволили мне пусть не поселиться надолго в Бальбеке, но хотя бы съездить туда один раз, для ознакомления с архитектурой и пейзажами Нормандии и Бретани, на том поезде, отходящем в 1 ч. 22 м, в который я столько раз садился мысленно, то я желал бы посетить по пути самые красивые города этих мест; но напрасно я сравнивал их друг с другом: как было сделать выбор, с большей уверенностью, чем между индивидуальными лицами, которых невозможно заменить одно другим, между Б_а_й_е, столь надменным в благородной ржавой ажурной короне, самый высокий зубец которой отливал старым золотом его последнего слога; В_и_т_р_*е*, закрытое *е* которого пересекало ромбами черного дерева старинный витраж; милым Л_а_м_б_а_л_е_м, чья белизна была промежуточным тоном между желтизной яичной скорлупы и матовостью жемчужины; К_у_т_а_н_с_о_м, нормандским собором, чьи конечные согласные, жирные и желтоватые, увенчивают его башней из сливочного масла; Л_а_н_ь_о_н_о_м, где, среди тишины провинциальных улиц, слышится шум почтовой кареты и жужжанье летящей за ней мухи; К_е_с_т_а_м_б_е_р_о_м, П_о_н_т_о_р_с_о_н_о_м, смешными и наивными, белыми перьями и желтыми клювами, разбросанными по пути к этим речным и поэтичным местам; Б_е_н_о_д_*е*, имя, едва-едва причаленное к берегу, так что кажется, будто река готова унести его и запутать среди своих водорослей; П_о_н_т-А_в_е_н_о_м, белым и розовым взмахом крыла, легким головным убором, отражающимся в поблескивающей зеленоватой воде канала; К_е_м_п_е_р_л_*е*, прочнее прикрепленным и уже со времени средних веков весело болтающим с окрестными его ручейками и нанизывающим жемчуга их струек в одноцветном матовом узоре, вроде того, что рисуют сквозь паутину на витраже солнечные лучи, преображенные в тупые острия иголок из почерневшего серебра?

Образы эти были ошибочными еще и по другой причине: они по необходимости оказывались сильно упрощенными; несомненно, то, к чему стремилось мое воображение и что мои чувства воспринимали лишь несовершенно и без удовольствия, было мной укрыто под защитой имен;

несомненно, оттого что я напитал их своими грезами, имена эти стали магнитом, притягивавшим мои желания; но имена не отличаются большой емкостью, — мне удавалось поместить в них самое большее две или три важнейшие «достопримечательности» города, и они располагались там друг подле дружки вплотную; в имени Бальбек, как в увеличительном стекле, вставленном в те ручки для перьев, что можно купить на морских пляжах, я различал волны, бушевавшие вокруг персидской церкви. Может быть, именно упрощенность этих образов была одной из причин власти, которую они забрали надо мной. Когда отец мой решил однажды, что мы поедем на пасхальные вакации во Флоренцию и в Венецию, то, не находя в имени Флоренция места для элементов, составляющих обыкновенно города, я принужден был породить на свет некий сверхъестественный город путем оплодотворения определенными весенними запахами того, что, по моим представлениям, было сущностью гения Джотто. Самое большее — так как нам приходится считаться с ограниченностью имени не только в пространстве, но и во времени — подобно некоторым картинам того же Джотто, изображающим один и тот же персонаж в различное время за различными действиями, здесь — лежащим в постели, там — собирающимся вскочить на лошадь, — имя Флоренция было разделено в моем воображении на два отделения. В одном, под архитектурным балдахином, я разглядывал фреску, частью задернутую занавесом утреннего солнца, пыльным, косым и все больше раздвигающимся; в другом (ибо, поскольку я думал об именах не как о недостижимом идеале, но как о реальных вместилищах, куда я собирался проникнуть, жизнь еще не прожитая, жизнь нетронутая и чистая, которую я заключал в них, сообщала самым грубым наслаждениям и самым простым сценам привлекательность, свойственную им на примитивах) я поспешно переходил — чтобы поскорее сесть за стол, где меня ожидал завтрак с фруктами и вином Киянти, — Арно по мосту Понте-Веккио, заваленному жонкилями, нарциссами и анемонами. Вот что (хотя я находился в Париже) видел я, а совсем не то, что было расположено вокруг меня. Даже с чисто реалистической точки зрения, желанные нами страны занимают в любой момент гораздо больше места в нашей подлинной жизни, чем страны, в которых мы действительно находимся. Несомненно, если бы я уделил тогда большее внимание тому, что происходило в моем сознании во время произнесения слов: «поездка во Флоренцию, в Парму, в Пизу, в Венецию», то я бы отдал себе отчет, что образ, представший моему взору, был вовсе не образ города, но нечто в такой же степени отличное от всего мне известного, в такой же степени очаровательное, как могло бы быть для людей, никогда в жизни не видевших ничего, кроме ненастных зимних вечеров, непостижимое чудо: весеннее утро. Эти нереальные, навязчивые, всегда одинаковые образы, наполняя все мои ночи и дни, отличали описываемый период моей жизни от предшествовавших (которые легко могли быть смешаны с ним наблюдателем, видящим только внешнюю сторону предметов, иными словами, ничего не видящим), вроде того, как в опере какой-нибудь мотив вносит нечто совсем новое, о чем мы не способны были бы составить ни малейшего представления, если бы ограничились прочтением либретто или же остались за стенами театра и стали считать протекающие минуты. Но даже и с чисто количественной точки зрения, дни нашей жизни не равны друг другу. Чтобы одолеть дневной путь, натуры нервные вроде меня пользуются, как при поездке на автомобиле, различными «скоростями». Бывают дни гористые, тяжелые, для прохождения которых нужна уйма времени, и дни покатые, которые мы пролетаем с головокружительной быстротой, напевая веселые песенки. В течение целого месяца — когда я беспрестанно воспроизводил, словно музыкальную мелодию, не будучи в состоянии вдоволь насытиться ими, образы Флоренции, Венеции и Пизы, желание которых, возбуждаемое во мне этими образами, хранило в себе нечто столь глубоко индивидуальное, словно оно было любовью, любовью к женщине, — я твердо верил, что они соответствуют некоторой независимой от меня реальности, и они поселили во мне столь же прекрасные надежды, как те, что мог лелеять христианин первых веков накануне вступления в рай. Таким образом, меня не только не смущало противоречие, заключенное в желании увидеть воочию и пощупать то, что было создано мечтами и никогда не воспринималось органами чувств — являясь тем более соблазнительным для них, тем более отличным от всего известного, — но оно, напротив, укрепляло во мне сознание реальности упомянутых образов и еще больше воспламеняло мое желание, ибо как бы сулило ему удовлетворение. И несмотря на то, что причиной моей восторженности была жажда эстетических наслаждений, путеводители занимали меня больше, чем художественные издания, но ничто не могло сравниться по притягательной силе с железнодорожным указателем. Больше всего волновала меня мысль, что, хотя эта Флоренция, которую я видел в своем воображении близкой, но недоступной, была отделена от меня, во мне самом, непроходимой пропастью, все же я мог добраться до нее окольным, кружным путем, проехав определенное расстояние по земной поверхности. Конечно, когда я повторял себе, придавая таким образом особую ценность тому, что мне предстояло увидеть: «Венеция — школа Джорджоне, город Тициана, самый богатый музей средневековой архитектуры», я чувствовал себя счастливым. Но все же я был еще более счастлив, когда, выйдя из дому на прогулку и быстро шагая по случаю дурной погоды, которая, после нескольких дней преждевременной весны, вновь стала зимней (вроде той, что ожидала нас обыкновенно в Комбре на Страстной неделе), — и видя, как каштаны на бульварах, хотя и погруженные в ледяной воздух, омывавший их как вода, нисколько не смущаясь этим, словно одетые в праздничные костюмы пунктуальные гости, не позволяющие себе впадать в уныние, начинали вычерчивать и отчеканивать на замороженных стволах узор неодолимо пробивавшихся зеленых листочков, уверенный рост которых холод хотя и задерживал, но не способен был все же остановить, — думал, что Понте-Веккио уже весь завален гиацинтами и анемонами и что весеннее солнце уже окрашивает волны Большого канала такой темной лазурью и такими роскошными изумрудами, что, разбиваясь под картинами Тициана, они способны соперничать с ними в богатстве колорита. Я не в силах был сдержать радость, когда отец, то и дело постукивая по барометру и жалуясь на холод, начал выбирать в путеводителе лучшие поезда, и когда я понял, что, войдя после завтрака в черную как уголь лабораторию, в волшебную комнату, производившую полное изменение всего окружающего, я могу проснуться на другой день в городе из мрамора и золота, «где дома облицованы яшмой, а улицы вымощены изумрудами». Таким образом, этот город, а также Город Лилий были не только фантастическими картинами, которые я мог произвольно рисовать в своем воображении, но действительно существовали на определенном расстоянии от Парижа, которое мне необходимо будет преодолеть, если я захочу их увидеть, на определенном, а не другом каком-нибудь, участке земной поверхности; словом, являлись в полном смысле слова городами реальными. Они сделались для меня еще более реальными, когда мой отец, сказав: «В общем, вы могли бы пробыть в Венеции от 20 до 29 апреля и приехать во Флоренцию утром в первый день Пасхи», извлек их не только из отвлеченного Пространства, но также из того воображаемого Времени, куда мы помещаем не одно, но несколько наших путешествий сразу, не слишком огорчаясь тем, что они представляют собой лишь голые возможности, — того Времени, которое легко возобновляется, так что, проведя его в одном городе, мы можем затем провести его еще раз в другом, — и посвятил им несколько определенных дней календаря, удостоверяющих подлинность совершаемых нами в течение их действий, ибо дни эти единственные в своем роде, они бесследно уничтожаются после того, как мы прожили их, они не возвращаются, мы не можем снова прожить их здесь, если уже прожили их там; я почувствовал, что два Царственных Города, купола и башни которых мне предстояло вписать, методами самой волнующей из геометрий, в плоскость моей собственной жизни, движутся по направлению к неделе, начинавшейся с того понедельника, когда прачка должна принести мой залитый чернилами белый жилет, — движутся с тем, чтобы быть поглощенными этой неделей по выходе из идеального времени, в котором они еще не обладали реальным существованием. Но я был до сих пор лишь на пути к вершине моего счастья; я вознесся на нее наконец (лишь в эту минуту осененный откровением, что не «величественные и грозные, как море, люди со сверкающими бронзой доспехами под складками кроваво-красных плащей» будут на следующей неделе, накануне Пасхи, прогуливаться по улицам Венеции, наполненным плеском волн и озаренным красноватым отблеском фресок Джорджоне, но что я сам, возможно, окажусь тем крошечным человечком в котелке, стоящим перед порталами Святого Марка, которого мне показывали на большой фотографии этого собора), когда услышал обращенные ко мне слова отца: «Должно быть, еще холодно на Большом канале, ты хорошо бы сделал, если бы положил на всякий случай себе в чемодан зимнее пальто и теплый костюм». При этих словах я пришел в невыразимый восторг; я почувствовал — вещь, которую до сих пор я считал невозможной, — что я действительно появляюсь среди этих «аметистовых скал, подобных рифам на Индийском океане»; освободившись при помощи крайнего мускульного напряжения, далеко превосходившего мои силы, от окружавшего меня воздуха моей комнаты, как от ненужной скорлупы, я заменил его равным количеством венецианского воздуха, этой морской атмосферой, неописуемой и своеобразной, как атмосфера грез, заключенных моим воображением в имя Венеция; я почувствовал, что во мне происходит чудесное перевоплощение; оно тотчас же наполнило меня тем смутным позывом к рвоте, который мы ощущаем, когда у нас начинает болеть горло, так что моим родным пришлось уложить меня в постель в жестокой лихорадке, и доктор заявил, что не только не может быть речи о моей поездке этой весной во Флоренцию и в Венецию, но даже по окончательном выздоровлении мне следует, по крайней мере в течение года, отказаться от всяких планов о путешествии и вообще избегать всякого волнения.

И, увы, он самым категорическим образом запретил мне также пойти в театр послушать Берма; чудесная артистка, которую Бергот находил гениальной, способна была бы, пожалуй, познакомив меня с вещью столь же важной и столь же прекрасной, утешить в том, что мне не удалось побывать во Флоренции и в Венеции, не удалось съездить в Бальбек. Вместо этого родные мои посылали меня каждый день на Елисейские поля, под присмотром особы, которая должна была следить за тем, чтобы я не утомлялся, особа эта являлась не кем иным, как Франсуазой, поступившей к нам на службу, после смерти тети Леонии. Прогулка на Елисейские поля была для меня невыносимой. Если бы еще Бергот описал их в одной из своих книг, тогда я несомненно пожелал бы увидеть их и познакомиться с ними, как со столькими другими вещами, «двойник» которых нашел предварительно доступ в мое воображение. Оно подогревало такие вещи, оживляло, наделяло их личностью, и я хотел обрести их в действительности; но в этом публичном саду ничто не связывалось с моими грезами.

Однажды, когда мне стало скучно на нашем обычном месте, подле каруселей, Франсуаза повела меня в экскурсию — по ту сторону рубежа, охраняемого расположенными на равных расстояниях маленькими бастионами в виде торговок леденцами, — в те соседние, но чужие области, где лица у прохожих незнакомые, где проезжает колясочка, запряженная козами; затем она вернулась взять свои вещи со стула, стоявшего у кустов лавра; в ожидании ее я стал прохаживаться по широкой лужайке, поросшей жиденькой, низко подстриженной и пожелтевшей под солнцем травкой, подле бассейна с возвышавшейся над ним статуей, как вдруг, обращаясь к рыжеволосой девочке, игравшей в волан перед раковиной бассейна, другая девочка, уже вышедшая на дорожку, крикнула резким голосом, надевая пальто и пряча ракетку: «До свидания, Жильберта, я ухожу домой; не забудь, что сегодня вечером мы придем после обеда к тебе». Так снова прозвучало подле меня имя Ж_и_л_ь_б_е_р_т_а, вызывая с тем большей силой существо той, к кому оно относилось, что не просто упоминало ее, как мы упоминаем в разговоре имя отсутствующего, но было обращено прямо к ней; так пронеслось оно подле меня с действенной силой, которая все возрастала по мере его движения вперед и приближения к цели; — увлекая с собой попутно, я это чувствовал, знания, представления о той, к кому оно обращалось (принадлежавшие, увы, не мне, но подруге, которая ее окликала), и вообще все, что подруга эта, произнося ее имя, мысленно видела или, по крайней мере, хранила в своей памяти, из их каждодневного общения, из визитов, которые они делали друг другу, из неведомой жизни, еще более недосягаемой и мучительной для меня оттого, что она была, напротив, так близко знакома, так легко доступна этой счастливой девочке, которая обдавала меня ею, не позволяя все же проникнуть в нее, и бросала в пространство в беззаботном возгласе; — разливая в воздухе сладкий аромат, источенный этим возгласом, путем точного к ним прикосновения, из нескольких невидимых частиц жизни м-ль Сван, из предстоящего вечера, каким он будет, после обеда, в ее доме; — образуя, небесный пришелец посреди детей и нянек, как бы облачко, окрашенное в нежные и тонкие тона, вроде того облака, что, клубясь над одним из прекрасных садов Пуссена, отражает во всех подробностях, словно оперное облако, полное лошадей и колесниц, какое-нибудь видение из жизни богов; — и, наконец, бросая на эту истоптанную траву, в том месте, где стояла белокурая девочка (составленном из куска зачахшей лужайки и мгновения одного из послеполуденных часов этой девочки, с увлечением игравшей в волан, пока ее не подозвала гувернантка с синим пером на шляпе), чудесную, цвета гелиотропа, полоску, неосязаемую как световой отблеск и разостланную по лужайке как ковер, по которому я без устали стал расхаживать взад и вперед, попирая его своими мешкавшими, тоскующими и нечестивыми ногами, между тем как Франсуаза кричала мне: «Пойдем, застегните поплотнее ваше пальто и айда!» — и я впервые с раздражением замечал, что язык ее вульгарен, а на шляпе, увы, нет синего пера.

Возвратится ли она, однако, на Елисейские поля? На другой день ее там не было; но затем я снова увидел ее; я все время бродил вокруг места, где она играла со своими подругами, и стал настолько привычной для нее фигурой, что однажды, когда девочки не собрались в нужном количестве для игры в пятнашки, она обратилась ко мне с просьбой, не хочу ли я присоединиться к ним, и с тех пор я играл с ней каждый раз, как она приходила на Елисейские поля. Но это случалось не каждый день; бывали дни, когда ей мешали приходить туда уроки, катехизис, приглашенные к завтраку гости, вся ее жизнь, непроницаемой стеной отделенная от моей жизни, та жизнь, сгусток которой заключен был в имени Ж_и_л_ь_б_е_р_т_а и которая дважды болезненно коснулась меня, проносясь мимо: у живой изгороди из боярышника в Комбре и на лужайке Елисейских полей. Она заранее объявляла, что в такие дни мы не увидим ее; если причиной этого были ее уроки, она говорила: «Как досадно, мне нельзя будет прийти завтра; вы все будете играть здесь без меня» — с видом сожаления, немного утешавшим меня; но зато, когда она бывала приглашена на детское утро, и я, не зная об этом, спрашивал ее, придет ли она завтра играть, она отвечала: «Надеюсь, что нет! Надеюсь, что мама позволит мне пойти к моей подруге». Но, по крайней мере, я знал, что в такие дни не увижу ее, тогда как случалось, что и без всякого предупреждения мать увозила ее с собой на прогулку, и на другой день она говорила: «Ах да! Вчера я выезжала с мамой», словно это было нечто как нельзя более естественное, а вовсе не величайшее, какое только можно вообразить, несчастье для другого лица. Бывали также ненастные дни, когда гувернантка, очень боявшаяся дождя, сама не желала вести ее на Елисейские поля.

Вот почему, когда небо хмурилось, я с утра не переставая исследовал его и принимал в расчет все его предзнаменования. Если я замечал, что дама из дома, расположенного напротив, надевала у окна шляпу, я говорил себе: «Эта дама собирается выйти на улицу; следовательно, сегодня погода такая, что можно выходить: почему бы и Жильберте не поступить так, как поступает эта дама?» Между тем солнце скрывалось за тучей, и мама говорила, что еще может проясниться, но больше вероятности, что пойдет дождь; а во время дождя что за смысл идти на Елисейские поля? Таким образом, после завтрака мои тоскливые взоры ни на минуту не покидали переменчивого облачного неба. Оно все время оставалось хмурым. Балкон перед окном был серым. Вдруг на его унылых каменных плитах я не то что замечал менее тусклую окраску, но чувствовал как бы усилие к менее тусклой окраске, пульсацию нерешительного луча, пытавшегося вывести наружу заключенный в нем свет. Мгновение спустя балкон становился бледным и зеркальным, как поверхность озера на рассвете, и сотни отражений железной решетки ложились на нем. Порыв ветра сметал их; каменные плиты снова становились темными, но, как прирученные птицы, отражения вскоре возвращались; плиты начинали еле заметно белеть, и я видел, как — посредством непрерывного crescendo, напоминавшего одно из тех музыкальных crescendo, которые в финале увертюры доводят какую-нибудь одну ноту до крайнего fortissimo, заставляя ее быстро миновать все промежуточные интенсивности звучания, — балкон покрывался устойчивым, несокрушимым золотом погожих дней, на котором четко очерченная тень кованой решетки балюстрады ложилась черным узором, словно прихотливо разветвившееся растение, и мельчайшие детали этого узора были выведены с такой тонкостью, что он казался произведением зрелого художника, уверенно кладущего каждый штрих; и его спокойная темная и счастливая масса рисовалась с такой рельефностью, с такой бархатистостью, что поистине эти широкие, похожие на листья, полосы тени, покоившиеся на солнечном озере, как будто знали, что они являются залогом душевного мира и счастья.

Быстро увядающий плющ, недолговечное ползучее растение! Самое бесцветное, самое убогое, в глазах многих, из всех вьющихся растений, декорирующих стены или окна, для меня оно стало самым дорогим со дня своего появления на нашем балконе, словно тень самой Жильберты, которая была уже, может быть, на Елисейских полях и которая, как только я приду туда, скажет мне: «Не будем терять времени, начнем сейчас же; вы на моей стороне»; хрупкое, сдуваемое порывом ветра, а также зависящее не от времени года, а от часа дня; обещание непосредственного счастья, которое текущий день расстраивает или осуществит, то есть непосредственного счастья в подлинном смысле слова, счастья любви; более нежное и более теплое на каменных плитах, чем самый мягкий мох; живучее, довольствующееся одним солнечным лучом, чтобы родиться и радостно расцвести даже в самую глухую зимнюю пору.

И даже в дни, когда вся другая растительность исчезала, когда красивые зеленые куртки, облекавшие стволы старых деревьев, бывали спрятаны под снегом, — если снег переставал идти, но небо по-прежнему было слишком плотно обложено тучами, чтобы я мог надеяться на то, что Жильберта рискнет выйти из дому, — вдруг, внушая моей матери слова: «Глядите-ка, погода разгуливается; может быть, вы бы все же попробовали пойти на Елисейские поля», проглянувшее солнце расцвечивало золотом снежное одеяло, покрывавшее балкон, и вышивало на нем черный узор отражений от решетки. В такие дни мы не находили никого, за исключением разве одной какой-нибудь девочки, собиравшейся уходить и уверявшей меня, что Жильберта не придет. Стулья, покинутые внушительной, но зябкой фалангой гувернанток, бывали пусты. Лишь подле лужайки сидела в одиночестве дама неопределенного возраста, приходившая во всякую погоду, всегда в одном и том же костюме, нарядном и темном; чтобы познакомиться с этой дамой, я пожертвовал бы в ту пору, будь это в моей власти, какими угодно перспективами, открывавшимися передо мной в будущем. Ибо Жильберта каждый день подходила здороваться с ней; дама спрашивала у Жильберты, как поживает ее «драгоценная матушка»; и мне казалось, что, будь я знаком с этой дамой, я выглядел бы совсем иначе в глазах Жильберты, принадлежал бы к числу людей, знавших друзей ее родителей. В то время как ее внуки играли поодаль, она всегда читала Journal des Debats, который называла «мой старенький Debats», говорила о полицейском или о женщине, сдававшей стулья, с фамильярностью аристократки: «Мой старый друг», «эта дама и я, мы старые друзья».

Так как Франсуаза находила, что оставаться без движения слишком холодно, то мы отправлялись к мосту Согласия посмотреть на замерзшую Сену, к которой каждый, даже дети, подходил без опаски, как к огромному выбросившемуся на берег беззащитному киту, которого собираются свежевать. Затем мы возвращались на Елисейские поля. Я тосковал между неподвижными деревянными лошадками каруселей и белой лужайкой, охваченной сетью черных аллей, откуда снег был расчищен, между тем как возвышавшаяся над ними статуя держала в руке длинную ледяную сосульку, служившую, казалось, объяснением ее позы. Даже старая дама, сложив свой Journal des Debats, спрашивала у проходившей мимо няни, который час, благодарила ее, говоря: «Как вы любезны!» — затем, попросив метельщика подозвать к ней внуков, так как ей стало холодно, прибавляла: «Вы окажете мне огромную услугу. Мне ужасно совестно беспокоить вас». Вдруг точно сверкала зарница: между театром марионеток и каруселями, на прояснившемся горизонте, среди расступившихся облаков, я замечал, как чудесное знамение, синее перо мадемуазель. И уже Жильберта что есть мочи бежала по направлению ко мне, сияющая и раскрасневшаяся, в меховой шапочке, возбужденная холодом, опозданием и желанием играть; немного не добежав до меня, она катила по льду и, скользя таким образом, — для того ли, чтобы лучше сохранить равновесие, потому ли, что находила это более грациозным, или же желая придать себе позу конькобежца, — широко раскидывала руки и приветливо улыбалась, словно хотела заключить меня в свои объятия. «Браво! Браво! Превосходно! Я бы сказала даже, как сейчас это принято: ш_и_к_а_р_н_о, м_о_л_о_д_ц_о_м, если бы не была женщиной другого поколения, старорежимной, — восклицала старая дама, взяв слово от лица безмолвных Елисейских полей, чтобы поблагодарить Жильберту за то, что та пришла, не испугавшись погоды. — Вы, подобно мне, верны, несмотря ни на что, нашим старым Елисейским полям; мы двое неустрашимы. Если бы вы знали, как я люблю их, даже в том виде, как сейчас. Этот снег — вы будете смеяться надо мной — напоминает мне мех горностая!» И старая дама сама смеялась.

Первый из этих дней — которым снег, символ сил, властных лишить меня лицезрения Жильберты, сообщал печаль дней разлуки, даже видимость дней отъезда, потому что менял лицо привычного места наших единственных свиданий и почти отнимал у нас возможность пользоваться им (оно выглядело тогда совсем иначе, было как бы покрыто чехлом) — первый такой день дал большой толчок развитию моей любви, ибо он был как бы первым огорчением, которое Жильберте пришлось разделить со мной. Нас было только двое из всей нашей группы, и то обстоятельство, что мы оказались, таким образом, наедине с ней, не только содействовало установлению большей интимности между нами, но казалось мне также — как если бы она пришла в такую погоду исключительно ради меня — столь же трогательным с ее стороны, как показался бы мне ее отказ пойти на детское утро в один из дней, когда она бывала приглашена, чтобы не лишить меня свидания с ней на Елисейских полях; я проникался большей верой в жизнеспособность и долговечность нашей дружбы, которая оставалась такой полнокровной посреди оцепенения, запустения и разрушения окружавших нас мест; и в то время, как Жильберта бросала мне комья снега за воротник, я умиленно улыбался тому, что казалось мне одновременно и знаком трогательного внимания, которое она свидетельствовала мне, снося меня как товарища по путешествию в этой новой студеной стране, и своего рода верностью, сохраняемой ею ко мне среди невзгод. Вскоре одна за другой, словно робко подпрыгивающие воробышки, собрались ее подруги, четко выделяясь черными силуэтами на снежном фоне. Мы приготовились играть, и так как этому столь печально начавшемуся дню суждено было закончиться в радости, то, когда я подошел перед игрой к той девочке с резким голосом, из уст которой впервые прозвучало здесь имя Жильберта, она сказала мне: «Нет, нет, я уверена, что вам приятнее будет играть на стороне Жильберты; к тому же смотрите, она сама делает вам знак». Она действительно звала меня к себе на снежную полянку, которую солнце, испещряя розовыми бликами, покрывая металлическим глянцем старой изношенной парчи, обращало в кусок золотого глазета.

Этот день, начавшийся для меня такими мрачными предзнаменованиями, оказался, напротив, одним из немногих дней, когда я не был слишком несчастен.

Ибо, хотя теперь я только и думал о том, чтобы каждый день, без исключения, видеть Жильберту (до такой степени, что однажды, когда бабушка не вернулась домой к обеденному часу, я не мог подавить невольно возникшей у меня мысли, что если она попала под колеса, то на некоторое время мне придется отказаться от прогулок на Елисейские поля; когда мы влюблены, мы никого не любим), однако эти минуты, когда я находился подле нее, минуты, которых я дожидался с таким нетерпением уже с вечера, за которые я трепетал, которым пожертвовал бы всем на свете, отнюдь не были минутами счастливыми; и я хорошо знал это, ибо они были единственными минутами моей жизни, на которых я сосредоточивал самое мелочное, самое пристальное внимание и не мог обнаружить в них ни крупинки счастья.

Все время, что я находился вдали от Жильберты, я чувствовал потребность видеть ее, потому что, неустанно пытаясь представить себе ее образ, я в заключение утрачивал способность вызывать его и не знал в точности, к чему относится моя любовь. Кроме того, она никогда еще не сказала мне, что любит меня. Как раз напротив, она часто заявляла, что у нее есть друзья, которых она предпочитает мне, и что я только хороший товарищ, с которым она всегда охотно играла, несмотря на мою рассеянность, недостаточное внимание к игре. Больше того: часто она совершенно явственно выражала холодность ко мне, и эта холодность могла бы поколебать мою веру в то, что я являюсь для нее существом отличным от прочих, если бы источником моей веры была любовь Жильберты ко мне, а не, как это было в действительности, моя любовь к ней, что значительно укрепляло эту веру, так как делало ее всецело зависимой от способа, каким я обязан был, в силу внутренней необходимости, думать о Жильберте. Но и сам я еще не объявил ей обуревавших меня чувств. Правда, все страницы моих тетрадей были несчетное число раз покрыты ее именем и ее адресом, но при виде этих письмен, которые я сколько угодно мог чертить, нимало не побуждая ее, по этой причине, думать обо мне, — которые отводили ей столько места вокруг меня, нимало не приближая ее к моей жизни, — я наполнялся унынием, потому что они говорили мне не о Жильберте, которая даже никогда не увидит их, но о моем собственном желании, которое они мне рисовали как нечто чисто субъективное, нереальное, скучное и немощное. Самое важное — чтобы мы могли друг с другом видеться, могли сделать взаимное признание в любви и тем самым положить ей, так сказать, официальное начало. Конечно, различные основания, побуждавшие меня столь нетерпеливо искать встречи с нею, показались бы менее повелительными человеку взрослому. С годами, приобретя большую опытность в искусстве наслаждения, мы довольствуемся грезами о женщине, как я грезил о Жильберте, нисколько не тревожа себя желанием узнать, соответствуют ли наши грезы действительности, — довольствуемся наслаждением, доставляемым нам любовью, не чувствуя потребности удостовериться, что и мы, в свою очередь, любимы; часто мы даже отказываемся от удовольствия признаться в наших чувствах любимой женщине, чтобы повысить силу чувства, питаемого ею к нам, подобно тем японским садовникам, которые, добиваясь получения более красивого цветка, жертвуют ему рядом других цветов. Но во времена, когда я любил Жильберту, я верил еще, что Любовь реально существует вне нас; что, поручая нам, самое большее, преодолевать препятствия на нашем пути, она дарит нам свои радости в порядке, который мы не властны изменить ни на йоту; мне казалось, что если бы я, по собственной инициативе, заменил сладость признания симуляцией равнодушия, то я не только лишил бы себя радости, о которой так страстно мечтал, но произвольно состряпал бы искусственную любовь, лишенную всякой цены и не находившуюся ни в какой связи с истиной, по чьим таинственным и предустановленным путям я отказывался бы таким образом следовать.

Но когда я приходил на Елисейские поля — и получал возможность сопоставить свою любовь с ее живой, независимой от меня причиной, чтобы подвергнуть ее необходимым исправлениям; — как только я оказывался в присутствии той Жильберты Сван, на лицезрение которой я так рассчитывал с целью оживить образы, которых утомленная моя память не способна была больше вызвать, — той Жильберты Сван, с которой я играл вчера, которой только что поклонился и которую узнал, руководимый слепым инстинктом, вроде того, что во время ходьбы заносит одну нашу ногу перед другой, прежде чем мы успеваем обдумать наши движения, — тотчас выходило так, точно она и девочка, являвшаяся предметом моих грез, были двумя разными существами. Если, например, я в течение суток носил в своей памяти два огненных глаза на пухлых и румяных щеках, то лицо Жильберты настойчиво навязывало мне нечто такое, чего я как раз не запомнил: длинный заостренный нос, который, мгновенно ассоциировавшись с другими ее чертами, приобретал значение тех характерных признаков, что служат в естественной истории для определения вида, и превращал ее в девочку, принадлежавшую к роду девочек с востренькой мордочкой. В то время, как я собирался использовать этот вожделенный миг, чтобы отдаться созерцанию образа Жильберты (который я приготовил перед приходом сюда, но которого не находил теперь в своем сознании), поместив его на таком расстоянии от себя, которое позволило бы мне затем, в долгие часы одиночества, быть уверенным, что я вспоминаю именно ее, что именно к ней я умножаю понемногу свою любовь, вроде того, как постепенно увеличиваются размеры книги, над которой мы работаем, — в это самое время она бросала мне мяч; и подобно философу-идеалисту, чье тело считается с тем внешним миром, в реальность которого рассудок его не верит, то же самое мое «я», которое заставило меня поздороваться с ней прежде, чем я узнал ее, понуждало меня теперь поймать брошенный ею мяч (словно она была моим товарищем, с которым я пришел поиграть, а вовсе не родной душой, с которой я собирался соединиться), заставляло, пока не наступил час, когда она должна была уходить, обращаться к ней, из вежливости, с тысячей любезных и незначительных замечаний и мешало, таким образом, с одной стороны, хранить молчание, во время которого я получил бы, наконец, возможность завладеть настоятельно необходимым и ускользающим образом, а с другой — сказать ей слова, способные дать развитию нашей любви решительный толчок, надежду на который мне каждый раз приходилось откладывать до следующего дня. Кой-какой прогресс в нашей любви все же замечался. Однажды мы с Жильбертой подошли к ларьку торговки, проявлявшей к нам особенную любезность, — ибо как раз у нее г-н Сван покупал себе пряники, которые, по гигиеническим соображениям (постоянно более этнической экземой и запорами), он потреблял в большом количестве, — и Жильберта со смехом показала мне двух мальчиков, очень напоминавших маленького художника и маленького натуралиста, как они изображаются в детских книжках. Один из них не хотел брать красного леденца, потому что предпочитал фиолетовый, а другой со слезами на глазах отказывался от сливы, которую собиралась купить ему няня, ибо, как объяснил он наконец возбужденным тоном: «Я хочу другую сливу: она с червяком!» Я купил два мраморных шарика за су. С восхищением смотрел я на блестящие агатовые шарики, лежавшие в особой деревянной чашечке; они казались мне драгоценными, потому что были белокурые и улыбающиеся, как девочки, и стоили по пятидесяти сантимов. Жильберта, которой давали гораздо больше денег, спросила меня, какой из шариков мне больше нравится. Они были прозрачные и текучие, словно сама жизнь. Я не хотел бы поступиться ни одним из них, мне хотелось, чтобы она могла купить, могла освободить их всех. Все же я указал ей один, цвета ее глаз. Жильберта взяла его, повертела им, так что он засверкал золотым лучом, поласкала его, заплатила выкуп, но сейчас же передала мне своего пленника со словами: «Возьмите его, он ваш; я дарю вам его, сохраните его на память».

В другой раз, все еще сгорая желанием послушать Берма в классической вещи, я спросил Жильберту, нет ли у нее распроданной брошюры, в которой Бергот говорит о Расине. Она попросила меня напомнить ей точное заглавие, и вечером я послал ей коротенькую телеграмму, надписав на конверте имя Ж_и_л_ь_б_е_р_т_а С_в_а_н, которым были украшены все мои тетради. На другой день она принесла мне в пакетике, перевязанном лиловой ленточкой и запечатанном белым воском, брошюру, которую велела разыскать для меня. «Видите, это как раз то, о чем вы меня просили», — сказала она мне, вынимая из муфты посланную мной вчера телеграмму. Но в адресе этого листочка, посланного пневматической почтой, — который вчера еще был только исписанным мной куском синей бумаги, но после того, как телеграфист вручил его консьержу Жильберты и лакей принес в ее комнату, стал бесценной вещью, именно: одним из полученных ею в тот день p_e_t_i_t_s b_l_e_u_s, — я с трудом узнал написанные моим почерком одинокие ничтожные строки, настолько они были испещрены почтовыми штемпелями, надписями карандашом, сделанными почтальоном, знаками реального воплощения, печатями внешнего мира, символическими фиолетовыми лентами самой жизни, которые впервые оплетали, подкрепляли, возвышали мою мечту, впервые приносили ей радость.

Был и такой день, когда она сказала мне: «Знаете, вы можете называть меня Жильбертой. Во всяком случае, я буду называть вас по имени, а так стеснительно». Все же еще некоторое время она продолжала называть меня просто вы, и когда я обратил на это ее внимание, она улыбнулась и, сочинив, построив фразу, вроде тех, что приводятся в грамматиках иностранных языков только с той целью, чтобы научить нас употреблению какого-нибудь нового слова, она закончила ее моим именем. И, припоминая впоследствии то, что я почувствовал тогда, я мог различить впечатление, будто я сам одно мгновение побывал на устах Жильберты, голый, лишенный всех социальных качеств, принадлежавших, кроме меня, также и другим ее товарищам, или, когда она произносила мою фамилию, также и моим родным, качеств, от которых губы ее — в производимом ею усилии (несколько напоминавшем манеру ее отца) произносить особенно явственно слова, которые она хотела подчеркнуть, — как будто очистили меня, которые они как бы совлекли с меня, вроде того, как мы снимаем кожуру с плода, желая съесть одну только его мякоть, между тем как взгляд ее, опускаясь на тот же, новый для меня, уровень интимности, на каком помещались теперь ее слова, достигал меня тоже более прямым путем и, сопровождаясь улыбкой, светился некоторой сознательностью, удовольствием и даже благодарностью.

Но в ту минуту я не мог оценить по достоинству эти новые для меня ощущения. Они не были даны девочкой, которую я любил, мне, любившему ее, — их дала другая девочка, та, с которой я играл, моему другому «я», не обладавшему ни воспоминанием о подлинной Жильберте, ни плененным сердцем, которое одно способно было бы познать цену счастья, ибо одно лишь жаждало его. Даже по возвращении домой я не вкушал их сладости, так как каждый день необходимость, заставлявшая меня надеяться, что завтра я добьюсь наконец ясного, спокойного и счастливого созерцания Жильберты, что она признается мне наконец в любви, объяснив, по каким причинам ей приходилось таиться от меня до сих пор, — эта самая необходимость принуждала меня ставить прошлое ни во что, всегда обращать свой взор лишь вперед и рассматривать маленькие знаки благоволения, оказанные мне Жильбертой, не сами по себе, как нечто самодовлеющее, но как новые ступеньки, позволявшие мне подвинуться на один шаг дальше по пути к достижению счастья, которого я еще не встретил.

Если она оказывала мне иногда эти знаки дружеского внимания, то причиняла также и огорчения, делая вид, будто встречи со мной не доставляют ей никакого удовольствия, и это часто случалось как раз в те дни, на которые я больше всего рассчитывал в смысле осуществления своих надежд. Я бывал уверен, что Жильберта придет на Елисейские поля, и находился в приподнятом настроении, казавшемся мне только бледным предвосхищением некоего огромного счастья, когда — входя поутру в гостиную поцеловать маму, уже совсем одетую к выходу, с тщательно причесанными черными волосами и с красивыми белыми пухленькими руками, еще пахнувшими мылом, — при виде столбика пыли, вертикально державшегося в воздухе над роялем, и при звуках шарманки, игравшей под окном «С парада возвращаясь», убеждался, что зима принимает до вечера неожиданный и лучезарный визит весеннего дня. Когда мы завтракали, дама из противоположного дома, распахнув свое окно, во мгновение ока прогоняла от моего стула — одним прыжком перелетавший через всю нашу столовую — солнечный луч, спокойно лежавший около меня и через мгновение снова возвращавшийся на свое место. В коллеже, на уроке, в первом часу дня, солнце заставляло меня томиться от нетерпения и скуки, проливая на пол золотистый поток до самой моей парты, словно приглашение на праздник, куда я не мог попасть раньше трех часов, момента, когда Франсуаза приходила за мной к воротам коллежа, и мы отправлялись на Елисейские поля по декорированным светом и запруженным толпой улицам, над которыми балконы, распечатанные солнцем и подернутые дымкой, плавали перед домами как золотые облака. Увы! На Елисейских полях я не находил Жильберты; она еще не пришла. Неподвижно застыв на лужайке, питаемой невидимым солнцем, которое там и сям зажигало золотым пламенем стебельки травы, и усеянной голубями, имевшими вид античных скульптур, извлеченных мотыгой садовника на поверхность священной почвы, я стоял со взором, жадно устремленным к горизонту, ожидая, что вот-вот Жильберта в сопровождении гувернантки появится из-за статуи, которая точно протягивала ребенка, купавшегося у нее на руках в потоках света, под благословение солнца. Старуха, читавшая Journal des Debats, сидела в своем кресле, все на том же месте; заметив садового сторожа, она приветствовала его дружеским жестом и восклицанием: «Какая прекрасная погода!» И когда надсмотрщица подходила к ней получить плату за кресло, она с тысячей ужимок засовывала полученный за десять сантимов билет в отверстие перчатки, словно это был букет, для которого она искала, из любезности к дарителю, самое лестное местечко. Найдя его, она делала движение шеей, поправляла боа и дарила надсмотрщице, показывая ей кончик желтой бумажки, торчавшей из разреза перчатки, ту очаровательную улыбку, с какой женщина говорит молодому человеку, показывая себе на грудь: «Узнаете ваши розы?»

Сгорая желанием увидеть Жильберту, я тащил Франсуазу до самой Триумфальной арки, но мы не встречали ее, и я возвращался на лужайку в убеждении, что она не придет, как вдруг, перед каруселями, навстречу мне бросалась девочка, обладательница резкого голоса: «Скорее, скорее, Жильберта уже четверть часа здесь! Она собирается скоро уходить. Мы ждем вас, чтобы начать бегать взапуски». В то время как я поднимался по авеню Елисейских полей, Жильберта пришла по улице Буаси-д'Англас. Воспользовавшись хорошей погодой, гувернантка отправлялась куда-нибудь по собственным делам; поэтому сам г-н Сван собирался приехать за дочерью. Таким образом, вина бывала моя, мне не следовало удаляться от лужайки, — ибо никогда мы не знали наверно, с какой стороны появится Жильберта, запоздает ли она, или нет, и это напряженное ожидание в заключение делало для меня волнующими не только Елисейские поля в целом и всю череду послеполуденных часов, как необъятный простор пространства и времени, в каждом из пунктов и в каждом из мгновений которого возможно было появление фигуры Жильберты, но и самую эту фигуру, так как я чувствовал, что в ней скрыта причина того, почему она поразила меня в самое сердце в четыре часа вместо половины третьего, увенчанная нарядной шляпой для визитов, вместо скромной шапочки для игр на лужайке, показавшаяся из-за Посольского сквера, а не между двух кукольных театров, — я угадывал, глядя на нее, одно из тех занятий Жильберты, в которых я не мог участвовать и которые заставляли ее выходить или оставаться дома, — я соприкасался с тайной ее неведомой жизни. Эта самая тайна волновала меня также, когда, мчась по приказанию девочки с резким голосом на лужайку, чтобы немедленно приступить к нашей игре, я видел, как Жильберта, такая живая и бесцеремонная в обращении с нами, делала реверанс даме, читавшей Journal des Debats (которая приветствовала ее словами: «Какое чудное солнце! Кажется, будто сидишь у печки»), и разговаривала с ней с робкой улыбкой, с чинным видом, вызывавшим во мне образ другой девочки, какой Жильберта была, должно быть, дома с родителями или в гостях у знакомых своих родителей и вообще во всей той части своей жизни, которая оставалась для меня недоступной. Но никто не давал мне более яркого впечатления этой жизни, чем г-н Сван, приезжавший через некоторое время за дочерью. Объяснялось это тем, что он и г-жа Сван — так как дочь их жила с ними, так как ее учение, игры, знакомства зависели от них, — содержали, подобно Жильберте, а может быть даже в большей степени, чем Жильберта, как и подобало существам, обладавшим всей полнотой власти над нею, какую-то недоступную для меня, проистекавшую из этой власти тайну, какое-то мучительное очарование. Все, что их касалось, было для меня предметом столь неослабного интереса, что в дни, когда г-н Сван (которого я так часто видел в детстве, в то время, когда он был близок с моими родными, причем он не возбуждал во мне никакого любопытства) приезжал за Жильбертой на Елисейские поля, вид его, после того, как прекращалось мое сердцебиение, вызванное появлением его серого цилиндра и пальто с пелериной, потрясал меня точно вид исторического персонажа, о котором незадолго перед тем мы прочли ряд исследований и малейшие подробности жизни которого нас страстно волнуют. Его знакомство с графом Парижским, к которому, когда я слышал разговор о нем в Комбре, я относился с полным равнодушием, приобретало теперь в моих глазах характер какого-то чудесного события, как если бы никто другой никогда не был знаком с Орлеанами; оно резко выделяло его на вульгарном фоне разношерстной публики, наводнявшей эту аллею Елисейских полей; и я восторгался его согласием выступать публично, не требуя никаких особых знаков внимания к себе, которых, впрочем, никто и не думал ему оказывать, настолько глубоким было окутывавшее его инкогнито.

Он вежливо отвечал на поклоны подруг Жильберты, и даже на мой, несмотря на размолвку с моей семьей, но не подавал виду, что узнаёт меня. (Это движение напомнило мне, что он очень часто виделся со мной в Комбре; я сохранил о нем воспоминание, но оно пребывало где-то в тени, потому что с тех пор, как я вновь увидел Жильберту, Сван сделался для меня главным образом ее отцом и перестал быть Сваном из Комбре; как мысли, с которыми я переплетал теперь его имя, были отличны от мыслей, в сочетание которых он некогда входил и к которым я больше не обращался, когда мне случалось в последнее время думать о нем, так и сам он стал совсем новым для меня лицом; все же я связывал его искусственной какой-то, непрочной и косой нитью с нашим прежним гостем; и так как вещи имели теперь для меня цену лишь поскольку моя любовь могла извлечь из них выгоду, то воспоминание о прошлом вызывало у меня прилив стыда и сожаление о моем бессилии вычеркнуть из жизни годы, когда в глазах этого самого Свана — который находился в настоящий момент передо мной на Елисейских полях и которому Жильберта, к счастью, не сказала, вероятно, моей фамилии, — я так часто выглядел по вечерам смешным, посылая маме просьбу подняться в мою комнату и поцеловать меня в постели, в то время как она пила кофе со Сваном, с моим отцом и моими бабушкой и дедушкой за столом в саду.) Он позволял Жильберте сыграть еще одну партию, говоря, что может подождать четверть часа, и, сев на железный стул, подобно остальным гуляющим, брал билет той самой рукой, которую так часто пожимал Филипп VII, мы же начинали играть на лужайке, распугивая голубей, и птицы с красивыми переливчатыми телами, имевшими форму сердца и похожими на кисти сирени из птичьего царства, укрывались, как в безопасные места, одна — на большую каменную вазу, где, погрузив в нее клюв, принимала такое положение, точно она лакомится переполнявшими вазу плодами или зернами, другая — на голову статуи, которую как бы увенчивала одним из тех эмалевых украшений, красочность которых оживляет в некоторых античных скульптурах монотонность камня, и неким атрибутом, который, когда его носит богиня, наделяет ее особым эпитетом и обращает ее, как это делают по отношению к смертным различные имена, в новое божество.

В один из таких солнечных дней, не осуществивших моих надежд, у меня недостало мужества скрыть свое разочарование от Жильберты.

— Я хотел расспросить вас сегодня о стольких вещах, — сказал я ей. — Я думал, что этот день будет иметь большое значение для нашей дружбы. И вот, едва только вы пришли, как уже собираетесь уходить! Постарайтесь прийти завтра пораньше, чтобы я мог наконец поговорить с вами.

Лицо ее просияло, и, запрыгав от радости, она отвечала:

— На завтра не рассчитывайте, милый друг, завтра я не приду! Утром у меня большой прием; затем, днем я иду к подруге посмотреть из ее окон на прибытие короля Феодосия, это будет великолепное зрелище; послезавтра меня берут в театр на «Мишеля Строгова», а потом скоро Рождество и новогодние вакации. Может быть, меня повезут на Юг, — как это было бы шикарно! Хотя таким образом мне придется лишиться елки; во всяком случае, даже если я останусь в Париже, я не буду приходить сюда, потому что буду делать визиты с мамой. До свиданья, вон папа зовет меня.

Я возвратился с Франсуазой домой по улицам, еще ипещренным, солнцем, как вечером святочного дня, когда празднество уже кончилось, я еле волочил ноги.

— Ничего нет удивительного, — говорила Франсуаза, — погода не по сезону, слишком жарко. Ах, Боже мой, Боже мой, сколько, должно быть, всюду больных! Бедняжки! Наверное, там наверху что-нибудь не в порядке.

Подавляя рыдания, я мысленно повторял слова Жильберты, дышавшие такой неподдельной радостью, когда она говорила, что ей придется надолго прервать посещение Елисейских полей. Но уже очарование, под власть которого, просто благодаря своей работе, подпадал мой ум, как только он начинал думать о Жильберте, уже привилегированное и единственное — хотя бы даже мучительное — положение, в которое меня неизбежно ставил по отношению к Жильберте внутренний процесс, происходивший в душевной моей ране, начали понемногу окружать даже это явное свидетельство ее равнодушия ко мне неким романтическим ореолом, и на моем заплаканном лице уже складывалась улыбка, являвшаяся не чем иным, как робким намеком на поцелуй. И когда наступил час прихода почтальона, я сказал себе в тот вечер, как говорил все последующие вечера: «Сейчас мне принесут письмо от Жильберты, она скажет мне наконец, что никогда не переставала меня любить, и объяснит мне таинственную причину, в силу которой она была вынуждена скрывать от меня до сих пор свои чувства, делать вид, будто может быть счастлива, не видясь со мной, — причину, в силу которой она приняла внешность другой Жильберты, простого товарища детских игр».

Каждый вечер я тешил себя воображаемым получением этого письма, мне казалось, что я действительно читаю его, я произносил вслух каждую его фразу. Вдруг я в испуге останавливался. Меня озаряла мысль, что если я действительно получу письмо от Жильберты, то оно, во всяком случае, будет другим, ибо то письмо я сам только что сочинил. И с этого момента я всячески старался отвратить мои мысли от слов, которые мне хотелось бы прочесть в ее письме, из боязни, как бы, остановив на них свой выбор, я не исключил именно их — самых милых, самых желанных — из числа подлежащих осуществлению возможностей. Даже если бы случилось невероятное и Жильберта прислала мне как раз то самое письмо, которое было сочинено мною самим, то, узнав в нем свое произведение, я не испытал бы чувства, будто получаю нечто исходящее не от меня, нечто реальное, новое, некое внешнее моему уму и независимое от моей воли счастье, подлинный дар любви. В ожидании письма я перечитывал страницу, которая хотя и не была написана Жильбертой, но, по крайней мере, приходила ко мне от нее, страницу из той брошюры Бергота о красоте вдохновлявших Расина старых мифов, которую, вместе с агатовым шариком, я постоянно хранил подле себя. Я был умилен добротой моей подруги, позаботившейся разыскать эту брошюру для меня; и так как каждый чувствует потребность найти какие-нибудь разумные оправдания своей страсти, вплоть до того, что бывает счастлив открыть в любимом существе качества, которые книги или разговоры научили его рассматривать как качества, достойные нашей любви, вплоть до того, что усваивает их путем подражания и рассматривает как новые доводы в пользу своей любви, хотя бы эти качества были диаметрально противоположны тем, какие наша любовь искала бы, будучи предоставлена самой себе, — вроде того, как Сван пытался когда-то эстетически оправдать тип красоты Одетты, — то я, сначала, в комбрейские времена, полюбивший Жильберту за ореол таинственности, окружавший ее жизнь, в которую мне так хотелось окунуться, воплотиться, отбросив прочь свою собственную, как вещь, лишенную всякой цены, — я рассматривал теперь как бесценное сокровище то, что Жильберта может стать однажды смиренной служанкой этой так хорошо известной мне и так опостылевшей мне жизни, удобной и толковой сотрудницей, которая будет помогать мне по вечерам в моей работе, будет сверять для меня тексты рукописей. Что же касается Бергота, этого бесконечно мудрого и почти божественного старца, явившегося причиной моей любви к Жильберте еще прежде, чем я увидел ее, то теперь, наоборот, Жильберта была главной причиной моей любви к нему. С таким же наслаждением, как и страницы, написанные им о Расине, я изучал бумажную обертку, запечатанную большими печатями из белого воска и перевязанную лиловыми ленточками, в которой она принесла мне брошюру Бергота. Я целовал агатовый шарик, являвшийся самой драгоценной частью сердца моей подруги, частью не суетной, но верной, которая хотя и была украшена таинственным очарованием жизни Жильберты, однако находилась подле меня, обитала в моей комнате, спала в моей постели. Но красота этого камня, а также красота этих страниц Бергота, которую я счастлив был ассоциировать с мыслью о моей любви к Жильберте, как если бы она сообщала этой любви своего рода устойчивость в минуты, когда она, казалось, переставала существовать, — красота этих вещей, как я ясно сознавал, предшествовала моей любви, не была на нее похожа; я сознавал, что элементы ее были установлены талантом писателя или минералогическими законами еще до знакомства Жильберты со мной, что книга и камень ни в чем не изменились бы, если бы Жильберта не любила меня, и ничто, следовательно, не давало мне права рассматривать их как весть счастья. И в то время как любовь моя, непрестанно ожидая от завтрашнего дня признания любви Жильберты, каждый вечер разрушала, уничтожала плохо исполненную в течение дня работу, — невидимая ткачиха, притаившаяся в темном уголке моего существа, не браковала оборванные нити, но располагала их — не заботясь о том, понравится ли мне ее изделие и будет ли содействовать моему счастью, — в другом порядке, какой был свойствен всем вообще ее изделиям. Не проявляя особенного интереса к моей любви, не считая ответной любви Жильберты фактом бесспорным, она группировала поступки Жильберты, казавшиеся мне необъяснимыми, и ее провинности, которые я прощал. В результате и те и другие приобретали смысл. Этот новый порядок, казалось, говорил мне, что, видя, как Жильберта вместо Елисейских полей идет в гости, совершает прогулки с гувернанткой и собирается уехать на новогодние вакации, я был не прав, утешая себя: «это оттого, что она легкомысленная или очень послушная девочка». Ибо если бы она любила меня, то перестала бы быть и легкомысленной и послушной, и если бы вынуждена была повиноваться, то делала бы это с тем же отчаянием, какое испытывал я в дни, когда не видел ее. Он говорил мне также, этот новый порядок, что мне следовало бы лучше знать, что такое любовь, раз сам я любил Жильберту; он ставил мне на вид постоянную мою заботу появляться перед ней в выгодном свете — в силу которой я пытался убедить маму купить Франсуазе непромокаемое пальто и шляпу с синим пером или, еще лучше, не посылать меня на Елисейские поля в сопровождении этой служанки, которой я стыдился (на что мама отвечала, что я несправедлив к Франсуазе, так как она превосходная женщина и предана нам), — а также единственную, исключительную потребность видеть Жильберту, в результате которой, уже за несколько месяцев заранее, я только и думал о том, как бы разузнать, когда она собирается покинуть Париж и куда едет, находя, что самая прелестная страна в мире окажется лишь местом ссылки, если ее не будет там, и не желая ничего лучшего, как остаться в Париже навсегда, если мне будет обеспечена возможность видеть ее на Елисейских полях; и он без труда доказывал мне, что ни этой заботы, ни этой потребности я не найду в поступках Жильберты. В противоположность мне, она относилась с большим уважением к своей гувернантке, нисколько не интересуясь моим мнением о ней. Она находила как нельзя более естественным не появляться на Елисейских полях, если ей нужно было делать покупки с мадемуазель, и с большим удовольствием пренебрегала нашими играми, когда выезжала куда-нибудь со своей матерью. И даже предположив, что она позволила бы мне приехать на вакации в то место, куда она собиралась сама, все же при выборе этого места она приняла бы во внимание желание своих родителей, тысячу всевозможных развлечений, о которых ей говорили, но не придала бы ни малейшего значения намерению моей семьи послать меня именно в это место. Когда она заявляла мне иногда, что любит меня меньше, чем того или другого из своих приятелей, меньше, чем любила меня вчера, потому что вследствие моей неловкости проиграла партию, я просил у нее прощения, я спрашивал, что нужно сделать, чтобы она вновь начала любить меня по-прежнему, чтобы она полюбила меня больше, чем других; я надеялся услышать от нее, что желание мое уже исполнено; я умолял ее, словно она могла изменить свои чувства ко мне по собственной или моей воле, чтобы доставить мне удовольствие, просто при помощи своих слов, в зависимости от того, каким будет мое поведение: хорошим или дурным. Неужели же я еще не понял, что мои собственные чувства к ней не зависят ни от ее поступков, ни от моей воли?

Он говорил, наконец, этот новый узор, в котором располагала факты невидимая ткачиха, что, хотя мы можем тешить себя надеждой, будто поступки особы, до сих пор причинявшей нам одни огорчения, были неискренни, все же в своей совокупности они приобретают такую ясность, что ее бессильны затемнить наши надежды, и именно к этому уяснившемуся нам их смыслу, а не к нашим надеждам, должны мы обращаться с вопросом, каково будет завтрашнее поведение интересующей нас особы.

Эти трезвые речи доносились до слуха моей любви; они убеждали ее в том, что завтрашний день не будет отличаться от всех прочих дней; что чувством Жильберты ко мне, слишком уже давнишним для того, чтобы оно могло подвергнуться изменению, было равнодушие; что в наших дружеских отношениях с Жильбертой один только я любил. «Это правда, — отвечала моя любовь, — от такой дружбы больше нечего ожидать, больше в ней не произойдет никаких изменений». И вот на следующий день (или откладывая до какого-нибудь праздника, если таковой должен был скоро наступить, до Нового года, например, до одного из тех дней, которые не похожи на другие дни, когда время начинает течь сызнова, отбросив прочь наследие прошлого, не принимая завещанных ему горестей) я мысленно просил Жильберту покончить с нашей прежней дружбой и заложить основы дружбы совсем новой, до сих пор никогда еще между нами не существовавшей.

У меня под рукой всегда был план Парижа, который, на том основании, что на нем можно было отыскать улицу, где жили г-н и г-жа Сван, содержал в моих глазах некое сокровище. И вот, для собственного удовольствия, а также соблюдая своего рода рыцарскую верность, я, по всякому подходящему и неподходящему поводу, повторял название этой улицы, так что мой отец, не посвященный, подобно матери и бабушке, в тайны моей любви, спрашивал меня:

— С чего это ты все время твердишь об этой улице? В ней нет ничего особенного. Жить на ней, правда, приятно, потому что она в двух шагах от Булонского леса, но таких улиц можно насчитать десяток.

Я прибегал ко всевозможным уловкам, чтобы заставить моих родных произнести имя Сван; конечно, я сам беспрестанно повторял его про себя; но я ощущал также потребность слышать его сладостные звуки и наслаждаться этой музыкой, мысленное воспроизведение которой не удовлетворяло меня. Нужно заметить, впрочем, что это имя С_в_а_н, известное мне уже с таких давних пор, стало теперь для меня, — чувство, которое испытывают иногда лица, страдающие потерей речи, произнося самые обыкновенные слова, — именем совсем новым. Оно всегда присутствовало в моем сознании, и все же мое сознание никак не могло привыкнуть к нему. Я разлагал его на части, произносил по складам, — его орфография каждый раз была для меня неожиданностью. И, перестав быть привычным и близким, оно в то же время перестало казаться мне невинным. Наслаждение, которое я испытывал, слушая его, я считал столь преступным, что мне казалось, будто другие читают мои мысли и переменят разговор, если я сделаю попытку направить его в эту сторону. Я то и дело возвращался к темам, касавшимся Жильберты, без конца твердил одни и те же слова, и хотя знал, что это только слова — слова, произносимые вдали от нее, которых она не слышала, слова бессильные, повторявшие то, что было, но неспособные изменить фактов, — но мне все же казалось, что, благодаря постоянному сосредоточению моего внимания на вещах, соприкасавшихся с Жильбертой, постоянной моей возне с этими вещами, я извлеку из них, может быть, нечто такое, что принесет мне счастье. Я сто раз повторял своим родным, что Жильберта очень любит свою гувернантку, как если бы произнесение в сотый раз этого утверждения способно было в заключение внезапно ввести Жильберту в наш дом и навсегда водворить ее в нем. Я пел хвалебные гимные старой даме, читавшей Journal des Debats (я внушил своим родным, что она по меньшей мере вдова посла, если не высочество), и прославлял ее красоту, ее великолепие, ее благородство, пока не сказал однажды, что слышал, как Жильберта назвала ее г-жой Блатен.

— Ах, я поняла теперь, о ком ты говоришь, — воскликнула матушка, между тем как я чувствовал, что щеки мои заливает румянец. — Будем на страже! Будем на страже! — как говаривал твой покойный дедушка. И ты находишь ее красивой? Но она ведь урод и всегда была уродом. Это вдова пристава. Ты, значит, совсем не помнишь ухищрений, к которым я прибегала, чтобы уклониться от встречи с ней на твоих уроках гимнастики, когда ты был маленький; не будучи знакома со мной, она то и дело пыталась подойти ко мне и завести разговор о тебе под предлогом, что находит тебя «слишком миловидным для мальчика». У нее всегда была мания заводить знакомства, и она, наверное, полоумная, как я давно это думала, если действительно знакома с г-жой Сван. Будь она самого низкого происхождения, я никогда не сказала бы о ней ничего дурного. Но ей во что бы то ни стало нужно завязывать знакомства. Это ужасная, вульгарная женщина, и вдобавок с большими претензиями.

Что же касается Свана, то, чтобы придать себе сходство с ним, я все время, сидя за столом, вытягивал себе нос и протирал глаза. Отец говорил: «Мальчик совсем с ума сошел; он хочет изуродовать себя». Больше всего мне хотелось быть таким же лысым, как Сван. Он был в моих глазах существом необыкновенным, и я считал невероятным, чтобы лица, у которых я бывал, тоже знали его, и чтобы с ним можно было встретиться где-нибудь в доме или на улице, как с другими смертными. И однажды мама, рассказывая нам за обедом, как обыкновенно, где она была днем и что делала, при помощи самых обыкновенных слов: «Кстати, угадайте, кого я сегодня встретила, в Труа Картье, в отделении зонтиков: Свана!» — вдруг оживила свое сухое для меня повествование, как если бы в бесплодной пустыне распустился некий таинственный цветок. Какое меланхолическое наслаждение узнать, что сегодня, замешавши в толпе свою сверхъестественную фигуру, Сван покупал зонтик! Посреди крупных и мелких событий дня, одинаково безразличных для меня, только это появление Свана в магазине Труа Картье вызывало во мне те своеобразные токи, которыми неизменно была напряжена моя любовь к Жильберте. Мой отец жаловался, что я ничем не интересуюсь, так как я пропускал мимо ушей разговоры о политических последствиях, которые могло иметь посещение Парижа королем Феодосием, гостем Франции в тот момент и, как утверждали, ее союзником. Но как зато жаждал я узнать, был ли Сван в своем пальто с пелериной!

— Вы поздоровались друг с другом? — спросил я.

— Ну конечно, — отвечала мама, у которой всегда был такой вид, точно она боялась, как бы, признав натянутость наших отношений со Сваном, она не породила у своего собеседника желания примирить нас и ей не пришлось знакомиться с г-жой Сван, на что она никогда бы не согласилась. — Он первый поздоровался со мной, я не заметила его в толпе.

— Значит, вы не в ссоре?

— В ссоре? Откуда ты взял, что я с ним в ссоре? — поспешно проговорила мама, как если бы я посягнул на фикцию ее дружественных отношений со Сваном и попытался «содействовать их сближению».

— Он, может быть, недоволен, что мы больше не приглашаем его к себе?

— Никто не обязан приглашать к себе всех своих знакомых; а разве он когда-нибудь приглашал меня? Я незнакома с его женой.

— Но приходил же он к нам в Комбре.

— Ну да, приходил! Комбре — одно, а Париж — другое, здесь у него есть дела поважнее, да и у меня тоже. Но уверяю тебя, что мы совсем не производили впечатления людей, находящихся в ссоре друг с другом. Некоторое время мы оставались вместе, пока ему заворачивали покупку. Он спросил меня, как ты поживаешь, и сказал, что ты играешь с его дочерью, — продолжала мама, приведя меня в восторг чудесным откровением, что я существовал в уме Свана, — больше того, — что я обладал в его уме достаточной полнотой существования, ибо, когда я стоял перед ним, трепеща от любви, на Елисейских полях, он знал мое имя, кто такая моя мать, и мог сочетать с моим качеством товарища игр своей дочери кое-какие сведения относительно моих бабушки и дедушки, их семьи, местности, в которой мы жили, некоторые подробности из нашей прошлой жизни, может быть даже неизвестные мне самому. Но мама не нашла, по-видимому, ничего особо привлекательного в этом зонтичном отделении магазина Труа Картье, где она представляла для Свана, в момент, когда он видел ее, определенную личность, с которой у него было достаточно общих воспоминаний, побудивших его подойти к ней и поздороваться с нею.

Ни она, впрочем, ни отец не находили, по-видимому, в разговоре о семье Свана, о бабушке и дедушке Жильберты, о звании почетного биржевого маклера какого-либо особенного, из ряда вон выходящего удовольствия. Мое воображение обособило и окружило священным ореолом в парижском обществе определенную семью, подобно тому как оно выделило из парижских построек определенный дом, фасад которого украсило скульптурам, а окна покрыло драгоценной росписью. Но я один способен был увидеть эти украшения. Если мой отец и моя мать находили дом, в котором жил Сван, похожим на другие дома, построенные одновременно с ним в квартале Булонского леса, то и семья Свана принадлежала в их глазах к той же категории, что и многие другие семьи биржевых маклеров. Большая или меньшая благоприятность их суждения о ней определялась степенью, в какой эта семья обладала общепризнанными положительными качествами, и они не находили в ней ничего исключительного. Напротив, то, что они ценили в ней, они в равной или даже в большей мере находили и в других семьях. Так, признав, что дом Сванов хорошо расположен, они говорили затем, что такой-то другой дом расположен еще лучше, между тем как дом этот не имел никакого касательства к Жильберте, или же заводили речь о финансистах гораздо более высокого ранга, чем был ее дедушка; и если иногда казалось, будто они разделяют мое мнение, то это впечатление основывалось на недоразумении, которое вскоре рассеивалось. Ибо для различения в окружающем Жильберты некоего невидимого качества, аналогичного в сфере эмоций тому, чем является в сфере цветов инфракрасный цвет, необходимо было обладать своеобразным дополнительным чувством, которым, на время, когда я был охвачен ею, наделяла меня любовь; но этого чувства были лишены мои родители.

В дни, когда Жильберта объявляла, что не придет на Елисейские поля, я старался делать прогулки, которые несколько приближали бы меня к ней. Иногда я увлекал Франсуазу в паломничество к дому, где жили Сваны.

Я заставлял ее без конца повторять мне то, что она узнала относительно г-жи Сван от гувернантки Жильберты. «Кажется, она очень верит в чудотворную силу образков. Она ни за что не отправится в путешествие, если услышит крик совы, или как бы тиканье часов в стене, или увидит кошку в полночь, или если раздастся треск мебели. О, это очень, очень верующая дама!» Я был настолько влюблен в Жильберту, что если замечал по пути старого метрдотеля Сванов, выведшего на улицу собачку, то от волнения бывал принужден остановиться и впивался страстными взорами в его седые бакенбарды. Франсуаза говорила мне: «Что с вами такое?» — и мы продолжали наш путь до самого подъезда их дома, где консьерж, непохожий ни на какого другого консьержа в мире и насыщенный, вплоть до позументов на ливрее, тем захватывавшим дух очарованием, которое было для меня скрыто в имени Ж_и_л_ь_б_е_р_т_а, смотрел на меня с таким видом, точно он знал, что я принадлежу к числу людей, по самой своей природе недостойных когда-нибудь проникнуть в таинственную жизнь, которую ему поручено было охранять и над которой окна антресолей, казалось, сознавали, что они заботливо закрыты, и были гораздо меньше похожи, вместе с благородно очерченными дугами своих муслиновых занавесок, на окна других домов, чем на лучистые глазки Жильберты. В другие дни мы гуляли по бульварам, и я усаживался на углу улицы Дюфо; мне сказали, что оттуда часто можно было видеть Свана, направлявшегося к своему дантисту; и мое воображение настолько обособляло отца Жильберты от остального человечества, его присутствие в реальной толпе казалось таким чудесным, что, еще задолго до Мадлены, меня наполняла волнением мысль, что я подхожу к улице, где в любой момент меня может неожиданно ослепить сверхъестественное видение.

Но чаще всего — в дни, когда я был лишен возможности видеть Жильберту, — узнав, что г-жа Сван почти каждый день гуляет по А_л_л_е_е а_к_а_ц_и_й, вокруг большого озера и по А_л_л_е_е к_о_р_о_л_е_в_ы М_а_р_г_а_р_и_т_ы, — я увлекал Франсуазу по направлению к Булонскому лесу. Он был для меня как бы одним из тех зоологических садов, где собраны различные флоры и контрастные пейзажи; где от холма посетитель переходит к гроту, лужайке, скалам, речке, канаве, другому холму, болоту, зная, однако, что все это создано лишь для того, чтобы дать возможность гиппопотаму, зебрам, крокодилам, кроликам, медведям и цапле чувствовать себя привольно в естественной или живописной обстановке; Булонский лес, такой же сложный, так же объединявший множество различных и обособленных мирков — чередовавший площадку, засаженную красными деревьями, американскими дубами, словно показательное лесное хозяйство в Виргинии, с еловой рощей на берегу озера или с тенистой аллеей, в которой вдруг появлялась, закутанная пушистым мехом, с красивыми глазами дикого зверька, куда-то торопившаяся фигура гуляющей, — Булонский лес был С_а_д_о_м Ж_е_н_щ_и_н; и — подобно миртовой аллее из «Энеиды» — засаженная для их услады деревьями одного вида, А_л_л_е_я а_к_а_ц_и_й была излюбленным местом для прогулок прославленных красавиц. Подобно тому, как уже издали верхушка скалы, откуда морской лев бросается в воду, наполняет восторгом детей, знающих, что они сейчас увидят это животное, так и мне, когда я подходил к Аллее акаций, разливавшееся кругом благоухание этих деревьев издали давало почувствовать присутствие некоего совершенно исключительного, мощного и нежного растительного царства; затем, по мере моего приближения, вид верхушек акаций, покрытых легкой колыхавшейся листвой, непринужденно-изящных, кокетливо очерченных и нежно сотканных, на которых сотни цветов сидели, словно крылатые и подвижные рои драгоценных насекомых, — и даже женское их имя, лениво-беспечное и сладкое, — заставляли сильнее биться мое сердце, наполняя меня суетными желаниями, как те вальсы, что вызывают в нашем сознании имена лишь красивых женщин, громко возвещаемые лакеем при входе их носительниц в бальный зал. Мне говорили, что я увижу на аллее целую гирлянду элегантных женщин, которых, хотя и не все они были замужем, называли обыкновенно вместе с г-жой Сван, но большею частью по их прозвищам; их новые фамилии, если таковые у них бывали, являлись лишь своего рода инкогнито, которые лица, желавшие завести речь об их носительницах, всегда раскрывали, чтобы быть понятыми собеседником. Полагая, что Прекрасное — в отношении женской элегантности — было подчинено сокровенным законам, в тайны которых они были посвящены, и что они обладали силой призывать его к жизни, я заранее принимал, как некое откровение, их туалеты, их выезды, тысячу мелких подробностей, которые я насквозь пронизывал своей верой, точно душой, сообщавшей связность произведения искусства этому эфемерному и текучему зрелищу.

Но я желал увидеть г-жу Сван и с глубоким волнением ожидал ее появления, как если бы она была Жильбертой: родители Жильберты, насыщенные, как и все окружавшее ее, особенным, свойственным ей очарованием, возбуждали во мне столь же страстную любовь, как и сама она, такое же, и даже более мучительное смятение чувств (ибо пунктом их соприкосновения с нею была та внутренняя, интимная сторона ее жизни, которая оставалась для меня запретной), и наконец (ибо я вскоре узнал, как будет видно из дальнейшего, что им не нравились ее игры со мной) то чувство преклонения, которое мы всегда испытываем по отношению к людям, обладающим безграничной властью причинять нам зло.

В порядке эстетических достоинств и светских качеств первое место отводил я простоте в те минуты, когда замечал г-жу Сван пешком, в «полонезе», в маленькой шапочке, украшенной фазаньим крылом, с букетиком фиалок на груди; она торопливо проходила по Аллее акаций, как если бы аллея эта была просто кратчайшим путем, по которому она возвращалась домой, и отвечала беглыми приветливыми взглядами галантным мужчинам в экипажах, которые, издали завидев ее силуэт, кланялись ей и говорили друг другу, что другой такой шикарной женщины нет. Но простота уступала в моем сознании место помпезной пышности, если, уломав Франсуазу, которая отказывалась идти дальше, заявляя, что она «ног под собой не слышит», погулять со мной еще часок, я замечал на аллее, ведущей к Воротам дофина, — образ, производивший на меня впечатление царственного великолепия, какого никогда впоследствии не способна была произвести ни одна настоящая королева, ибо мое представление о королевском могуществе было не столь неопределенным и основывалось на более точных данных, — влекомую резвым бегом пары горячих лошадей, стройных и извивавшихся, как мы видим их на рисунках Константина Ги, с восседавшим на козлах огромным кучером, в подбитом ватой русском армяке, рядом с маленьким грумом, напоминавшим «тигра» «покойного Боднора», — я замечал — или, вернее, чувствовал, как очертания ее запечатлеваются в моем сердце четкой и болезненной раной, — несравненную викторию с приподнятым выше обычного кузовом и с ясно ощутимыми, сквозь роскошную отделку по самой последней моде, старинными формами, в глубине которой сидела, небрежно откинувшись на спинку, г-жа Сван, с единственной седой прядью в светлых теперь волосах, повязанных тоненькой гирляндой цветов, чаще всего фиалок, из-под которой ниспадали длинные вуали, с сиреневым зонтиком в руке, с двусмысленной улыбкой на устах, в которой я видел лишь снисходительную благосклонность королевы, хотя она содержала в себе скорее вызов кокотки, — улыбкой, которую она приветливо обращала ко всем, кто ей кланялся. На самом деле эта улыбка говорила одним: «О да, я отлично помню, это было чудесное мгновение!» — другим: «Как бы я любила вас! Нам не повезло», — третьим: «Да, если вам угодно! Еще некоторое время я должна держаться вереницы экипажей, но, как только можно будет, я Сверну в сторону». Когда проезжали мимо незнакомые, на губах ее все же обрисовывалась ленивая улыбка, словно она ждала или вспоминала какого-то друга, — улыбка, вызывавшая у тех восклицание: «Как она красива!» И лишь для очень немногих улыбка ее бывала кислой, принужденной, робкой и холодной, обозначавшей: «Да, старая кляча, я знаю, что у вас язычок ехидный, что вы не умеете держать его за зубами! Но неужели вы думаете, что я обращаю внимание на ваше злословие?» Прошел Коклен, громко разговаривая о чем-то с окружавшими его спутниками и приветствуя широким театральным жестом своих знакомых, проезжавших в экипажах. Но я думал об одной только г-же Сван, притворяясь, будто еще не заметил ее, так как знал, что, доехав до Голубиного тира, она прикажет кучеру покинуть вереницу экипажей и остановиться, чтобы сойти с виктории и отправиться дальше пешком. И в дни, когда я чувствовал себя достаточно храбрым, чтобы подойти к ней, я увлекал Франсуазу в этом направлении и через мгновение действительно замечал г-жу Сван на пешеходной аллее: она шествовала навстречу нам, волоча за собой длинный шлейф своего сиреневого платья, одетая так, как бывают одеты в воображении простого народа королевы, — в бархат и шелка, каких другие женщины не носили, опуская по временам взгляд на рукоятку своего зонтика, обращая мало внимания на проходивших мимо, как если бы главной ее задачей, единственной ее целью была прогулка как физическое упражнение, и ей не было никакого дела до того, что это упражнение она совершает на виду у всех и что взоры всех гуляющих устремлены на нее. Иногда, впрочем, оборачиваясь, чтобы подозвать свою борзую, она почти неприметно бросала кругом себя внимательный взгляд.

Даже лица не знавшие ее чувствовали, по некоторым исключительным и необыкновенным признакам, — или, может быть, в силу некоего телепатического воздействия, вроде того, какое Берма оказывала на невежественную публику, разражавшуюся бурными аплодисментами после особенно мастерских выступлений актрисы, — что они видят перед собой особу, пользовавшуюся широкой известностью.

Такие лица спрашивали друг друга: «Кто это?» — задавали иногда этот вопрос незнакомым или тщательно запоминали ее туалет, чтобы описать его затем более осведомленным своим друзьям, которые сразу могли бы пролить свет на интересовавший их вопрос. Другие гуляющие, приостанавливаясь, обменивались такими репликами:

— Вы знаете, кто это? Г-жа Сван! Это имя ничего не говорит вам? Одетта де Креси!

— Одетта де Креси? Я тоже так подумал; эти большие, печальные глаза… Но, в таком случае, она сейчас далеко не первой молодости! Помню, я проводил с ней ночь во время отставки Мак-Магона.

— На вашем месте я при встрече с ней не напоминал бы ей об этом. Она сейчас г-жа Сван, жена члена Жокей-клуба, друга принца Уэльского. Впрочем, и сейчас еще она великолепна.

— Да, но если бы вы знали ее в те времена! Что это была за красавица! Она жила в небольшом, очень эксцентричном особняке, заставленном всякой китайщиной. Помню, что нас ужасно беспокоили крики газетчиков, так что в конце концов она заставила меня встать и одеться.

Не слыша этих разговоров, я чувствовал, что г-жа Сван окружена ореолом славы. Сердце мое лихорадочно колотилось при мысли, что пройдет еще несколько мгновений, и все эти люди, среди которых я, к сожалению, не замечал одного банкира-мулата, относившегося, как мне казалось, с особенным презрением ко мне, увидят, как неизвестный молодой человек, на которого они не обращали никакого внимания, здоровается (не будучи, правда, знакомым с ней; но я считал, что у меня есть достаточно прав на это, так как мои родители были знакомы с ее мужем и сам я был товарищем игр ее дочери) с этой женщиной, чья красота, распутство и элегантность были общепризнанны. Но я был уже в двух шагах от г-жи Сван; я снимал перед ней шляпу таким широким движением руки и отвешивал ей такой продолжительный поклон, что она не могла удержаться от улыбки. Публика смеялась. Что же касается самой г-жи Сван, то она никогда не видала меня с Жильбертой и не знала моего имени, но я был для нее — как сторожа Булонского леса, как лодочник или утки на озере, которым она бросала крошки хлеба, — одним из второстепенных персонажей — коротко знакомых, безымянных, лишенных, подобно статистам, всякого индивидуального характера, — ее ежедневных прогулок в Булонском лесу. В иные дни, когда я не видел г-жи Сван на Аллее акаций, мне случалось встречать ее на Аллее королевы Маргариты, по которой гуляют женщины, желающие (или делающие вид, будто желают) быть в одиночестве; впрочем, она не долго оставалась в одиночестве, вскоре к ней подходил какой-нибудь незнакомый мне мужчина, большей частью в сером цилиндре, и заводил с ней продолжительный разговор, во время которого их экипажи медленно следовали за ними.

Эту сложность Булонского леса, обращавшую его в местность искусственную, в Сад, в зоологическом или мифологическом смысле этого слова, я вновь ощутил в текущем году, проходя через него по дороге в Трианон, однажды утром, в начале ноября, когда в Париже, в комнатах, близость от нас и в то же время недоступность нашим взорам зрелища осени, заканчивающегося так быстро, что мы не успеваем его воспринять, наполняют нас тоской по опавшим листьям, могущей обратиться в настоящую лихорадку, которая всю ночь не даст нам сомкнуть глаза. В моей наглухо закрытой комнате, вызванные моим желанием видеть их, листья эти уже в течение месяца располагались между моими мыслями и любым предметом, на котором я сосредоточивал свое внимание, беспорядочно кружась передо мной, как те желтые пятна, что иногда, куда бы мы ни смотрели, танцуют перед нашими глазами. И в то утро, не слыша больше, как в предшествовавшие дни, шума дождя, видя на углах опущенных занавесок улыбку хорошей погоды, вроде того, как на углах закрытого рта проскальзывает тайна наполняющего нас счастья, я почувствовал, что могу увидеть эти желтые листья наяву, пронизанные светом, во всем их великолепии; и, не будучи в силах подавить в себе желание взглянуть на деревья и остаться дома, как я бессилен был в дни моей юности; когда ветер особенно яростно завывал в моем камине, побороть желание съездить на берег; моря, я вышел на улицу с намерением отправиться, в Трианон через Булонский лес. Это был час дня и время года, когда Лес кажется, может быть, наиболее многоликим не только потому, что он содержит в себе наибольшее разнообразие, но также и потому, что разнообразие это особенное. Даже в открытых его частях, где взор охватывает широкое пространство, там и здесь, на фоне темной и далекой массы деревьев, теперь голых или все еще сохранивших свою летнюю листву, аллея оранжевых каштанов производила, точно едва начатая картина, такое впечатление, как будто она одна была написана красками на полотне, остальные части которого представляли лишь эскиз карандашом или углем, и, казалось, приглашала под насквозь пронизанную солнцем сень своей листвы группу гуляющих, которая будет дописана на полотне лишь впоследствии.

Дальше, там, где зеленый покров деревьев оставался нетронутым, один только низкорослый крепыш, подстриженный и упрямый, встряхивал на ветру своей безобразной огненно-красной гривой. В других местах листья были такими свежими, точно они едва только распустились, а чудесный ампелопсис, улыбавшийся, подобно зацветшему зимой розовому боярышнику, с самого утра, весь был как бы в цвету. И Лес являл вид чего-то временного, искусственного, не то питомника, не то парка, где, с научной ли целью, или для приготовления к празднеству, недавно посадили, посреди самых обыкновенных древесных пород, которых не успели еще удалить, две или три редкие разновидности, с фантастической листвой, создававшие впечатление, будто подле них много простора, много воздуха, много света. Словом, было время года, когда Булонский лес блещет наибольшим разнообразием флоры и располагает рядом самые несхожие части, образуя из них пестрое целое. Был также час дня, благоприятствовавший такому впечатлению. В тех местах, где деревья сохраняли еще свою листву, вещество ее, казалось, подверглось изменению там, где она была тронута солнечными лучами, еще почти горизонтальными в этот утренний час, каковыми они станут снова через некоторое время, в момент, когда, с началом сумерек, засветятся словно лампа, бросят издали на листву горячий и феерический отблеск и зажгут ярким пламенем вершину дерева, под которой несгораемым канделябром будет стоять тускло освещенный ствол. В одном месте лучи эти уплотнялись как кирпичи и, как на желтых с голубым узором стенах персидских построек грубо вмуровывали в небо листья каштанов; в другом напротив, отделяли их от неба, к которому те тянулись своими скрюченными золотыми пальцами. На середине ствола одного дерева, увитого диким виноградом, они прикрепляли огромный букет каких-то красных цветов, — может быть, разновидность гвоздики, — так ослепительно сверкавших, что их невозможно было разглядеть. Различные части Леса, летом сливавшиеся в однообразно зеленую массу густой листвы, теперь четко обособлялись друг от друга. Границы почти каждой из них отличались ярче освещенными пространствами или пышной листвой, вздымавшейся как расшитый золотом стяг. Я мог различить, словно на раскрашенной карте, Арменонвиль, Кателанский луг, Мадрид, Ипподром, берега Озера. По временам взорам моим представало какое-нибудь бесполезное сооружение, искусственный грот, мельница, которой давали место расступившиеся вокруг нее деревья или которая находила приют на мягкой зеленой мураве какой-нибудь лужайки. Чувствовалось, что Булонский лес был не только лесом, что он отвечал какому-то назначению, не имевшему ничего общего с жизнью деревьев, и что причиной моего возбужденного состояния было не только восхищение осенними красками, но и физическое желание. Обильный источник радости, которую душа испытывает, не сознавая сначала ее причины, не отдавая себе отчета в том, что причина эта совсем не внешнего происхождения! Вот почему умиленное созерцание деревьев не приносило мне удовлетворения, желание мое простиралось, дальше и бессознательно устремлялось к тому шедевру искусства, каким являются обрамленные этими деревьями красивые женщины, гуляющие здесь ежедневно в течение нескольких часов. Я направился к Аллее акаций через высокую рощу, где утреннее солнце, разбивая деревья на новые группы, подчищало и приукрашивало их, сочетало стволы разных пород, делало из ветвей затейливые букеты. Оно искусно привлекало к себе два дерева; вооружившись мощным топором из света и тени, оно отсекало у каждого из них половину ствола и ветвей и, сплетя вместе две оставшиеся половины, обращало их в столп тени, четко выделявшийся на залитом светом фоне, либо в световой призрак, чей феерический, меняющийся контур был оплетен сетью черной как уголь тени. Когда солнечный луч золотил вершины деревьев, то казалось, будто, смоченные какой-то сверкающей влагой, они одни возвышаются над уровнем жидкого изумрудно-зеленого воздуха, куда вся роща была погружена словно в море. Ибо деревья продолжали жить своей жизнью, и, если они лишены были лиственного покрова, жизнь эта сверкала еще ярче на зеленых бархатных чехлах, покрывавших их стволы, или в серебристых шарах омелы, которые усеивали верхушки тополей, круглые, как солнце и луна на «Сотворении мира» Микеланджело, Но, обреченные в течение стольких лет, благодаря своего рода прививке, сожительствовать с женщиной, они вызывали в моем сознании фигуру дриады, торопливо идущей и окрашенной в яркие цвета хорошенькой элегантной женщины, которую они покрывают по пути сенью своих ветвей и принуждают чувствовать, как и сами они, могущество времени года; они приводили мне на память счастливую пору моей доверчивой юности, когда я с таким нетерпением спешил на эти аллеи, где, под лишенной сознания листвой деревьев-соучастников, на несколько мгновений воплощались шедевры женской элегантности. Но красота, желанием которой наполняли меня ели и акации Булонского леса, более волнующие в этом отношении, чем каштаны и сирень Трианона, на которые я шел взглянуть, не была утверждена вне меня, в памятниках какой-нибудь исторической эпохи, в произведениях искусства, в маленьком храме любви, у входа в который грудами навалены тронутые золотом осенние листья. Я достиг берегов Озера, дошел до Голубиного тира. Идея совершенства, которую я носил в себе в те времена, была неотделима для меня от высокой виктории, от худощавых и стройных лошадей, разъяренных и легких, как осы, с глазами, налитыми кровью, как у свирепых коней Диомеда; и вот теперь, охваченный желанием вновь увидеть то, что я некогда любил, желанием столь же жгучим, как и желание, которое влекло меня на эти самые аллеи много лет тому назад, я хотел, чтобы перед моими глазами еще раз появилась эта виктория и эти лошади в момент, когда огромный кучер г-жи Сван, с детским лицом Георгия-победоносца, сидевший рядом с крохотным грумом, величиною в его кулак, пытался сдержать прыть нетерпеливо извивавшихся, пугливых и трепещущих животных. Увы! Там сновали теперь одни только автомобили, управляемые усатыми шоферами, подле которых помещались высокие выездные лакеи. Желая убедиться, действительно ли они так прелестны, как их видели глаза моей памяти, я хотел взглянуть своими телесными глазами на маленькие дамские шляпы, такие низенькие, что казались простыми веночками. Все шляпы были теперь необъятными, все были покрыты плодами, цветами и всевозможными птицами. Вместо красивых платьев, в которых г-жа Сван выглядела королевой, какие-то греко-саксонские туники со складками, как на танагрских статуэтках, или же в стиле Директории, из «шифон либерти», усеянные цветами, словно бумажные обои. На головах мужчин, которые могли бы прохаживаться с г-жой Сван по Аллее королевы Маргариты, я не видел больше прежних серых цилиндров и даже вообще никаких головных уборов. Они гуляли по Булонскому лесу с непокрытой головой. И, созерцая эти новые элементы зрелища, я не способен был отнестись к ним с той верой, которая наделила бы их плотностью, единством, жизнью; они проходили передо мной разрозненные, случайные, не настоящие, не заключая в себе никакой красоты, которую глаза мои могли бы попытаться, как в былые дни, отвлечь от них и превратить в произведение искусства. Передо мной были заурядные женщины, в элегантность которых я ни капельки не верил и туалеты которых казались мне невзрачными. Но когда вера бывает утрачена, ее переживает — и укрепляет в нас все больше и больше, чтобы замаскировать наше бессилие наделять реальностью новые явления, — фетишистская привязанность к старине, которую наша вера в нее наполнила некогда жизнью, как если бы в ней, а не в нас самих, заключена была божественная искра и наше теперешнее неверие имело случайную причину — смерть богов.

— Какой ужас! — восклицал я. — Неужели эти автомобили можно находить столь же элегантными, какими были прежние выезды? Должно быть, я стал слишком стар — но я не создан для мира, в котором женщины опутывают себя платьями, сделанными даже не из материи, а Бог знает из чего. Чего ради приходить на эти аллеи, если теперь не осталось и следа от тех, кто собирался когда-то сюда, под сень этой нежной красноватой листвы, если пошлость и безрассудство заменили ту изысканность, которую она некогда обрамляла? Какой ужас!

Теперь, когда нет больше элегантности, я утешаюсь тем, что думаю о женщинах, которых знал в былые годы. Но каким образом люди, наблюдающие эти ужасные существа, в шляпах, покрытых птичником или фруктовым садом, — каким образом могут они хотя бы отдаленно почувствовать очарование, которое являла взорам г-жа Сван в простой сиреневой наколке или в маленькой шляпе с одним только, вертикально прикрепленным спереди цветком ириса? По силам ли мне будет сделать понятным для них волнение, овладевавшее мною зимними утрами, при встрече с г-жой Сван, прохаживавшейся пешком; в котиковом пальто и в простеньком берете с двумя похожими на лезвие ножа перьями куропатки, но окутанной искусственным теплом натопленных комнат, живое ощущение которого вызывалось такой ничтожной вещицей, как смятый букетик фиалок на груди, чьи ярко-голубые цветочки на фоне серого неба, морозного воздуха и голых деревьев обладали тем же прелестным свойством относиться ко времени года и к погоде лишь как к рамке и жить подлинной жизнью в человеческой атмосфере, в атмосфере этой женщины, какое было присуще цветам в вазах и жардиньерках ее гостиной, подле ярко пылавшего камина, перед обитым шелком диваном, — цветам, глядевшим через закрытые окна на падавший на дворе снег? К тому же я не удовлетворился бы одним тожеством дамских туалетов. Благодаря органической связи, существующей между различными частями одного воспоминания, частями, которые образуют в нашем сознании как бы единое целое, откуда мы не можем ничего ни отвлечь, ни отвергнуть, я хотел бы иметь возможность провести остаток дня у одной из тех женщин, за чашкой чая, в квартире со стенами, расписанными в темные цвета (как это было у г-жи Сван, еще через год после событий, рассказанных в настоящем томе нашего повествования), подле которых мерцали бы оранжевые огни, красное зарево, розовое и белое пламя хризантем, в ноябрьские сумерки, в одно из мгновений, подобных тем, когда (как читатель увидит дальше) мне не удавалось получить наслаждений, которых я желал. Но теперь мгновения эти показались бы мне очаровательными, даже если бы они ни к чему не приводили, я хотел бы обрести их в том виде, как они мне запомнились. Увы, теперь можно было видеть лишь обстановку в стиле Людовика XVI, комнаты с белыми стенами, украшенные голубой гортензией. К тому же парижане стали возвращаться из деревни гораздо позже. Если бы я попросил г-жу Сван воссоздать для меня элементы воспоминания, связанного с давно уже канувшим в вечность годом, с датой, относящейся к невозвратной для меня эпохе, — элементы того желания, что само стало столь же недоступным, как и наслаждение, к которому оно некогда тщетно стремилось, — то она ответила бы мне из какого-либо замка, что она возвратится в Париж только в феврале, когда хризантемы уже отцветут. И я нуждался в том, чтобы это были те же самые женщины, те женщины, туалет которых интересовал меня, ибо во времена, когда вера моя была еще жива, мое воображение наделило каждую из них особой индивидуальностью и окружило их легендой. Увы! На Авеню акаций — Миртовой аллее — я действительно увидел некоторых из них, ставших совсем старухами, представлявших собой лишь страшные тени того, чем они были некогда, — блуждавшие, с отчаянием искавшие неизвестно чего среди Вергилиевых боскетов. Они давно уже разбежались, а я все тщетно вопрошал покинутые дорожки. Солнце спряталось за тучей. Природа вновь брала власть над Лесом, и из него исчезли всякие следы представления, что это Елисейский Сад Женщин; над игрушечной мельницей видно было настоящее серое небо; по Большому озеру шла рябь от ветра, как по настоящему озеру; большие птицы быстро проносились по Булонскому лесу, словно по настоящему лесу, и, испуская пронзительные крики, садились одна за другой на развесистые дубы, друидические венки которых и додонское величие, казалось, требовали, чтобы этот утративший свое назначение лес был пустынным и безлюдным, и помогли мне лучше уяснить всю внутреннюю противоречивость попыток искать в реальном мире воплощения картин, сохраненных памятью, ибо реальность всегда лишена будет очарования, свойственного образам памяти именно потому, что эти образы не могут быть чувственно восприняты. Реальность, которую я знал, больше не существовала. Достаточно было г-же Сван появиться в другом наряде и в неурочный час, и вся аллея стала бы другой. Места, которые мы знали, существуют лишь на карте, нарисованной нашим воображением, куда мы помещаем их для большего удобства. Каждое из них есть лишь тоненький ломтик, вырезанный из смежных впечатлений, составлявших нашу тогдашнюю жизнь; определенное воспоминание есть лишь сожаление об определенном мгновении; и дома, дороги, аллеи столь же мимолетны, увы, как и годы.

ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА

Стр. 11 Женевьева Брабантская — героиня средневековой легенды, восходящей к V или VI веку и распространенной по всей Европе. Первый дошедший до нас вариант ее принадлежит Джакомо да Вораджо (более известна латинская форма его имени: Якопо де Ворагине), итальянскому гагиографу XIII века, и является ярким выражением феодальной идеологии: это прославление женской верности и смирения, безропотного подчинения самым диким проявлениям мужской воли в надежде на загробное воздаяние. Содержание этой легенды вкратце таково: Зигфрид, палатин Тревский, отправляясь на войну, доверил свою жену, дочь герцога Брабантского, попечению управителя Голо. В отсутствие Зигфрида тот всячески пытался обольстить ее. Потерпев неудачу, он обвинил ее перед мужем в прелюбодеянии. Зигфрид присудил Женевьеву к смертной казни, поручив выполнение приговора наемным убийцам. Последние, однако, сжалились над Жеиевьевой и бросили ее с ребенком в лесу, где она прожила несколько лет, питаясь плодами и кореньями. Ребенок ее был вскормлен молоком прирученной ею оленьей самки. Преследуемая однажды на охоте Зигфридом, та привела его к жене, которая доказала свою невинность и изобличила Голо. Истомленная лишениями, Женевьева вскоре умерла. Трагический сюжет «Женевьевы Брабантской», символизирующей «несправедливо оклеветанную невинность», вдохновлял многих европейских писателей.

Стр. 16. Граф Парижский — внук короля Людовика-Филиппа. При Третьей Республике предъявил права на французский престол и был изгнан из Франции в 1886 году. Его поддерживала лишь небольшая кучка аристократии. Умер в 1894 году. Принц Уэльский — титул английского престолонаследника.

Стр. 18. Аристей — по верованиям древних греков, сын бога Аполлона, научивший людей пчеловодству. Согласно Вергилию («Георгики», IV), был невольным виновником смерти Эвридики, за которую нимфы, подруги супруги Орфея, отомстили ему, погубив всех его пчел. В отчаянии он обратился за советом к морскому богу Протею, обладавшему даром прорицания. Тот посоветовал ему заколоть четырех быков и столько же телок для умилостивления манов Эвридики.
Из внутренностей жертв вылетел рой пчел.

Стр. 19. Твикенгем — лондонский пригород, в котором поселился изгнанный из Франции граф Парижский.

Стр. 21. Сакре-Кер — сердце Иисуса. Католический культ «сердца Иисуса» зародился в XVII веке. Это одно из многочисленных измышлений иезуитов, имевшее целью разогреть религиозное чувство. Заглохший ко времени Великой французской революции, он возрождается: и встречает широкую поддержку у реакционных властей реставрированной монархии S815 года. Создаются многочисленные учреждения «Сакре-Кер», в частности школы для девушек из аристократии и высшей буржуазии; на одну из таких школ намек в тексте. Еще раз этот культ встречает поощрение в реакционном версальском Национальном собрании 1871 года, по инициативе которого сооружается на Монмартре церковь «Сакре-Кер».

Стр. 22. Моле, граф (1781—1855) — премьер-министр (1837—1839) в царствование Людовика-Филиппа, ловко приспособлявшийся к разным монархическим режимам от Наполеона до Людовика-Филиппа; Пакье, герцог (1767—1862) — председатель палаты пэров в то же царствование; де Брой Виктор, герцог (1785—1870) — премьер-министр (1835—1836) в то же царствование.

Стр. 26. Д’Одифре-Пакье, герцог (1823—1905) — содействовал падению Тьера в 1873 году; был сторонником реставрации монархии во Франции. Мобан (1821—1902) — французский актер, выступавший в ролях благородных отцов во Французской Комедии. Матерна — австрийская певица, исполнительница женских ролей в операх Вагнера (1847—1918).

Стр. 28. Сен-Симон, герцог (1675—1755) — придворный Людовика XIV и регента Филиппа Орлеанского, весь пропитанный феодальными, почти средневековыми представлениями о знати. Известен, главным образом, своими обширными мемуарами, полностью опубликованными только в XIX веке. В них он дает яркую и выразительную картину придворных нравов и персонажей, обнаруживая незаурядное литературное дарование, которое высоко ценил Пруст.

Стр. 30. Чудо о Теофиле — средневековая легенда, согласно которой один малоазиатский монах, продавший душу черту, расторг эту сделку благодаря чудесной помощи Богоматери. «Четыре сына Эдмона» — название одной из поэм французского феодального героического эпоса, где изображается борьба непокорных феодалов против королевской власти. Автором этой поэмы считают Гюона де Вильнева, трувера XIII века.

Стр. 38. Фреска Беноццо Гоццоли (1420—1497) — «Жертвоприношение Авраама», находится в Пизанском Кампо-Санто.

Стр. 41. «Чертово болото», «Франсуа ле Шампи», «Маленькая Фадетта», «Волыночники» — «сельские» романы Жорж Санд. «Индиана» — роман той же Жорж Санд, осуждающий брак и прославляющий романтическую любовь.

Стр. 43. В романе «Франсуа ле Шампи» излагается история любви фермерши к ее приемышу: «шампи» на диалекте означает «приемыш».

Стр. 79. «Завещание Цезаря Жиродо» — комедия Бело и Вильтара (1859). «Бриллианты короны» — комическая опера Обера, слова Скриба (1841); «Черное домино» — комическая опера Обера, слова Скриба (1837).

Стр. 79—80. Все перечисленные здесь фамилии актеров и актрис принадлежат действительно существовавшим актерам и актрисам парижских театров конца XIX века. Исключение составляет одна только Берма, искусство которой, подобно искусству писателя Бергота, художника Эльстира и композитора Вентейля, дает Прусту богатый материал для размышлений о художественном творчестве:

Стр. 84. A cup of tea (англ.) — чашка чаю. Un bleu (фр.) — письмо, отправленное пневматической почтой в Париже. Волабель (1799—1879) — французский историк и политический деятель.

Стр. 105. Магомет II — турецкий султан (1451—1481), взявший Константинополь в 1463 году.

Стр. 111. Рогации — публичные молитвы и процессии у католиков, совершаемые на полях за три дня до Вознесения.

Стр. 117. Стих Расина из трагедии «Athalie», перевод М. Лозинского.

Стр. 128. Артабан — герой романа «Клеопатра» писателя XVII века Ла Кальпренеда; надменность этого персонажа вошла у французов в поговорку.

Стр. 130. Поль Дежарден — французский писатель, современник Пруста.

Стр. 136. «Сент-оноре» — сорт пирожного. Бальзаковскую флору мы находим в романе «Лилия долины», где уделено столько места описанию букетов, подносимых героем романа г-же де Морсоф.

Стр. 143. Палимпсест — пергамент, на котором основная рукопись затерта и по затертому написано другое.

Стр. 159. Сентин (1798—1865) — забытый в настоящее время французский романист; в 30-х и 40-х годах прошлого века был очень популярен его сладенький роман «Picciola». Глер (1808—1874) — наивно-символический художник, тоже очень популярный в ту эпоху; особенной известностью пользовалась его картина «Погибшие иллюзии» (1843).

Стр. 180. Виоле-ле-Дюк, Эжен (1814—1879), архитектор и историк, реставратор готических соборов и замков.

Стр. 208. I’m not fishing for compliments (англ.) — я не напрашиваюсь на комплименты.

Стр. 214. In his home (англ.) — в домашней обстановке, Smart (англ.)-- элегантный.

Стр. 216. Вермер Дельфтский (1632—1675) — художник эпохи расцвета голландской живописи (современник Рембрандта), «открытый» в описываемую Прустом эпоху и очень высоко ценившийся в эстетских кругах.

Стр. 226. «По поводу „Девятой“…» — подразумевается финал с хорами Девятой симфонии Бетховена.

Стр. 227. Бовэ — стиль мебели эпохи Людовика XIV.

Стр. 228. Sine materia (лат.) — без материи.

Стр. 234. Di primo carte. По (итал.) — первого сорта.

Стр. 236. Похороны Гамбетты, политика-оппортуниста, одного из основателей Третьей Республики, происходили в 1882 году; эта и следующие даты позволяют приурочить к 80-м годам время действия этой части романа Пруста. «Данишевы» — комедия А. Дюма-сына и П. Корвин-Круковского (1876), дающая фальшивую картину сентиментальных отношений между русскими крепостниками и крепостными. Греви Жюль — был французским президентом с 1879 по 1887 год, после вынужденной отставки Мак-Магона.

Стр. 244. Сепфора — дочь Иофора, согласно библейскому рассказу, жена Моисея.

Стр. 247. «Золотой дом» — фешенебельный ресторан, помещавшийся на углу Итальянского бульвара и улицы Лафит. Мурсия — город в Андалусии (Испания), пострадавший от землетрясения и наводнения в 1884 году.

Стр. *259.* Тальяфико (1821—1900) — оперный певец и сочинитель пошлых романсов.

Стр. 269. «Королева Топаз» — оперетта Виктора Массе, впервые поставленная в 1856 году.

Стр. 271. «Серж Панин» — драма Жоржа Онэ (1882), прославляющая буржуазные добродетели, хозяйственность и бережливость, и клеймящая расточительность аристократии, которая выведена в лице польского авантюриста князя Сержа Панина, обольщающего дочерей и проматывающего состояние вышедшей из низов французской предпринимательницы. Оливье Метра (1830—1889) — французский Штраус, дирижер и автор популярных вальсов.

Стр. 273. Луврская школа — была учреждена в 80-х годах XIX века при Лувре для подготовки музейных работников. Доступ в нее открыт и для вольнослушателей.

Стр. 276. «Де» — частица, которая, подобно немецкому «фон», прибавляется к старым дворянским фамилиям. Бланка Кастильская (1188—1252) — французская королева, мать Людовика IX, отличавшаяся качествами, о которых говорит дальше Бришо.

Стр. 277. Sub rosa (лат.) — под розой, конфиденциально. Сюжер — летописец из аббатов монастыря Сен-Дени. Бернар (Клервоский) (1090—1153) — богослов и политический деятель.

Стр. 280. Самофракия — остров в Эгейском море, где в 1863 году была раскопана античная статуя Победы, приобретенная Лувром.

Стр. 282. «Франсильон» — комедия А. Дюма-сына, поставленная в 1887 году. Тема: буржуазный брак и взаимная «верность» супругов.

Стр. 283. «Железоделательный заводчик» — переделанная из романа назидательная буржуазная драма Жоржа Онэ (1883), автора «Сержа Панина» (см. выше).

Стр. 288. «…а не раскат грома» — que de tonnerre (франц.). Соль этого каламбура заключена в однозвучности слов le tonnerre (гром) и фамилии известной во времена Пруста герцогини de Clermont-Tonnerre, принадлежащей к разряду женщин типа м-ль Вентейль.

Стр. 289. Герцог Омальский — сын Луи Филиппа; правительственным декретом был разжалован и изгнан из Франции, вслед за своим племянником, графом Парижским, претендентом на французский престол.

Стр. 290. Serpent a sonates и serpent a sonnettes (гремучая змея, франц.) — непереводимая игра слов.

Стр. 295. Гюстав Моро (1826—1898) — французский художник, известный своими «символическими» картинами «Эдип и Сфинкс», «Юноша и смерть», «Орфей» и т. п.

Стр. 316. Noli me tangere (лат.) — «Не прикасайся ко мне» (слова Иисуса, обращенные к Магдалине).

Стр. 318. «Ночь Клеопатры» (1884)-- как и упоминавшаяся выше «Королева Топаз», опера Виктора Массе (1822—1884).

Стр. 322. Замок Пьерфон — XIV века, был реставрирован архитектором Виолле-ле-Дюком в 60-х годах XIX века.

Стр. 324. Карты Страны любви. «Страна любви» — аллегорическая местность, обитатели которой, согласно представлениям французских романистов XVII века, не знают никаких забот и вечно предаются любви. Фантастическая карта «Страны любви» приложена к роману писательницы Мадлен де Скюдери «Клелия» (1656).

Стр. 325. Филибер Красивый — герцог Савойский (1480—1504), погибший от несчастного случая на охоте. Вдова его, Маргарита Австрийская (дочь императора Максимилиана), построила в память о нем церковь в Бру (в стиле поздней готики).

Стр. 345. Септеннат — семилетие. Так названа была диктатура генерала Мак-Магона, избранного французским Национальным собранием в 1873 году президентом с широкими полномочиями, после крушения попыток реставрации монархии.

Стр. 348. Музей Гревен — музей восковых фигур исторических деятелей, созданный в 1882 году художником Гревеном.

Стр. 363. Принцесса Матильда (1820—1904) — племянница Наполеона I.

Стр. 374. Верцингеторикс — галльский вождь, оказавший наиболее упорное сопротивление Цезарю при завоевании последним Галлии.

Стр. 376. Камбремер — первые две и последние три буквы этой фамилии начинают два «неблагозвучных» французских слова.

Стр. 378. Дюмон д’Урвиль — французский мореплаватель (1780—1842). Он привез во Францию в 1828 году обломки фрегатов, на которых совершал экспедицию другой мореплаватель Ла Перуз (1741—1788), убитый туземцами на одном из островов Полинезии (Ваникоро).

Стр. 385. «Принцесса Клевская» — психологический роман французской писательницы XVII века Лафайет (1678). «Рене» — роман Шатобриана (1802).

Стр. 397. «Мраморные девушки» — драма с пением Т. Барьера (1853), популярного при Второй империи водевилиста. В этой пьесе он полемизирует с «Дамой с камелиями» А. Дюма-сына, утверждая, что куртизанки всех времен не способны иметь чувства, так как все они «лишены сердца» — все они «мраморные».

Стр. 413. Машар (1839—1900) — портретист, высоко ценившийся в кругах парижской аристократии и буржуазии.

Стр. 424. Все перечисленные здесь местечки (Байе, Кутанс и т. д.) существуют в действительности в Нормандии и Бретани, за исключением Бальбека.

Стр. 426. «Чертоза» («Пармская обитель») — роман Стендаля.

Стр. 437. «Journal des Debats» — консервативная французская газета, возникшая в эпоху Великой французской революции.

Стр. 448. «Мишель Строгов» — «Мишель Строгов: Москва — Иркутск» — авантюрный роман Жюля Верна (1876), переделанный им затем (1880) в пьесу, пользовавшуюся в Париже большим успехом.

Стр. 458. Мадлена (Магдалина) — церковь в центральной части Парижа, недалеко от Елисейских полей.

Стр. 460. Боднор — персонаж из «Человеческой комедии» Бальзака, представитель «золотой молодежи» 20-х годов XIX века.

Стр. 462. Отставка Мак-Магона. — После неудачных попыток добиться реакционного большинства в палате депутатов президент Мак-Магон подал в отставку 30 января 1879 года.

Стр. 466. Кони Диомеда. Согласно греческой мифологии, эти свирепые кони, принадлежавшие легендарному фракийскому царю Диомеду, изрыгали пламя и питались человеческим мясом.

В основу текста перевода первых четырех томов положено издание: Марсель Пруст. Собрание сочинений. Т. 1, Л., «Время», 1934; т. 2—4, Л., «Художественная литература», 1935, 1936, 1938. Перевод осуществлялся по изданию: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I—V. Paris. Editions de la Nouvelle Revue Francaise, 1921—1925.

Перевод в настоящем издании сверен с текстом нового французского издания: Marcel Proust. A la recherche du temps perdu. Tomes I—II. Paris. «Bibliotheque de la Pleiade», 1954.

Последний раз редактировалась 21 день назад участником ButkoBot

Викитека

Если не указано иное, содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0.

Условия использования • Политика конфиденциальности • Настольная версия